

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 11 ОКТЯБРЬ 2005 • ИЕРУСАЛИМ

- МЕИР ШАЛЕВ. Русский роман
- ДИНА РУБИНА. Фарфоровые затеи
- АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН. Национализм нашего времени
- ЗЕЭВ (ВЛАДИМИР) ХАНИН. «Русские» партии в Израиле
- МИХАЭЛЬ ДОРФМАН. Чарли Чаплин снимает конец еврейского государства
- СИМПОЗИУМ: Глазами террориста-самоубийцы



העמותה לקליטת עלייה בי
רח' ל. טו"ר 20 חיפה 3104000
ס.פ.ד.ת

מס' 8472



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№11

ОКТАБРЬ 2005
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Меир Шалев. Русский роман
95 Дина Рубина. Фарфоровые затеи
117 Марина Меламед. Love story
120 Йосеф Шайкин. Поджигатель войны
128 Соня Тучинская. Мятежный потомок ребе Зуси в Сан-Франциско

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 137** Александр Этерман. Национализм нашего времени
165 Михаэль Дорфман. Чарли Чаплин снимает конец еврейского государства
182 Зеэв (Владимир) Ханин. «Русские» партии в Израиле – второе издание?
195 Симпозиум: Глазами террориста-самоубийцы

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 211** Анатолий Черняев. О войне Судного дня
214 Вениамин Додин. Площадь Разгуляй
279 Самсон Мадиевский. Было и такое...

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 297** Филип Рот. Ортодокс
321 Леонид Гиршович. Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке
326 Дмитрий Галковский. Три слоя лжи
335 Андрей Пионтковский. Русский пациент
338 Анатолий Уткин. Аноним. Имперская самоуверенность
343 Александр Терентьев. Клайд Престовиц. Страна-изгой
349 Ирина Антанасиевич. Зарисовки

ISSN 1565-5318

ЛИТЕРАТУРА



израильский писатель, автор книг «Русский роман», «Эсав», «Как несколько дней», «В доме своем в пустыне» (см. «Nota Bene», № 1) и «Фонтанелло». Живет в Израиле.

РУССКИЙ РОМАН*

(главы из книги)

В одну из летних ночей старый учитель Яков Пинес проснулся в холодном поту. Кто-то снаружи выкрикнул изо всей силы:

– Я ебу внучку Либерзона!

Крик – отчетливый, дерзкий и громкий – прорвался сквозь кроны ка-нарских сосен у водонапорной башни, на мгновенье распластался в воздухе, точно хищная птица, и упал на деревню, налету рассыпавшись на отдельные слова. Сердце учителя стиснула знакомая боль. Опять только он услышал эту непристойность.

Многие годы Яков Пинес героически затыкал каждую щель, неустанно латал каждую прореху, отважно вставал в каждом проломе. «Как тот голландский мальчик, с пальцем в плотине!» – гордо восклицал он, отразив очередную угрозу. Колорадские жуки, тиражи государственной лотереи, коровьи клещи, малярийные анофелесы, полчища саранчи и джазменов – все они накатывались на него черными волнами, и все разбивались в мутную пену на бруствере его сердца.

Пинес приподнялся на постели и вытер вспотевшие руки о мохнатую грудь. Гнев и изумление переполняли его. Тут свершалось открытое попрание всех основ общественного порядка, а жизнь в деревне шла себе своим чередом, как ни в чем не бывало.

* Главы из книги. Полностью роман будет опубликован в конце года в издательстве «Текст» (Москва).

Курсивом выделены цитаты из Библии.

Деревня, как говаривали у нас в Долине¹, давно уже спала-почивала. Спали дойные коровы в своих стойлах, спали куры-несушки в своих курятниках, спали труженики-идеалисты в своих жестких кроватях. Но точно старая машина, части которой давно притерлись друг к другу, деревенская жизнь и во сне продолжала свою рутину. Набухали молоком коровьи соски, наливались соком виноградные гроздья, набрякали первосортным мясом плечи обреченных на забой бычков. Прилежные бактерии, «наши одноклеточные друзья», как любовно именовал их Пинес на уроках природоведения, привычно хлопотали у корней растений, поставляя им молекулы азота. Но старый воспитатель, хотя и был человеком мягким и терпеливым, не мог допустить, чтобы в такую минуту люди – и сам он, конечно, в первый черед – мирно почивали на лаврах своих трудовых свершений. «Все равно я тебя поймаю, мерзавец!» – яростно шепнул он, тяжело вставая с железной кровати. Дрожащими руками застегнул старые брюки цвета хаки, сунул ноги в черные рабочие ботинки, придававшие прочность его лодыжкам, и вышел, готовый к ночному сражению. В темноте и спешке он не сумел отыскать очки и теперь угадывал дорогу по лунному свету, который слоился в дверные щели.

За порогом нога учителя тотчас зацепилась за бугор, коварно взрытый кротом, который давно уже вел во дворе свою подрывную работу. Пинес торопливо поднялся, отряхнул колени, выкрикнул: «Кто тут? Кто тут?» – и напряженно прислушался в ожидании ответа. Близорукие глаза так и буравили тьму ночную, седая и большая, как у совы, голова поворачивалась во все стороны, словно вращалась на невидимой оси.

Но наглый возглас больше не повторился. «Как всегда, – подумал старый учитель. – Крикнет что есть силы – и замолчит».

Душу Пинеса точила тревога. Возмутительный выкрик свидетельствовал об опасном идеологическом уклоне, ибо налицо была погоня за дешевыми наслаждениями, а также предпочтение личных благ интересам коллектива. Речь шла о явном и вызывающем нарушении деревенского устава. Старому учителю, «воспитавшему всех наших детей в духе труда и высоких идеалов», невольно вспомнились и Великое Шоколадное Ограбление, когда-то совершенное в деревенском кооперативе группой его взрослых учеников, и прибывший из России огромный, громяхающий сундук Ривы Маргулис, набитый всевозможными излишествами, которые смутили покой мирных тружеников полей и едва не пошатнули их моральные устои, а главное – сатанинский смех той гнусной гиены, что с недавних пор зачистила в наши края. Тот же вред и то же бахвальство.

Вспомнив о гиене, да еще без очков на носу и практически ничего не различая, Пинес почувствовал, что тревога его переходит в настоящий страх. Он в ужас застыл.

¹ Имеется в виду Изреэльская долина в Израиле: тянется от Хайфского залива на восток между горами Самарии и Галилеи, отличается относительным изобилием воды и плодородными почвами и потому стала (начиная с 1920-х гг.) средоточием многочисленных еврейских с.-х. поселений.

Эта мерзкая хищница время от времени наведывалась в деревни Долины, точно коварный посланец других миров, что лежали за пшеничными полями и далекой голубой горой. За годы, прошедшие с основания мошава², учитель не раз слышал ее отчетливый, резкий и насмешливый вопль, доносившийся из соседнего вади³, и всякий раз холодел от испуга.

Укус гиены вызывал тяжелейшие последствия. У некоторых ее жертв так мутился рассудок, что они забывали азы земледелия – пеницилларию⁴ сеяли с осени, а виноградные лозы подрезали летом. Другие совсем теряли разум – забрасывали свои наделы, а то и вовсе отказывались работать на земле, срывались в город, умирали или покидали Страну⁵. Пинес был вне себя от волнения. Ему уже приходилось видеть немало людей, сбившихся с правильного пути, – согбенные, крадущиеся тени дезертиров в Яффской гавани, ссохшиеся тела самоубийц в их могилах. Извращенцев и отступников он тоже видел немало. Все эти присосавшиеся к халуке⁶ паразиты из Иерусалима, эти мистики из Цфата⁷, с их апокалиптическими расчетами, и эти наивные коммунисты, что поклонялись Ленину и Мичурину и развалили Рабочий батальон⁸. Годы размышлений и наблюдений убедили его, что ничего нет легче, чем свалить с ног человека, потерявшего иммунитет и идейную стойкость.

«Она особенно охотится за детьми, потому что детское мировоззрение еще не вполне сформировалось», – предостерег он родителей, когда следы наглой твари появились вблизи домов мошава, и потребовал немедленно установить охрану вокруг деревенской школы. По ночам он стал присоединяться к молодым парням, своим бывшим питомцам, когда те с оружием в руках выходили в поля в поисках коварного искусителя. Но гиена была изворотлива и хитра. «Как всякий известный науке вредитель», – заметил Пинес на одном из общих собраний коллектива.

Как-то раз, выйдя ночью охотиться на землероек и древесных лягушек

² *Мошав* – кооперативное с.-х. поселение, сочетающее элементы коллективного и частного хозяйства. Характеризуется коллективным снабжением и сбытом и частным (семейным) производством и потреблением.

³ Сухая долина, которая временно наполняется водой после сильного дождя, превращаясь в бурный, стесненный узкими стенами поток.

⁴ *Пенициллари* – злаковая трава.

⁵ *Страна* – разговорное название Израиля (или Земли Израиля, на иврите Эрец-Исраэль); отсюда выражение «восходить в Страну», т. е. репатриироваться в Израиль.

⁶ *Халука* – существовавшая в XIX – начале XX в. система сбора денег среди западных евреев для помощи бедным религиозным еврейским семьям, составлявшим в то время основную массу еврейского населения Палестины.

⁷ *Цфат* – город на севере Израиля, исторически, начиная с XVI века, центр еврейского мистицизма и каббалы.

⁸ Первое еврейское рабочее объединение в Палестине времен британского мандата, основано в 1920 г., сыграло важную роль в заселении и обороне страны.

для школьного живого уголка, он вдруг увидел своего заклятого врага. Гиена пересекала поле по другую сторону оврага и шла ему навстречу широким хищным шагом, пожиравшим пространство. Пинес застыл на месте, а гиена уставилась на него сверкающими оранжевыми зрачками и вкрадчиво заворчала. Он увидел покатошь широких плеч, вздувшиеся желваки челюстей и пятнистую шерсть, вздыбившуюся и дрожащую на округлой крутизне ребер.

Потом гиена ускорила шаг; прошелестела мягкими ростками вики и, перед тем как исчезнуть в высокой стене стеблей сорго, снова глянула на старого педагога и насмешливо улыбнулась, обнажив гнилые клыки. Пинес никак не мог понять смысл «этой наглой улыбки», пока не заметил, что забыл свое ружье дома.

«Пинес всегда забывает свое ружье дома», — улыбнулись в деревне при известии об этой ночной встрече, припомнив, как много лет назад, когда отцы-основатели⁹ только еще закладывали первые дома мошава, умерла от малярии его жена Лея, вместе с двумя дочерьми-близнятками, которых носила тогда под сердцем. Отпрянув от мертвого тела, которое, даже остынув и закоченев, все еще продолжало истекать зеленым потом, Пинес бегом помчался в сторону вади, в рощу акаций, что была облюбвана в те дни самоубийцами. Несколько человек тут же бросились его спасать, но увидели, что он лежит в гуще чертополоха, заливаясь слезами. «Он и тогда забыл свое ружье дома!»

Сейчас, когда в его зачавшем от страха сердце всплыло воспоминание о хищной твари, об умершей жене и о двух посиневших «безгрешных» зародышах, он торопливо прервал свои возгласы «Кто там?» — вернулся домой, отыскал очки и поспешил к моему деду.

Пинес знал, что дедушка почти никогда не спит. Он постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Меня разбудил хлопок решетчатой двери о косяк. Я глянул на дедушкину кровать. Она была пуста, как всегда, но из кухни тянулся дымок его сигареты.

Мне было тогда пятнадцать лет. Почти все эти годы я провел в маленьком домике деда. Его руки, сильные руки человека, выращивающего деревья, росли и меня. Его глаза следили за тем, как я рос и взрослел. Его губы обматывали меня, как привитую ветку, плотным пальмовым волокном своих историй. «Сирота старого Миркина» — звали меня в деревне, но дедушка Яков, мой милосердный, ревнивый и мстительный дед, всегда называл меня «Малыш».

Старый он был уже и очень бледный. Словно и сам раз и навсегда оку-

⁹ Пионеры-сионисты, основатели первых еврейских поселений и отрядов вооруженной самообороны в Палестине, преимущественно активисты второй (1903–1914) и отчасти третьей (1919–1923) волн репатриации (алии).

нулся в тот белый раствор, которым каждую весну белил стволы деревьев своего сада. Низкорослый, жилистый, усатый и лысеющий человек. С годами его глаза все глубже уходили в орбиты, пока их прежний блеск не исчез навсегда. Теперь только два озера сероватого тумана глядели оттуда.

Летними ночами дедушка любил сидеть за кухонным столом в поношенной рабочей майке и синих коротких штанах, окруженный горьким дымом сигареты и сладким запахом молока и деревьев, и, покачивая торчащими из штанин, искривленными работой черенками ног, размышлять о былых свершениях и грехах. Он писал сам себе короткие записки на маленьких клочках бумаги, и они порхали потом по всему дому, точно стайки бабочек-белянок. Он все время ждал возвращения всех, кого утратил. «Встанут во плоти перед моими глазами», – прочел я однажды на одной из бумажек, которая спланировала прямо мне в руки.

С тех первых дней, что я себя помню, и до самого дня его смерти, я много раз спрашивал у него: «О чем ты все время думаешь, дедушка?» – и он всегда отвечал мне одно и то же: «О себе, Малыш, и о тебе».

Мы жили в старой времянке. Иглы казуарины шуршащим ковром покрывали крышу нашего небольшого жилища, и дважды в год, по приказу дедушки, я поднимался туда и сгребал толстые пласты зеленой хвои. Пол дома был слегка приподнят над землей, чтобы сырость и насекомые не источили деревянные доски, и из мрачного, тесного пространства под полом то и дело доносились звуки жестоких сражений змей с ежами да мягкий шелест чешуек медяницы. Как-то раз, после того, как в комнату вползла огромная сороконожка, дедушка обложил подпол кирпичами, закрыв его со всех сторон. Но поднявшиеся оттуда предсмертные стоны и мольбы о милосердии заставили его разобрать кирпичи, и больше он уже не повторял этой попытки.

Наша времянка была одной из последних, еще сохранившихся в деревне. Когда отцы-основатели только осели на землю, свои первые заработанные деньги они вложили в строительство бетонных коровников для молочных коров, потому что у коров не было той выносливости, что у людей, и они больше страдали от причуд стихии, а долгие столетия одомашнивания и людских забот начисто вырвали из их сердец всякое стремление к жизни на воле. А люди сначала жили в палатках, а потом в деревянных времянках. Прошли годы, прежде чем они перебрались в кирпичные дома, но тот дом, что стоял на нашем участке, занимали мой дядя Авраам, его жена Ривка и их сыновья – мои двоюродные братья-близнецы Иоси и Ури.

Дедушка решил остаться во времянке. Он был садоводом и любил дерево и его запах.

– Деревянный дом движется и ходит под ногами. Он дышит и потеет. И под каждой ногой скрипит по-разному, – говорил он мне, любовно похлопывая рукой по толстой балке над своей кроватью, которая каждую весну выпускала зеленые побеги.

В доме были две комнаты и кухня. В одной комнате мы с дедом спали на железных кроватях и колючих матрацах, которые в наших местах называли

«матрацами из морской капусты». Тут стоял также большой, безыскусный платяной шкаф, а возле него – дедушкин комод, ящики которого были покрыты треснувшей мраморной плитой. В верхнем ящике дедушка держал липкую ленту и паклю из волокон рафии¹⁰, которыми он обматывал привои, а на гвозде за дверью висел его кожаный пояс, из карманов которого торчали садовые ножницы с красными ручками, ножи для прививки и тюбик черной мази собственного изготовления для замазывания подрезов. Другие его рабочие вещи: пила, банки с лекарствами и ядами против насекомых и кастюли, в которых он смешивал свой «суп из Бордо», как он называл гремучую смесь мышьяка, никотина и пиретрума¹¹, – хранились в запертом сарае, пристроенном к коровнику, в том сарае, где когда-то укрывался мой дядя Эфраим перед тем как ушел из нашей деревни и исчез навсегда.

Во второй комнате стояли книги, из тех, что можно было встретить в любом доме нашей деревни. «Справочник насекомых для земледельца» Клайна и Боденхаймера, подшивки «Поля» и «Садовода» в синих обложках, «Евгений Онегин» в переводе Шлёнского в светлом льняном переплете, черный «Танах»¹², ивритские книги из серий «Мицпе» и «Штибель», а также самое любимое дедушкино чтение – два зеленоватых томика «Урожай лет» американского селекционера-кудесника Лютера Бербанка. «Низкорослый, худой и сутуловатый, с искривленными многолетней тяжелой работой коленями и локтями», – читал мне дедушка описание внешности Бербанка. Только у Бербанка глаза были «голубые», а у дедушки – серые.

Следом за Бербанком стояли тома воспоминаний, написанных дедушкиными друзьями. Некоторые названия я помню и сейчас – «На дорогах родины», «От Дона к Иордану», «Мой путь на родину», «Моя земля». Эти дедушкины друзья были героями бесчисленных историй моего детства. Все они – так объяснял мне дедушка – родились в далекой стране Украине, нелегально перешли границу и взошли в Страну много лет назад. Некоторые ехали на телегах мужиков – еще одно непонятное слово, – медленно пробираясь среди глубоких снегов и диких яблонь, вдоль скалистых берегов и соленых пустынных озер, одолевая лысые холмы и песчаные бури. Другие летели верхом на белых северных гусях, крылья которых были в ширину «как от конца нашего сеновала до птичника», летели и кричали от восторга над широкими полями Украины и высоко над Черным морем. Третьи произносили тайные слова, которые «вихрем переносили их» в Страну Израиля, все еще разгоряченных и с зажмуренными от страха глазами. И вдобавок ко всему был еще Шифрис.

«Когда мы уже собрались на вокзале в Макарове, и кондуктор свистнул

¹⁰ Рафия – род пальм, чье мочало (кожица листьев вместе с сосудисто-волокнистыми пучками) применяется в садоводстве как обвязочный и подвязочный материал.

¹¹ Пиретрум – порошок для уничтожения вредных насекомых.

¹² Принятое в современном иврите название еврейской Библии (в христианской традиции – Ветхого завета).

в свой свисток, и все поднялись в вагон, Шифрис вдруг заявил, что он не поедет. Ты не доел свой помидор, Барух».

Я послушно открывал рот, и дедушка вкладывал в него кусок помидора, посыпанный грубой солью.

«Шифрис сказал нам: "Товарищи! В Страну Израиля нужно восходить только пешком!" И он расстался с нами на вокзале, закинул свой мешок на спину, помахал нам рукой и исчез в облаке паровозного пара. Наверно, и по сей день шагает себе где-то, прокладывая путь в Эрец-Исраэль, и когда-нибудь придет сюда, последним из пионеров¹³».

Дедушка рассказал мне о Шифрисе, чтобы на свете был хоть один человек, который будет ждать отставшего странника, готовый к его приходу. И я ждал Шифриса – даже после того, как все его бывшие товарищи давно махнули рукой, разуверились и поумирали один за другим, так и не дождавшись его появления. Я мечтал быть тем мальчиком, который побежит ему навстречу, когда он войдет в деревню. Каждая точка на гребне далекой голубой горы обретала очертания его приближающейся фигуры. Круги пепла, которые я встречал на краю поля, были следами его костров, на которых он кипятил себе воду. Шерстяные нити на колючках боярышника – из его обмоток. Чужие следы на пыльных грунтовых дорогах – от его ног.

Я просил дедушку показать мне путь Шифриса на карте, те границы, которые он пересек тайком, те реки, которые он переплыл. Но когда мне исполнилось четырнадцать лет, дедушка вдруг сказал: «Хватит с нас Шифриса».

– Он и вправду объявил, что пойдет пешком, – сказал дедушка. – Но, скорее всего, уже на второй день устал, да так там и остался. А может, с ним что-то случилось по дороге – заболел, например, или был ранен, вступил в их партию, влюбился... Кто знает, Малыш, многое может пригвоздить человека к месту.

На одной из его записок я нашел написанное маленькими буквами: «Завязь, а не плод. Движение, а не продвижение».

Книги были прислонены к большому радиоприемнику «Филько», который подписчики «Поля» могли приобрести в рассрочку, удобными выплатами. Напротив стояли кушетка и два кресла, которые мой дядя Авраам и его жена Ривка перенесли в дедушкину времянку, когда купили для своего дома новую мебель. Эту комнату дедушка называл гостиной, но своих гостей он всегда принимал в кухне, у большого стола.

Пинес вошел. Я сразу распознал его голос – тот громкий голос, который учил меня природоведению и Танаху.

– Миркин, – сказал он. – Этот тип снова кричал.

– Кого на этот раз? – спросил дедушка.

– Я ебу внучку Либерзона, – сильно и с чувством провозгласил Пинес, но тут же испуганно прикрыл окно и добавил: «Не я, конечно, а тот, кто кричал».

¹³ *Пионеры* (на иврите – *хацуци*, мн. *хацуцим*) – первые еврейские поселенцы в Палестине начала XX в., активисты сионистского движения, отцы-основатели нынешнего Израиля.

– Замечательно, – сказал дедушка. – Этот парень – просто многостаночник. Хочешь чаю?

Я навострил уши, прислушиваясь к их разговору. Вот уже несколько раз меня ловили на том, что я подслушивал под открытыми окнами, притаившись среди фруктовых деревьев или за копной кормовой травы. Тогда я поднимался, силой сбрасывал ухватившие меня руки и уходил, не оборачиваясь и не говоря ни слова, выпрямившись во весь рост и жестко, упрямо расправив плечи. Потом эти люди приходили жаловаться дедушке, но он им никогда не верил.

Я услышал шарканье натруженных ног по деревянному полу, бульканье наливаемой воды, позвякивание ложечек о тонкое стекло, а потом – громкие глотки и причмокивания. Способность этих стариков спокойно держать в руках обжигающие жаром стаканы и не моргнув глазом глотать кипяток меня уже давно не удивляла.

– Какая наглость! – сказал Пинес. – Так омерзительно вопить. Осквернять рот, выкрикивать грязную ругань, спрятавшись среди деревьев.

– Он, наверно, думал, что это смешно, – сказал дедушка.

– Но мне-то что делать? – простонал старый воспитатель, для которого эта история была чем-то вроде личного поражения. – Как я буду смотреть в глаза деревне?

Он встал и начал беспокойно ходить по кухне. Я слышал, как он в отчаянии хрустит суставами пальцев.

– Парни всегда балуют, – сказал дедушка. – Стоит ли из-за этого убиваться?

В его голосе слышалась улыбка. Пинес вскипел: «И объявляют об этом вот так, во всеуслышание? Во весь голос? Чтобы все знали?»

– Послушай, Яков, – успокаивающе сказал дедушка. – Мы живем в маленькой деревне. Если кто-нибудь зайдет слишком далеко, сторожа, в конце концов, его поймают. И тогда деревенский Комитет обсудит это дело. Не стоит так огорчаться.

– Я учитель, – взволнованно сказал Пинес. – Я учитель, Миркин, я их воспитатель! Все будут обвинять меня.

В архиве Мешулама Циркина хранится знаменитая декларация Пинеса, провозглашенная им на заседании деревенского Комитета в 1923 году: «Биологическая способность рожать детей еще не гарантирует родителям способность их воспитывать».

– Никто не станет тебя обвинять из-за какого-то молодого жеребца, – решительно сказал дедушка. – Ты воспитал для деревни и всего Движения¹⁴ замечательное поколение детей.

¹⁴ *Движение* – разговорное название израильского Рабочего движения, общее название разветвленной системы сионистских рабочих организаций, партий, молодежных и поселенческих движений и общественных объединений в Эрец-Исраэль. В 1920–50-е годы играло центральную (и монопольную) роль в жизни Израиля.

– Я гляжу на них, – растроганно сказал Пинес. – Они приходят в первую группу мягкие, как речная трава, как цветы, которые я должен вплести в общую ткань нашей жизни.

Пинес никогда не говорил «класс», он всегда говорил «группа». Я усмехнулся в темноте, потому что знал, что последует дальше. Пинес любил сравнивать воспитание с земледелием. Описывая свою работу, он прибегал к таким выражениям, как «целинная земля», «вьющаяся лоза», «капельное орошение». Ученики для него были «саженцы», каждая группа – «грядка».

– Миркин, – взволнованно сказал он, – пусть я не земледелец, как вы все, но я тоже сею и пожинаю. Дети – мой виноградник, мой сад и мое поле, и даже один такой... – теперь он почти задыхался, отчаяние снова перехватило ему горло. – Один такой... дичок вонючий... Он, видите ли, «ебет»!
«Член ослиный, а похоть, как у жеребца».

Подобно всем ученикам старого Пинеса, я привык к его частым цитатам из Танаха, но таких выражений еще не слышал от него ни разу и от неожиданности даже присел в кровати, но тут же застыл. Половицы скрипнули под тяжестью моего тела, и старики на миг замолчали. В те дни, пятнадцати лет отроду, я уже весил сто десять килограммов и способен был, схватив рослого бычка за рога, пригнуть его голову к земле. Мой рост и сила вызывали удивление всей деревни, и кое-кто в шутку говорил, что дедушка наверно поит меня молозивом, тем первым коровьим молоком, которое придает новорожденным телатам силу и укрепляет их иммунитет.

– Не говори так громко! – сказал дедушка. – Малыш может проснуться.

Так он называл меня до самой своей смерти – Малыш. Мой Малыш. Даже когда все мое тело уже покрылось черным волосом, плечи стали широкими и мясистыми и голос изменился. Помню, когда у нас начали ломаться голоса, Ури, мой двоюродный брат, хохотал не переставая, выкрикивая, что я единственный в деревне мальчик, который перешел с баритона на бас.

Пинес процедил несколько слов по-русски, на который все отцы-основатели переходили, когда бормотали что-то про себя гневным и приглушенным шепотом, и сразу за этим я услышал, как чпокнула жестяная крышка – это дедушка открыл отверткой банку давленных маслин. Теперь он поставит на стол полное блюдо, и как только Пинес, с его неистребимой любовью ко всему горькому, кислому и соленому, набьет ими полный рот, его настроение мгновенно изменится к лучшему.

– Помнишь, Миркин, когда мы только прибыли в Страну, этикие изнеженные еврейские юнцы из Макарова, и ели первые наши маслины в ресторане в Яффо, те черные оливки, помнишь, мимо нас прошла симпатичная молоденькая блондинка в голубой косынке и помахала нам рукой?

Дедушка не ответил. Когда он слышал слова вроде «помнишь?», он всегда умолкал. К тому же я знал, что сейчас он вообще не станет говорить, потому что во рту у него лежит маслина, которую он медленно-медленно высасывает, прихлебывая чай. «Или еда, или воспоминания, – сказал он мне однажды. – Нельзя слишком долго пережевывать и то, и другое».

Такой у него был обычай – держать во рту надрезанную черную маслину, запивать ее чаем и время от времени откусывать от спрятанного в пальцах маленького кубика рафинада, наслаждаясь мягкой смесью сладкого и горького: «Чай и маслины, Россия и Эрец-Исраэль».

– Хорошие маслины, – сказал Пинес, немного успокоившись. – Очень хорошие. Как мало удовольствий осталось в нашей жизни, Миркин, как мало удовольствий и как мало такого, что приводит нас в волнение. *«Восемьдесят лет мне, и различу ли еще хорошее от худого. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц?»*

– А мне показалось, что ты был в волнении, когда сюда вошел, – заметил дедушка.

– Из-за этого наглеца! – выплюнул Пинес. Я услышал, как маслина, вылетев из его рта, ударилась о стол и отскочила в раковину. Потом они замолчали, и я знал, что сейчас дедушкины вставные зубы выдавливают очередную маслину, которая истекает в его рот горьким и нежным соком.

– А что с Эфраимом? – внезапно спросил Пинес. – Ты слышал что-нибудь о нем?

– Ни слова, – ответил дедушка холодно, как я и ожидал. – Ничего.

– Только ты и Барух, а?

– Я и Малыш.

Только мы с дедушкой.

Вдвоем. С того самого дня, как он принес меня на руках из дома моих родителей, и до того самого дня, когда я принес его на руках из нашего дома и похоронил в нашем саду.

Только он и я.



Тоска по деду затянула мои глаза влажным туманом. Я поднялся с большого кожаного кресла и пошел бродить по комнатам дома. Того большого дома, который я купил, когда вырос, похоронил в нашем саду дедушку и его друзей, разбогател и покинул деревню. Те слова старого Пинеса «Только ты и Барух» всё плыли и плыли в моем мозгу и не хотели уйти на прежнее место. За окном слышался шум волн, и, выйдя на подстриженную лужайку перед домом, я растянулся на прибрежной траве.

Этот дом, вместе со всем, что в нем находилось, я купил у какого-то банкира, который сбежал из Страны. Понятия не имею, почему он так торопился. Я никогда до этого не встречал людей подобного сорта и никогда не заглядывал в банк. Деньги, которые платили мне родственники людей, которых я хоронил, я держал в коровнике, в мешках из-под удобрений, рядом с подстилкой, на которой спал старый Зайцер. Для старого Зайцера спать вместе с коровами было делом принципа.

– В Седжере¹⁵ я тоже спал вместе с рогатым скотом, – говаривал он.

Огромные уши Зайцера высоко торчали по обе стороны старой русской фуражки. Он умел ими шевелить и порой, под настроение, уступал просьбам детей и показывал этот свой трюк. Принципы у него были нерушимые. И его жизненная программа так легко подминала под себя реальность, как будто та была мягким клеверным стеблем. «Зайцер, – писал дедушка, – это единственная рабочая партия, никогда не знавшая расколов, потому что она всегда состояла только из него одного».

Бускила, управляющий моего «Кладбища Пионеров», привез меня в новый дом в том самом грузовичке, в котором мы привозили из аэропорта или из домов престарелых гробы с покойниками, а также памятники, которые изготавливали по нашему заказу старые каменщики Галилеи. Это был просторный дом, окруженный живым душистым забором дикого лавра. Бускила со вкусом оглядел усадьбу, прежде чем нажать на кнопку электрических ворот. Когда я сообщил ему, что пионеры поумирали все до единого, и весь наш участок набит их памятниками до отказа, а поэтому я хотел бы прикрыть свое дело и покинуть деревню, он сейчас же отправился на поиски и нашел мне новое место для жилья. Он сам занимался покупкой, сам торговался с посредниками и довел адвокатов до белого каления своей язвительной любезностью.

Стоя рядом с ним перед большими воротами, я вдруг осознал, что никогда раньше не жил в настоящем доме. Всю свою жизнь я прожил вместе с дедушкой в старом деревянном домишке, из тех, которые в большинстве хозяйств мошава давно уже были превращены в сараи или порублены на дрова.

Я приехал в своем обычном синем рабочем комбинезоне. Бускила был в светлом льняном костюме, с мешком денег в руках. Банкир уже спешил к нам навстречу, этакий юркий, проворный толстячок. Дряблые мускулы толкали его по отполированным плиткам пола.

– Ага! – воскликнул он. – Вот и похоронная команда!

Бускила не пошевелил бровью. За годы высокопринципиальной борьбы с руководством мошава и Рабочего движения он убедился, что наше кладбище ненавидят абсолютно все, кроме тех, кто на нем похоронен. Он развязал мешок, вывалил на ковер запыленные банкноты, и над кучей бумажек тут же поднялся удушливый запах серы и аммиака. Потом он подошел к закашлявшемуся банкиру, с размаху хлопнул его по спине и дружелюбно пожал ему руку.

– Бускила Мордехай, управляющий, – представился он. – Всё в долларах, как и было договорено. Прошу сосчитать.

Бускила – моя правая рука. Он старше меня на поколение и хороший мой друг. Низкорослый, редковолосый, худошавый, язвительный и всегда приятно пахнущий зеленым мылом.

¹⁵ Седжера – мошав в Нижней Галилее, основан Еврейским колонизационным обществом в 1899 году. Во время Второй алии через Седжеру прошло значительное число репатриантов.

Банкир стал пересчитывать банкноты, а Бускила тем временем повел меня по просторам дома, с его дорогим хрусталем, коллекцией серебряных кубков и толстыми коврами, в которых утопали ноги. Рисунки и портреты удивленно и гневно смотрели на меня со стен. Бускила заглянул в гардеробную, где висели десятки костюмов, и оценивающими пальцами знатока пощупал ткани.

– Что ты думаешь делать со всем этим барахлом? – спросил он. – Они на тебя не налезут.

Я сказал, что он может взять себе все, что пожелает. Он завел патефон, и громкий вопль оперной певицы разорвал белую пустоту. Банкир в гневе бросился к нам.

– Может, вы отложите свой праздник до моего отъезда?

– Чем быстрее сосчитаешь, тем быстрее уедешь, – улыбнулся ему Бускила. – Тебе же лучше.

Он положил руку на жирную талию банкира, повернул его танцевальным шагом и осторожно подтолкнул к вороху банкнот.

Вскоре прибыли адвокаты и привезли бумаги на подпись. Банкир взял свои чемоданы и заторопился на выход, а Бускила, в руках которого уже сверкала рюмка, вышел на веранду и произнес ему вслед напутственное благословение из Торы¹⁶.

Вернувшись в комнату, он заметил выражение моего лица.

– Может, я поеду? – сказал он.

– Оставайся, – сказал я. – Переночуешь здесь, позавтракаем вместе, и тогда поедешь.

Впервые в жизни я спал в постели, где у меня ноги не болтались снаружи. Тело мое не привыкло к незнакомой податливости матраца, к черному прикосновению пахнущего духами и вырождением шелка, к сохраненным тканью воспоминаниям о шикарных женщинах, которые сминали эти мягкие простыни складками своих наслаждений. Но стены, с детства воздвигнутые во мне Пинесом и дедом, были тут как тут и оставались неприступными. Жесткие мозоли моих ступней кромсали невесомую ткань, и запахи кожи и дерева, сверканье хрома и хрусталя не приставали к моему телу.

С четверть часа оставалось до восхода солнца, когда я, наконец, заснул, и то лишь на несколько минут. Дедушкин распорядок все еще был выжжен во мне, точно часы, вытатуированные на коже. Он всегда просыпался первым, оставлял мне завтрак на столе, грубо и быстро расталкивал меня и уходил на работу. «Груши лучше всего захватить, пока они еще не совсем проснулись», – объяснял он мне.

Бускила еще спал. Я сдвинул широкую стеклянную дверь и вышел наружу.

¹⁶ *Тора* («учение, закон»), или Пятикнижие Моисеево – свод пяти книг (в русской традиции – Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие), которые, согласно еврейской традиции, были продиктованы Создателем Моисею на горе Синай.

На мой вкус, лужайка перед домом была слишком душистой – вся забита какими-то неизвестными мне пышными декоративными цветами. Пинес учил нас опознавать одни лишь дикие цветы да сельскохозяйственные растения.

«Георгины и фрезии – это для буржуев, – говорил он. – Наши декоративные растения – это кассия и нарцисс. А культурные – виноград и клевер».

– Этот твой Бербанк, – дразнил он дедушку, – всю свою жизнь возился с хризантемами.

Прямо передо мной было море, которое я тоже видел впервые в жизни. Оно всегда пряталось за голубой горой, но даже об этом я знал только из рассказов. На волнах этого моря прибыли в Страну дедушка и мой отец. И это море швыряло брызги в лицо моему пропавшему дяде Эфраиму, когда он плыл на поля сражений. Полчаса спустя Бускила присоединился ко мне на берегу. Он был закутан в халат и нес в руках поднос с поджаренными кусками булки и высокими стаканами сока.

Мы сидели на краю лужайки. Вглядевшись в кусты, я сразу разглядел паутину паучка-летуна. На ней еще сверкали капли росы. Улыбка расплылась по лицу Бускилы, когда он увидел, что я осторожно пополз к кусту, чтобы разглядеть самого паучка. Крохотный летун прятался в маленькой палатке из обрывков склеенных паутинными нитями сухих листьев, скрывшись от глаз в ожидании добычи. Этого паучка Пинес впервые показал мне когда-то в дедушкином саду. В начале каждого лета он часто брал меня в свою «Школу Природы», чтобы вместе искать пауков и насекомых. Его старая рука метнулась с неожиданной быстротой и схватила муху, дремавшую на одном из листьев. Он бросил ее в паутину.

– Обрати внимание, Барух, – сказал он.

Паучок торопливо спустился по радиальной нити, замотал муху в белый саван смерти, немного покачал крошечную мумию в своих волосатых ногах, потом прикоснулся к ней легким ядовитым поцелуем и быстро потащил в свое укрытие. Я поднялся на ноги и вернулся к Бускиле.

– Ну, что, теперь ты доволен?! – насмешливо спросил он. – Дом в порядке? Я позаботился, чтобы у тебя в саду были всякие жучки-паучки.

Когда мне исполнилось пять лет, дедушка и Пинес взяли меня с собой в миндальную рощу Элиезера Либерзона. Дедушка подошел к одному из деревьев, слегка копнул у корня и показал мне проеденную насквозь кору. Потом провел пальцами по стволу, осторожно подавил, нашел то, что искал, вынул свой прививочный нож и вырезал в коре дерева точный квадрат. Открывшаяся моему взгляду личинка была сантиметров десять в длину, бледно-желтоватая, с широкой, темной и жесткой головкой. Когда на нее упали солнечные лучи, она стала дико извиваться, выражая свое возмущение.

– Капнодис¹⁷, – сказал дедушка. – Враг миндаля, абрикосов и слив – всего, что с косточкой.

«Делают дела свои во мраке», – процитировал Пинес.

¹⁷ Жучок-вредитель плодовых деревьев.

Кончиком лезвия дедушка выковырял личинку из ее норы и сбросил на землю. Я почувствовал омерзение и тошноту.

– Мы привели тебя сюда, – сказал Пинес, – потому что в саду твоего дедушки ты не найдешь таких личинок. Мамаша-капнодис никогда не нападает на здоровое, ухоженное дерево. Она обязательно выберет самую слабую овцу в стаде и туда отложит свои яйца. Завидев сильное и крепкое дерево с шумно бурлящими соками, она тут же отвращается от него и ищет другое дерево – высохшее, удрученное и отчаявшееся. В него сеет она свои семена сомнения, и личинки ее бурвят и крошат смятенную душу.

Дедушка отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а Пинес схватил меня за руку и не дал раздавить личинку.

– Оставь, – сказал он. – Сойки избавят ее от страданий. *«Если кто станет вора подкапывающегося и ударит его так, что он умрет, то кровь не влечется ему».*

Мы шли домой, и дедушка держал меня за одну руку, а Пинес за другую. Два Якова. Яков Миркин и Яков Пинес.

Во время другой экскурсии Пинес показал мне самого жучка, мамашу-капнодис, которая вышла прогуляться, на древесной ветке.

– Она маскируется под сгнившую, почерневшую миндалину, – прошептал он.

Когда я протянул к ней руку, она втянула ножки и камнем свалилась на землю. Учитель нагнулся, поднял ее и положил в маленькую банку с хлороформом.

– Она такая твердая, – объяснил он, – что только молотком можно вбить в нее булавку.

Старики выпили по дюжине чашек чаю, съели полкило маслин, и в три часа утра Пинес заявил, что намерен вернуться домой, и если поймает распутника, то «горек будет его конец».

Он открыл дверь, на мгновение застыл, вглядываясь в темноту, потом повернулся и сказал дедушке, что боится, потому что вспомнил о гиене.

– Гиена давно умерла, Яков, – сказал дедушка. – Кто лучше тебя знает, что она умерла. Можешь быть спокоен.

– Каждое поколение выращивает новых врагов, – мрачно сказал Пинес и вышел.

В теплой чаше ночи шел он «по тонкой корочке, на которой образовалось всё живое», брел к себе домой, размышляя, я уверен, обо всех тех опасных и коварных врагах, которые неустанно рождались и кишели повсюду, всплывая из тьмы его кошмаров, точно пузыри из глубин мутного и бесформенного прошлого. Он чуял беззвучно поджидавшего во мраке мангуста и видел криво усмехающуюся морду дикой кошки, неслышно ступавшей шелковистыми лапами по тропе убийств и разбоя. Мыши-полевки подтачивали труд пахаря в пшеничных полях, а под клетчатым полотнищем пашен, садов и жнивья ярилось самое страшное из легендарных чудииш: Великое

Болото, которое отцы-основатели заточили под землю, – ярилось, и пучилось. и выжидало первых признаков сомнения. Подняв глаза, он видел далеко на западе багровое зарево большого города, притаившегося за голубой горой. Зарево опасных соблазнов – эксплуатации и коррупции, легких заработков, дешевых плотских утех и непристойных подмигиваний.

Еще несколько минут дедушка убирал в кухне, потом потушил свет и вошел в спальню. Перед тем как лечь, он подошел ко мне, и я поспешно прикрыл глаза, чтобы показаться спящим.

– Мой Малыш! – шепнул он, и его усы шекотно скользнули по моим губам и щеке.

Пятнадцать лет отроду был я тогда, сто с лишним килограммов могучих мускулов и черных, жестких волос. Но дедушка не забывал каждую ночь укрывать меня одеялом. Так он укрыл меня в ту первую ночь, когда принес в свой дом, и так же сделал и сейчас. Потом подошел к своей кровати и достал пижаму из постельного ящика. Я подглядывал, как он раздевался. Годы не изуродовали его ни коричневыми пятнами старости, ни вялостью мышц. Даже когда я хоронил его ночью в нашем саду и снял с него новую пижаму, которую он попросил перед смертью, его тело продолжало белеть той же таинственной белизной, которой было окутано всю его жизнь. Все его друзья были бронзовыми от загара, раскаленные годы труда и слепящего света покрыли их трещинами и рубцами. Но дедушка всегда расхаживал в своем саду в широкополой соломенной шляпе, руки его были защищены от солнечных уколов длинными рукавами, и лицо оставалось бледным, как простыня.

Он открыл окно и со вздохом опустился на кровать.



Мешулам Циркин встряхивал головой в конце каждой фразы, и грива его светлых, с проседью, волос взвивалась при этом красивым шлейфом. Его щеки были изрезаны горькими морщинами. Я с детства не любил этого бездельника, жившего на другом конце деревни. Он вечно похлопывал меня по плечу, приговаривал: «Почему это в таком большом теле так мало ума?» – и всякий раз визгливо смеялся.

Мешулам был сыном Циркина по прозвищу Мандолина, который вместе с дедушкой, бабушкой Фейгой и Элиезером Либерзоном когда-то основали Трудовую бригаду имени Фейги Левин. Мандолина был образцовым земледельцем и прекрасным музыкантом, и сегодня он похоронен на моем кладбище, рядом со всеми другими.

Песя Циркина, мамаша Мешулама, была важной партийной деятельницей и редко бывала дома. Мешулам кормился у сердобольных соседок, сам стирал себе и отцу белье, но все равно преклонялся перед матерью и гордился ее вкладом в дело Движения. Он видел ее лишь раз-два в месяц, когда она привозила в деревню свои огромные груди и важных гостей. Это всегда были «товарищи из Центрального комитета». Мы, дети, тоже успе-

вали их увидеть. Ури, мой двоюродный брат, первым замечал серый «кайзер», припаркованный возле дома Циркиных, и возвещал, что «эти, из города, снова приехали понюхать навоз и сфотографироваться в обнимку с телятами и редиской».

В мире, где мать была периодически возникавшим видением, Мешулам с детства искал себе место под солнцем. Он не блуждал в лабиринтах фантазий, в которых зачастую пропадают другие подростки, и, поскольку был при этом одарен острой памятью и жадой знаний, а старики-первопроходцы соткали вокруг него сеть, отличную от той, которую они сплели вокруг меня, он отдался делу изучения, собирания и документирования прошлого. Он с восторгом листал старые бумаги, разбирал чужую переписку и копался в таких ветхих документах, что они распадались от одного прикосновения. Это его утешало.

Уже подростком он ухитрился подобрать и выставить несколько экспонатов, рядом с каждым из которых прикрепил листки с собственноручно сделанными пояснениями: «Мотыга Либерзона», «Молочный бидон 1924 года», «Первый плуг – изделие кузницы братьев Гольдман» и, конечно, «Первая мандолина моего отца». Едва повзрослев, он вытащил из старой отцовской времянки ржавые лемеха культиватора и пустые банки из-под жидкости для опыления, починил крышу, заполнил две маленькие комнаты остатками кухонной посуды и рассыпающейся мебелью и назвал все это «Музеем Первопроходцев». Он рылся в чужих дворах и домах, собирал изъеденные временем сита для муки, стиральные доски и позеленевшие медные кастрюли, а однажды нашел даже старые «болотные сани».

– Нужно, чтобы люди знали, что здесь было во времена пионеров, – заявил он. – Они должны знать, что во времена пионеров, до того как здесь проложили дорогу, повозки проваливались в болотную жижу, и поэтому молоко на ферму приходилось везти на санях.

Главный предмет его гордости составляло огромное чучело Хагит, гибридной бейрутско-гольштейнской коровы Элиезера Либерзона, которая когда-то была рекордсменкой Страны по надою и жирности молока. Когда Хагит состарилась и Даниэль, сын Элиезера Либерзона, решил продать ее на фабрику по производству костного клея, Мешулам поднял страшный крик и потребовал немедленно созвать заседание деревенского Комитета, заявляя, что мы поступим неуважительно по отношению к «нашему преданному товарищу Хагит», если превратим ее в колбасу и желатин.

– Хагит, – утверждал Мешулам, – это не только сельскохозяйственный феномен – это также та самая корова, которая на своем личном примере убедила руководство ишува¹⁸, что в условиях Страны не следует делать ставку на чисто гольштейнскую породу крупного рогатого скота.

Комитет постановил выдать Даниэлю компенсацию за передачу дрях-

¹⁸ *Ишув* («заселение») – собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль. Бытовало главным образом до образования государства Израиль.

лой коровы Мешуламу и даже выразил готовность участвовать в расходах на ее дальнейшее содержание. В тот же день Мешулам угостил «преданного товарища» солидной порцией крысиного яда и с помощью ветеринара превратил ее в чучело.

Долгие годы Хагит стояла на веранде дома Циркиных, нафаршированная зловонными бальзамирующими веществами. Изо рта у нее свисали стебли люцерны, а из прославленного вымени капал формалин. Мешулам регулярно чистил ее шкуру, на которой крысиный яд оставил огромные пролысины, чистил ее задумчивые стеклянные глаза и латал дыры в ее коже, потому что воробьи выдергивали из этих дыр клочки ваты и солому для своих гнезд.

Это чучело вызывало отвращение всей деревни, но больше всех оно мучило старого Зайцера, который был очень привязан к Хагит при ее жизни и всегда считал щедрость ее сосков «символом еврейского национального возрождения». Иногда он даже уходил тайком с нашего двора, чтобы снова посмотреть на нее. Но всякий раз, как он оказывался лицом к лицу с этим громадным чучелом, в нем, по его рассказам, пробуждалась какая-то «гремящая смесь желания и ужаса».

– Бедная корова, – бормотал он про себя. – Мешулам Циркин набил в нее больше травы, чем она получила от Элизера Либерсона за все годы своей долгой жизни.

Мой непочтительный кузен Ури, не признававший ничего святого и на все в деревне смотревший с высоты полета птиц-пересмешников, утверждал, что фарширование Хагит не имело никакой связи с любовью Мешулама к коллекционированию и истории мошавы.

– Просто ее вымя напоминало ему вымя его матери, вот и все, – говорил Ури. – И я смотрел на него, как смотрю по сей день, – с завистью и обожанием.

В нашу деревню заглядывает множество гостей. Автобусы с туристами, со школьниками – все они приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть цветущее хозяйство, созданное отцами-основателями. Они взволнованно и медленно проезжают по деревенским улицам, восторгаясь каждой курицей и каждым грушевым деревом, жадно вдыхая запахи земли, молока и навоза. Свой торжественный объезд они всегда заканчивают на участке Миркина – на моем «Кладбище Пионеров».

Мешулам давно добивался от Комитета, чтобы ни одному автобусу с посетителями не разрешалось заезжать в деревню и на кладбище, если гости заранее не обяжутся посетить также «Музей Первопроходцев» и глянуть на чучело Хагит с золотой медалью, выданной ей когда-то британским Верховным комиссаром¹⁹ и болтающейся сейчас на ее широкой, набитой соломой груди.

¹⁹ *Верховный комиссар* – глава британской администрации в подмандатной Палестине (1918–1948).

Мое «Кладбище Пионеров» кололо глаза всей деревне и ее руководству. Но Мешулам Циркин ненавидел его особенно страстно. Автобусы, въезжавшие на стоянку у кладбища, дети с разинутыми ртами, туристы, зачарованно шагавшие по его дорожкам среди свежeweмытых памятников и розовых кустов, шепотом читая медные буквы легендарных имен и сопровождая их глотками холодного сока, который им продавал у ворот младший брат Бускилы, – все это приводило его в лютое бешенство.

Мешулам Циркин ненавидел мое кладбище, потому что я наотрез отказался похоронить его мать, старую грудастую активистку Песю, рядом с его отцом, Циркиным-Мандолиной. Я хоронил на своем кладбище только дедушкиных товарищей, людей из Второй алии²⁰. Песя Циркина была из Третьей²¹.

– Мне очень жаль, – сказал я Мешуламу, когда он стал размахивать передо мной очередным «Профсоюзным ежегодником» со статьей, превозносившей свершения его матери в деле развития взаимного кредитования в системе кооперативов Рабочего движения. – Мне очень жаль, но твоя мать не из Второй алии.

– Покойница не соответствует приемным требованиям нашего кладбища, – спокойно объяснил Бускила.

Мешулам пригрозил, что обратится в «инстанции». Я напомнил ему, что он уже обращался туда с аналогичным требованием, когда старый Либерзон составлял «Альбом Пионеров» и не согласился поместить там фотографию Песи, причем по той же причине.

– И, кроме того, – сказал Бускила, – твой отец не хотел видеть ее рядом с собой даже при жизни.

На больше всего Мешулама злили те свинцовые гробы, которые я привозил из аэропорта. Он знал, что каждый прибывающий из Америки гроб прибавляет в мои старые мешки из-под удобрений еще несколько десятков тысяч долларов.

– По какому праву ты хоронишь у себя этих предателей, а не мою маму? – крикнул он.

– Каждый, кто прибыл в Страну со Второй алией, может купить себе здесь могилу, – ответил я.

– Ты хочешь сказать, что любой старый пердун, который прибыл сюда из России, помотыжил тут две недели, плюнул на все и смылся в Америку, может быть похоронен здесь в качестве пионера? Нет, вы только посмотри-

²⁰ *Алия* («восхождение») – переселение евреев в Израиль, а также сами группы переселившихся евреев.

Вторая алия (1904–1914) состояла, в основном, из молодых халуцим – выходцев из России и Восточной Европы, которые вначале были наемными рабочими в сельскохозяйственных поселениях и городах. Эта алия насчитывала более 40 тысяч человек.

²¹ *Третья алия* (1919–1923) – прибыла из России, Восточной, а также Западной и Центральной Европы. Насчитывала более 35 тысяч человек.

те на это! – воскликнул он, указывая на один из памятников. – Роза Мункина, эта старая греховодница!

Роза Мункина, которая знала дедушку еще в Макарове, была моей первой покойницей.

– Рассказать тебе про Розу Мункину?! – насмешливо спросил Мешулам. Наш разговор происходил вскоре после того, как вся деревня взвыла, когда я установил рядом с могилой дедушки ее памятник из розового камня. – Она приехала с Украины, проработала ровно неделю на миндальных плантациях в Реховоте и поняла, что эта работа – не для ее нежных ручек. Тогда она начала забрасывать весь мир истерическими письмами, умоляя вытащить ее отсюда. У нее был брат, тот еще бандит, который эмигрировал в Америку и стал пионером на свой лад – первым еврейским гангстером в городе Бруклин. Этот братец, конечно же, прислал ей билет, – и в знак презрения Мешулам поставил ногу на розовый мрамор плиты. – Во время первой мировой войны, когда твой дедушка и бабушка, и мой отец, и Элиезер Либерзон умирали от голода, а Зайцер был насильно мобилизован в турецкую армию, Роза Мункина купила в Бронксе свой четвертый магазин корсетов. В тот год, когда Трудовая бригада имени Фейги Левин вышла на поселение, Розе Мункиной было откровение, она вернулась к вере отцов, вышла замуж за раввина Шнеура из Балтимора и стала публиковать за свой счет антиссионистские объявления. Во время второй мировой войны, когда твой несчастный дядя Эфраим был ранен в рядах британских десантников, Роза Мункина овдовела, сняла себе роскошную сюиту в отеле в Майами и стала оттуда заправлять игорным бизнесом своего покойного брата. В архивах ФБР она по сей день проходит под кличкой Красная Роза. А сегодня, – вдруг с ненавистью зорал он, – сегодня она лежит здесь, на твоём кладбище! В нашей Долине! В земле Израиля! Пионерка! Стронтельница сионизма! Наша мать-основательница!

«Благословен Судия праведный», – прочувствованно подытожил Бускила. Он подошел к памятнику, осторожно снял с мрамора ногу Мешулама, достал из кармана фланелевую тряпочку и старательно протер букву «а» в имени «Роза».

– А ты заткнись, Бускила! – побелел Мешулам. – Такое говно, как ваш брат-марокканец²², должно вскакивать на вытяжку, когда речь идет об отцах-основателях.

– Между прочим, покойница уплатила сто тысяч долларов, – сообщил Бускила, который не обращал внимания на такие мелкие уколы.

– Деньги мафии! – издевательски фыркнул Мешулам.

– Чего ты хочешь, Мешулам? – спросил я. – Она приехала со Второй алией.

– А Шуламит! – взвизгнул он. – Шуламит тоже прибыла со Второй алией?!

– Ты поосторожней! – разозлился я. – Шуламит – это наше семейное.

²² Распространенное в Израиле общее прозвище евреев-репатриантов из арабских стран Африки и Ближнего Востока (Ирак, Сирия, Египет и т. д.), вернувшихся на историческую родину в 1950-е годы: евреи из Марокко в этой алии составляли значительную часть.

К тому времени, когда прибыло письмо Розы Мункиной из Америки, мой дедушка и Шуламит – его старая любовь, приехавшая из России через полвека после него, его «крымская шлюха», как ее неизменно называла Фаня Либерзон, – были единственными, похороненными в нашем саду. Бускила, который был тогда деревенским письмоношем, галопом примчался на своем почтовом осле Зисе и еще издали закричал: «Аэрограмма! Аэрограмма! Письмо из Америки!»

Я был занят поливкой тех знаменитых бербанковских роз, которые цветут в течение всего года. Я посадил их вокруг могил дедушки и Шуламит.

Лютер Бербанк тоже покинул свой дом из-за безнадежной любви. Дедушка без конца рассказывал мне о бербанковских плодовых деревьях, о кактусах без иголок и о картофеле со светлой кожурой, но отрывок о любви Бербанка он прочитал не мне, а моим двоюродным братьям Ури и Иоси, близнецам моего дяди Авраама, и я возревновал их к нему и чуть не заплакал.

Я громко хлопнул дверью, вышел наружу и услышал через окно, как дедушка продолжает читать, словно начисто игнорируя мои страдания: «В те дни я со всем юношеским жаром влюбился в красивую девушку, которая, однако, оказалась менее пылкой, чем я. Небольшого разногласия между двумя упрямствами, к тому же усиленного сказанными в горячности словами, оказалось достаточно, чтобы убедить меня, что сердце мое разбито. Кажется, я многим говорил, что именно это было причиной, побудившей меня пуститься в далекие скитания, которые, в конце концов, привели меня на Запад».

– Не кричи, – укоризненно сказал я Бускиле. – Здесь нельзя кричать.

Он вручил мне конверт и остался стоять рядом.

Бускила появился в деревне в начале пятидесятых годов, когда дедушка был еще жив и я еще был «его Малышом». Он вошел в деревенский магазин и стал около кассы, за которой сидел Шломо Левин. Бускила был в старых желтых полуботинках, в смешном синем берете на голове. Он поглядывал на кассу и с большим вкусом прихлебывал из бутылки с грейпфрутовым соком. Левин выписал на листке цены всего, что купила ожидавшая расчета мошавница, и начал складывать, бормоча под нос цифру за цифрой.

– Два пятьдесят четыре, – произнес Бускила из-за его плеча раньше, чем карандаш Левина успел спуститься по нескольким первым цифрам.

Злоключения Шломо Левина в Стране Израиля наделили его острой чувствительностью к замечаниям посторонних. Больше всего он не любил, когда его контролировали. Он обернулся, устремил на незваного гостя разгневанный взгляд и тут же понял, что этот тип явился из лагеря новоприбывших иммигрантов, который власти недавно развернули на холме, что за эвкалиптовой рощей. Деревня встретила этих новичков сочувственно и свысока. Старожилы охотно делились с ними житейскими наставлениями, излишками со своего стола и недостающим инструментом, а, вернувшись из лагеря, рассказывали друг другу, что эти недомерки в синих беретах це-

лыми днями пьют, играют в карты и кости, «скучают по своим грязным пещерам и подтирают задницы камнями».

Теперь, столкнувшись с такой явной наглостью, Левин открыл было рот, но сдержался, не сказал ни слова и повернулся к очередной покупательнице.

– Один семнадцать, – произнес Бускила в тот момент, когда Левин закончил выписывать цены, но еще не успел даже провести черту под их колонкой.

Шломо Левин, который заведовал нашим деревенским магазином уже многие десятилетия, встал со своего места за кассой, снял фуражку и осведомился, с кем имеет честь.

– Бускила Мордахай, – сказал удивительный чужак, шумно всосал остатки сока и добавил: – Новый иммигрант из Марокко. Ищу работу.

– Я и сам вижу, – сказал Шломо Левин. – Мне не нужно объяснять.

В Мекнесе²³, объяснил новичок, он преподавал арифметику и писал письма на трех языках для судов и правительственных учреждений. Теперь он ищет работу в бухгалтерии, в школе или в инкубаторе.

– Я всегда любил деньги, детей и цыплят, – дружелюбно объяснил он.

Левин был потрясен и рассказал о новом иммигранте Элиезеру Либерзону, который был тогда деревенским казначеем.

– Нахальный парень, но считать умеет, – снисходительно добавил он.

Просьба Бускилы была рассмотрена со всей благожелательностью, хотя его откровенная любовь к деньгам показалась большинству товарищей буржуазным пережитком. «Не говоря уже о берете, – сказал Ури. – Головные уборы без козырьков носят только люди без идеалов».

– Мы обсудили этот вопрос с учетом наших идейных принципов, а также надлежащего внимания к нуждам новых иммигрантов вообще и к способностям Бускилы в частности, – рассказывал мне позже Элиезер Либерзон. – И решили послать его на испытательный срок на переборку просохшего лука.

В течение двух лет Бускила приобщался к почве исторической родины, выполняя такие малоприятные земледельческие обязанности, как опрыскивание, прореживание, прополка и собирание плодов, а потом наш деревенский почтальон услышал гиену, хохотавшую в полях, и тронулся умом. Он купил черный карандаш и начал вымарывать строчки в письмах, которые уходили из деревни. Комитет уволил несчастного безумца, и Бускила унаследовал его место и осла. Он посадил вокруг почты кусты марокканской полыни, стал заваривать из нее чай, аромат которого сводил с ума всех прохожих, и завоевал сердца старожилов, собирая их письма прямо на дому и тем самым избавляя отправителей от необходимости самим тащиться на почту.

²³ Мекнес – город на северо-западе Марокко.

Я открыл конверт. С тех пор как Шуламит приехала из России, мы не получали писем из-за границы.

– Что там написано, Барух? – деликатно спросил Бускила.

– Это личное, – сказал я ему.

Он отошел на несколько шагов и оперся о памятник Шуламит. Он ждал, пока я попрошу его перевести мне загадочное письмо.

– Это старая женщина из Америки, – сказал он мне, глянув на исписанную страничку. – Ее зовут Роза Мункина. Она из города твоего дедушки, была здесь много лет назад, работала с ним в Ришон ле-Ционе и Реховоте и преклонялась перед ним. Ей написали из Страны, что ты похоронил его дома, и она хочет, чтобы ты и ее, когда она умрет, похоронил здесь, возле него.

Он протянул мне конверт. «Здесь внутри есть что-то еще», – сказал он.

Внутри был чек на мое имя. На сумму десять тысяч долларов.

– Это задаток, – сказал Бускила. – Эта женщина очень больна и скоро умрет. И тогда адвокат привезет ее вместе с остальными деньгами.

– А что мне делать с этой бумажкой? – озадаченно спросил я. – Это ведь не настоящие деньги.

– Тебе понадобится помощь, Барух, – медленно сказал Бускила. – Это большие деньги, это люди из-за границы, это английский, и это суды, и это ваш Комитет, и это налоги. Один ты не справишься.

За десять тысяч долларов, подумал я, я смогу посадить на могиле дедушки сказочные саженцы. Иудино дерево и белые олеандры. Я смогу проложить дорожку из красного гравия от могилы дедушки к могиле Шуламит. Я смогу найти моего пропавшего дядю Эфраима и вылечить кишечную болезнь старого Зайцера.

– Никому не рассказывай об этом, – сказал Бускила. – Никому. Даже твоему любимому брату Ури.

Вечером Бускила пришел в мою времянку, приволок черную пишушую машинку и написал для меня письмо по-английски. Роза Мункина прислала ответ, а по прошествии трех месяцев, посреди ночи, прибыла самолично – лежа в сверкающем глянце гробу и в сопровождении адвоката в сверкающем глянце костюме, с буйной копной волос и острым запахом афтершейва, подобный которому никогда не отравлял воздух нашей деревни. Пока я рыл яму, он стоял надо мной величественно и брезгливо.

– Посмотри на него, – шепнул мне Бускила. – Знаю я эту породу. Уверяю тебя, ему не впервой хоронить людей среди ночи.

Адвокат сидел в темноте на дедушкиной могиле, лениво чертил носком начищенного ботинка по кладбищенской пыли, грыз стебелек и с отвращением принимался к деревенским запахам, поднимавшимся в теплый ночной воздух от коровников и курятников.

Мы опустили Розу Мункину в землю Изреэльской долины. Американец вынул из кармана листок бумаги и быстро пробормотал короткую поминальную молитву на невразумительном иврите. Потом велел мне залить бетоном квадрат под основание памятника и извлек из багажника своей гро-

мальной машины черный плоский чемоданчик. Бускила пересчитал банкноты наслюнявленным быстрым пальцем и выписал расписку.

Через несколько дней адвокат вернулся, привезя с собой вычурное надгробие из полированного розового мрамора. По сей день эта могила выпирает, как огромная конфетная коробка, из однообразия серых и белых памятников, вытесанных из местного камня.

Банкноты я спрятал в коровнике. Зайцер спал без задних ног, укрытый старым армейским одеялом, оставшимся в его владении еще с первой мировой войны, и не слышал моей возни. Мы с Бускилой вернулись во времянку, уселись за обеденный стол дедушки и стали пить чай с маслинами и хлебом.

– Ты, наверно, хочешь поговорить обо всем этом с твоим дядей Авраамом и со своим учителем Пинесом. Так ты не говори с ними пока. Подожди немного, потом поговоришь, – посоветовал он мне.

Наутро Бускила оставил работу на почте и предстал передо мной.

– Я буду управлять твоим делом, а ты будешь платить мне по своему усмотрению, – сказал он.

Так началась дедушкина месть деревне. Месть, продуманная со всей той тщательностью и тем предвидением, которыми наделен всякий хороший садовод. Месть, наполнившая деньгами мои мешки и поразившая самые чувствительные нервные узлы коллективного сознания деревни.

– Они выгнали моего сына Эфраима, – твердил дедушка перед смертью мне и Пинесу, – и я тоже нанесу им удар в самом чувствительном для них месте – в земле.

Но тогда я еще не понимал, что он задумал.

Комитет обсудил несколько возможностей заменить Бускилу на почте и, в конце концов, остановился на кандидатуре Зиса. Что ни говори, осел и так уже знал на память все адреса, а теперь, освободившись от тяжести почтальона, получил возможность развозить адресатам не только письма, но и посылки. Зис был внуком того знаменитого Качке, что вышел на землю вместе с отцами-основателями и таскал для них воду из нашего источника до тех пор, пока не издох от укуса змеи.

Через два года Зис был уволен. «Старики обнаружили, что он слизывал марки с конвертов», – сказал Ури, мой двоюродный брат-пересмешник.

Комитет обратился к Бускиле и попросил его вернуться на почту, но к этому времени Бускила уже напечатал себе визитные карточки, на которых по-английски и на иврите было написано: «Кладбище пионеров. Управляющий» – и управлял «стадом из ста покойников», как с презрением говаривал старик Либерзон – до тех пор, пока не умерла его Фаня, жена его, возлюбленная его, единственная его, и стала в этом стаде сто первой.



Хозяйство Миркиных было одним из самых удачливых в деревне. Так говорили, с удивлением и восторгом, когда фруктовые деревья дедушки

взрывались буйным цветом, и коровы дяди моего Авраама истекали потоками молока; и так говорили, со страхом и завистью, когда в том же коровнике остались лишь пыльные чешуйки насекомых да мешки, распухшие от денег, а сад пришел в запустение и был засеян могилами и костями.

Ровные ряды надгробий, красные и белые гравийные дорожки. затененные уголки для отдыха и уединения, зеленые скамейки, деревья и цветы и в центре – белый памятник дедушке. Вся деревня сокрушалась, глядя, какая ужасная судьба постигла землю, предназначенную выращивать плоды и корма и превратившуюся в зловещее поле возмездия.

– Все очень просто, – говорю я себе, блуждая по огромным комнатам моего дома. – На самом деле все очень просто, и чего тут копать, и подслушивать, и расследовать, и каких еще искать ответов?

Ведь именно для этого дедушка вырастил меня. Сделал меня большим и сильным, как вол, верным и опасным, как сторожевой пес, одиноким и бесчувственным к насмешкам и пересудам. Теперь он лежит в могиле, в окружении мертвых товарищей, и посмеивается при виде взбаламученной деревни.

– Оставьте его. Мальчик попросту напичкан легендами и фантазиями, – сказал Пинес, когда я объявил, что не намерен идти объясняться на заседание деревенского Комитета.

Я давно уже не был мальчиком. Я был здоровенным и весьма состоятельным парнем, которого тяготили его плоть и богатство, но Пинес всех своих учеников еще долго считал детьми, куда дольше общепринятого, и продолжал поглаживать их по голове, даже когда они уже были лысыми и седыми.

– Подумайте, сколько воспоминаний было втиснуто в это огромное тело, пока оно не переполнилось и излило свою горечь на землю? – сказал он обо мне. Если бы дедушка был жив, он, скорее всего, сказал бы пренебрежительно, что у старого Пинеса припасено много высокоморальных притч на всякий случай, «но порой он забывает, в чем состоит их мораль».

Сам я обычно отвечал всем, кто требовал от меня оставить похоронные дела, что «так хотел дедушка». Объясняться в Комитет я послал Бускилу и нанятого им адвоката. Люди они в деревне чужие, скользкие и черствые, палая листва воспоминаний не давит им на плечи, толстые подошвы ботинок отделяют их ступни от тонкой пыли дорог нашей Долины. Я представил себе некрашенные, скрипящие стулья в помещении Комитета, пальцы с обломанными ногтями, которые будут барабанить по столу, как подковы. Пусть эти двое сами ощутят на себе мужественные стальные взгляды, пусть сами глядят на твердые пальцы, назидательно поднятые в воздух. Я всего-навсего «дедушкин Малыш», выполняющий его волю. Я свое сказал.

В Одессе дедушка и его брат Иосиф сели на «Эфратос» – маленький грязный кораблик, «полный дурных людей», который регулярно курсировал между Черным и Средиземным морем. Словно две стороны одной монеты, Яков и Иосиф Миркины видели две разные половинки мира. «Мой

брат был возбужден и взволнован, он расхаживал на корабельном носу и все время глядел вперед».

Иосиф пестовал мечты о сельскохозяйственных поселениях в Гилеаде²⁴, о белых ослах²⁵ и еврейском труде. Дедушка думал о Шуламит, которая осталась позади, измолотив его плоть железными цепями лжи и ревности, и о Палестине, которая для него была всего лишь убежищем от греховной страсти, страной, слишком далекой, чтобы вспоминать прошлое, местом исцеления, где его раны могли бы зарубцеваться.

Он сидел на корме, смотрел на воду и мучительно выпарывал из своего обнаженного сердца нити воспоминаний, которые волочились за кораблем длинными плетями пены. «Погляди, жар нашего сердца распорот на нитки», – писал он многие годы спустя в одной из своих записок.

Все время плавания Яков и Иосиф Миркины ели только хлеб и прессованный инжир и не переставали блевать.

– Мы прибыли в Страну и отправились в Галилею²⁶, и тем же летом мы с братом уже сидели на берегу Кинерета²⁷, – его рука мерно ходит туда и назад, вкладывая в мой рот картофельное пюре, заправленное домашней простоквашей и подсоленным жареным луком. – В ту первую ночь мы охраняли поля, а с рассветом уселись смотреть, как восходит солнце Земли Израиля. Солнце взошло в половине пятого. В четверть шестого оно уже пыталось изжарить нас насмерть, и Иосиф свесил голову и начал плакать. Не так он представлял себе Великое Возрождение Народа, – теперь его руки занялись салатом. – Нас было трое друзей. Циркин-Мандолина, Элиезер Либерзон и я. Мой брат Иосиф заболел и отчаялся, уплыл в Америку и больше не вернулся.

Тело дедушки терзали жар, раздражение и слабость, он метался между приступами лихорадки и судорогами гнева и тоски.

Иосиф преуспел в Калифорнии. «Когда мы еще ходили здесь по болотам, а зимой натягивали от холода мешки на голову и набивали в носки старые газеты, он уже продавал костюмы американским буржуям». Годы спустя, буквально перед смертью бабушки Фейги, нашу деревню подсоединили к электрической сети, и Иосиф прислал бабушке из Америки деньги, чтобы она купила себе холодильник. Дедушка швырнул письмо в сточную канаву коровника и сказал жене, что «никогда не возьмет деньги у предателя-капиталиста». Иосиф отправился в Санта-Розу, на маленькую, боготво-

²⁴ *Гилеад* – область к востоку от реки Иордан, в нынешней Иордании. В Библии – территория Заиордания, которую некогда населяли израильтяне.

²⁵ *Белые осла* – по некоторым преданиям, Мессия явится на белом осле.

²⁶ *Галилея* – северная, холмистая и лесистая область Эрец-Исраэль.

²⁷ *Кинерет* – озеро (в русской традиции – Галилейское море, Геннисаретское озеро, Тивериадское озеро), самый большой в Израиле пресноводный проточный водоем. Находится в Иорданской впадине на северо-востоке страны.

римую поклонниками ферму Лютера Бербанка, куда отовсюду слетались полчища алчущих гостей, насекомых и писем, и прислал оттуда дедушке надписанную фотографию великого селекционера. Я видел ее в ящике под дедушкиной кроватью. Бербанк был в соломенной шляпе и галстук в крапинку, с мясистыми мочками ушей. «Но даже этот широкий жест не смягчил твоего деда».

Фаня Либерзон была лучшей бабушкиной подругой.

– Фейга, уже слабая и больная, задыхавшаяся от того, что ей не хватало воздуха и любви, пришла в наш дом вся в слезах, но и нам не удалось переубедить этого упряма. И поэтому она до самой смерти продолжала таскать на себе ледяные блоки. – рассказала мне Фаня после того, как я надоедал ей несколько часов кряду, повсюду сопровождая ее молящим взглядом.

– А твой дружок Миркин был ее самым тяжелым куском льда, – добавила Фаня, поворачиваясь к своему мужу. Страдания и смерть бабушки Фейги не давали ей покоя и по сей день приводили в бешеную ярость.

Ворчливый ответ Элизера Либерзона я не сумел расслышать. Прижавшись к стене их дома, лицом к влажным щелям ставен, я видел только его движущиеся губы и ее прекрасную седую голову, лежащую у него на груди.

Дедушка не простил своего брата и никогда больше не встречался с ним. Лишь после его смерти я перевез кости Иосифа из Калифорнии в нашу Долину. Двое его сыновей из «Текстильной фабрики Миркин и Миркин» в Лос-Анджелесе прислали мне чек на девяносто тысяч долларов.

– Ваш отец был предатель-капиталист, – написал им Бускила на официальном бланке «Кладбища Пионеров», – но мы все равно даем вам скидку в десять процентов, потому что он был членом семьи.

Покойники прибывали в отмытых от земледельческой грязи грузовиках, на платформах, что волоклись за тракторами, в брюхах самолетов, в деревянных ящиках и в свинцовых гробах.

Иногда им устраивали гигантские похороны. Скопища людей, журналисты, потные ряды важных персон и бизнесменов. Бускила приветствовал их ненавистными мне угодливыми вилиниями. Они смотрели, как я рою могилу, прикрывались от дождя летевших снизу комков земли и всё требовали, чтобы Бускила поторопил своего работника.

Были и такие, которые прибывали в одиночку, сопровождаемые только багажной квитанцией и запиской, содержавшей надпись, которую они хотели видеть на своем памятнике. Были и такие, у могилы которых стояли лишь плачущий сын и разгневанная дочь. Были и такие, что приезжали еще при жизни, из последних сил ползли по полям, чтобы быть похороненными на «Кладбище Пионеров».

– С товарищами, – говорили они. – Возле Миркина, – просили. – В земле Долины.

Перед тем как их похоронить, я открывал гробы на складе возле офиса Бускилы и смотрел каждому в лицо. Я делал это из опасения, что меня попытаются перехитрить, потащив к нам незаконных покойников.

Мертвецы, которые прибывали из Америки, эти «предатели-капиталисты», были уже слегка подгнившими и, слушив с себя шелуху легкомысленного сибаритства, смотрели на меня остекленевшим взглядом, в котором застыло раскаяние, а из глаз у них сочились слезы. Старые дедушкины товарищи из поселений Долины выглядели очень спокойными, словно прилегли отдохнуть под деревом в поле. Я знал многих из них, всех тех, кто навешал дедушку или Зайцера. Когда я был еще ребенком, они, бывало, приходили поговорить или посоветоваться, держа в руках изъеденные червями ветки, старое письмо или лист, пораженный тлей. Других я знал из рассказов. Из того, что слышал, и из того, что додумал и соткал в своем воображении.

Дедушка принес меня к себе домой, сверток в одеяле, когда мне было два года. Он смыл с меня грязь и копоть и выковырял осколки стекла и занозы из моей кожи. Он растил меня, кормил меня и учил меня всем секретам дерева и плода.

Он рассказывал мне истории. Непрестанно – когда я ел, когда мотыжил, когда обрезал дикие побеги на стволах граната, когда спал.

– У моего сына Эфраима был маленький теленок, по имени Жан Вальжан. Эфраим вставал утром, брал Жана Вальжана на плечи и шел на прогулку, а в полдень возвращался. Так он делал каждый день. Я говорил ему: «Эфраим, так нельзя, теленок привыкнет и не захочет ходить ногами». Но Эфраим не слушался меня. Жан Вальжан рос и рос и стал огромным быком. Но Эфраим заупрямился – только на плечах... Такой вот он был, мой сын Эфраим.

– Где Эфраим?

– Никто не знает, Малыш.

Я ни разу не видел слез в его глазах, но в уголках его рта всегда таилась едва приметная дрожь. Много раз, в пору цветения деревьев или в особо хорошие дни, он рассказывал мне, каким красивым был мой дядя Эфраим.

– Еще когда он был совсем маленьким, птицы слетались и подсматривали в окно, чтобы увидеть, как он просыпается.

– А теперь я расскажу тебе о твоей маме. Открой рот, Барух... Твоя мама была необыкновенная девушка. Однажды, когда она была еще маленькой, она сидела возле дома на тротуаре и чистила ботинки для всей семьи. Мои, бабушки Фейги, и дяди Авраама, и дяди Эфраима, который тогда еще был дома. И вдруг... открой рот, Малыш... вдруг она видит змею, большую гадюку, которая медленно-медленно ползет на тротуар. Приближается к ней.

– И тогда?

– И тогда... еще один кусочек... что случилось тогда?

– Что?

– Твоя мама убежала?

Я знал эту историю наизусть.

– Нет!

– Твоя мама заплакала?

– Нет!

- Твоя мама упала в обморок?
- Нет!
- Правильно, Малыш! А теперь проглоти то, что ты держишь во рту... Мама не упала в обморок. Что же она сделала? Что сделала твоя мама?
- Сидела и не двигалась.
- Да. А гадюка тем временем медленно-медленно всползла на тротуар, стала шипеть и свистеть... вот так: пссс... пссс... – и приблизилась к маминной разутой ноге... И тогда мама подняла большую сапожную щетку и...
- Ба-бах!
- Прямо по голове змеи.
- Где мама?
- Сейчас ты у дедушки.
- А змея?
- Змея умерла.
- А папа?

Дедушка встал и погладил меня по голове.

- Ты будешь высокий, как твоя мама, и сильный, как твой папа.

Он показывал мне рассыпающиеся от старости цветы, которые засушила моя мать, когда была ученицей Пинеса. Он рассказывал мне о большой реке, «в сто и больше раз шире нашего маленького вад», о «воришках-цыганах», о несчастных немцах-колонистах²⁸, которые жили здесь до нас, но все их дети «пожелтели и дрожали, как цыплята» и умерли в лихорадке.

Его пальцы, привыкшие обматывать привой волокном рафии, выдерживать сорняки и гладить плоды, осторожно развязывают тесемки маленького передничка на моей груди. Он приподымает меня. Его усы скачут по моей шее, когда он выдыхает там и щекочет меня своим дыханием.

- Мой Малыш.
- А откуда приехала бабушка Фейга?

Бабушка Фейга тоже приехала из далекой страны. Она была много моложе моего дедушки, который тогда был уже умелым работником, не боялся никаких местных болезней и мог есть любую местную пищу, которую ставили перед ним. Он все еще много думал о Шуламит, которая досыта накормила его горечью, осталась в России и посылала ему оттуда письма. Раз в полгода к нам прибывали голубые конверты – когда с турецкой почтой, когда с северным ветром, а когда и просто в подклювных мешках пеликанов, которые приземлялись в Стране на своем пути в «жаркие страны».



Дедушка встретил бабушку уже в Стране, когда вместе с Элиезером Либерзоном и Циркиным-Мандолиной пришел на заработки в Зихрон-Яаков²⁹.

²⁸ Немцы-колонисты – немецкие христиане приезжали на Святую землю с середины XIX века.

²⁹ Город в 30 километрах к югу от Хайфы, на южных отрогах горы Кармель.

Пока эта буйная троица собиралась ужинать, горланя украинские песни, «чтобы позлить паразитов Барона³⁰», Фейга Левин и брат ее Шломо сидели в сторонке, прислушиваясь к своим пустым желудкам, которые угрожали отомстить им голодным обмороком. Молодые Левины вместе прибыли в Страну, арабские матросы высадили их на грязной пристани в Яффо, и оттуда они отправились кочевать, понукаемые зноем, голодом и дизентерией. Их изнеженный вид отпугивал работодателей. Шломо Левин снял очки, чтобы наниматели не подумали, будто имеют дело с «интеллигентом», но когда он, наконец, получил работу на одном из виноградников, то из-за близорукости не сумел отличить трехглазковую лозу от четырехглазковой и потому испортил целый ряд виноградных кустов, за что был немедленно изгнан из рая.

Они питались теми крохами, что уделяли им из своих горшков жалостливые люди: чечевицей в едком кунжутном масле, египетскими луковичками, порченными апельсинами, коричневыми полосками камардина.

Камардин был сахаром бедняков. Тонкие пласты растертой и высушенной мякоти абрикосов. Я катал это слово на языке, ощущая клейкий, сладковатый вкус его слогов. Шломо Левин рассказывал мне, как он ненавидел камардин.

– Зато это было дешево, – сказал он. – А у нас, у меня и у твоей бабушки, несчастной моей сестрички, совсем не было денег.

– Бедняки нуждаются в чем-нибудь сладком, потому что его вкус ближе всего к утешению, – объяснил он мне и снова наполнился гневом, припомнив, как деревенские парни украли весь шоколад, который был в его магазине, «хотя вполне могли просто купить его, тоже мне герои!»

В Реховоте Фейге удалось получить временную работу швеи, и однажды, когда она сидела на пустом ящике из-под апельсинов и латала чужую одежду, возле нее остановились несколько всадников. Худая и прямая женщина посмотрела на нее с высоты седла с барским недовольством.

– Почему ты не работаешь на земле? – сердито упрекнула она.

Фейга бросила иголки и нитки, расплакалась и убежала. Шломо побежал за ней.

– Знаешь, кто это? – спросил он ее. – Это сама Рахель Янаит!³¹

Десять лет спустя бабушка купила в соседней черкесской деревне нашу первую курицу. Она дала ей имя «Рахель Янаит» и с большим удовольствием попрекала ее за то, что та несла мелкие яички.

Голодные боли свили себе гнездо в сосудах Фейги. Она чувствовала, как

³⁰ *Барон* – прозвище легендарного барона Эдмона де Ротшильда (1845–1934), главного финансового покровителя еврейских поселений в Палестине в конце XIX – начале XX вв. В 1883 г. он взял под свое покровительство только что основанное поселение, переименовав его в Зихрон-Яков в память о своем отце.

³¹ *Рахель Янаит* (1886–1979) – лидер Рабочего движения, педагог и писательница, уроженка Украины, впоследствии – жена второго президента Израиля Ицхака Бен-Цви.

они ворочаются в ее сердце и как оно гонит их по всем ее жилам. В тот день они с братом чистили бочки в одном из винных погребов Зихрона, и бродильные пары врывались в ее пустой желудок с такой силой, что она чуть не потеряла сознание. Когда трое парней кончили свои песни и вытащили из сумок лепешки, маслины, круглые яйца, головки сыра и украденную на складе бутылку бренди, ее глаза затянуло влажным туманом. Они потеряли руки и приступили к еде, и тогда Циркин-Мандолина почувствовал взгляд девушки, прикованный к крошкам на его губах.

Циркин умел различать голод в глазах людей. Он повел в ее сторону шейкой своей мандолины, приглашая Фейгу в их компанию.

– Она выглядела, как запуганная птичка. Я улыбнулся ей одними глазами, как улыбаются детям.

Фейга отпустила братниин рукав и присоединилась к молодым людям.

– Она ела от их ломтя и пила из их чаши, – сказал Пинес на могиле бабушки.

Шломо Левину не понравилась эта шумная троица, она пугала его. «Они ели, как арабские грузчики, и пели, как русские хулиганы, – рассказывал он мне много позже в конторе своего магазина. – В то время как мы все разрывались меж тысячько идеологических направлений, у этих троих не было никаких идейных колебаний и душевных мук».

Он не поднимал глаз. Мы сидели в конторе деревенского магазина, и лучи солнца сверкали на бесчисленных пылинках, танцевавших возле окна. Левин разрезал ногтем большого пальца копиру для книжки квитанций кооператива. Я был еще мальчишкой и не все понимал, но не перебивал его своими вопросами. Подобно цветам пустыни в гербариях Пинеса, Левин раскрывался лишь раз в несколько лет, и ему нельзя было мешать.

– Она сразу же потянулась к ним, – прошептал он, и его синие пальцы мелко задрожали. – Как глупая бабочка к пламени своей смерти.

Левин был потрясен, увидев, как они грязными пальцами отламывают маленькие кусочки лепешек и сыра и кладут их в пересохший рот его сестры. Он хотел удержать ее подальше от этой компании, но Либерзон, Миркин и Циркин-Мандолина, прикончив свою бутылку, тем же вечером, по широте душевной, надумали основать Трудовую бригаду имени Фейги Левин – «чтобы развеселить твою бабушку, которая выглядела очень грустной». Они сочинили устав, разработали бюджет и сформулировали идейную платформу.

– Историки не приняли эту бригаду всерьез, – объяснял мне потом Мешулам Циркин. – Наверно, их смущало ее название. Серьезные ученые попросту боялись назвать научный труд словами Трудовая бригада имени Фейги, – он усмехнулся. – Зато среди пионеров она сразу стала легендой. Это была первая настоящая коммуна, единственная, где к женщине относились как к равной. Конечно, их устав был узко личным, но в нем было несколько важных организационных новшеств.

В нашем домике, под дедушкиной кроватью, стоял большой деревянный ящик. Я закрыл ставни и открыл крышку. Под вышитой женской блу-

зой, русской фуражкой и марлевым накомарником были спрятаны бумаги. Среди них была и та фотография.

Бабушка улыбалась мне. У нее были две черные косы и маленькие ладони. Она выглядела так, будто сейчас выпрыгнет из рамки. Я повернулся и увидел, что дедушка стоит за моей спиной и его бледное лицо сурово. Он присел рядом со мной, один за другим отлепил мои пальцы от фотографии, вернул ее на место и поднял конверт с другим снимком.

– Это Рылов, наш прославленный Страж³². – сказал он знакомым мне насмешливым тоном. Дедушка не питал симпатий к людям из «Ха-Шомера»³³. – Под этой арабской накидкой у него спрятаны сразу два маузера и французская полевая пушка в придачу. За ним – наша прославленная бездельница Роза Мункина, а те двое, что лежат впереди, – это Пинес и Боденкин.

Он расхаживал по комнате.

– На этих старых фотографиях, – сказал он, – всегда кто-то стоит, кто-то сидит, и двое лежат впереди, сдвинув головы и опираясь на локоть. Один из тех, кто стоит, и один из тех, кто лежит, всегда, в конце концов, покидали страну. А один из сидящих всегда умирал молодым.

Он наклонился, вытащил из ящика старый листок бумаги и рассмеялся.

– Вот, – сказал он. – Устав Трудовой бригады имени Фейги Левин.

Он поднялся и начал торжественно зачитывать: «Параграф первый. Трудовая бригада имени Фейги Левин будет держаться подальше от города и его дешевых соблазнов.

Параграф второй. Товарищ Фейга Левин будет варить. Товарищ Циркин будет мыть посуду. Товарищ Миркин будет искать работу, а товарищ Либерзон будет стирать и говорить.

Параграф третий. Товарищи Циркин, Либерзон и Миркин не будут делать никаких попыток в отношении товарища Фейги Левин.

Параграф четвертый. Товарищ Фейга Левин не будет пытаться...»

Дверь распахнулась, и Мешулам Циркин ворвался в комнату, безумно тряся головой.

– Дай это мне! – крикнул он. – Дай это мне, Миркин, прошу тебя, эта бумага должна быть в моем архиве!

– Иди-ка лучше помоги своему отцу, Мешулам, он сегодня возит сено, – сказал дедушка. – И побыстрее, пока Барух не взялся за тебя.

– Что бы о нем ни думать, – сказал Мешулам Циркин после смерти дедушки. – но Миркин был одним из самых почитаемых людей во всем Движении. Чего удивляться, что все эти бездельники готовы уплатить кучу денег, лишь бы их похоронили рядом с ним. Неплохое завешание он тебе оставил.

³² Здесь – член организации «Ха-Шомер».

³³ «Ха-Шомер» (букв. «страж») – первая организация еврейской самообороны в Эрец-Исраэль, действовавшая в 1909–1920 гг.: основана халушим из Второй алии. Члены организации участвовали в отражении нападений арабских погромщиков в Палестине в 1929 г., а также в сборе оружия и подготовке восстания против британских мандатных властей.

Подписав бумагу, трое парней склонились перед Фейгой в церемонном поклоне и спросили, не соизволит ли дама тоже присоединиться. Когда она поставила на документе свою подпись, Либерзон спросил: «А как насчет твоего брата?» Но Шломо Левин печально ответил, что пока еще не решил, «с каким идейным направлением он намерен связать свою судьбу».

– Если тебе так трудно решить этот вопрос, – сказал дедушка, – значит, ты вполне созрел для того, чтобы отправиться на очередной сионистский конгресс и произнести там основополагающую речь по этому поводу.

– Ты всегда можешь присоединиться к местному отделению Партии Учетчиков Дырок от Бублика, – сказал Циркин-Мандолина. До самой своей смерти он прибегал к этому выражению, когда хотел выразить презрение и насмешку.

Шломо Левин с отвращением поднялся и пошел к рабочему общежитию, но на следующее утро понял, что ему грозит остаться в одиночестве, и потащился вслед за Трудовой бригадой на юг, в виноградники Иудеи.

– Тогда еще не было больших дорог, не было автомобилей, у нас даже лошади не было, – рассказывал мне дедушка. – Всю дорогу мы шли пешком, а когда нужно было переходить болота, местные лягушки подсказывали нам, куда поставить ногу.

Левин тащился за ними несколько дней. Они казались ему трехглавым чудовищем. Циркин не переставал играть, и звуки его мандолины «чуть не продырявили мне череп». Миркин задерживал их на целые часы, созерцая медленный танец тычинок в цветках ююбы³⁴. Но хуже всех был Либерзон. По ночам он начинал низко и протяжно квакать и не умолкал до тех пор, пока на его теле не собирались жабы со всей округи. «Чтобы обменяться новостями», – доверительно объяснял он.

– Они просто неисправимые пустобрехи, – сказал Левин Фейге. – Они ничего не воспринимают всерьез. У них нет ничего святого.

Когда бы он ни рассказывал мне о своей покойной сестре, он то и дело снимал очки и протирал повлажневшие толстые линзы.

– Наш отец велел мне следить за тобой, – эти свои слова он декламировал наизусть, потому что много раз в жизни произносил их и вслух, и в своем воображении. – Оставь их немедленно, и идем со мной.

– Мне уже семнадцать лет, Шломо, – ответила Фейга, – и сейчас я нашла человека, с которым свяжу свою жизнь.

– Кого же? – спросил Левин, с тревогой глянув на трех одетых в лохмотья парней, которые с головокружительной быстротой обрабатывали мотыгами кусты винограда.

– Я еще не решила, – ответила она, – но нам придется решить. Это будет один из них.

– Они просто валяют дурака. Они заставят тебя варить им, чинить их носки и стирать их белье.

³⁴ Ююба – колючий кустарник семейства крушиновых.

– У нас есть устав, – сказала Фейга.
– Они превратят тебя в свою прислугу. Ты не первая девушка, которая вошла в Страну, чтобы пахать и сеять, а кончила в рабочей столовке.
– Но мне с ними весело, – сказала бабушка Фейга. – И они покажут мне нашу землю.

– И это правда, – выдавил Шломо Левин сквозь перехваченное горло. – Яков Миркин действительно показал ей нашу землю.

Сегодня, спустя многие годы после ее смерти, он уже простил дедушке прошлое, помогал ему по хозяйству и играл с ним в шашки. Но дважды в год, в день своего прибытия в Страну и в день смерти сестры, он приходил к ней на могилу «посидеть часок-другой и спокойно поненавидеть всех этих великих деятелей и делая».

Он брел за ними в поселения Иудеи, на рабочие фермы, в долину Иордана и Явниеля. Дедушка рассказывал мне, как они танцевали и голодали, осушали болота, пахали, ломали камень в каменоломнях и странствовали по Галилее и Хурану³⁵.

– У нас тогда не было Бускилы и Зиса, чтобы доставлять нам почту. И знаешь, как мы получали письма из России?

– Как?

– У Либерзона были друзья среди пеликанов. Они нам приносили.

Я недоверчиво открыл рот, и дедушка сунул в него жесткую зубную щетку, покрытую едкой пастой, и начал энергично скрести мои десны.

– Ты видел, какой клюв у пеликана?

– Аггха... – хрипел я.

– Клюв с мешком. А теперь прополощи рот. Пеликан брал почту в этот мешок и по дороге в Африку останавливался у нас и приносил нам письма и приветы.

Пинес категорически опровергал историю с пеликанами. «Изреэльская долина и прибрежная низменность совсем не лежат на пути полета пеликанов, – сказал он дедушке. – Зачем ты рассказываешь ребенку такие глупости?»

Но дедушка, Либерзон и Циркин не подчинялись законам природы Пинеса. Верхом на мотыгах проносились они над ядовито-зловонным дыханием болот, топорами пролагали себе путь сквозь джунгли удушливых камышей и пырея, и платье Фейги, точно легкое пахучее облачко, укрывало их лица тончайшими вуалями преданности. Я видел их – белые пятна над пустынной землей, летят, как семена крестовника³⁶. А под ними, внизу, бежит маленький Шломо Левин и кричит сестре немедленно спуститься.

– Ни один из них не осмелился протянуть руку к твоей бабушке. Они лишь непрерывно забавляли ее своими проделками и без конца смешили

³⁵ Хуран – область в северо-восточной части Израиля.

³⁶ Крестовник – сложноцветное растение. У крестовника белые хохолки семян, которые по созреванию в массе похожи на голову старого человека.

своими глупыми шутками. А их сладкая кровь защищала ее от всяких малярий и депрессий, – рассказывал мне Пинес.

Они швыряли камни из пращи, как пастушата, пели по-русски водяным птицам, которые прилетали осенью из устья Дона, и мылись только раз в две недели. Каждую ночь они танцевали босиком, а когда вставал день, шли пешком от одного края Страны до другого. «Они могли работать целую неделю и за все это время съесть всего пять апельсинов», – рассказывал я своему двоюродному брату Ури.

Но на Иоси и Ури, близнецов дяди Авраама, эти рассказы не произвели особого впечатления.

– Это еще что, – сказал Ури. – Они забыли тебе рассказать, как Либерзон бегал в ее честь голым по воде Кинерета, и как Циркин ночь напролет наигрывал на своей мандолине на берегу Цемаха³⁷, так что на заре три гигантских мушта³⁸, точно замороженные телята, вышли из воды прямо к ногам бабушки, подпрыгивая на своих колючих плавниках, и как наш дедушка пускал по воде плоские голыши, от одного берега озера до другого.

Для пущей надежности я спросил Мешулама, что он думает о словах Ури, но тот сказал, что не знает никакого письменного источника, который подтверждал бы эти легенды.

Мешулам никогда не умел отличать главное от второстепенного. Пинес объяснил мне, что такое случается с людьми, чья профессия – помнить чужие воспоминания. Его организованный по полочкам мозг не понимал порядка предпочтительности. Хожение Элиезера Либерзона по водам было для него явлением того же порядка, что покупка сионистским руководством земель в долине Иордана. Но я собственными глазами видел старого Либерзона, который, фырча и отдуваясь, плыл ночью в деревенском бассейне, доказывая своей жене Фане, что его тело еще сохранило свою молодую силу. А у Циркина пеницилляция была самая высокая и сочная во всей деревне, потому что по ночам старик ходил по своему полю, сверкая в темноте белой головой, и наигрывал нежным зеленым росткам на мандолине. Но про дедушку я не верил. Потому что дедушка все эти долгие годы был влюблен в свою «крымскую шлюху» Шуламит, которая изменяла ему, обманывала его, «спала со всеми царскими офицерами» и все эти годы оставалась в большевистской России.

– Но ведь он женился на бабушке Фейге, – сказал мне Ури, и его длинные ресницы коровы-первородки затрепетали, как трепетали всегда, когда он говорил о женщинах и о любви.

Ури я любил уже тогда, в детстве. Мы сидели на большом клеверном поле в ожидании Авраама и Иоси, которые косили люцерну для коров верхом на лошадях, тащивших за собой дребезжащую сенокосилку. Дедушка и Зайцер жгли в саду сорняки.

³⁷ Цемах – городок у южного берега озера Кинерет.

³⁸ Мушт – рыба, которая водится в Кинерете. Иначе – *белый мушт*, или *галилейский амнон*, или *рыба Св. Петра*.

– Это не имеет значения, – сказал я. Я знал, что он женился на ней, потому что так решило общее собрание членов Трудовой бригады. – У дедушки есть подруга в России, и она когда-нибудь к нему приедет.

– Она не приедет, – ответил Ури. – Она уже старая и спит со старыми генералами Красной армии.

Бабушка Фейга к тому времени давно умерла, а я, живший с дедушкой с двухлетнего возраста, видел, как он по ночам открывает свой ящик, в котором лежали голубые конверты, прибывшие из далекой страны – страны «бандита Мичурина», грязных «мужиков» и вероломной Шуламит. Потом он сидел и медленно, ничего не перечеркивая, писал ответы, которые не всегда отправлял. Однажды, когда он вышел утром в сад, я нашел на полу, среди урожая записок минувшей ночи, начатое им письмо.

Я не понял ни одной буквы. Они не были похожи на ивритские или на те, что на зеленом стекле нашего большого радиоприемника. Я тщательно перерисовал несколько слов на листок бумаги и взял с собой в школу.

На перемене я подошел к Пинесу, который пил чай с учителями.

– Яков, – спросил я, – ты знаешь эти буквы?

Пинес глянул, побледнел, побагровел, вывел меня за руку из учительской и порвал листок на мелкие кусочки. «Ты поступил некрасиво, Барух. Никогда больше не копайся в бумагах твоего дедушки».

Это был единственный раз, когда я обманул дедушку. Больше я никогда не заглядывал в его бумаги, разве что после его смерти.



– Твоя мать была большая озорница, этаким несостоявшийся мальчишка, оживший Том Сойер. Но сердце у нее было доброе.

Однако ее любви к мясу Пинес понять не мог.

– Она хорошо училась. Декламировала на память стихи Черниковского³⁹ и Лермонтова. И вдруг, прямо посреди урока, могла вынуть из своей матерчатой сумки кусок мяса и вцепиться в него зубами.

Не только учитель – вся деревня следила за вторым поколением взглядом, полным жадной надежды. Крепкие и быстрые, как дикари, они работали наравне со своими родителями. Но воздух Страны не сжигал их легкие, и тела их впитывали солнце, как меловые скалы.

Миркинские сироты выполняли все работы по хозяйству. С зарей Авраам будил брата и сестру, чтобы они еще до школы успели помочь ему на дойке. Ранним вечером они кончали жать люцерну, грузили ее на телегу и возвращались домой. Вилы воткнуты в покачивающуюся грудку зелени, мама и Эфраим ожесточенно дерутся наверху. Авраам, который уже тогда, по сути, сам управлял всем хозяйством, молча держит вожжи. Глубокие гнев-

³⁹ Черниковский, Шаул (1875–1943) – еврейский поэт и переводчик, один из основоположников новой поэзии на иврите.

ные борозды ящерицами ползут по его лбу, пока не исчезают, скрывшись в густых волосах.

Гибкие и подвижные, мама и ее брат извивались на люцерне, схватившись в обнимку, и орали от восторга и злости. За время пути они успевали несколько раз свалиться с телеги, но продолжали драться в пыли, на обочине. Их отец наблюдал за ними сквозь ветки сада.

– Эта девчонка куда опасней для кур, чем та дикая кошка, что живет в зарослях у источника, – сказал дедушка Зайцеру. – Если она и дальше будет поедать такое количество мяса, у нас скоро не останется ни одной курицы.

Мама принялась лазить по крышам и деревьям, чтобы наловить себе скворцов. Она заставляла Даниэля Либерзона сопровождать ее в охотничьих вылазках, и охваченный любовью мальчишка тащился за ней по полям, с обожанием глядя, как она извлекает птиц из своих ловушек. Перелетные перепела перестали садиться в наших полях, зайцы больше не заглядывали в наши огороды, и телята застывали от ужаса, когда она гладила их шеи.

Однажды она забралась вместе с Эфраимом на крышу деревенского склада для фуража, чтобы подстеречь голубей. Одна из досок проломилась под ее ногами. Она соскользнула вниз, но сумела ухватиться за водосточный желоб и повисла на руках на высоте шести метров над бетонной площадкой. Эфраим пытался втащить ее обратно, но не сумел.

– Держись крепко! – крикнул он. – Я побегу за Даниэлем!

Он исчез, а мама стиснула зубы и еще крепче ухватилась за желоб кончиками пальцев. И тут внизу появился Биньямин Шницер, молодой работник Рылова из немецких евреев, «йеке⁴⁰-недотепа», как его называли в деревне.

– Биньямин! – позвала девочка сквозь стиснутые зубы.

Биньямин поднял глаза и тут же смущенно их опустил; «потому что твоя мама была в широком, пузырем, платье и вдобавок дрыгала ногами», – рассказывал Ури со сверкающими глазами. Биньямин уже не раз становился жертвой проказ деревенской детворы и решил, что ему и на этот раз приготовить какую-то ловушку.

– Не отворачивайся, Биньямин, – сказала мама. – Все в порядке, можешь смотреть.

Он стоял прямо под ней и, когда снова поднял глаза, ощутил, как у него перехватывает горло от красоты ее ног, которые бились, точно теплые, живые языки в колоколе ее платья.

– Твой отец, Биньямин Шницер, приехал в Страну в тридцатые годы, вместе с группой молодых еврейских ребят из Мюнхена. Его послали в нашу деревню набраться сельскохозяйственного опыта и распределили в хозяйство Рылова.

Он был невысокий, светловолосый и очень сильный. Я смотрю на его фотографию в книге об истории нашей деревни, в разделе «Наши павшие».

⁴⁰ Полупрезрительное прозвище евреев – выходцев из Германии: символ дотошного в своей аккуратности и точности педантичного человека.

Отец, в синих рабочих штанах с острыми, отутюженными складками, в белой субботней майке, стоит подле своей времянки, на участке Рылова, под той пальмой, о которой Ури как-то сказал, что ее плоды, падая на землю, взрываются, как гранаты. Его лицо, с грубыми и одновременно детскими чертами, начинается сразу над покатыми плечами. Его глаза шуряют от солнца. Его руки похожи на мои – очень толстые и бесформенные: рука, запястье и ладонь переходят друг в друга, образуя один сплошной брус. Грудь широкая, выпуклая, как бочонок.

– Ты будешь высокий, как мать, и сильный, как отец, – всегда говорили мне, и, когда я вырос, все радовались, убедившись, что некоторые пророчества все-таки сбываются.

Биньямин расставил руки.

– Пусти свои руки! – сказал он. Его иврит был еще слаб.

Мама не решалась.

– Schnell, schnell, – сказал Биньямин. – Я готовый ловить.

Наши деревенские на глаз определяют точный вес теленка, по цвету луны предсказывают, куда подует завтрашний ветер, и по вкусу лука говорят, сколько азота в почве. Мама увидела спокойные глаза и широкие плечи молодого работника, разом отпустила руки и полетела вниз. Широкое платье взметнулось, закрыв ей лицо, а желудок взлетел к горлу. Глаза ее были плотно сжаты, и она почувствовала, будто качается в его могучих руках.

Биньямин крикнул под силой удара. Мама была девушка рослая и не такая уж воздушная, и он вынужден был упасть на колени и принять ее вес на грудь и на бедра. Ее перепуганное тело ударилось о его грудную клетку, обнажившийся живот часто задыхал от страха рядом с его щекой. Так близко, что даже я, сквозь все это время и слова, могу почувствовать тепло ее плоти.

– Теперь можешь меня отпустить, – сказала она и улыбнулась. Дыхание уже вернулось к ней, глаза открылись, но испуганные ногти все еще вонзались в его руки и плечи. – Ты большой молодец.

Мой отец смутился. Он никогда не был так близко к девичьему телу.

– Большое спасибо, Биньямин, – засмеялась она и, выскользнув из его рук, стала разглаживать платье, но в этот момент появились Эфраим и Даниэль, неся в руках высокую садовую лестницу.

– Эй, ты, йеке недоделанный, ты что это делаешь?! – в ярости крикнул Эфраим. Пятнадцати лет отроду, худой и легкий, он готов был броситься на здорового рыловского работника. Даниэль стоял потерянно и беспомощно, потрясенный и изжелта-бледный от ревности. Губы его дрожали.

– Он спас меня, – сказала Эстер. – Этот рыловский йеке-недотепа меня спас.

И опять мой отец услышал ее смех. И сладкий ветер скользнул по его лицу, когда мама, Эфраим и Даниэль Либерзон пробежали мимо и скрылись за углом.



Моему отцу было шестнадцать лет, когда он приехал в нашу деревню и был распределен в хозяйство Рылова.

«Он прибыл из Германии накануне великой войны, – написано в истории деревни в разделе "Наши павшие". – Вся его семья погибла в газовых печах, а он нашел свою смерть в нашей стране. Мы помним его старательность, вежливость и образованность. Мы помним, как он каждый вечер ходил на молочную ферму, насвистывая по пути целые симфонии, и улыбался каждому прохожему, хотя нес на коромысле четыре тяжелых бидона с молоком».

«Рыловский недотепа» таскал бидоны на себе, потому что не смог договориться с рыловскими лошаками. Четыре бидона, по тридцать пять килограммов в каждом, висели на железных цепях, прикрепленных к оглобле, которую он клал себе на плечи.

Долгие годы, проведенные в армии, а затем в деревне, ожесточили сердца рыловских лошаков. Сообразив, что перед ними парень простой и наивный, они принялись потешаться над ним, не давая запрячь себя для поездок. Они нарочно запутывали вожжи, гадили на оглобли и непрерывно забавляли друг друга, состязаясь, кто из них громче рыгнет или пукнет. Но отец был добросовестный парень, и даже если его тяжеловесная беспомощность порой сместила жителей деревни, его старательность и пунктуальность вызывали у них уважение. По сей день у нас вспоминают, как он однажды оставил Рылова в сточной канаве. Дебора, рыловская вспыльчивая молочная корова, ударила хозяина копытом по голове, и тот без сознания свалился в канаву. А мой отец, торопясь на молочную ферму, куда он всегда старался приходить точно вовремя, не стал его поднимать.

– Но я обязательно накрыл на него мешок, чтобы он не сделался совсем больной, – извинялся он потом перед рыловской Тоней.

В Германии он учился в техническом училище, и уже через месяц после появления в деревне спроектировал и построил в хозяйстве Рылова автоматическую поилку для телят, которая вызвала восхищение всей Долины. Он чистил коровник жесткой щеткой и раствором пиретрума и поставил там громкоговоритель, подведя к нему провода из своей временки.

– Даже рыловская Тоня и та признала, что Малер хорошо влияет на удой ее коров, – рассказывал мне Авраам в одной из тех редких бесед, которыми он меня удостаивал.

– Как-то раз я шел по дорожке, и вдруг звуки Бетховена, словно волшебными канатами, притянули меня к временке твоего отца. Я подошел и заглянул в окно. Он лежал на кровати, золотые кудри на лбу, как копна солом, и слушал музыку. У него был патефон, который ему прислали родители из Германии. Успели послать до того, как Гитлер их сжег.

Пинес постучал и вошел. Биньямин поднялся, клацнул каблуками и поклонился. В тот день в жизни отца произошли три события. Он был переименован из Биньямина Шницера в Биньямина Шенгара, получил первый частный урок иврита и одолжил Пинесу две пластинки.

– Твой отец учился старательно и увлеченно. И хотя он так и не научился свободно говорить на иврите, но абсолютно правильно означал огласовку⁴¹.

В деревне была тогда веселая группа молодых ребят, которые называли себя Бандой. Всё это были дети второго поколения, недавно достигшие совершеннолетия.

– Деревенские прощали им все их проделки, потому что это были новые евреи, дети нашей земли, свободные, распрямившиеся, с бронзовой кожей, – рассказывал Пинес. – По ночам они воровали сладости и кофе из магазина и оружие у англичан на соседнем аэродроме. Рылов иногда вооружал их бичами и посылал в поля прогонять арабский скот, который вытапывал нашу молодую пшеницу. Каждый год, на Шавуот, когда поднимали к небу новорожденных детишек и первые плоды, ребята из Банды устраивали представление – проносились перед всеми галопом, стоя на лошадиных спинах, словно украинские казаки.

Когда они украли весь шоколад в деревенском магазине, Шломо Левин пришел к Пинесу и потребовал разговора с глазу на глаз.

– Они сделали это мне назло, эти воришки, – сказал он. – Они презирают меня, потому что я не ковыряюсь в земле, как их родители.

– Они сделали это, потому что им хотелось шоколада. Потребность в сладком свойственна почти всем животным.

– Они никогда бы не украли у кого-нибудь из деревенских, – сказал Левин. – Если у них нет денег на шоколад, пусть едят камардин.

– Только на прошлой неделе они стащили две банки меда со склада у Маргулиса, – сказал Пинес.

– Точно так же ко мне относились в самом начале, когда я только приехал в Страну, – продолжал Левин, оглохнув от гнева. – Вы никогда не замечали и не ценили тех, кто занят обычным, неприметным трудом. Вы были поглощены своим великим спектаклем Освобождения и Возрождения. Каждая борозда была для вас «Возвращением к Почве», каждая курица неслала не просто яйца, а «Первые Яйца После Двухтысячелетнего Рассеяния», и простая картошка, которую мы ели в России, стала у вас называться «земляными яблоками»⁴², во имя Слияния с Природой. Вы фотографируетесь с ружьями и мотыгами, вы разговариваете с жабами и ослами, вы наряжаетесь, как арабы, и воображаете, будто способны летать по воздуху.

– Но это позволило нам выжить, – сказал Пинес.

Левин поднялся, бледнея от ненависти. «Между прочим, я тоже выжил, – сказал он. – Я мог бы уехать из Страны, но я не уехал. Я мог стать богатым торговцем в городе, но я пришел сюда. Ты воспитал их в духе презрения к таким, как я, и не повторяй мне, пожалуйста, свой вечный припев – ах, они мои грядки, ах, они мои саженцы, – ты ведь и сам не работаешь на земле.

⁴¹ *Огласовка* – система диакритических значков, указывающих произношение отсутствующих в иврите гласных.

⁴² *Земляные яблоки* – ивритское название картофеля.

Мы с тобой оба служим на общественной должности. Мы оба воображали, будто служим идее, а превратились в прислугу у кулаков. Вот они кто на самом деле, твои новые евреи, с этой их землей, и с их «семью плодами»⁴³, и с их коровами! А Гордон⁴⁴ и Бреннер, между прочим, писали вечными ручками, которые чинил им я.

Пинес пришел в ярость. «К нам не приходят из одолжения, – сказал он громче обычного. – И у нас не дают медаль за отказ от магазина в городе. Ты пришел сюда, потому что тебе эта земля была нужна не меньше, чем всем нам. Ее прикосновение, ее запах, ее обетование. Она нужна тебе больше, чем ты ей».

Но после того как Левин вышел, оскорбленно грохнув дверью, Пинес позвал ребят из Банды и задал им жестокую взбучку.

– Наша жизнь не сводится к сладостям. Кому нужны бисквиты и пирожные, тот может отправляться в город.

Банда ушла от него пристыженная и приговорила себя к перевоспитанию на трудовых работах, выразившихся в постройке большого ящика с песком для деревенского детского сада – этот ящик и поныне служит нашим малышам.

Мой дядя Эфраим был одним из членов Банды. Худошавый и красивый, стремительный и точный, как мангуста, он был главарем и заводилой всех их затей и проказ. Как-то раз они выбрали себе в жертву Биньямина. Их давно смешили его медленные, неуклюжие движения, а Эфраим ненавидел его и боялся с того самого дня, когда он спас мою мать.

В одну из суббот, когда Биньямин лежал, отдыхая, в своей времянке, они протолкнули к нему в окно маленькую гадюку и стали ждать, как развернутся события. Когда отец услышал шелест змеиных чешуек, он закричал от ужаса и выбежал наружу, под их ликующие крики. Он остановился напротив них, прищурив глаза от света вечернего солнца и от ярости, которая охватила его, когда он понял, что над ним смеются. Потом он молча подошел к Эфраиму, которому тогда было уже почти семнадцать, схватил его за широкий кожаный пояс и одним рывком поднял в воздух.

– Твой дядя Эфраим извивался, кричал и смеялся одновременно, но твой отец понес его во двор, держа одной левой рукой, и там швырнул – как тот был, в субботней одежде – прямиком в коровье корыто.

Банда встретила поступок Биньямина восторженной овацией. Все они тут же втиснулись в его времянку, и Эфраим ударил своей ороговевшей

⁴³ *Семь плодов* – семь видов плодов Земли Израиля, перечисленные в Библии: «Пшеница, ячмень, виноградные лозы, инжир и гранатовые деревья... масличные деревья и финиковый мед» (Втор. 8:8).

⁴⁴ *Гордон, Аарон Давид* (1856–1922) – один из основателей, идеолог и духовный руководитель халуцианского движения в сионизме. Его последователи определяли мировоззрение Гордона как «религию труда». Возвращение евреев к труду на земле должно было, по Гордону, завершиться появлением «нового еврея» и возрождением еврейского государства.

пяткой по затылку свернувшейся под стулом змеи. Потом они посадили Биньямина за стол и один за другим пытались пережать его руку. Когда он одолел их всех, они немедленно приняли его в свои ряды.

Он встречался с ними каждую пятницу, в конце недели – улыбчивый, застенчивый, медлительный и косноязычный. Они быстро научились использовать его технические способности. Время от времени они забирались в машину Песи Циркиной – она ездила тогда в простом сером «виллисе», полученном от «Машбира»⁴⁵, – и Биньямин заводил для них автомобиль без ключа, будучи уверен, что машина нужна им для перевозки оружия и важных военных сведений. Но по дороге они почему-то всегда сворачивали в кинотеатр в Хайфе.

Эфраим привязался к нему больше всех других и совершенно забыл ту свою давнюю неприязнь, которую ощутил, увидев запыхавшуюся и смеющуюся сестру в его объятиях. Несколько раз в неделю он приходил к нему во времянку послушать музыку, и мало-помалу они породнились душой. Как-то раз он увидел в сундуке у Биньямина немецкую одежду, которая показалась ему ужасно смешной. Он тут же напялил на себя кожаные тирольские брюки и темный фланелевый пиджак и побежал позабавить друзей. Потом он увидел на самом дне сундука длинное муслиновое платье.

– Что это? – спросил он и провел рукой по мягкой ткани. Во всей деревне не было ни одного предмета, ощущение от которого могло бы сравниться по гладкости с этой нежной, тонкой тканью – ни бархатные носы жеребят, ни лепестки цветущих яблонь. Он вдруг подумал о своей матери, и на глазах его выступили слезы.

– Это для свадьбы, – ответил Биньямин. – От моей мамы для моей свадьбы.

Он открыл кошелек и достал из него фотографию. «Папа, мама, Ханна, Сарра, – называл он, указывая пальцем. – Мама дала мне платье».

Мать Биньямина, светловолосая высокая женщина, сидела на стуле, ее дочери, обе в одинаковых платьях, стояли рядом. Отец, невысокий и худой, коротко стриженный, с солдатскими усами, стоял позади.

Эфраим, оставшийся без матери, и Биньямин, которому предстояло вскоре потерять всю семью, стали задушевными друзьями.

– Их голоса все еще звучат в моих ушах. Голоса двух моих учеников. Быстрый говорок Эфраима, басовитое, в нос, косноязычие Биньямина. Голос твоего пропавшего дяди. Голос твоего погибшего отца.



Однажды, поздней зимою, рыловская Тоня тайком пробиралась на пасеку Хаима Маргулиса. Полускрытая густыми рядами кормовой капусты и первым цветением фруктовых деревьев, она пересекла участки ближайших

⁴⁵ «Машбир» – сеть универсальных магазинов в Израиле.

соседей и тут увидела Эфраима и Биньямина, которые кружились в медленном вальсе среди валенсийских апельсинов. Вернувшись домой, она рассказала об этом мужу.

Рылов поспешил к дедушке. Его встревожили не возможные «отношения» между двумя парнями, а факт внедрения буржуазных танцев в ткань нашей трудовой и творческой жизни. Однако слух просочился, и в деревне начали поговаривать.

– Он просто учил меня танцевать, – оправдывался Эфраим, стоя перед семейным столом. – Я читаю ему стихи Пушкина и учу запрягать этих сдуревших рыловских лошаков, а он в обмен учит меня слушать музыку.

– Это не тот парень, который поймал Эстер, когда она упала с крыши? – спросил дедушка.

– Я не упала, – сказала мама. – Я спрыгнула ему в руки.

– Привел бы ты при случае своего Ионатана⁴⁶ к нам домой, чтобы мы могли с ним познакомиться, – предложил дедушка.

Ривка Пекер, дочь деревенского шорника, которая тогда только начала гулять с Авраамом, насмешливо выпятила толстые губы, а сам Авраам обозвал Эфраима и Биньямина Штраусом и Матильдой, за что был немедленно награжден мокрой селедкой, сунутой ему за шиворот под рубашку.

– Я пригласил его к нам на ужин в канун субботы, – объявил Эфраим на завтра. – Он ест все, что подают.

Авраам начал чихать уже за несколько минут до прихода Биньямина, и все заулыбались, поняв, что йеке несет букет нарциссов.

Моей маме было тогда восемнадцать лет. Она с детства готовила для всей осиротевшей семьи. Теперь она с любопытством рассматривала рыловского «недотепу», который умело управлялся с ножом и вилкой, но почему-то выронил собранные в вадии цветы прямо на белые носки, которые она надела специально к его приходу. Ее тело помнило силу его рук и теплое дыхание его рта на оголившемся животе. С того дня, как она упала с крыши в его объятия, они сталкивались много раз, но он всегда опускал глаза при встрече. От воспоминания о звонком раскачивании ее ног в колоколе платья у него мгновенно пересыхало во рту, и он боялся, что не сможет выдавить из перехваченного горла даже простое «Привет».

Биньямин знал, конечно, что Эстер – девушка Даниэля Либерзона, самого лучшего волейболиста в Долине, который постоянно сопровождал ее на танцах и был сыном того самого Элиезера Либерзона, что каждый месяц собирал всех молодых спортсменов деревни, чтобы обрушить на них очередную лекцию о великих целях и задачах Рабочего движения.

Он ел, низко наклонив голову и уставившись в тарелку, и глотал суп совершенно бесшумно. Казалось, он все время что-то обсуждает сам с собою, потому что сразу же после ужина он встал, как будто вдруг твердо решил.

⁴⁶ Ионатан – верный друг и постогаанный спутник царя Давида.

что такой случай может больше не представиться, и попросил у дедушки разрешения «погулять с Эстер».

– У нас об этом спрашивают у девушки, – сказал дедушка. Он посмотрел на Биньямина и на свою дочь. Увидев новую пару, он всякий раз задавался вопросом, когда и почему их любовь даст неприменную трещину.

Они вышли в поле, а Эфраим бесшумно шел за ними, словно на привязи, и видел, что они долго идут в полном молчании. Наконец Биньямин поднял глаза к небу и сказал низким, изменившимся голосом: «Много звезд».

– Море, – согласилась мама и положила руки ему на плечи. Она была намного выше ростом. – Скажи, Биньямин, – она заглянула в его глаза, – правда, что у вас колбасу любят больше, чем мясо?

– И в следующий четверг она попросила Эфраима пробраться на британский аэродром и стащить из кантины сосиски, потому что Биньямин опять придет к нам ужинать. А сейчас и ты кончай свой ужин, Малыш, и ничего не оставляй в тарелке.

Дедушка вздохнул. «Вот так началась любовь твоих родителей», – сказал он. Любовь босоногой девушки, «миркинской дикой козы», с ее длинными косами и длинными ногами, в карих глазах которой сверкали зеленые и желтые искры, и вежливого, неуклюжего, косноязычного молодого паренька из Баварии, чья золотоволосая голова едва достигала плеч любимой девушки. Вид тяжело шагающего Биньямина и прыгающей вокруг него Эстер забавлял всю деревню. Были, однако, и разговоры о том, что эти двое «не подходят» друг другу – как «в смысле физическом», так и вообще, в смысле отношений «дочери Миркина» с «каким-то немецким парнем, который не впитал высокие идеалы Движения прямо с материнским молоком».

У деревенских были и более практические соображения. Давно имея дело с коровами, они знали, что у любви есть также наследственная сторона, и перспектива скрестить дочь Миркина с сыном Либерзона возбуждала их воображение и надежды.

Даниэль с детства привык, что его отец и мать непрерывно обнимаются, не сводят глаз друг с друга и после обеда всегда торопятся выйти из-за стола, чтобы укрыться на полчаса для послеполуденных отдохновений, страстность которых никому в доме не давала заснуть и так пугала всю дворовую живность, что даже куры у них неслись реже обычного. И он то ли не хотел, то ли не мог опознать первые приметы угасания маминой любви.

– С ним случилось самое страшное, что может произойти с мужчиной, – сказал однажды Ури, когда мы разговаривали о моей матери. – Он потерял понимание и уверенность, а с ними – и всю свою привлекательность.

Даниэль был обречен пройти страдальческий путь всех отвергнутых влюбленных. Это было похоже на ампутацию. Когда он потерянно и печально шел к нашему дому, его провожали сочувственные взгляды. Поначалу он еще плакал и умолял, но потом окончательно умолк и только ночи напролет лежал в высокой траве напротив миркинской временки да высма-

тривал сквозь стебли, не мелькнет ли в освещенном окне любимый силуэт. Через несколько недель дедушка заметил, что трава по ту сторону улицы в одном месте растет особенно густо, как будто под протекающим краном. Ночью он пошел посмотреть, что это течет, и обнаружил там несчастного Даниэля, истекавшего беззвучными слезами.

– Так ты никогда ее не вернешь, – сказал я ему.

В конце концов Либерзон и Циркин решили сходить к старому другу Миркину и поговорить с ним с глазу на глаз. Однако, не успев еще выйти из дому, они столкнулись с неожиданным препятствием. Фаня Либерзон встала в дверях, загородила собою дорогу и напомнила им, что Трудовая бригада имени Фейги уже имеет на своем счету одно неразумное вмешательство в сердечные дела.

– Я вам не дам повторить историю с Фейгой, – решительно сказала Фаня. – Дайте ребятам помериться силами и предоставьте девочке выбрать самой. Мы не арабы и не какие-нибудь ортодоксы пейсатые⁴⁷, у которых родители решают, за кого выйти их дочери. И прошли уже те ваши времена, когда девушки выходили замуж согласно уставу и сердца разбивались по решению общего собрания.

Либерзон пришел в ярость. Рыловский недотепа не представлялся ему достойным конкурентом собственного сына.

– Разбазаривают на таких иммигрантские сертификаты...⁴⁸ – бормотал он, бережно извлекая жену из дверного проема и удерживая ее в руках, пока Циркин с опаской выбирался наружу. Но когда они заявили к Миркину, их встретили те же слова: «Мне очень нравится твой сын, – миролюбиво сказал дедушка Либерзону. – Но я не вижу никаких изъянов и в Биньямине. Он прилежный, работающий и честный парень, на него можно положиться, и мне сдается, что и девочка его любит».

Либерзон и Циркин попытались напомнить ему, что Даниэль любит Эстер с того времени, как ему исполнилось три недели, но тут дедушка вышел из себя и заявил, что не верит во все эти глупости. «В отличие от многого другого, что мы здесь наворотили, – писал он на одном из своих клочков, – любовь не имеет ничего общего с межевými кольями, с разделом владений и с прокладкой пограничных борозд».



Задолго до рождения Даниэля и покупки Хагит, в ту пору, когда Элиезер Либерзон был еще холостяком, у него была долговязая и тощая дамаскская корова с очень длинной шеей и длинными рогами. Отношения, сло-

⁴⁷ Светские называют пейсатыми (от слова *пейсы* – длинные локоны на висках) ультрарелигиозных евреев-ортодоксов.

⁴⁸ После утверждения британского мандата (1922) англичане приняли систему иммиграционных сертификатов, ограничивающую число потенциальных репатриантов.

жившиеся между хозяином и его животным, веселили всю деревню. Корова Либерзона не торопилась давать молоко, зато ела вдвое больше других коров, и ненависть Либерзона к этой прожорливой скотине выходила далеко за рамки обычного в крестьянских дворах. Он не называл ее иначе, чем «изверг рода рогатого». Корова, под грубыми ребрами которой скрывалось нежное и обидчивое сердце, чувствовала это отношение хозяина и отвечала ему той же монетой.

Однажды, когда Либерзон вернулся с поля в свою убогую времянку, он увидел, что его корова развалилась в комнате и «жует простыню, заедая ее статьей великого Борохова⁴⁹». На полу валялись остатки разбитого в щепки стола – единственного предмета мебели, который он себе приобрел и на котором и ел, и писал, и читал. Осознав всю силу хозяйского гнева, корова поняла, что на сей раз она пересекла тонкую границу между мольбой о внимании и насильственным домогательством оного. Она ужасно испугалась и бросилась бежать.

– И сбежала – вместе со всей моей стенкой, – жаловался друзьям Либерзон. Наутро он обмотал ее длинную шею веревкой и повел продавать в соседний кибуц, через вади. Там он встретил нового заведующего кибуцным коровником, который за несколько дней до того вернулся с курсов усовершенствования в голландском городе Утрехте, исполненный глубокого почтения к тамошним прославленным породам скота, и тотчас напугал этого заведующего до смерти, подробно расписав ему жуткие трудности акклиматизации северных коров в жаркой Стране Израиля.

– Они слишком избалованы, эти голландки, – объяснил ему Либерзон, – и легко становятся жертвами паразитов и депрессии.

– Я не могу взять на себя ответственность, – сказал заведующий коровником. – Это вопрос для общего собрания.

– Нет проблем! – небрежно сказал Либерзон. Общие собрания были в его руках, что глина в руке Творца.

– Эти голландки нуждаются в примеси местной крови, – решительно заявил он, выступая в переполненной кибуцной столовой. – Они внесут в ваше стадо молоконосность, а моя великолепная корова обеспечит им выносливость.

Кибуцники слушали его, как зачарованные. «И таким манером мы вместе создадим новую, еврейскую корову!» – воскликнул он под конец.

– Ну, и что теперь будет? – спросил Циркин, когда Либерзон вернулся из кибуца веселый и довольный и пришел к нему домой отведать каши из диких бобов. – Теперь тебе придется заняться земледелием, и всякий раз, когда тебе нужно будет отправляться в поле, твоя живность и птицы будут оставаться без всякого присмотра. Так нельзя. Негоже оставлять двор без хозяина. Тебе нужна жена.

⁴⁹ Борохов, Бер (1881–1917) – еврейский ученый и общественный деятель, один из идеологов и лидеров социалистического («пролетарского») сионизма, основатель Еврейской социал-демократической партии Поалей-Цион («Рабочие Сиона»).

До этого разговора Либерзон был убежденным холостяком. Теперь Циркин предложил ему свою Песю, заявив, что готов добавить еще двух коров в придачу. Однако Либерзон любезно отказался. «Потому что в сумме это составило бы три коровы, – заметил Ури, когда мы с ним выслушали эту историю, – а это уже многовато для одного холостяка».

Поскольку больше в деревне свободных девушек не было, Циркин с Либерзоном решили, что за неимением выхода придется возродить древнюю и славную традицию умыкания невесты из виноградника.

Они снова направились в кибуц. Близилась осень, и руководитель кибуцных работ послал нескольких девушек собрать остатки винограда, а заодно подобрать и те виноградины, которые высохли и превратились в изюм. Либерзон и Циркин вооружились мандолиной, коробкой с всякими вкусоностями и тарелками для еды и спрятались в винограднике, ожидая появления молодых сборщиц.

Мне пришлось очень долго приставать к Фане, прежде чем она рассказала мне о том, как развивались события дальше. Ее восхитительная снежно-белая голова покачивалась в такт воспоминаниям.

– Я услышала, что кто-то играет на краю виноградника, и пошла посмотреть. За последними кустами сидели двое парней. Один, которого я раньше никогда не видела, играл на мандолине, а второй был тот самый симпатичный молодой человек, который за несколько дней до этого обманом продал кибуцу свою корову. Он резал овощи для салата и пригласил меня присоединиться к их трапезе.

– Ты бы лучше шел отсюда, да побыстрее, – сказала Фаня Либерзону. – Наши говорят, что если они тебя поймают, то привяжут к рогам твоей коровы.

Либерзон пренебрежительно усмехнулся. Он заправил салат, нарезал буханку и сыр, и пока они с Фаней ели, Циркин кружил вокруг них, «как тот петух», повязав на шею красный цыганский платок и наигрывая «сладкие душещипательные мелодии». А потом Либерзон рассказал Фане о своей жизни, о своем хозяйстве, о Трудовой бригаде имени Фейги и о своих мучениях со злобредной коровой.

Фаня была на седьмом небе. В те дни Трудовая бригада уже исчезла за плотной завесой тайны и преклонения, и среди женщин Долины ходили легенды о Фейге Левин – первой женщине-пионерке, которая работала наравне с мужчинами и которую любили сразу трое парней, носившие ее на руках, спасавшие от болезни своей сладкой кровью и стиравшие ее белье.

Либерзон скромно признался, что он знаком с Фейгой Левин и не только варил для нее и принимал участие в стирке ее белья, но однажды был даже перевязан ее собственными руками и поглажен ее собственными пальчиками. Он показал Фане маленький рубец на нижней губе и сообщил ей, что именно сюда его поцеловала знаменитая Фейга. Увидев, что лицо Фани, как ему и хотелось, приняло задумчиво-мечтательное выражение, он тут же подал скрытный знак Циркину и затянул всем известную песню пионеров: «Буду пахать я и сеять с друзьями, только бы быть мне в Эрец-

Израэль...» Циркин подхватил, не переставая наигрывать на своей мандолине, и Фаня, не устояв перед соблазном, стала подпевать им обоим своим тонким, приятным голоском.

Сердце Либерзона подпрыгнуло от радости, но тут он допустил роковую ошибку, сообщив Фане, что в дни своей юности на Украине принадлежал к одному из знаменитых хасидских дворов⁵⁰. Выдумка эта всегда безотказно действовала на деревенских девушек в поселениях Иудей, но Фаня на дух не переносила всё, что было хоть как-то связано с религией, молитвами и заклинаниями, и, когда Либерзон начал струить ей в уши имена великих раввинов и чудотворцев, ее милое лицо исказила недовольная гримаса.

Либерзон, однако, не растерялся. Парни из Трудовой бригады умели, как парящие соколы, на полном лету поворачивать назад, не теряя при этом ни высоты, ни скорости полета. «А вообще-то, по правде говоря, я потомок пражского Голема⁵¹», – быстро нашелся он и заслужил одобрительный смех Фани.

Связь между смехом и любовью не составляла для него тайны. Он знал, что смех воспламеняет, возбуждает и размягчает женскую плоть, и немедленно нанес удар в ту же точку, с жестокой насмешкой отозвавшись о кибуцных коммунах, что больших, что малых, и об их принципе равенства вообще.

– Фанечка, сердце мое, – сказал он доверительно, – я тут случайно заглянул в ваш коммунарский общий душ и своими глазами убедился, что люди никак не рождаются равными.

Фаня залилась румянцем, снова засмеялась и даже закачалась всем телом от удовольствия. Сама того не замечая, она положила руку ему на колено. «Рассмеши меня еще», – попросила она.

Теперь уже Либерзон был уверен, что красавица-кибуцница станет его суженой и что с ней ему предстоят долгие годы любовных ухаживаний и испытаний. Он взял ее за руку и тут же на месте сделал ей предложение. И она прямо из виноградника пошла с ним в нашу деревню.

– Красивая история, и Элиезер Либерзон гений в таких делах, но на самом деле все было не так, – горячо возразил мой двоюродный брат Ури. – В виноградник отправился только Циркин. Он играл там среди кустов, и Фаня почувствовала, что должна пойти следом за этими звуками, потому что есть вещи, перед которыми ни одна женщина не может устоять. Циркин уходил все дальше и дальше от виноградника, потом соскользнул по склону холма, а Фаня продолжала идти и идти за ним. Так он довел ее до большого дуба, а за дубом она вдруг увидела Либерзона с мандолиной в руках. А Циркин потихоньку спрятался на дереве. Только после свадьбы она узнала, что Либерзон вообще не умеет играть на мандолине.

⁵⁰ *Хасидский двор* – община последователей цадика (праведника). круг его приближенных и последователей: зачастую называется по имени цадика или по названию местности, где он проживал.

⁵¹ *Голем* (букв. «неоформленное тело, болванка») – человекоподобное существо, созданное посредством магического акта, встречается во многих еврейских легендах, самой известной из которых является рассказ о создании Голема р. Иехудой Леви (махарелем) из Праги.

– Как раз в тот год, – со знанием дела сказал Мешулам, – Бен-Гурион заявил, что мошавники – не такие хорошие сионисты, как члены коммун и кибуцов, а Табенкин⁵² сказал, что коммуну и кибуц покидают одни только корыстолюбцы. Не нужно быть большим гением, чтобы понять связь между этими словами. Понятно, что авантюра моего отца и Элиезера Либерзона никак не помогла сближению двух главных видов нашего поселенчества.

Похищение Фани породило длительную вражду между нашей деревней и соседним кибуцом. Все наши совместные оросительные проекты были немедленно аннулированы. Отмечались случаи швыряния камней и рукоприкладства возле разделявшего нас вад. В юмористическом выпуске нашей деревенской газеты Фаню сравнили с Еленой Прекрасной, и некоторые люди заговорили даже, что великое дело возрождения земель Долины нельзя приносить в жертву плотскому вождению отдельных индивидов. Но все это не могло изменить того факта, что Элиезер и Фаня Либерзоны оказались самой счастливой и любящей парой, которую когда-либо видели эти земли. Либерзон и после свадьбы не перестал ухаживать за своей женой, непрестанно смешил и удивлял ее, и ее смех и удивленные, восторженные возгласы то и дело оглашали всю деревню. В те дни люди еще жили в палатках, личную жизнь отделяло от общественной одно лишь брезентовое полотнище, и все доподлинно знали, что происходит в каждой семье, – для этого не нужно было тайком пробираться к чужому дому и подслушивать под его окном.

– Прежде всего, постарайся ее рассмешить, – сказал Либерзон своему сыну. – Женщины любят, когда их смешат. Перед смехом они не могут устоять.

– Смех, – сказал Мандолина, – это как трубный звук для стен Иерихо⁵³, как волшебное заклинание для пещеры с сокровищами или как первый дождь для высохшей земли.

– Хорошо сказано, – одобрил Либерзон, удивленно поглядев на своего друга.

Но к этому времени Даниэль был уже весьма далек от всякой возможности кого бы то ни было рассмешить – чувство юмора было первой из рухнувших опор его любви.

– Цветы, стихи, музыка, – наставительно перечислил Циркин.

– Хватит, Циркин, – сказал Либерзон и повернулся к сыну. – Что она любит? – спросил он.

– Мясо, – стыдливо прошептал Даниэль.

Либерзон и Мандолина встали на кулинарную вахту. В те дни повсюду царила нужда и нехватка, и, тем не менее, Даниэль каждую ночь прокрадывался к дедушкиному дому с тарелками, накрытыми салфеткой. Запах жареных цыплят, запеченных бараньих ребрышек и говяжьего жаркого вы-

⁵² Табенкин, Ицхак (1887–1971) – лидер Рабочего движения, один из организаторов кибуцного движения.

⁵³ Древний город (в русской традиции – Иерихон), стены которого, по Библии, пали от звука труб армии Иисуса Навина; ныне – небольшой арабский город вблизи Мертвого моря.

зывать обильное отделение слюны у раздраженных соседей, которые злобно ворчали по поводу такого безумного расточительства, и властно привлекал к деревне кошек и шакалов со всей Долины. Эстер жадно поедала все, хохотала, обнимала Даниэля – и не переставала по ночам гулять с Биньямином.

Мой отец сделал для своей возлюбленной огромный гамак, подвесив старую пружинную кровать на железных цепях к двум казуаринам за временкой, и теперь их падающие иголки застревали в волосах Эстер. Тихое насвистывание Биньямина, их сдавленный смех и ее глубокие вздохи, когда он обнимал ее своими руками кузнеца, хорошо слышны были внутри временки.

Тоня Рылова, которую отказ Маргулиса сделал рьяной блюстительницей общественной морали, гневно сообщила дедушке, что его дочь и «этот новичок из Германии» ходят по деревенской улице, держась за руки у всех на глазах, а по ночам деревенские дети приходят к нему в сад подсматривать за ними.

В тот год дедушкин сад цвел, как никогда. Дедушка попросил Хаима Маргулиса поставить между деревьями несколько пчелиных ульев, и мед, собранный в саду, был почти красного цвета и такой сладкий, что обжигал рот. Большую часть дня дедушка проводил со своими деревьями, чьи даты цветения и запахи были точно рассчитаны от месяца шевет⁵⁴ до месяца нисан⁵⁵, и домой возвращался, шатаясь, опьянев от пыльцы и благоуханий. Авраам в ту пору уже взял на себя всю заботу о коровах, и дедушка мог теперь днями и ночами пропадать в своем приватном раю, вокруг которого он посадил тесный ряд кипарисов, чтобы они защитили его, когда подрастут, от зимних ветров, которые переваливались через голубую гору.

Первым взорвался белым цветением миндаль. Сладкий аромат его цветов наполнил воздух, тесня запахи ливня и грязи. Затем вспыхнула буйная розовость персиков. Их бутоны были темного, глубокого цвета, а раскрывшиеся цветки с их тонкими высокими тычинками – много светлее. Рядом с миндалем засияло нежное цветенье абрикосов, запах которых напоминал запах женщины. Потом к ним присоединились сливы, чьи маленькие цветки покрыли ветки густой бархатной белизной. Сразу после Пурим⁵⁶ расцвели яблони. Они были красновато-белыми, а их упительный запах был таким же сочным, как и их плоды. На Песах⁵⁷ настала очередь айвы, из которой Рахель и Шломо Левины делали варенье и повидло, и груш, с их белыми венчиками и фиолетовыми воронками, источающими винные пары. А когда земля совсем прогрелась и солнце окончательно завладело садом, наливая соком завязи на деревьях, дедуш-

⁵⁴ Один из зимних месяцев еврейского календаря.

⁵⁵ Один из весенних месяцев.

⁵⁶ Праздник в честь чудесного избавления евреев от угрозы уничтожения. приходится на конец февраля – начало марта, знаменует конец зимы.

⁵⁷ Весенний праздник (в русской традиции – *Пасха*) в память исхода евреев из Египта.

кины цитрусовые завершили годичный круг цветенья, накрыв сад и всю деревню тяжелой пеленой своих ароматов.

В этом саду, где порхали капустницы и голубянки, громко гремело радостное и дружное жужжанье пчел, а птицы с жуками в обмороке падали с ветвей на землю, я похоронил дедушку и его друзей. Но в те былые дни Эстер посадила там левкои, которые раскрывались по ночам, и туда она приводила Биньямина, и там она лежала с ним на влажных коврах опавших лепестков. Под утро она тихо пробиралась во времянку, держа сандалии в руках, но сильный, знакомый запах земли, груш и левкоев, испарявшийся с ее разгоряченной кожи, всегда будил ее отца.

– Он не помнил себя от счастья. Запах дочери – точно запах поля, благословенного Создателем.

– Какая красивая история! – сказала Фаня Либерзон. Ее волосы, так я себе представляю, были разбросаны по груди мужа, и бедро ее и тогда лежало поперек его живота. – Как мне ни жалко нашего бедного Даниэля, я рада, что во дворе Миркина появился, наконец, влюбленный до одурения мужчина.

И действительно, двор Миркиных впервые наполнился любовью. Они то и дело разыгрывали, дико крича, свою первую встречу. Эстер взбиралась по соломе на крышу сеновала и хваталась руками за центральную балку, а Биньямин становился внизу, глядя на нее, пока она дрыгала ногами.

– Не отпуска, пока не скажешь «Шнель, шнель!» – кричала она.

Авраам чистил коровник, уставившись в пол. У него темнело в глазах, и борозды на его лбу пульсировали от напряжения.

Однажды ночью, вернувшись с прогулки по полям, я снял ботинки, тихонько подошел к окну Ривки и Авраама и услышал, что тетя говорит о моей матери.

– Я помню как сегодня, – скрипел ее шершавый, как ящерица, голос. – Висит себе там на балке, под крышей сеновала. Ты не поднимал глаз, но поверь мне – на ней даже трусов не было.

– Я думаю, моя мама просто ей завидовала, – сказал Ури. – Отец никогда вот так не подсматривал ей под юбку и ни разу не фальшивил в ее честь так много оперных арий.



Весной из зимних убежищ выползали царицы осинового племени. Замёрзшие и слабые, они искали, где бы основать новые гнезда. Каждая из них за считанные недели производила на свет целые батальоны молодых разбойников-шершней. Летом их стремительные черно-белые туловища пронеслись в воздухе с грозным, как вой пилы, жужжаньем и хищно набрасывались на виноградные грозди, молочные бидоны и плодовые деревья, свирепо жалили людей и животных, уничтожали пчелиные ульи, пугали деревню. Деревенский Комитет платил детям по несколько мелких монет за каждого убитого шершня, и каждую весну Пинес выводил своих

учеников в поля и дворы отлавливать цариц, прежде чем они создадут новое поколение «грабителей-мидианитов»⁵⁸.

– С тяжелым сердцем призываю я вас убивать осиных маток, – поучал нас Пинес. – Не в наших обычаях убивать живые существа. Но полевая мышь, арабский шершень, корневая тля и гадюка – враги они нам вовеки.

В том году гадюки появились раньше обычного. Развернув на неярком солнце упругие кольца своих толстых тел, они терпеливо ждали босой ноги, полевой мыши, неосторожного копыта. Поутру люди обнаруживали их мягкие мертвые тела, свисающие с проволочных сеток птичников, потому что широкие гадючьи головы застревали в ячейках сетки, когда они пытались протиснуться внутрь, чтобы стащить яйца или цыплят. Биньямин, который смертельно боялся змей, теперь никогда не выходил в поле без длинной мотыги на плече и всегда надевал высокие ботинки.

– Моя дочь посмеивалась над ним. Она нарочно прыгала босиком по клеверу, а он кричал, чтобы она немедленно прекратила.

– Такой сильный парень, – говорила Эстер, – и такой трус.

Они сидели в поле и смотрели на британский аэродром.

– Я скраду самолет полететь к моему старому дому, – задумчиво произнес Биньямин.

– Когда моя мама была еще жива, – посвятила его Эстер в семейную тайну, – у нас была маленькая ослица. По ночам она распахивала свои большие уши, как крылья, и летала в Стамбул, чтобы встретиться с турецким султаном.

Она лежала на спине, и Биньямин посмотрел на нее с сомнением. Потом он с опаской посмотрел на жирную траву, стащил с себя рубашку и ботинки и с наслаждением растянулся рядом с нею. Минуты через две Эстер хлопнула его по животу и показала на большую гадюку толщиной с человеческую руку. Гадюка медленно ползла к ним. Эстер почувствовала, что тело Биньямина напряглось, и пот проступил из всех его пор.

– Не двигайся, – сказала она. – Если уж я тебя не съела, то эта тоже не съест.

Но змея приближалась, вынюхивая дорогу раздвоенным жалом. Эстер прижала Биньямина рукой, чтобы он не шевельнулся. Когда змея оказалась совсем близко к ее босой ноге, она подняла с травы тяжелый рабочий башмак и с размаху хлестнула ее по голове. Змея подпрыгнула и стала бешено метаться. Эстер била по ней снова и снова, пока не расплющила ее голову в лепешку.

– Какой ты глупый, – сказала она Биньямину. – Какой ты глупый и толстый. Убить змею это плевое дело. Эфраим однажды убил гадюку обувной щеткой.



⁵⁸ *Грабители-мидианиты* – полукочевые племена, упоминаемые в Библии. обитали в Занор-танье и в Негеве, на торговых путях из древнего Ханаана в Египет, занимались разведением скота и не гнушались грабежом караванов.

Под жарким весенним солнцем земля высохла и потрескалась, стебли злаков пожелтели, и молотилка «Маршалл» снова появилась на полях. Благословенным был тот год, «как будто земля хотела от нас искупительной жертвы». Биньямин приходил помогать нам, когда кончал свою работу у Рылова, и моя мать носила ему еду в поле, не переставала насмехаться над его белой кожей, которая покрывалась пузырями на солнце, пугала его сзади змеиным шипением, подставляла ему ножку среди снопов и боролась с ним в удушающей пыли половы, которая выбеливала их лица и одежду.

В доме Миркина готовились к двойной свадьбе – Биньямина с Эстер и Авраама с Ривкой. Никто не догадывался, какие хитроумные засады готовит нам время и какие зловонные клубы вызревают в тайниках его комковатых глубин. Смерть моих родителей, исчезновение Эфраима и Жана Вальжана, ужасный конец Зайцера, «Кладбище Пионеров» – все это не проступало даже крохотной тучкой на горизонте. Пинес и Циркин сочинили небольшое и смешное представление с музыкой, посвященное истории сеновала со времен Боаз и Рут⁵⁹ и до наших дней. Соседки вызвались приготовить угощение, а Комитет проследил, чтобы столы были расставлены в нужном порядке и покрыты чистыми скатертями.

Две хупы⁶⁰ были поставлены возле фигового дерева и оливы в «миркинском саду». Со всей страны собрались дедушкины и бабушкины друзья. Они весело обнимались и громко топали ногами, вминая податливую землю. Их пальцы были давно уже скрючены от мотыги и коровьих сосков, многие облысели, и все они вынимали очки из карманов белоснежных рубаш, когда хотели прочесть приглашение.

– Плечи – плечи, которые держат на себе целый народ, – уже слегка согнулись, – сказал Элиезер Либерзон, – но огонь – огонь в глазах – все еще горит.

Вожди Движения явились тоже. «Когда Трудовая бригада имени Фейги в один день женит сына и выдает замуж дочь, даже бездельники, которые вместо работы ездили на конгрессы, понимали, что им лучше появиться на этом празднике».

Первые сыновья со всей Страны тоже пришли на свадьбу Миркиных. Они стояли отдельной группой, и это было волнующее зрелище. Среди них были командиры и учителя, секретари кибуцов и мошавов, избиратели новых сельскохозяйственных машин и мыслители, «и у всех был одинаковый чистый взгляд и гордо выпрямленная спина», как сказал Пинес.

Серьезный, пытливый, молчаливый и сдержанный, в синих штанах и белой рубаше, стоял мой дядя под балдахином своей хупы. Все смотрели на

⁵⁹ Боаз и Рут – герои библейской Книги Рут, где рассказывается, что женщина Рут из страны Моав после смерти мужа-еврея вернулась со свекровью в Бейт-Лехем (Вифлеем) и пришла собирать колосья на поле Боаз, родственника мужа, который отнесся к ней благосклонно, узнав о ее преданности свекрови. По совету последней Рут пошла на сеновал, где спал Боаз, и легла у его ног. История кончается счастливым браком Боаз и Рут.

⁶⁰ *Хупа* – традиционный еврейский свадебный балдахин, под которым происходит венчание.

него и вспоминали слова Либерзона: «Он, как косточка маслины, которая может годами лежать в своей кожце, пока не прорвется и прорастет». Гости двойной свадьбы смотрели на Авраама, выискивая следы того обетования, что еще не свершилось. Ривка, дочь шорника Танхума Пекера, стояла рядом с ним. Облако зависти к свадебному платью Эстер омрачало ее лицо. Ее отец, принявший внутрь почтенную емкость, расхаживал среди собравшихся, сверкая скрипучими, резко пахнущими сапогами, и с тоской вспоминал разнузданные оргии российских кавалерийских офицеров и тех молодых поварих и служанок, с которыми он развлекался в кладовках и чуланах, на грудах копченых окороков и бутылок в соломенной оплетке. Его колени были полусогнуты, как у кавалериста, он цокал губами армейским лошадям, которых только он один здесь и помнил, и лицо его багровело от гордости и тоски.

Под вторым балдахинном стояла смеющаяся Эстер. Она то и дело кружилась на месте, и тогда ее баварское свадебное платье взметалось вверх, как блюдо, наполненное белой пеной. Далеко оттуда, в эвкалиптовой роще, меж влажными высокими стволами, ползал Даниэль Либерзон, не помня себя от боли. Горло его уже пересохло от рыданий, и оттуда вырывались только хрипы. За неделю до этого он получил от Комитета задание вспахать участок в несколько тысяч дунамов⁶¹. Циркин и Либерзон решили использовать этот случай для невиданной последней атаки. По их указанию Даниэль пропахал на сжатом поле имя своей возлюбленной. Буквы имени «Эстер», размером километр на километр, прочерченные сочным цветом коричневой борозды, резко выступали на соломенно-желтом фоне стерни. Но люди, стоящие на земле, не имеют достаточной высоты зрения, и потому они не могли различить отчаянные борозды любви Даниэля. Никто не обратил на них внимания, кроме разве что нескольких британских пилотов, которым довелось пролетать над этим полем, «но эти не знали иврита».

– А отец?

– Биньямин всем улыбался, но молчал, потому что его отец и мать не удостоились побывать на свадьбе своего сына.

– А когда церемония и представление закончились, было расчищено место для свадебного танца двух пар, и тогда Циркин ударил по струнам, и твой отец и мой сын Эфраим в обнимку вступили в круг и протанцевали вальс. Тоня Рылова чуть не лопнула, а вся деревня валялась на земле от смеха.

– А потом?

– Началась следующая война, малыш, и Эфраим ушел.



Дедушка чуял, что беда близка, и привел Эфраима в сад, надеясь увлечь его своими новыми замыслами. Смотри, вот груши и яблоки, объяснял он

⁶¹ Дунам – единица площади. одна десятая гектара.

ему, как много лет спустя объяснял и мне. Они вырастают чаще всего на специальных веточках. Вот эти короткие отростки дают плоды год за годом, и их нельзя ни за что срезать. А рядом с ними, показывал он, поднимаются ветки высокие и прямые, которые растут очень быстро, но дают редкие, считанные плоды. Специалисты считают, что эти бесплодные ветви лучше отсекают. Но их можно сохранить, только отогнуть от ствола наружу, а затем изогнуть и привязать конец тонким шпагатом к основанию, так что они станут похожи на натянутый лук. В деревне все изумлялись, сколько плодов приносят потом такие привязанные ветви. «Он придумал это еще в свои первые годы в Стране, – с восхищением рассказывал мне Пинес. – Он открыл, что можно обуздать и запрячь в работу не только лошадей и людей, но и плодовые деревья».

Несколько лет спустя, когда в деревню пожаловал объездной инструктор по садоводству и стал взволнованно учить мошавников сгибанию ветвей по «американскому методу Колдуэлла», ему сказали, что у нас этот метод применяют давным-давно, разве что не называют его разными напыщенными именами. Более того, по методу Миркина согнутым ветвям время от времени дают ненадолго распрямиться, и эта доброжелательная поправка еще больше увеличивает их плодородность.

Но Эфраима не интересовали плодовые деревья. Он был так напряжен, что трепет то и дело пробегал по его телу, как дрожь по коже породистой лошади. Каждый вечер он приходил во времянку Биньямина и Эстер, где висела большая карта, и они старательно передвигали по ней флажки и булавки.

Из деревни один за другим исчезали мобилизованные мужчины. Первыми ушли деревенские кузнецы, братья Гольдманы. С самого основания деревни они подковывали наших рабочих лошадей и так закаляли наконецники кирок и острия лемехов, что те никогда не ломались. «Как Яхин и Боаз⁶², стояли они над огнем: багровое пламя отсвечивает на груди, *"левая рука протянута к тискам, правая к молоту труженика"*».

– Как-то раз мы с Зайцером зашли в кузницу, – рассказывал дедушка, – а братьев-кузнецов там уже не было. Угли в печи остыли и подернулись пеплом, меха молчали, даже дыма не было – и только два громадных молота все еще летали в воздухе над наковальней.

Потом ушел Даниэль Либерзон, и после войны остался в Европе с отрядами мстителей⁶³. Он писал Эстер сухие, яростные письма и никогда не упоминал в них моего отца. Но ненависть к нему и желание уничтожить всех на свете золотоволосых блондинов так и сквозили ледяным ветром меж его строк и деяний.

⁶² Два массивных столба у входа в построенный царем Соломоном Первый Иерусалимский Храм.

⁶³ *Отряды мстителей* – группы еврейских партизан и спасшихся из лагерей уничтожения евреев, создавшие после второй мировой войны на территории Германии подпольные отряды мщения, охотившиеся за нацистами.

Биньямин сидел теперь по ночам с Рыловым и новыми, незнакомыми людьми, которые стали появляться в деревне, выдавая себя то за специалистов по удобрениям, то за торговцев птицей. Они готовили тайные склады оружия и дистанционные взрыватели, собирали минометы из оросительных труб и согласовывали звуки своих тайных ночных переключек, «которые доводили до безумия сов и сверчков Долины».

В воздухе сгушалась тревога. Война была далеко, но по ночам и в тихие осенние послеполуденные часы люди вдруг замолкали и оборачивались на север или в сторону запада, будто им виделось или слышалось что-то издадека. «Кровь наших далеких братьев зывала издадека».

Эфраим снова и снова упрашивал дедушку, чтобы тот разрешил ему записаться в армию, но дедушка даже слышать об этом не хотел.

– Парень в твоём возрасте может и дома сделать для общего дела все, что он должен сделать. Туда ты не отправишься.

– Мой прекрасный отрок, пастухом в чужих полях, – написал он на клочке бумаги, вырванном из тетрадки.

Эфраим работал с отцом в саду, но лицо его оставалось замкнутым и напряженным. Точно одержимый, он молча сгибал и подвязывал ветки. Пинес, который по одному лишь виду и поведению животных без труда распознавал близость их очередного кочеванья, снова и снова предупреждал дедушку о нависшей угрозе.

– Я не могу посадить его на цепь, – сказал дедушка.

– Не своди с него глаз, – упрашивал Пинес.

– А разве нас кому-нибудь удалось остановить? – спросил дедушка. – Разве твой отец обрадовался, когда ты поднялся, ушел из дому и уехал в Ерец-Израэль?

За ужином он смотрел на сына, который жадно хрустел овощным салатом, разглядывал его тонкие и сильные запястья, присматривался к зеленым глазам, уставившимся в пустоту, и понимал, что его мальчик уже расправил крылья.

После еды Эфраим вдруг поднялся и сказал, что хочет сходить в поле – проверить оросительные вентили.

– Счастливо, сынок, – сказал дедушка.

– Я скоро вернусь, – откликнулся Эфраим и исчез.

Неделю спустя его тяжелый велосипед «Геркулес» нашли прикрепленным к забору британского армейского лагеря в Сарафанде. Сам он уже стоял в это время на палубе военного корабля, который направлялся в Шотландию. Эфраим не перегибался через борт, но белые нити пены и мелкие брызги соли все равно ударяли ему в лицо. Его бесшумные ноги уже были обуты в грубые армейские ботинки, но как бы громко ни топал он по трясущейся железной палубе, его шаги заглушались шипеньем разрезаемой судном воды.



По ночам я слышу, как шумит и пенится море, что стелется за окнами моей белой темницы, и думаю обо всех тех звуках, которые не прерываются никогда. Тех, которые не слышны, если в них не вслушаться. Ветер, гуляющий в кронах казуарин, далекое постукивание поливалок, болтливое бульканье источника, мерное чавканье коров, потрескивание досок пола. Пинес объяснил мне секрет бесшумной походки Эфраима. «Он вовсе не ходил беззвучно – просто он умел ступать так, что звуки его шагов сливались с постоянным шумом природы».

– Он был одним из немногих палестинских евреев, которые служили в рядах британских коммандос, – сказал мне Мешулам, когда Эфраим уже стал воспоминанием, в которое многие предпочитали не верить, чтобы не нести в душе его тяжесть. Он полез в ящик из-под апельсинов с надписью «Наши Сыновья на Войне» и достал оттуда пожелтевшие бумаги и конверты.

– Всего в армию записались пятьдесят три человека, из них двое пожилых, тридцать восемь парней из второго поколения и тринадцать девушек. А также четыре парня и две девушки из семей общественных служащих. Шестнадцать из них не вернулись. У меня здесь хранятся письма некоторых солдат к своим родным, но нет ни одного письма Эфраима, потому что твоя семья упорно отказывается передать их в «Музей Первопроходцев»...

Когда Мешулам говорил «твоя семья», он подразумевал только меня одного. Дедушка уже умер, Иоси был в армии, Ури работал на тракторах своего дяди в Галилее, перетаскивал кучи земли и укреплял песчаные откосы. Авраам и Ривка готовились отбыть на Карибские острова руководить большой фермой, и все наше хозяйство оставалось на мне, прибавляясь и разрастаясь вокруг дедушкиного надгробья.

– Я не хочу быть похороненным вместе с ними, – наказывал он мне снова и снова. – Они выгнали Эфраима из деревни. Похорони меня на моей земле.

Какой наглостью нужно обладать, чтобы после этого всего просить у меня письма Эфраима для своего идиотского музея, подумал я.

– Я отомщу им в их самом больном месте, – в последние годы жизни дедушка повторял эту фразу как грозное заклинание. – В их земле.

В моих руках его месть обрела желанную форму. Тело старого заклинателя деревьев отравило деревенскую землю и вывернуло наизнанку мечту отцов-основателей. Могилы на участке Якова Миркина горели в теле деревни, как разверстые гнойники насмешки и укора. Пауки плели свои густые воронки на новейших доильных автоматах Авраама. По бетонным стенам коровника расползались уродливые шрамы мхов и лишайников, стирая с них последние воспоминания об удоях и приплоде. Осы-строительницы возвели в щелях сеновала огромные гнезда из глины и обрывков бумаги.

Запустение царило повсюду, но деньги текли не переставая. В опустевшем коровнике росла куча мешков с банкнотами, и мое могильное поле расцветало все новыми надгробьями. Точно гигантский клин, вколоченный в Землю, мое «Кладбище Пионеров» остановило привычное течение вре-

мени, взорвало все правила и обычаи, разрушило кругооборот природы и бросило вызов сезонам года.

Через два месяца от Эфраима начали приходить первые вести. Он писал короткие, неинтересные открытки. Иногда я перечитываю их. Маневры по высадке с амфибий под огнем противника. Тренировочные подъемы по скалам. Тот парень из Новой Зеландии, что «с большим интересом расспрашивал о наших породах дойных коров», утонул при форсировании реки в лагере Ахнакари под городом по имени Инвернесс. Я катаю во рту эти странные звуки, пробую на вкус чужую жизнь. Марш-броски с полной выкладкой, курс саперного дела в Обане. Он прислал фотографию, сделанную во время увольнения в город. В шотландской юбке («кильт», написал он), смешная шапочка из леопардовой шкуры, мохнатый жезл в руке. Он благодарил Рахель за то, что она научила его бесшумной походке.

– Коммандос Его Величества понятия не имеют об искусстве ходить тихо, – писал он. – Они шагают шумно, как дикобразы в наших камышах.

Его застукали, извещал он, когда он с ножом в руке крался за одним из королевских оленей в заповеднике Ван Крипсдейл. Ему вкатили неделю гауптвахты и оштрафовали на сорок фунтов стерлингов. Потом его наградили Знаком Отличия за рейд в Дьеппе – там он в рукопашной схватке уничтожил немецкий артиллерийский расчет, который причинял большие потери отряду коммандос лорда Ловета. Его письма я читаю себе вслух, потому что именно так, на слух, я привык узнавать историю нашей семьи. «Дьепп, – произношу я. – Дьепп, Крипсдейл, Ловет», – и непривычные слова заставляют воздух идти непривычными путями в полостях моего рта и горла.

Время шло. Солнце, поднимаясь каждое утро, первым делом освещало окопы солдат в России, лицо Шуламита в Крыму, будило Шифриса где-то на его нескончаемом пути, затем заливало своим блеском нашу Долину, могилу бабушки Фейги, соломенную шляпу дедушки, гневные борозды на лбу Авраама, мою мать и отца, и только тогда поднималось над Эфраимом в его западных краях. Так оно вставало и заходило, а когда прошел еще месяц, дедушка получил сообщение, что его сын ранен в бою за гряды Эль-Гитар в Тунисе.

После этого от него не было писем целых шесть месяцев кряду. Дедушка сходил с ума от тревоги. Однажды ночью они с Зайцером прошли через деревенские поля и взобрались на голубую гору, откуда можно было увидеть море.

Точно могучая стена, высилась эта гора между нами и городом, морем, соблазном и суетой. Каждый год глаза всей деревни обращались к ней, изучая облака, что стекали меж ее ребристыми уступами, набухая и насыщаясь влагой перед великим странствием над нашими полями. «Облака рождаются от горь», – рассказывал мне дедушка, когда я был маленьким. Мы шли с ним по полю в ожидании дождя, и я, как дедушка, тоже складывал руку козырьком над глазами. Он крошил землю в пальцах и то и дело переводил взгляд на гору.

– Как-то раз, когда случилась сильная засуха, мы отправились на гору

поглядеть, что стряслось с облаками. Мы пошли туда всей бригадой – Циркин, Либерзон, бабушка Фейга и я. Весь день мы ползли по скалам и ключкам, пока не добрались до вершины, и всю ночь бродили и искали Пешеру Дождя, пока не услышали, как облака ворочаются там внутри, ворчат и громыхают. У входа в пещеру лежал большой камень, и облака не могли выйти. Мы начали отваливать этот камень. Ать-два, ать-два, изо всей силы. Мы тянули снаружи, а облака толкали камень изнутри, пока он не отвалился, и все облака разом вырвались из пещеры. А Циркин, тот даже ухитрился запрыгнуть на одно облако и спустился вместе с дождем прямо к своему дому.

Они долго стояли там, глядя на море, но потом Зайцер закашлялся, потому что почуял далекий запах дыма и взрывов, а дедушка стиснул голову руками, потому что увидел далекое зарево над полями сражений и услышал вопли, которые неслись по воде, точно плоские камешки, подпрыгивая на волнах.

Рано утром, когда они вернулись домой, в деревню вкатился английский автомобиль. Дети помчались к Рылову предупредить его, что приехал майор Стоувз и нужно немедленно замаскировать вход в сточный колодец. Майор Стоувз, высокий, прихрамывающий англичанин, тоже был ранен в Северной Африке и переброшен оттуда, вместе со своим мундиром и черной палкой, к нам, в Палестину. Он вышел из автомобиля, проковылял к задней дверце, открыл ее и отдал честь. Эфраим вернулся домой.

В мягких желтых ботинках разведчиков пустыни, украшенный нашивкой с крылатым кинжалом, знаками отличия и лентами сержанта английской армии, с пожизненной пенсией от правительства Его Величества в кармане, Эфраим вышел из машины и улыбнулся окружившим его людям.

Жуткий крик, вызванный его видом, деревня помнила еще долгие годы. Рты распахнулись, словно захлебнувшись в рвотной судороге ужаса и отвращения. Все, кто поспешил сюда с зеленеющих полей, из цветущих садов, из коровников и птичников, все стояли сейчас перед ним и вопили. Жена ветеринара, с которой Эфраим перед уходом в армию переспал несколько раз, выла целых полторы минуты «без передышки». Дети, которых он учил бросать нож и запускать воздушного змея, кричали тонкими испуганными голосами. Яков Пинес выскочил из здания школы и тяжело побежал навстречу своему ученику, но, приблизившись к нему, вдруг остановился, точно налетел на невидимую стену, закрыл глаза и заревел, как бык на бойне. Коровы, телята, кони и куры подняли испуганную разноголосицу.

Фосфорная мина итальянской армии, «армии макаронщиков», как называл ее Ури, превратила красивое лицо моего дяди в горелое месиво кожи и мяса, которое отливало «...ну, как бы мне описать тебе этот ужас, Малыш?.. Как раздавленный ногою гранат, всеми оттенками красного, фиолетового и желтого. Хорошо, что ты не помнишь его».

Один глаз моего дяди был вырван из глазницы, нос сместился, губы исчезли, глубокий, извилистый, багровый разрез тянулся по диагонали через

все лицо, от лба до горла, исчезая за воротником рубашки, рваная сожженная кожа свисала с лицевых костей. Сквозь эту изувеченную плоть сверкал одинокий зеленый глаз – свидетельство героических усилий врачей вернуть ему человеческое подобие.

Эфраим, красота которого привлекала любопытствующих со всей Долины и заставляла потрясенных птиц спускаться с небес к нашей деревне, превратился в страшное чудовище, на которое никто не осмеливался поднять глаза. От страха люди прижались друг к другу, «вся деревня стояла и кричала».

Жуткая улыбка медленно сползла с его лица. Он повернулся, будто хотел вернуться в машину и снова исчезнуть, и майор Стоувз, негромко выругавшись, уже приоткрыл было заднюю дверцу. Но тут толпа расступилась, потому что Биньямин пропахал себе дорогу плечом, точно твердым лемехом плуга. Он прорезал толпу, добрался до шурина, посмотрел на него, не моргнув глазом, а потом обнял своими сильными руками и поцеловал в то перемолотое, сверкающее мясо, которое когда-то было его щекой.

Иврит моего отца к тому времени сильно улучшился. «Слава Богу, ты вернулся, Эфраим», – сказал он и повел его домой сквозь молчание, затопившее улицу.

На ужин Эфраим попросил «домашний овощной салат» и даже объяснил Эстер, как его приготовить. Голос его был слабый и скрипучий, потому что взрыв задел также голосовые связки.

– Сначала нарежь лук и слегка посоли его, потом помидоры и тоже слегка посоли. Зеленые перцы и огурцы – в самом конце. Перемешай хорошенько, добавь немного черного перца, лимона и масла, снова перемешай и дай ему чуть подышать.

Два года подряд, сказал Эфраим, он мечтал об этом салате, который «не умеют готовить нигде в мире».

Он сунул полную ложку салата куда-то себе в лицо, где должен был находиться рот, и глубоко вздохнул от наслаждения, а когда это жуткая маска стала складываться и передвигаться в жевательных движениях – каждый кусок плоти отдельно, как тысячи раздавленных зерен граната, – Авраам взорвался громкими рыданиями и выскочил из-за стола. Но Биньямин сказал: «Он забыл закрыть поливалку на люцерне», – и спокойно продолжал беседовать с Эфраимом о войне, о немецких автоматах, о генерале по имени Роммель, о тренировках коммандос и о британских знаках отличия.

– Я не мог вымолвить ни слова, – рассказывал мне дедушка. – Они изуродовали моего красивого мальчика, а перед сном он сказал мне: «Спокойной ночи, отец» – и тут же отвернулся, чтобы мне не пришлось обнимать или целовать его.

– Каждый недоцелованный поцелуй возвращается, чтобы впитаться в сердце, – прочел я написанное на одном из клочков.

Всю ночь Эфраим ходил по двору, и его неслышные шаги никому не давали уснуть. Наутро пришел Биньямин, сел с ним за стол, и они вместе на-

чертили план на большом листе бумаги. Потом Биньямин попросил помощи у Зайцера. Они втроем отправились с телегой через поля, к британской военной базе, где их уже ждали хромой майор Стоувз, два худых и молчаливых шотландских офицера из командос, которые обняли Эфраима, и кладовщик-индус, который быстро и часто задышал, увидев знаки отличия на его груди. Назад следом за ними ехал военный грузовик, нагруженный опалубкой, песком, мешками с цементом и щебнем. Двое шотландцев, Биньямин и Эфраим сняли рубашки и начали копать во дворе, возле коровника, яму под фундамент. На этом фундаменте они построили кирпичный домик. Его дверь и окна были обращены не к дому, а к полям и коровнику.

Биньямин протянул к домику воду и электричество, построил великолепную печь для нагрева комнаты и воды для мытья и укрепил на окнах коричневые деревянные ставни, которые прижимались к стенам медными гномиками. Позже время окислило медь, и мутные полосы зеленых слез вечно стекали с них на штукатурку.

Эфраим вошел в свою комнату и заперся там.

– Я кружил возле стен, от которых шел свежий и сырой запах штукатурки и побелки, и ждал, когда мой сын выйдет оттуда. Твоя мама ставила еду у двери и умоляла своего брата показаться. Но Эфраим не выходил.

Пинес пришел, постучался в дверь и сказал, что хочет повидаться со своим учеником.

– Ты тоже кричал, когда увидел меня, – проскрипел Эфраим из комнаты и не вышел.

– Я всего лишь человек, – сказал я ему. – Никто не знал, что ты так ужасно ранен. Открой, Эфраим. Открой старому учителю, который хочет попросить у тебя прощения.

Но Эфраим не открыл.



Дедушка и Пинес рассказывали мне о Эфраиме десятки раз, словно просили моего прощения.

Биньямин приходил к нему каждый вечер. Несколько недель спустя он сказал, что Эфраиму стоило бы выходить по ночам – немного поработать в коровнике.

– Коровы тоже шарахаются от меня, – ответил дядя.

Но Биньямин сказал, что если Эфраим не заставит себя работать, то он снова схватит его одной рукой за пояс и вытащит наружу.

– Только ночью, – сказал Эфраим, выходя из комнаты.

– Каждый вечер в половине десятого я видел полоску света из открывающейся двери и тень от ног моего сына, которые направлялись в коровник. Он чистил навоз, мыл бидоны и раскладывал по кормушкам смесь для утренней дойки.

Дедушка лежал, точно парализованный, на кровати в своей временке и

прислушивался к дребезжанию тачки с навозом, поднимающейся по наклонным железным рельсам, к скрежету лопаты в навозной канаве и к тихому мычанию коров, которые толпились в загоне, украдкой поглядывая на его сына и грустно перешептываясь. Он прислушивался, и сердце его «разрывалось на кусочки».

На четвертую ночь Яков Миркин поднялся с кровати и направился к коровнику. Он встал в темноте у стены и позвал сына.

– Не входи, отец, – прошептал Эфраим скрипучим голосом. – Не входи в коровник.

– Я вхожу, – ответил Яков Миркин и шагнул внутрь.

Эфраим едва успел накрыть голову пустым мешком и тут же почувствовал руку отца на своем плече. Яков Миркин целовал грубую джутовую ткань, и кусочки коровьего корма крошились на его зубах и таили в его рту, смешиваясь со слюной и слезами. Потом он осторожно снял мешок с головы сына. Из своего угла в коровнике старый Зайцер видел их обоих, но притворялся, будто спит.

– На следующий день я пошел к Маргулису, попросил у него старую маску пасечника и принес ее сыну, чтобы он мог выйти и ходить среди людей.

Красота Эфраима стала забытой тенью, неясным, вылинявшим наброском, который всплывал лишь перед закрытыми глазами тех немногих, кто хотел припомнить. Жизнь людей стала тяжелее, потому что не было больше этого прекрасного лица, на которое можно было время от времени поглядеть.

– В жизни деревни, – объяснял мне Пинес, – в жизни, подчиненной законам земли и погоды, подвластной наследственным капризам животных и выученным правилам людей, лицо Эфраима сияло, как снежная прохлада в жаркий день жатвы, как отдых для усталого, как озеро в пустыне.

Только теперь мошавники начали понимать, чего их лишили, и их отчуждение от него становилось все непримиримей и глубже.

Раз в неделю дядя гладил свои армейские брюки и пешком отправлялся через поля на британский аэродром, чтобы потолковать с майором Стоувзом и двумя молчаливыми шотландцами и выпить пива с английскими и индусскими артиллеристами, которые базировались там. Иногда он шел напрямую через поля и, только пройдя апельсиновые рощи, позволял себе снять маску – к великому удивлению пчел, которые с любопытством его сопровождали. А иногда командир базы посылал за ним машину.

– Твой сын слишком много времени проводит с англичанами, – сказал Рылов.

– Деревня отвернулась от Эфраима. Но англичане умеют уважать своих героев, – резко ответил дедушка.

– Эти индусы привыкли у себя дома ко всяким чудовищам, – сказала Ривка.

В той самой кантине, откуда он раньше воровал мясные консервы, Эф-

раим пил теперь пиво, ел сосиски и покупал вафли для коров. Дядя Авраам негромко жаловался, что от вафель у коров появляются глисты, но Эфраим стал коровьим любимцем. Вся деревня обсуждала его дружбу с англичанами. Пересуды подогревались и тем, что Эфраим наотрез отказался участвовать в отряде обороны деревни. Все его друзья из Банды служили в Пальмахе⁶⁴, но Эфраим даже им не хотел преподавать уроки подрывной техники, снайперской стрельбы, ориентировки на местности и любого другого военного ремесла, которому его научили в армии.

– Много о себе воображает! – ворчал Рылов, который знал, что Эфраим был хорошо знаком со всеми приемами и методами «малой войны».

– Не хочу пугать бедняг, – сказал Эфраим.

В тот день, когда закончилась та война, и Ури, Иоси и я уже шевелились в животах наших матерей, к нам во двор въехала британская военная машина. В ней сидели майор Стоувз, двое сухопарых шотландцев, на этот раз в гражданской одежде, и рыжий сержант со знаками различия коммандос и с золотистыми завитками волос на руках. В их движениях сквозила бесшумная сноровка людей ночи. Они выгрузили из «лендровера» ящик, в котором позвякивали пивные бутылки и жестяные коробки сигарет «Плейерс», втащили его в комнату Эфраима и просидели у него целую ночь. Рылов доложил деревенскому Комитету, что ему почти ничего не удалось расслышать, поскольку коммандос общались, в основном, своими условными перемигиваниями и вдохами-выдохами, но, когда они вышли оттуда, пьяные в доску, сержант на прощанье проорал: «А корову ты получишь месяца через два...»



Подобно дедушке, я тоже пью чай, черпая отраду для души из горькой маслины, что у меня во рту, и высасывая силу из сахарного кубика, что спрятан у меня между пальцев. Подобно ему, я подолгу стою, уставившись вдаль, высматривая, не возвращаются ли Эфраим и его Жан Вальжан, не идет ли Шифрис. С крыши своего большого дома я озираю просторы моря и вижу прыгающие по волнам белые лодки, расчески, сунутые за резинки плавков на ляжках худощавых, подтянутых мужчин, и мускулистых женщин, что, припав на одно колено, направляют паруса своих досок далекими бедрами, меж тем как их коротко стриженные волосы топорщатся на ветру.

Как-то раз прибой швырнул одну из этих женщин на прибрежные скалы, и я положил бинокль, поспешил к ней, взвалил на плечо, подхватил подмышку ее доску с парусом и вытащил их на песок. Там я ее и оставил. Потом, с крыши дома, я видел, как она встает, озирается и удивленно всматривается в капли своей крови и линию моих следов, впечатанных в мокрый песок.

⁶⁴ *Пальмах* – ударная часть Армии обороны Израиля, ставшая романтическим символом «евреев с оружием» первого поколения евреев – уроженцев страны, составивших основу этих подразделений.

Так стоял мой дедушка на крыше сеновала, так он стоял на веранде дома престарелых. Стоял и смотрел на Долину. Ждал возвращения Эфраима.



Корова была подарком друзей Эфраима по британской армии, которые после войны рассеялись по всему миру. Это была беременная первотелка весьма родовой и ценной породы «шароле». Основные деньги на ее приобретение пожертвовал сержант из подразделения Эфраима, вернувшийся в алмазные копи своей семьи в Родезии. Двое секретных агентов-шотландцев передали деньги бывшему члену «маки», который теперь занимался ремонтом гоночных мотоциклов в Дижоне, а тот купил корову у старой крестьянки в провинции Шароле и передал шотландцам. Из Дижона они перевели ее по горным перевалам в один из портовых городов Средиземноморья, а потом британский флот перевез ее в Страну Израиля на сером миноносце, который отслеживал корабли, везущие нелегальных еврейских репатриантов в Палестину.

Эфраим надел свою форму и ордена и отправился в порт.

– Он вернулся на армейском грузовике «бедфорд» вместе с тем хромым офицером, майором Стоувзом. Корова, все еще зеленая от долгого плаванья, стояла в решетчатом ящике.

Вся деревня вышла на дорогу, чтобы посмотреть на нее. Она была первым представителем своей породы в Стране Израиля. Вместе с ней, в плоской шкапулке орехового дерева, высланной зеленым войлоком, прибыли ее документы – в рамочке и с печатью французского министерства сельского хозяйства.

– Мы первый раз видели такую корову. Низкая, широкозадая, битком набитая чувством собственного достоинства и генами такой чистоты, которая людям и не снилась. Я посмотрел на нее и впервые понял слова Ирмиягу⁶⁵, который назвал Египет «*красавицей-телицей*».

– Наша Кроткая, – сказал Пинес, – та замечательная первотелка Якоби, которая в тот год получила третье место на сельскохозяйственной выставке в Хайфе, выглядела рядом с ней, как сморщенный винный бурдюк гаванонитов.

– Она издавала нежный запах говядины, и моя дочь Эстер посмотрела на нее таким голодным взглядом, что все рассмеялись.

Полтора месяца спустя корова Эфраима принесла великолепного теленка породы «шароле». «Ничего подобного в наших местах никогда не выдвали». Роды принимали наш ветеринар и британский районный специалист, который отвечал за собак и лошадей окружной полиции.

– Она вела себя совершенно героически, – сказали они, сняв резиновые перчатки и отмыв руки от крови и кала. Породистая корова родила в укромном углу коровника, не издав ни единого стога, – не то, что наши коровы

⁶⁵ Библейский пророк (в русской традиции – *Иеремия*).

смешанной породы, которые во время родов мычали так, будто их ведут на убой, призывая всех своих товарок подойти и присмотреться.

Эфраим с волнением глянул на новорожденного теленка, впервые вставшего на свои четыре ноги, и пришел в неистовый восторг. Толстая шея и квадратный лоб теленка, его массивные ноги и мягкие завитушки светлых волос – всё вызывало в нем умиление. Он стал на колени, положил руку на тяжелый затылок теленка и снял с лица сетчатую маску, а теленок протянул к нему шершавый язык, лизнул обожженное мясо его щек и попытался сосать его изувеченные ухо и нос. Он еще спотыкался, когда пытался идти. Его мать стояла в стороне и сердито храпела, зарывая копытом послед.

– Это было началом их необыкновенной дружбы, – рассказывал мне Авраам, который был большим знатоком рогатого скота.

– Эфраим обнял теленка, – сказал Пинес, – и вдруг, поддавшись внезапному и смущенному желанию, поднял его на руки, как кормилица несет младенца, вышел с ним во двор и пошел в поле.

– И так он шел, твой дядя Эфраим, неся на плечах эти сладчайшие сорок килограммов и про себя уже решив, что назовет своего маленького француза Жан Вальжан.

Дедушка развязал передник на моей шее, поднял меня со стула, посадил на плечи и начал кружиться и прыгать по комнате. «Теленок положил свою теплую курчавую голову в углубление хозяйской шеи и тихо сопел, – дедушка поскреб пальцами мой затылок, и со двора донеслось громкое мычание обезумевшей коровы, которая ищет своего теленка. – Эфраим радостно и весело прыгал и кружил по полю, пока в воздухе не повеяло вечерней прохладой, и тогда он вернул Жана Вальжана его матери, чтобы она его покормила».

О чудном теленке толковала вся деревня. Через два дня британский ветеринар вернулся, чтобы снова осмотреть его и продезинфицировать пуповину. Вместе с нашим ветеринаром он проинструктировал Эфраима, как выращивать теленка.

Каждый день Эфраим гулял с Жаном Вальжаном во дворе или в саду и каждую ночь возвращался к нему, когда кончал чистить коровник, чтобы проверить, жив ли он и здоров, суха ли и достаточно толста его соломенная подстилка и не сожрал ли его лютый зверь. Потом он ложился сам, его единственный глаз сверкал в темноте, а сердце было переполнено счастьем. Биньямин подсмеивался над ним и называл Минотавром, но Эфраим не обижался и говорил, что только этот маленький симпатичный теленок никогда не видел его до ранения и поэтому принимает его таким, как он есть.

Когда Жану Вальжану исполнился месяц, дядя положил его на плечи и впервые после своего возвращения вышел на деревенскую улицу.

– Я иду показать ему деревню, – объявил он своим скрипучим голосом.

Его встретили удивленные взгляды, но Эфраим лишь проскрипел из-под маски, что показывает своему теленку место, где ему предстоит расти. «Нашу деревню». Люди шли за ним, смущенно улыбаясь, гладили Жана

Вальжана и трогали его очаровательные ноги. Кое-кто улыбнулся Эфраиму и поздоровался с ним, и в его сердце проснулась надежда. Теперь его отношения с деревней пойдут на поправку, решил он, и когда Хаим Маргулис пришел к нему и попросил помочь в деликатном деле уничтожения Булгакова, Эфраим охотно согласился.



Булгаковым назывался любимый толстый кот Ривы Маргулис, который одичал и превратился в самого страшного убийцу в нашей округе.

– Кот Маргулисов был единственным хищником, который убивал из удовольствия, а не от голода, – сказал Пинес, посвятив памяти Булгакова один из своих уроков природоведения. – Это результат дурного влияния людей.

Он объяснил нам, что это был одичавший убийца, «которому была чужда лесная мораль».

То был очаровательный, серебристый, длинноволосый персидский кот, который в один прекрасный день выпрыгнул из автобуса, приходившего в деревню раз в сутки. Прямо с остановки он направился к дому Маргулиса, как будто жил там всю свою жизнь. Великолепный кот вошел в дом, потерся о ноги Ривы Маргулис, и они оба зажмурились от удовольствия. Рива Маргулис никогда в жизни не видела такого красивого животного. Булгаков мягким прыжком взлетел на стол, лизнул молоко и с улыбкой обозрел ряды баночек, стоявших на подоконнике. Даже годы спустя Рива готова была поклясться, что слышала собственными ушами, как он вслух прочел все этикетки: «Мед из люцерны», «Мед из роши», «Мед из помелло»⁶⁶.

Гость постучал полированным когтем по банке с надписью «Мед из кормовых трав», требуя открыть ее для пробы, и, когда он кончил чистить усы и свернулся на Ривиных коленях, она мечтательно вспомнила о том ящике с приданым, что послали ей родители из Киева, – о толстых коврах, которые были конфискованы у нее Комитетом и обменены на голландских коров и ручные пулеметы, и о лиможском фарфоре и штойбенских бокалах, которые были перебиты в пшеничном поле, где их осколки до сих пор сверкали каждую осень, когда лемеха переворачивали землю.

Персидский кот вошел в дом Маргулиса ровно через двадцать лет после того, как был разбит последний из этих бокалов. «Единственный кот в Долине, который не хотел пить молоко с пенкой». Рива была уверена, что его тоже прислали ее родители. Она назвала его Булгаков по имени молодого русского любителя кошек, с которым она когда-то познакомилась в Доме писателей в Киеве.

– Можешь вылить на меня целый улей меда, – сказала она мужу, – но этот кот будет принадлежать мне. А не всей деревне. Он не будет пахать и не будет таскать телеги, и его не будут доить.

⁶⁶ Китайский грейпфрут – апельсиноподобный фрукт, род цитрусовых.

Она повязала ему на шею пурпурную ленту, насыпала ему в деревянный ящик тонкий белый песок, а в обед великолепное животное уже ело вместе со всеми остальными членами семьи.

Назавтра Рива взяла его с собой в магазин.

– Ты делаешь большую ошибку, Рива, – сказала ей Фаня Либерзон, разливив отвращение на лице кота при виде жалкого ассортимента на магазинных полках. – Этот кот не создан для такой деревни. Кто-то здесь будет страдать – или он, или мы.

Но Рива ласкала Булгакова и чувствовала, как его мягкая шерсть возвращает гладкость ее загрубевшим ладоням и превращает пыльный сеновал ее мужа в украинскую усадьбу, уютную золотым плющом.

Маргулис не возражал. «Пусть только держится подальше от ульев и не притрагивается к моим итальянкам».

Рива была совершенно помешана на чистоте, и Булгаков был единственным из членов семьи Маргулис, которому было разрешено входить даже в закрытые комнаты и лежать на зачехленной мебели. И как только кот закутывался в покрывало на диване, все пылинки тотчас оседали и исчезали, в воздухе распространялся тонкий запах лесных ягод в сметане и слышались шаркающие шаги служанок в коридоре. Он не приближался к ульям, ни разу не пошел на сеновал охотиться за мышами, не лазил по деревьям, и, когда на него набросилась одна из собак Рылова, не убежал, а поднял свою большую лапу, поднес к глазам, как будто изучая, и один за другим выбросил острые когти, точно череду стремительных молний.

Так он прожил три года, а потом, однажды ночью, гуляя по деревенским садам с брезгливым барским выражением на лице, случайно забрел в кусты, что росли у источника, и встретил там диких кошек, филинов и мангустов. Никто не знает, что там произошло, но с тех пор его образ жизни резко изменился. Прежде всего он перестал мяукать и начал выть хрипло и громко, как уличные коты; затем утратил все свои церемонные манеры и стал нетерпеливым, резким и злобным. Все заметили, что он изменился, но никто и представить себе не мог, чем это кончится. Как обычно у нас в деревне, никто не давал себе труда расшифровать явные знаки. А ведь уже были у нас собаки, которые выли с шакалами, дети земледельцев, которые сбежали в города, беглые телята, которые пытались присоединиться к водяным буйволам. «А вершиной всего была почтовая голубка Рылова, которая вздумала вдруг переселиться к диким скальным голубям на их горные утесы и выдала им все наши военные тайны», – сказал Ури. Но никто не предполагал, что то же самое произойдет с Булгаковым.

Его великолепная длинная шерсть укоротилась до вздыбленной, злой щетины, на ушах торчали теперь пучки черной шерсти, как у дикого каракала, и, в конце концов, он насовсем ушел из дома и переселился в поля, оставив в доме изумленного Маргулиса и потрясенную Риву.

Рива ходила его искать, разбрасывала по полю куски жареной печенки, расставляла там и сям его любимые блюда из сметаны, выкладывала кучки

чистого песка – и все впустую. Иногда она видела, как он проносится, словно тень, меж деревьями сада. Однажды она бросилась за ним, умоляя вернуться, но Булгаков обернулся к ней, угрожающе встопорщил усы и зашипел. Удушливый запах желудочного сока и гнилого мяса вырвался из его глотки. Она вернулась домой в слезах и всю ночь чистила ручки дверей наждачным порошком и лимонным соком.

Страсть к убийству ради убийства побуждала Булгакова оставлять в деревянных курятниках сотни окровавленных трупиков с порванной глоткой. Как все вернувшиеся к вере отцов неопиты, он с ярым усердием соблюдал заповеди своей новой жизни. Куры, обычно поднимавшие безумный гам при малейшей опасности, так боялись Булгакова, что тотчас немели, когда его очаровательная клыкастая морда появлялась за сеткой курятника. Он уничтожал целые выводки анконских цыплят, причем своим бывшим хозяевам причинил больше вреда, чем всем остальным, – как будто сознательно мстил им за что-то. Его пытались загнать в западню или в засаду, но это ни разу не удавалось. Пригласили даже дружеского охотника из горного села, но дьявольский кот прыгнул ему на затылок и в клочья порвал на нем рубашку и шапку, и тот вернулся домой весь бледный, шепча молитвы.

Маргулис в отчаянии решил обратиться к Рылову, и тот позвал на помощь двух своих старых соратников по «Ха-Шомеру» из Галилеи. Но на кота не произвели впечатления их потертые арабские бурнусы, кавалерийские сапоги, маузеры и тайные пароли, брошенные ему в морду. Он был увертлив и хитер, знал человеческие обычаи, игнорировал отравленное мясо, избегал ловушек и двигался тихо, как облако.

– Я уверен, что какая-нибудь курочка сама со страху открывает ему дверцу курятника, – сказал Маргулис дедушке и Эфраиму.

Эфраим одолжил у англичан ружье и один патрон и, когда зашло солнце, занял боевую позицию среди снопов на сеновале Маргулиса. В своем воображении я вижу его единственный глаз, который глядит сквозь ячейки сетки и пучки соломы. Когда Булгаков появился, Эфраим неслышно вышел из своего укрытия и бесшумно зашел коту в тыл, криво усмехаясь под маской.

Маргулис и дедушка прятались на складе. «Мы смотрели в окно и видели хищника и охотника, которые следовали друг за другом, как две беззвучные тени». Три зеленые точки – две внизу, одна повыше – горели во мраке. Перед самым входом в инкубатор Эфраим крикнул: «Руки вверх!»

Булгаков застыл. «Не от страха, а от удивления», – пояснил дедушка. Пучки шерсти на его ушах поднялись торчком, и он повернулся, чтобы посмотреть, кто это сумел его перехитрить. Эфраим сдернул свою маску, и кот разинул рот от ужаса. В этот разинутый рот Эфраим и послал свою единственную свинцовую пулю, медный носик которой он загодя распилил. Надсеченная пуля взорвалась в черепе Булгакова и превратила его мозг в кучу мельчайших кусочков, которые судорожно дергались и извивались на полу и на стенах под напором зла и жестокости, заключавшихся в них.

– Теперь мы с тобой похожи, – сказал Эфраим, глядя на искромсанный

труп, который продолжал дрожать, истекая клейкими ядами. Сказал и вернулся в свою комнату.



Иногда ко мне заглядывают гости из деревни. Голодный солдат по дороге домой, казначей или другой администратор, оказавшийся по делам в одном из прибрежных городов. С удивлением бродят они по огромному дому, выходят на берег посмотреть на море и на купальщиц. Кто помоложе, стеснительно просит одолжить плавки, которых у меня нет, а пожилые отворачиваются от простора и переводят взгляд на живую изгородь или опускают его к земле, потому что их душа ищет покоя привычных ей ограничений и рамок.

Сам я давно уже перестал замечать море. Шум его я не слышу, разве только изредка, когда намеренно вслушиваюсь в него. Вид мерно катящихся волн тоже давно перестал меня гипнотизировать. С такого близкого расстояния море утрачивает растворенную в нем грозность. Мягкое и ленивое, оно едва шевелится, нежась на солнце, и даже в зимние дни, когда становится свинцовым и хмурым и дождь покрывает его мелкими фурункулами, оно кажется веселым. Я не плаваю в нем, и оно меня не пугает.

– Что слышно? – спрашивают они.

– Все в порядке.

Я стараюсь быть гостеприимным, по своему разумению. Легенды о моем богатстве – впрочем, вполне оправданные – распространились широко и быстро, и они, возможно, ждут, что я угощу их первосортным мясом и бараньими ребрышками, но я все еще хожу в той же старой одежде и продолжаю есть то же, что ел в деревне. Только молозиво я перестал пить, потому что достаточно вырос и окреп и уже выполнил все желания дедушки. На одном краю лужайки, что перед домом, я смешал семь кубов тяжелой земли из нашей деревни с песчаной землей побережья. Бускила привез мне эту землю в кузове черного пикапа, и сейчас я выращиваю там несколько кустов помидоров, зеленый лук, огурцы и перцы. Мои насадки, которые раньше бегали по всему двору, теперь несут яйца в загончике, потому что соседские дети бросали в них камни, и я боялся, что в один злосчастный день выйду и двину кого-нибудь из них со слишком печальными последствиями.

– Очень красиво, – говорят гости, переходя из комнаты в комнату с той же осторожностью, с которой ступали когда-то среди памятников моего кладбища. Ходят молча, подавленно, в неловком, смущенном изумлении, высматривая тайны и разгадки.

Я принимаю их на кухне. Готовлю салат, крутые яйца. Разминаю пюре с простоквашей и жареным луком, нарезаю селедку.

– Что нового в деревне?

Они рассказывают мне о Рахели Левин, над которой не властны годы, о жене Якоби, секретаря Комитета, которая организовала в деревне драматический кружок, о спорах по поводу взаимных банковских гарантий, о сыне

Маргулиса, который сбросил с себя ярмо кооперативной торговли и открыл на дороге у въезда в деревню частный киоск для продажи своего меда, чем вызвал бурную перепалку на общем собрании членов мошава.

– Это всё во многом из-за тебя, – сказал мне Узи, внук Рылова, который неожиданно появился у меня за несколько месяцев до того, как погиб на одной из войн. Заявился как ни в чем ни бывало, как будто забыл, что когда-то прыгал на моей спине и дергал меня за уши, и как будто это не его отец Дани обзывал Эфраима всякими бранными словами. Я не виню его в беспамятстве. Сейчас я понимаю, что есть люди, которые помнят хуже, чем я, и это меня уже не удивляет. Ведь я-то, подобно Мешуламу, всю жизнь только и делал, что упражнялся на беговых дорожках чужих воспоминаний.

– Во многом из-за тебя, – настаивал Узи. – Ты поломал что-то такое, что было принципиальным для нашей жизни.

– Так хотел дедушка, – ответил я устало.

Узи оскалился в раздражающе хитровой ухмылке. «Старому приятелю ты бы мог сказать правду, – сказал он. – Брось строить из себя дурачка. Все давным-давно знают, что ты намного умнее, чем мы о тебе думали и чем ты сам кажешься на вид».

Однажды, открыв дверь, я увидел перед собой Даниэля Либерзона.

– Я случайно проходил здесь и решил зайти, – сказал он сердито.

– Добро пожаловать, – пригласил я его.

Даниэль был первым гостем, который не обогнул китайский ковер в гостиной. Он прошагал по нему в своих рабочих ботинках, направился прямо в кухню, открыл холодильник и заглянул внутрь.

– У тебя что, нет холодной воды?

Чувствуя себя почти виноватым, я показал ему маленькую нишу в дверце холодильника, которая выбрасывала кубики льда.

– Какой прогресс! – улыбнулся он. – А твоя бабушка оплакивала у нас в доме холодильник своего американского дядюшки.

Даже сейчас мне легко было представить его ползущим в пеленках к колыбели моей матери. Его лицо все еще выражало любовь и абсолютную преданность, и зуд убийства по-прежнему гнезвился в кончиках его пальцев.

Он выглянул в окно и глубоко вздохнул.

– Воздух здесь совсем другой, – сказал он. – Пошли, Барух, погуляем на берегу!

Даниэль шагал медленно, и расстояния между его следами были такими точными, словно кто-то отмерил их сантиметром. Я помахал издали Давиду – старику, который сдавал в аренду шезлонги.

– Так что ты делаешь целый день? – спросил Даниэль.

– Ничего особенного.

– Я иногда навещаю ваш дом – в годовщину смерти отца, в годовщину смерти матери. Ури работает хорошо. Надежный хозяин. Серьезный. Он очень изменился, твой двоюродный брат. Изменился к лучшему.

Даниэль не похож на своих родителей. Голова Элиезера Либерзона оставалась кучерявой до самой его смерти. Даниэль был уже почти лыс, крепче своего отца, спокойнее его.

– А иногда я поднимаюсь на холм, на могилу твоей матери.

Если ему хочется говорить об этом, пусть говорит, подумал я. Не мне ему мешать. Я тоже привязан и пригвожден, как он. Железное кольцо земли и воспоминаний навеки вдето в наши носы.

– Сегодня я уже не злюсь, – продолжал он. – Я пришел к общему выводу, что влюбился в нее в надлежащем возрасте и эта любовь кончилась тоже в надлежащем возрасте.

За нами послышалось громкое тарахтенье. Парень и девушка на синем мотоцикле ехали вдоль берега, по самой кромке, мелькая молниями золотистых тел и зубчатыми узорами шин, и разбрызгивали во все стороны воду и мокрый песок.

– По сей день, даже после того, как я женился на другой женщине и родил с ней детей, я встречаю людей, которые смотрят на меня, а в глазах у них – Эстер.

Жену Даниэля я знаю только издалека. Невысокая, крепкая женщина, немного похожая на ослицу и такая же работающая. Он привез ее испуганной и взволнованной девушкой из мошава новых репатриантов, где когда-то работал инструктором, и у нас в деревне она заслужила снисходительную оценку: «Хоть и румынка, но вполне в порядке».

– Они всё еще помнят меня и Эстер, когда мы были детьми. Мешулам говорит, что наша любовь была для деревни как шанс, как пророчество, вышедшее прямоком из пинесовских уроков Танаха. Сын Либерзона с дочерью Миркина. Если бы не моя мать и не твой дед, оно бы и осуществилось.

– Как там Мешулам?

Он отмахнулся. «Ты бы мог быть моим сыном, – прошептал он. – И уж конечно, ты бы выглядел и вел себя иначе».

– Или меня бы не было вообще.

– Это была детская любовь, – сказал Даниэль. – В восемь лет, когда все мальчики ненавидят девочек, Пинес посадил нас вместе в школьном хоре, и вот тогда я влюбился в нее.

– Каждое событие, произошедшее в этой Долине, имеет больше версий, чем участников, – сказал мне как-то Мешулам.

– Когда мы были в третьем классе, она потащила меня на гору. «Там водятся куропатки, – сказала она. – Я хочу наловить куропаток и нарвать цветов, чтобы потом засушить». Мы ходили с ней целый день, а перед заходом солнца она сказала: «Давай останемся здесь на ночь, среди скал». Она ничего не боялась, но уже тогда умела дать мне почувствовать, будто ждет, что я буду ее защищать. Ты представляешь себе – девятилетняя девочка... Всю ночь мы лежали среди скал, и она сказала, что никогда не выйдет за меня замуж, потому что я слишком серьезный, слишком влюбчивый, слишком зависимый. В девять лет! Это все из-за мяса, которое она

ела в таких количествах. Она выглядела, как девочка, а рассуждала, как женщина.

– И что дальше?

– Утром нас нашел Зайцер. Деревня всю ночь была на ногах. Рылов привел с холмов пастухов-бедуинов и всадников из Тель-Адашим⁶⁷, но Зайцер всегда находил пропавших детей, вот он и нас доставил домой.

– Нет, с вами... что было дальше с вами?

– С нами? – его голос поднялся до крика. Два рыболова, что каждый вечер приходили на берег, обернулись и посмотрели на нас. – Ты спрашиваешь, что было дальше с нами? Ты что, хочешь надо мной посмеяться? Ты не знаешь, что было дальше?

Я промолчал. Сравнение версий всегда вызывало у меня разочарование.

– Она предпочла твоего отца, который был таким здоровенным, сделанным из одного куска, тупым животным, что сумел внушить ей замечательное ощущение мужского безразличия.

– Он спас ей жизнь! – взорвался я. – Когда вы с Эфраимом побежали искать лестницу, он поймал ее руками, не дав ей упасть!

– О Боже! – взывал Даниэль. – Это то, что тебе рассказали? Что он ее спас?

Я молчал.

– Они были очень интересной парой, твой отец и мать. В деревне рассказывают всякие глупости – будто я ухаживал за ней, принося ей горшки с жареным мясом, будто на ее свадьбе я спрятался в эвкалиптовой роще и был там, как бык, а потом пропахал ее имя буквами километр на километр...

– А разве нет?

– Послушай, – сказал Даниэль, резко повернувшись ко мне, – ты что, всеерьезно полагаешь, что в самый разгар пахоты, за считанные дни до посева, у человека есть время выпаживать километровые буквы по всему полю? В каком мире ты живешь, черт возьми, в каком мире?! Ты что, не знаешь, что происходит в деревне? В государстве? Какие трудности переживает Рабочее движение? Что молодые уходят из деревень, и все по уши в долгах? Что люди продают дойных коров и выкорчевывают сады? Ты что, не знаешь, что люди гибнут на войнах? Или, может, ты думаешь, что памятники павшим – это очередная окаменелость, которую Пинес выковырял из земли?!

Мы шли молча. Дыхание Даниэля постепенно успокаивалось, и его щеки перестали дрожать.

– Кто действительно мне помог, так это твой дед, – сказал он, наконец. – Я вырвал ее из своего сердца после той ночи, когда он услышал, как я вою, словно идиот, под вашими окнами. Он вышел ко мне на своих кривых кавалерийских ногах и сказал: «Так ты ее никогда не вернешь». И я, сын Элиезера Либерзона, Даниэль-спортсмен, танцор, влюбленный дурак, поднялся с земли и подумал: черт возьми, а ведь я действительно не знаю никакого иного способа ее вернуть...

⁶⁷ Мошав в Изрезльской долине возле города Афула.

Мы снова замолчали.

– Я вырвал ее из души, как вырывают сорную траву, дикуую акацию и пырей. Я не оставил в земле ни единого междоузлия, ни единого корешка, и сжег всё дотла. Она не стояла даже самой крохотной любвишки.

– Я не очень-то разбираюсь в этих делах... – пробормотал я.

– Та ночь на горе, – сказал Даниэль, – это единственное, что я храню в своем сердце. Мы были детьми, мне сейчас трудно в это поверить, но мы были всего-навсего малышами. Дикie кошки подходили к нам той ночью, шакалы обнюхивали наши ступни. Она говорила всю ночь, а я со страха гладил ее, целовал в шею, слушал ее своим ртом.

Голосовые связки в горле матери трепетали, заставляя дрожать воздух. В свои девять лет Даниэль не мог понять, что отныне и далее вся его жизнь покажется под откос, по страшному склону прозрения.

– Что ты сказал?

– Ничего, – ответил я. – Просто так.

– Я не собирался тебе рассказывать, – сказал он. – Я зашел случайно. Я знаю, что ребенком ты был очень привязан к моим родителям. Они тоже очень тебя любили. До определенного момента, конечно. И поверь мне, я не собирался рассказывать тебе все это.

– Ты не так уж много рассказал, – сказал я. – Основную часть я уже знал.

– Так и будешь стоять на своем, да?

Он с любопытством посмотрел на меня.

– Когда ты был мальчиком, я наблюдал за тобой. Ты, конечно, этого не замечал. Как-то раз я пошел с вашим классом на экскурсию – Пинес просил меня сопровождать вас, – и я не спускал с тебя глаз. Только бы с тобой ничего не случилось, иначе потом я буду виноват во всем. Ты был странный мальчик, очень привязанный к Пинесу. Таскал его банки с формалином и сачки и даже шевелил губами, когда он говорил.

– Пинес был мне вторым дедушкой, – сказал я.

– На их свадьбе и после все смотрели на меня с сожалением, как будто я нуждался в помощи. Мы ведь люди с принципами. Товарищу нужно помочь в беде. Даже если он молод и глуп. А моя мать, эта бабочка из винограднака, эта богиня любви, смеялась надо мной.

– Понимаешь, – добавил он, помолчав, – все это произошло потому, что твоя несчастная бабушка Фейга была для моей матери, как тот дибук⁶⁸. Только позтому.

– Все эти любовные истории в нашей деревне, и застарелые счеты между домами, и ненависть между семьями – как сообщающиеся сосуды, – заметил он, когда мы вернулись ко мне. – Нажимаешь с одной стороны, и вся грязь и дерьмо вылазят с другой, а в конце все выравнивается, уравновешивается.

⁶⁸ В еврейских народных поверьях злой дух, который вселяется в человека, овладевает его душой (букв. «прилепление»), причиняет душевный недуг, говорит устами своей жертвы, но не сливается с ней, сохраняя самостоятельность.

вается, успокаивается. Я уплатил за то, что твой дедушка продолжал любить свою крымчанку. Мешулам убил Хагит, потому что Песе Циркин было тяжело работать в поле и по хозяйству, а твоя бабушка, несчастная Фейга Миркина – эта уплатила за все. Я еще помню ее. Хотя я был ребенком, когда она умерла, но я ее помню. Мои родители никогда в жизни не ссорились – только из-за нее.

Так завязалась большая любовь между Эфраимом и Жаном Вальжаном, и по прошествии нескольких недель, во время которых теленок прибавлял по килограмму и больше в день, его прогулки на плечах хозяина стали рутиной. Несмотря на изрядную тяжесть, Эфраим чувствовал себя легким и счастливым, как будто этот теленок был костью от его кости и плотью от его плоти. «Толстая француженка», как ее называли в деревне, уже привыкла, что ее сын благополучно возвращается с этих прогулок, и отдавала его Эфраиму со спокойным сердцем. Теленку это тоже понравилось, и теперь по утрам он уже поджидал хозяина во дворе, прыгал ему навстречу, кокетливо и нежно толкал его в бока своим твердым лбом, резвясь, как младенец, который просит, чтобы его поскорее взяли на руки. К этому времени, по моим расчетам, его вес уже достиг ста пятидесяти килограммов. Эфраим по-прежнему с легкостью таскал теленка на плечах, но постепенно эта странная привычка восстановила против него многих в деревне. Укоризненный ропот слышался, понятное дело, и среди животных, и некоторые мошавники опасались, что поведение Эфраима вызовет подъем вольномыслия в их коровниках. Разумеется, не было недостатка также в шутниках и завистниках, которые осыпали Эфраима насмешками из-за его дружбы с животным. «Кто знает, не потребуют ли вскоре наши коровы и ослы, чтобы их тоже носили на закорках, как Жана Вальжана?» – написал какой-то аноним в деревенском листке.

Злые языки толковали о «наших деревенских "Отверженных" – теленке Жане Вальжане и его хозяине Квазимодо». Когда эти прозвища достигли нашего дома, дедушка побелел, как смерть, и с тех пор навсегда остался бледным. Эстер и Биньямин надеялись, что весеннее солнце вернет его лицу прежний цвет, но дедушка продолжал оставаться белым, как молоко, до самого смертного часа, и под его выцветшей кожей уже плела мстительную паутину холодная и расчетливая ненависть. Когда Биньямин со всей своей неторопливостью и основательностью выяснил, что прозвище Квазимодо придумал для Эфраима рыловский сын Дани, он отыскал его, положил ему на плечо тяжелую руку и сказал: «Ты теперь берегись в своей кровати, потому что у меня ты капут, понял!»

Мой несчастный дядя, который любил Жана Вальжана и «надеялся, что с его помощью сможет вернуть себе расположение деревенских друзей», снова заякорил свою жизнь на необитаемом острове одиночества. Молча-

ливый и странный, шагал он со своим великолепным грузом на плечах, словно раздвигал грудью незримые преграды. Он перестал появляться на деревенских улицах, а уходил теперь в далекие просторы никем не возделываемых и не орошаемых полей. Крестьяне, завидев его, сходили с дороги, и только дети всё бежали за ним, выпрашивая разрешения погладить Жана Вальжана.

Дедушка, вопреки своему обыкновению, обратился к старым товарищам и потребовал, чтобы они помогли ему вернуть сына в «круговорот общественной жизни», даже с его изуродованным лицом, чтобы он не превратился окончательно в безумца, таскающего животных на спине. Но у жителей деревни Эфраим вызывал страх – своим ужасным лицом, своей маской и тем, что носил на себе быка, выворачивая этим наизнанку установленный порядок.

– Наш замечательный, подробный устав не предусматривал, что кто-то из второго поколения будет изуродован на войне и станет носить на плечах теленка, – с горечью сказал дедушка. – А тем временем этот Жан Вальжан все рос и рос, а мой несчастный сын не переставал его носить.

Достигнув зрелости, Жан Вальжан представлял собой тысячу триста килограммов неподобного говяжьего мяса. Чудовищная сила, скрытая в теле моего дяди, пробуждала в людях испуг и изумление. Но Жан Вальжан был единственным быком своей породы во всей Стране, и вскоре члены мошавы стали один за другим стучаться к Эфраиму, чтобы он согласился случить своего породистого самца с их коровами-первотелками.

Поначалу Эфраим злился и отказывал. Но мне представляется, что где-то в глубине своего одиночества он понимал, что его покой все равно будет вот-вот нарушен все более восстающей мужской силой Жана Вальжана. Ведь и я, в глубине своего тела, порой ощущаю то же самое. Эфраим и сам уже давно оставался без женщины. Он мог думать, я полагаю, что так оно лучше, хотя, говоря по совести, я плохо разбираюсь в таких вещах. Но Жан Вальжан откровенно хотел самку, и было видно, что его мужская сила требует выхода, потому что порой его острый член выползал из своего чехла наружу и на ошупь тыкался в воздух, точно красная палка слепца.

Примерно в это время к нам пришло письмо из округа Шароле во Франции. Сейчас оно хранится в нашей времянке, а тогда Бускила перевел мне его, покатываясь со смеха. Крестьянка, которая продала корову мотоциклисту из Дижона, интересовалась, «напрыгивает ли уже ее бычок», и напоминала, что «каждая капля его *creme* ценится на вес золота». Английские и шотландские друзья Эфраима тоже сказали ему, что этот его бык – не просто знак и символ их военной дружбы, но также выражение надежды увидеть, что их брат по оружию заново построил свою жизнь и достойно зарабатывает на свои нужды.

Деревенские и впрямь готовы были изрядно платить за «напрыгивания» могучего «шароле». Но у дверей Эфраима стали собираться и скотоводы из соседних селений, у которых захватывало дух при виде Жана Вальжана и перспектив, таящих в его громадном теле. Эфраим стал важной персоной.

Каждое утро он вставал, расчесывал светлую шерсть своего Жана Вальжана, тщательно мыл его копыта и короткие рога, чтобы они блестели на солнце, хлопал его по мощному загривку и дружелюбно хрипел: «Вставай, скотина ты эдакая, пора на работу!»

Жан Вальжан закрывал глаза, слегка втягивал живот и расставлял плотные ноги, и Эфраим подлезал под него и поднимал на плечи. Руками он держал его мощные копыта, так что изуродованное лицо почти исчезало в буграх светлого, тяжело пыхтящего бычьего брюха. А на его груди, словно загадочный плод, покачивалась розовая мошонка с бычьими яйцами, которые кормили их обоих.

Могучие потомки этого французского быка населяли деревенские хлева еще многие годы после того, как исчезли и сам Жан Вальжан, и его хозяин. Даже сегодня, навещая деревню, я порой вижу то какого-нибудь непривычно светлого теленка, то первотелку с необычно широким лбом или молодого бычка с мощным курчавым затылком. *Сreme* Жана Вальжана все еще клокочет в деревенских коровниках, выплескиваясь наружу белыми струями укоризненного напоминания, о котором люди не хотят говорить.

Деревенские дети бегали за дядей и его быком в надежде подсмотреть «представление», но Эфраим вел себя деликатно. «Приходя к первотелке, он первым делом требовал, чтобы все удалились». Потом опускал Жана Вальжана в углу коровника, проверял чистоту и сухость пола, чтобы бык не сломал себе ногу, поскользнувшись во время случки, а затем задергивал полотнище из мешковины от стены к стене, оставаясь наедине с коровой и Жаном Вальжаном. Люди, стоявшие снаружи, слышали нетерпеливое постукивание больших копыт и скрипучие подбадривания Эфраима, потом громкий стон коровы, когда на ее зад наваливалась огромная тяжесть, и тут же глубокое, частое дыхание быка, выталкивающего свое семя.

Эфраим отдергивал полотнище, высовывал покрытую маской голову, стыдливо говорил: «Мы кончили», – и смазывал влажный пах быка специальной дезинфицирующей мазью. Через несколько месяцев работы он собрал достаточно денег, чтобы построить Жану Вальжану небольшой, но шикарный хлев, а себе приобрести большой радиоприемник, патефон и несколько пластинок. На крыше своей комнаты он поставил большую антенну, на которую подозрительно косились все в деревне, и после обеда лежал часами на кровати, слушая звуки мехов шотландских волюнок и пластинки Биньямина, да порой принимал у себя людей из британской разведки, за которыми зорко следил неутомимый Рылов.



Все эти годы Шломо Левин продолжал приходить к нам, чтобы поработать на нашем участке. Он всегда был плохим крестьянином, но его тяга к земле не угасла, а дедушка был ему благодарен, потому что помнил, как он помогал ему в уходе за детьми и в работах по дому после смерти Фейги.

Теперь Левин вспомнил, что он «был мальчику вместо матери», и, осудив «проделки Эфраима с быком», заявил, что нужно потребовать от него выполнять все обычные работы в хозяйстве, и это вернет парня обратно к нормальной жизни. Но дедушка резко ответил ему: «Все, что делает Эфраима счастливым, хорошо в моих глазах».

Тем временем кончилась жизнь «толстой француженки». Мать Жана Вальжана так и не привыкла к особенностям Страны и умерла, отравившись клещевинной. После этого огромный сирота еще сильнее привязался к Эфраиму. Зайцер, который очень симпатизировал Жану Вальжану, как и всем, кто делает свое дело и делает его хорошо, и даже жалел его за сиротство, как-то поймал Левина во дворе и коротко объявил ему на своем языке, что «и у животных есть своя доля в возрождении еврейского народа».

– Если он достаточно силен, чтобы таскать быка на спине, – ответил Левин, – пусть займется еще чем-нибудь полезным. Нехорошо, когда парень все время проводит один в комнате и зарабатывает на жизнь чужим развратом.

Но на самом деле ранение подкосило Эфраима. Сила просыпалась в нем только для Жана Вальжана. Другие грузы он не мог поднимать. Мой отец Биньямин, к примеру, спокойно приносил два мешка с кормом от тачки к коровнику, даже не запыхавшись, а Эфраим качался под одним таким мешком. Никто не мог понять, как ему удастся поднять своего тяжеленного быка. Никто, кроме Пинеса, который в своей заметке в деревенском листке утверждал, что «случай Эфраима и Жана Вальжана не поддается биологическим или физическим объяснениям, потому что мы имеем здесь дело с психологическим феноменом – дружбы, готовности, большой надежды и душевного подъема».

– У каждого человека есть свой бык, которого он должен поднять, – писал Пинес. – И в каждом из нас сокрыты плоть, и семя, и громкий вопль, который гнездится в его сердце и ищет выхода.



Однажды ночью я подслушал, как Ривка говорила Аврааму: «Ты уверен, что эта корова сдохла от клещевины? А может, это твоя сестра зарезала ее на жаркое?»

Охваченный страхом, я бросился к Пинесу. Дом учителя был всегда открыт настежь, и его старое тело, распластанное на спине в детской доверчивости широко разбросанных рук и ног, излучало доброту и понимание, которые хранились в этом человеке для всех и каждого.

– Ривка всегда была плохой ученицей, – утешил он меня. И даже не упрекнул за то, что я ворвался в его дом и разбудил его. С тех пор как после смерти дедушки я произвел Пинеса в своего приемного деда, он стал относиться ко мне с необычайной терпеливостью.

– Не верь всем этим рассказам, – добавил он и сказал строго: «Есть ведь и такие люди, которые говорят, будто Эфраима изгнали из деревни, потому

что он передавал наши секреты англичанам. Он дружил с майором Стоувзом, и кое-кому у нас – не буду называть их по имени – это не нравилось».

В те дни в деревне появился некий консультант по курам, который слишком много крутился возле рыловского двора. Через несколько дней его нашли в эвкалиптовой роще с застывшим багряным цветком меж глазами, а к его груди была прикреплена булавкой страница, вырванная из Танаха.

– Все это чепуха, – продолжал Пинес. – Эфраим ушел из-за смерти твоих родителей. Он был очень привязан к ним. Биньямин был ему как брат и любил его всей душой.

Но были в мошаве и такие люди, которые полагали, что Эфраим исчез из-за той цирковой акробатки, которая выступала у нас в деревне вместе с человеком по имени Зейтуни, тогда как другие утверждали, что он просто потерял надежду «вернуться в коллектив и включиться в ткань общественной жизни».

– Сколько может человек наслаждаться обществом животного? – гневно вопрошал дедушка, в душе которого участь Эфраима разожгла злобную ненависть к деревне.

– Не хорони меня на их кладбище, – наставлял он меня перед смертью снова и снова. – Эти лицемеры выгнали моего сына. Похорони меня на моей земле.

– Чего они от нас хотят? – сказала Ривка. – Всем было противно смотреть на его лицо. Урод, да к тому же еще ненормальный. Чего они от нас хотят?

– Я знаю Эфраима. Он ушел, чтобы отомстить, – сказал майор Стоувз после того, как он и его люди целый день обыскивали хозяйство Рылова, так и не догадавшись, что его оружие спрятано в отстойной яме.

А сам Рылов не сказал ни слова.

Эфраим ушел с цирковой группой Зейтуни, неся на плечах Жана Вальжана. Это произошло по окончании семидневного траура по моим родителям. Арабская бомба, брошенная в наш дом, покатилась под мою кровать с шипеньем и дымом. Треск разлетевшегося оконного стекла разбудил моего отца, но прежде чем он почуял запах тлеющего фитиля, понял, что происходит, и зажег свет, прошли драгоценные секунды. Рыловский йеке сгреб меня одним движением, которое закутало меня в одеяло, швырнуло в воздух и выбросило, как сверток, через окно, а потом всем телом упал на мою мать, которая во сне обняла его руками и ногами и улыбнулась.

Люди услышали взрыв, находясь в Народном доме, где все собрались на общее собрание. Обсуждался вопрос о замене нескольких центральных поливальных труб, и страсти кипели. Все разом вырвались из дверей здания и бросились на звук удаляющегося громового раската, на треск пылающих стен и на запах паленого мяса.

Когда они добежали до рыловского двора, все уже затихло. Коровы перестали реветь и вернулись к своим кормушкам. Дым развеялся. Далеко отсюда, в Берлине, так я себе представляю, неутомимый мститель Даниэль

Либерзон проснулся, разбуженный ночным кошмаром, и закричал так громко, что его было слышно издалека. «Домой!» – вопил он, как ребенок, загалдел брюки, сосал палец и ползал, как ящерица, по своей постели. Другья закутали его в чистую простыню и убаюкали, покачав кровать, а наутро пришли двое шотландцев, которые знали множество языков и тайных дорог, чтобы сопровождать его в долгом возвращении в Палестину.

Кожаные тирольские штаны, свадебное платье, письма Эфраима к Биньямину – все сгорело. «Только обиженный плач ребенка слышался в темноте. Мы посветили фонарями и нашли тебя. Ты ползал полуголый по траве и весь был покрыт большими мотыльками».

Мне было тогда два года.

– Мы вырастим его вместе с Ури и Иоси, – сказал Авраам.

Но дедушка закутал меня в одеяло и взял к себе во времянку. Всю ночь он снимал с моего тела сажу и обжигающую пыльцу сожженных мотыльковых крыльев и вытаскивал осколки стекла из моей кожи, а наутро одел меня, и мы вместе пошли, чтобы стоять возле гробов, которые уже были выставлены в Народном доме, покрытые национальными флагами и черной тканью.

Рылов стоял у гробов ошеломленный, терзаемый чувством поражения. «Во всяком случае, они умерли в своей постели», – было единственным утешением, которое ему удалось хрипло выдавить из своих мозгов. Дедушка слабо улыбнулся.

– Да, Рылов, ты прав, в своей постели, – сказал он и похлопал великого стража деревни по плечу, в том месте, где ремень винтовки пропахал зарубцевавшуюся уже борозду.

– Рылов – идиот! – сказал Ури. – Это у них семейное. Чего еще ожидать от человека, чей дедушка был единственным в России евреем, который насильно казачек?!

– Миркин хочет вырастить еще одного сироту, – говорили в деревне. Шломо и Рахель Левины пришли приготовить обед и снова предложили свою помощь. Но дедушка сказал: «Авраам будет вести хозяйство, а этого мальчика я выращу сам».

Жан Вальжан терся о кипарисовые деревья, ограждавшие деревенское кладбище, Эфраим и Авраам сгребали землю в могилы моих родителей. Руководители ишува и Рабочего движения произнесли положенные речи. Дедушка держал меня на руках, Циркин и Либерзон стояли, как два портрета, по обе стороны от него.

Потом люди разбрелись по кладбищу маленькими группками и, по обычаю, клали цветы и камешки на могильные плиты.

– Пошли, Барух, – сказал дедушка. – «Шнеть, шнеть!»

– Ты засмеялся, потому что знал эти слова из родительского дома.

И дедушка поднял меня и посадил себе на плечи.

Деревня справилась с бедой. «Мы были сделаны из прочного материала». В деревне не нашлось бы дома, в котором не было своих мертвецов. Кто умер

от лихорадки, кто от пули, тот от копыта взбесившегося мула, а этот – от собственной руки. «Кто по зову народа, а кто по велению идеи и Движения».

– Евреи проливают кровь и в галуте⁶⁹, – писал Либерзон о моих родителях в деревенском листке. – Но там нет смысла в их смерти, так же как нет смысла в их жизни. Здесь и у жизни, и у смерти есть смысл, потому что нам светят родина и свобода. Пусть скорбь удвоит нашу волю. Кто выбрал жизнь – *«жить, жить будет он!»*



Рука Случая, как убежденно завершил Пинес одну из наших бесед по теории эволюции, только Рука Случая снова привела Зейтуни в нашу деревню как раз после смерти моих родителей.

Подобно тем наглым, распутным возгласам, что время от времени раздавались с водонапорной башни, подобно повторяющимся визитам гиены, ежегодным прилетам русских пеликанов или возвращению Шуламит к дедушке – так суждено было этому жалкому акробату снова появиться в полях нашей деревни. Две высокие тощие лошади тащили убогий фургон, покрытый брезентовым полотнищем. Прицепленная к нему, дребезжала сзади ржавая клетка со старым медведем. Запах жженого раkitника, мазей для грима, для обмана глаз и для ловкости рук поднимался над маленьким караваном.

Зейтуни был хасид из Твери, потерявший семью и дом в одном из наводнений. Рахель Левин, которая знала Зейтуни еще там, рассказывала, что после несчастья он сбрил бороду, швырнул свою кипу и талит⁷⁰ в мутные коричневые потоки, смывшие всю его прежнюю жизнь, продал книги Торы, которые передавались в его семье из поколения в поколение, и начал странствовать со своей трупой между Дамаском и Иерусалимом, Хевроном и Бейрутом.

Так он добрался и до нашей Долины. Если бы не то наводнение, мы бы никогда не увидели его, и Эфраим не ушел бы с ним из деревни. Но дедушка не верил в случаи и предзнаменования, равно как и в людей, влекомых навстречу судьбе, а только в отверженных и исчезнувших, и потому был уверен, что Эфраим ушел бы все равно и виною тому – наши деревенские, а не Зейтуни.

– Похорони меня на моей земле, – было написано в одной из записок. Он знал, что я разыскиваю его записки. Свою месть он планировал с ясной и расчетливой точностью, помечая уязвимые места и находя мягкие подбрюшья.

⁶⁹ *Галут* (на иврите – *изгнание*) – совокупное название стран рассеяния еврейского народа, а также самого состояния рассеяния.

⁷⁰ Молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямое угловое покрывало белого цвета с цветными полосами.

Поначалу Зейтуни зарабатывал на жизнь мелким воровством и примитивными чудесами, которые помнил со времен своего хасидского ученичества. Он продавал латунные амулеты бесплодным женщинам, лечил оспу с помощью гематрии⁷¹, зажигал кучи сырых поленьев силой хитрых заклинаний и вызывал местный дождь произнесением Тайного Имени⁷². Эти деяния пробуждали восторг во многих местах Страны, но у нас в Долине жалкие чудеса Зейтуни вызвали лишь раздражение и жалость. «Достаточно мы насмотрелись этих бредней в хасидских дворах на Украине», – провозгласил Элиезер Либерзон, и все отцы-основатели согласно покачали головами.

Во время своего предыдущего появления, в первый год после основания деревни, Зейтуни удостоился лишь самых скромных аплодисментов. По окончании представления к нему подошел веселый молодой парень по имени Циркин-Мандолина, род которого со стороны матери восходил к известной семье адморов⁷³, а со стороны отца – к большевистской верхушке, поднял мотыгу и вонзил ее в землю. Чем дальше углублялась мотыга, тем сильнее стонала земля, а когда ее острое коснулось загнанного под землю болота, прямо из-под ног Зейтуни вырвались острые края камышиных листьев в окружении страшной тучи комаров и рассекли его нежную кожу. Из грязи выползали мускулистые пиявки, вцепляясь в его тощие икры, а бледные черви пытались стащить его к себе в глубины. Он стоял и выкрикивал все известные ему молитвы, пока, наконец, Рылов не заставил его пропеть нашу любимую песенку: «Я друг лягушки», а потом бросил ему конец своего бича и вытащил из ямы.

– Чародейство и фокусы – постыдное занятие, – заключил Пинес. – Нынче здесь, завтра там. Обман, бродяжничество и непроизводительный труд.

Всю ту неделю Эфраим провел на холме возле свежих могил моих родителей и был так тих, что даже Фейга, Эстер, Биньямин и другие мертвецы не почувствовали его присутствия. Жан Вальжан мирно щипал сочную траву меж могилами и сгребал своим большим языком лежавшие на памятниках цветы. Но Эфраим не укорял его. Сам он пил из кладбищенской поливалки, ел плоды большой ююбы, которая росла на соседнем холме, и жарил куропаток, которые так и не узнали, кто схватил их – дикая кошка, хорек или ястреб. По ночам он смотрел, как старый сыч, стоящий на кладбищенской ограде, кланяется ему, непрерывно падая ниц, и смотрит на него блюдечками своих сияющих глаз.

На седьмой день, когда мой дядя встал, чтобы идти домой, из тени эвкалиптовой роши вышел караван Зейтуни, медленно пересек давний след

⁷¹ *Гематрия* – толкование слова или группы слов по числовому значению составляющих их букв (в еврейской традиции каждой букве соответствует определенное число).

⁷² *Тайное Имя* – евреям запрещается произносить имя Создателя.

⁷³ *Адмор* – титул хасидских цадиков – духовных лидеров.

британских зениток и остановился подле источника. Спустя недолгое время маленький огонь заплясал под железными горшками, и приятный запах похлебки и жаркого поднялся тонким дымком, который неторопливо поплыл в сторону Эфраима и вполз в его разорванные ноздри.

Бродячие циркачи ели, обмениваясь громкими возгласами, звуки которых разносились в прозрачном и чистом воздухе. Там был худой фокусник-ассириец в высокой шляпе, заодно исполнявший также обязанности медвежьего дрессировщика. Была арабская гадалка, чьи огромные ягодицы при ходьбе громко шлепали друг о друга, а лифчик позванивал монетами. И еще силач, который ломал ветки для костра двумя пальцами, большим и указательным. Зейтуни отбросил полотнище фургона и вытащил оттуда небольшой деревянный короб размером с ящик для фруктов. Из него, змеино извиваясь, вывернулась мягкая и гибкая резиновая девушка и поползла по земле, точно рогатая гадюка. У Эфраима было феноменально острое зрение. В переливах дрожащего над землей жаркого воздуха он разглядел ее серовато-коричневую поблескивающую кожу, ее бескостное тело, которое то свертывалось, то расплеталось, изгибаясь и скользя по земле, издавая мягкие скрипящие звуки.

Ури внес свои дополнения в эту историю, рассказав мне, что Эфраим уже видел однажды такую девушку. Это было во время войны, в портовом квартале Арзева, что в Алжире. Британские коммандос захватили там крепость Иностранного легиона, глядевшую на гавань. Они спустились по веревкам с крепостной крыши, соскользнули, как пауки, по ее стенам, заложили по гранате в каждое окно, а потом вышли очистить город от снайперов.

Кто-то открыл по ним огонь из одного из домов. Они ворвались внутрь, застрелили снайпера и обнаружили, что их окружает группа перепуганных девушек, одетых в прозрачные ткани и кашляющих от пыли, клубившейся из пулевых отверстий и простреленных коробочек с пудрой. Когда пороховой дым осел, проститутки решили, что это американцы, и стали выпрашивать у них жвачку. Капитан Стоувз, который командовал подразделением, где служил Эфраим, взял у одной из них губную помаду, вышел наружу, написал на двери «Вход воспрещен для всех чинов», получил пулю в левое колено и с трудом втащился обратно внутрь дома.

Тяжелые шелковые вуали закрывали их лица, восхищенно рассказывал Ури, но их соски, выглядывавшие сквозь паутину платьев, уже оценили ширину солдатских плечей. Девушки налили крепкие духи на рану капитана Стоувза, перевязали его и уложили в глубокую мягкость дивана, чтобы он мог видеть и получать удовольствие. Были тут две высоченные сенегалки, племенные обычаи которых позволяли им совокупляться только стоя, и потому всякий, кто хотел их познать, обнаруживал в конце, что его голова ударяется о выпуклый алебастровый потолок. Была там одна венгерка, возбужденно шептал Ури, у которой полость рта была выложена бархатом, а в глубинах горла шевелились мясистые лепестки; и еще пастушка из Анатолии, у которой из подмышек, надушенных соком растертых бутонов молодых на-

стурций, росли косы, украшенные разноцветными лентами, а волосы в низу живота свисали от пупка до колен, как густой выющийся занавес, и она приглашала всех осторожно потянуть и убедиться, что это не парик. И еще молодая коммунистка из Кракова, еврейка с тонкими бровями, которая потребовала полной тишины и, сосредоточившись, начала говорить из влаглища. «Но наш Эфраим не знал идиша и поэтому не понял ни слова», – ликующе воскликнул Ури. Всякий раз, когда он повторял эту историю, чудесные особенности алжирских проституток становились все разнообразнее.

Они приложили все усилия, чтобы развлечь ребят из командос, и Эфраим «за одну ночь узнал всё, о чем жена нашего ветеринара и слыхом не слыхивала». Подкрашенная вода била веселыми фонтанами из всех биде заведения, и специально обученные галки оскверняли свои клювы ругательствами на всех известных им языках, чтобы поощрить парней и девиц. А потом одна из них станцевала танец «резиновой девушки», закончив тем, что похлопала себе ступнями собственных ног над головой. Резиновая девушка Зейтуни, объяснил Ури, напомнила Эфраиму маленькие серебряные язычки на больших пальцах этой алжирской проститутки. После танца, под лиловым балдахином на втором этаже заведения, эти язычки нежно колотились прямо внутри его ушей.

Пинес увидел, что циркачи располагаются возле источника, и не знал, как ему поступить. Обычно в таких случаях принято было вызывать Рылова, но Пинес не вступал в разговоры с Рыловым ни под каким видом. В конце концов, он побежал рассказать Маргулису, Маргулис рассказал Тоне, а Тоня поспешила во двор и постучала в железную дверь тайника.

Отстойная яма разверзлась. Тоню встретил свет электрического фонарика и двойное дуло винтовки.

– Чего тебе? – потребовал объяснений ее супруг.

Тоня рассказала ему, что появился Зейтуни, и Рылов схватил свой бич, вспрыгнул на лошадь и галопом поскакал в поля.

Рылов, как и все отцы-основатели, знал Зейтуни и не любил его.

– Хочешь отведать? – спросил Зейтуни, увидев Рылова, и тут же вытащил половник и приподнял крышку кастрюли.

– Что ты здесь потерял, Зейтуни? – гневно спросил Рылов и поднял лошадь на дыбы.

– Мы перекусим, дадим представление и уйдем.

– Вы перекусите, не дадите представления и уйдете! – объявил Рылов и тут же добавил свою обычную угрозу насчет смерти в собственной постели и вне ее.

Зейтуни улыбнулся. «Это наш заработок, – сказал он медоточивым голосом. – И мне все равно, где я умру».

– Это не просто люди, так говорит Комитет! – повторил свою угрозу Рылов.

Но Зейтуни был сделан не из того материала, что паровозные машинисты. Он не испугался и не вскипел, а начал спорить. Рылов подумал было

позвать Циркина-Мандолину, чтобы тот снова разверз болото под ногами хозяина трупы. Но, вопреки ходячему представлению, Рылов не был экстремистом и потому «ограничился тем, что потянулся за кнутом, который он воткнул под седло».

Силач, который понял его намерения, уже собрался было вскочить с камня, на котором сидел, но тут появились, возбужденно переговариваясь, люди из деревни, потому что им хотелось немного развлечься после тяжелого траура, который царил у нас вот уже неделю. Пинес бежал следом, спотыкаясь о комья, и призывал их вернуться. Зейтуни подал своим людям знак подняться, а сам забрался на большую пальму и начал готовить представление.

– Но чем это вам мешало? – спросил я Пинеса.

Пинес не забыл ни одного из уроков того дня, когда ушел Эфраим. «Рассуди сам, Барух, – сказал он мягко и терпеливо. – Кроме того факта, что мы только что похоронили твоих родителей, тут были затронуты также некоторые важные принципы. Людям, которые возвращаются к земле, чтобы пустить в ней корни после двух тысячелетий оторванности от почвы, незачем смотреть на еврея, идущего по канату в воздухе. Эта гадалка могла предсказать такое будущее, которое было бы несовместимо с нашим идеалом. И мы имели основания подозревать, что фокусник с его нездоровым подходом к реальности соблазнит нашу молодежь искать легкие, отдающие оппортунизмом решения стоящих перед нею проблем и тем самым усилит сомнения, и без того гнездившиеся в некоторых душах».

Его голос опустился до шепота. «И уж, конечно, мы не могли примириться с этой резиновой девушкой – этим ночным горшком, полным нечистот, пошлости и разврата. Мы ни на миг не сомневались, что своими бесчисленными змееными изгибами и изворачиваниями она отвратит сердца наших парней от производительного труда, ибо *"как тесный колодец – иноверка и как глубокая пропасть – блудница"*».

Пинес со стоном повернулся ко мне. Он был уже очень стар. Глаза его потускнели, челюсти и язык непрестанно двигались, как будто перемалывали бесконечную кашу. Он сильно растолстел.

– Старый и тяжелый, – говорил он о себе.

– В конце концов, Зейтуни сдался, – сказал он мне, – и согласился, что выступят только медведь и силач.



Представление было не очень шумное и вполне профессиональное, хотя и весьма разочаровывающее.

– Медведь действительно решал арифметические задачки. – Ури по своему обыкновению разукрашивал рассказ о Зейтуни дополнительными деталями. – Но это были простые задачки, под силу любому третьекласснику.

Силач пробудил некоторый интерес, пальцами заплетая толстые гвозди в косички и разбивая о лоб обожженные кирпичи. Деревенские смотрели

на него с любопытством, как будто оценивали добротную рабочую скотину. Их вялый интерес несколько усилился, когда он начал напрягать и перекатывать свои мышцы, которые пробегали под его кожей, как большие крысы, от покатоств плеч и до двух младенческих ямок в основании спины. Но как раз в ту минуту, когда он со зверским рыком поднял свой «Груз Аполлона» – пару больших паровозных колес, соединенных тяжелой осью, – и застыл под ним, побагровев и дрожа от усилия и восторга, Эфраим спустился от могил своих родителей, неся на плечах Жана Вальжана – тысячу триста килограммов рогов, копыт, *creme* и мяса – и легкой походкой подошел посмотреть на представление.

Люди заулыбались. Силач глянул, как безумный, на Эфраима и на быка, опасно закачался, уронил свой груз и сел прямо на землю. Зеленый глаз Эфраима смотрел сквозь отверстие маски, надетой у него на голове.

– Прекрасно! – выкрикнул Зейтуни и подбежал к Эфраиму. – Великолечно! И эта шляпа – тоже очень эффектно!

Он тяжело дышал. «От жадности и от надежды уладить старые счета», – сказал Пинес.

Эфраим отстранился, придерживая зевающего Жана Вальжана, и посмотрел на облезлого медведя, который прыгал сквозь горящий обруч и рычал от боли.

– Сколько ты хочешь за выступление? – спросил Зейтуни.

По толпе прошел недовольный ропот. Эфраим обернулся к односельчанам, поворачивая все свое тело вместе с могучим быком.

– Для этих я готов выступить задаром, – сказал он и сдернул с головы свою маску.

Все замерли.

– Привет, товарищи мошавники, – сказал Эфраим.

Мы опустили глаза. От стыда и от ужаса.

Дядя снова повернулся к Зейтуни и его людям. Силач увидел лицо Эфраима, и его начало рвать железными болтами и обломками цемента. Голуби фокусника испуганно прикрыли круглые глазки. Гадалка поднялась с криком: «Я вижу много огня и сильной боли!»

– Заткнись, дура! – простонал Зейтуни.

– Ну, как, Зейтуни, тебе нравится мое выступление? – спросил Эфраим.

– Мне все равно, – сказал Зейтуни. – Человек смотрит в глаза, а Зейтуни смотрит в сердце. Ты зарабатываешь у меня хорошие деньги.

– Мне не нужны деньги, – ответил Эфраим.

Почти неприметным движением века Зейтуни подмигнул резиновой девушке, и та змеей скользнула к ногам Эфраима, сомкнула пятки у себя на затылке и закачалась на спине, как перевернутая на спину черепаха. Потом высвободила одну ногу и обвила ею свое тело. Ее плоский живот подрагивал. Одну щеку она положила себе на лобок, который в этом положении выпятился отчетливо и резко.

Пинес смущенно покашлял. «Там ведь есть что-то вроде жировой поду-

шечки под кожей, – терпеливо объяснил он. – И вся эта девушка была воплощением самых запретных наслаждений, о которых тело мечтает лишь тайком, – сказал он. – Ужасное, отвратительное зрелище. Мусорная кошка, гиена».

Со времени возвращения в деревню Эфраим не имел женщины. Злые языки твердили, что он получает удовлетворение, глядя на случки Жана Вальжана. Юношей, как рассказывали, он иногда развлекался с женой ветеринара, грубой, сладострастной женщиной, которая с удовольствием смотрела, как ее муж кастрирует жеребцов и телят. Сейчас живот его сжался от жара соблазна и ненависти. Влажные воспоминания скользнули по его чреслам складками лилового балдахина. Он перевел свой единственный глаз с резиновой девушки на ее хозяйина.

– Я приду вечером поговорить с тобой, – сказал он ему. – Ждите меня здесь.

Он подвигал Жана Вальжана, чтобы удобнее было его держать, повернулся и пошел через поле размеренным и бесшумным шагом, словно летя над землей в своих мягких пустынных ботинках.

– Сзади и издалека эти двое выглядели, как гигантский гриб-боровик на очень маленькой ножке, – сказал Пинес.

Зейтуни долго смотрел вслед удаляющемуся Эфраиму, потом потер ладони и обернулся. Запах легкого заработка и сведения счетов наполнил его нос.

– Давай, давай! – крикнул он силачу. – Иди, помой кастрюлю. Иди! Ай да женщина, ай, чертовка!

Зрители расходились с чувством неловкости. По требованию Рылова Зейтуни освободил участок подле источника и вывел своих людей за границу земель деревни.

– Назавтра в деревне появился старый Хуссейн из бедуинского племени Мазариб. В то утро он на заре вышел из дома, чтобы успокоить своих собак.

В разрывах тумана, еще лежавшего на полях, Хуссейн увидел фургон и клетку, которые направлялись на восток, и Эфраима, медленно идущего за ними своим мягким, спокойным, неумолимым шагом. Жан Вальжан развалился у него на плечах, еще погруженный в сон. Вначале старый араб подумал, что кто-то пригласил Эфраима с его быком на случку, но весь день его не покидало смутное беспокойство. Вечером он решил, что следует известить об этом, и прискакал к дому Рылова, с которым дружил уже долгие годы.

– Твой Абу-Тор⁷⁴ ушел, – крикнул он, постучав по крышке тайника, и крикнул снова: «Твой Абу-Тор ушел!»

Но в тайнике никого не было. В это время Рылов в маленьком грузовичке направлялся по тайной боковой дороге в нашу деревню, спускаясь по холмам с выключенным мотором и погашенными фонарями и волоча за собой новый чешский комбайн, нагруженный динамитом. Хуссейн знал, конечно, что Тоня коротает время с Маргулисом среди ульев в саду, выпивая сладость страсти до последней капли. Но он не хотел связываться с пчела-

⁷⁴ Отец (обладатель) быка (арабск.).

ми и поэтому поскакал в Комитет. Там немедленно организовали поисковую группу, но Эфраим, Жан Вальжан, Зейтуни и вся его труппа исчезли бесследно, словно их и не бывало.

– И больше я никогда не видел своего бывшего ученика, – сказал Пинес. – И Миркин никогда больше не видел своего сына.

Он снова протер очки. «Как это так, что бык весом в тонну с четвертью, единственный в своем роде во всей стране, и парень с таким лицом, извини меня, как у Эфраима, исчезают бесследно? Как может произойти такое?!»

– Эфраим мог пройти среди летучих мышей так, что они его не замечали, – сказал я. – Ты же сам рассказывал мне о коте Маргулисов.



– Все произошло после того, как дедушка ушел из дома, и после того, как он умер, – писал мне мой изгнанный двоюродный брат. – Что это было такое в нашем старике, что держало всех нас вместе? Кто знает, кем он на самом деле был – ангелом, что повелевает произрастать всякому ростку, или дьяволом из Трудовой бригады имени нашей несчастной бабушки? Как и ты, я тоже часто думаю об Эфраиме. Зачем дедушка принес ему маску? Для него? Или для самого себя? Иногда я думаю, что Эфраим ушел именно из-за дедушки, а не из-за всего остального.

Мои большие следы присоединяются к исчезающим чертежам моря на влажном прибрежном песке. С удивлением рассматриваю я эту бесплотную и бесплодную разновидность земли, с ее такими красивыми и такими бесполезными зернами. Этот песок – что он, как не ускоренное в своих изменениях подобие земли нашей Долины: быстро впитывает влагу и быстро ее теряет, быстро сметается ветром и быстро собирается вновь, быстро разрезается трещинами и быстро их залечивает? Время быстро пишет на нем и так же быстро стирает всё записанное.

Сырые бугорки, выдавленные пальцами играющих детских ног, отпечатки резиновых сандалий, округлые следы женских пяток, ведущие к самой кромке воды и исчезающие в ней, и резкие углубления, вырезанные подошвами пробежавших по песку джоггеров с их глупыми, страдальческими лицами. Если бы Эфраим прошел здесь, вес Жана Вальжана на его плечах оставил бы в песке глубокие ямы, даже глубже, чем моя поступь.

Я не могу представить себе человека, который ушел бы из дома из-за дедушки. Во мне и сейчас стынет желание снова свернуться под его крылом, ухватиться за полу его рубахи. «Ты неправ, – мысленно отвечаю я Ури. – Ты неправ. Никто не мог покинуть дедушку, даже наш дядя Эфраим».



Поиски не прекращались до самой дедушкиной смерти. Над всем Ближним Востоком была раскинута сеть, поджидавшая человека в маске со

светлым, тяжелым быком на плечах. Полковник Стоувз, который служил теперь в Арабском легионе в Иордании и по-прежнему прихрамывал из-за искалеченного колена, продолжал его поиски там. Арабские старики, друзья Рылова, получали сообщения из Сирии и Ливана. В самой Стране это было поручено людям Рабочего движения. Всем, кому по работе приходилось странствовать по стране и встречаться с разными людьми и животными: сельскохозяйственным инструкторам, партийным активистам, мозлям, врачам и ветеринарам – всем было велено смотреть в оба.

Порой доходили слухи о телятах породы «шероле», появлявшихся в самых неожиданных местах. Мухтар⁷⁵ Мазарива слышал от паломников, вернувшихся из Мекки, будто где-то возле Макны, что в Саудовской Аравии, видели огромного белого быка, идущего по берегу моря. Два шотландских натуралиста, которые изучали особенности размножения лысух⁷⁶ в болотах Сейхана, что в Турции, заметили в бинокли желтоватого коротконового бычка, который покрывал самку буйвола. Перелетный скворец, который приземлился во дворе Пинеса, умоляя снять с его ноги раздражающее алюминиевое кольцо, видел Эфраима, пересекавшего Черное море вплавь, с юга на север, и Жана Вальжана, с тяжелым топотом огибавшего это же море по суше.

Какое-то время эти слухи пробуждали надежды, но бесшумный и незримый Эфраим, с его опытом подкрадываний, маскировки, пролагания маршрутов и выживания, так и не нашелся. Пути его странствий уходили дальше, чем мы осмеливались предположить. Через несколько лет французский мотоциклист, совершавший кругосветный пробег, обнаружил таких телят и в Армении, и в Алжире. Похоже было, что капли *creme* Жана Вальжана летят по ветру, как цветочная пыльца.

– Он отнес своего Жана Вальжана в тот публичный дом в Арзеве, – сказал Ури.

– Границы никогда не составляли проблему для Эфраима, – сказал его английский командир лорд Ловат, который приехал из Лондона навестить нас. – Твой сын был прекрасным солдатом и настоящим другом, – сказал он дедушке. – Даже после его ухода из армии наша связь не прервалась. Он многим нам помог.

Дедушка закусил губу и ничего не ответил.

Лорд Ловат был худощавый пожилой джентльмен, опиравшийся на резную палку. Голубой шелковый платок скрывал его горло и стальную трубку, которая торчала из раздробленного пулей кадыка и издавала слабые посвистывания, когда он смеялся. С ним была высокая и красивая пожилая женщина, которая начала дрожать, как только они въехали в деревню.

Лорд Ловат расписался в деревенской гостевой книге, а потом мы повели его в дом к Рахели Левин, потому что он хотел узнать, кто научил Эфраима ходить так бесшумно. Он был поражен, увидев худую смуглую ста-

⁷⁵ Староста арабской деревни (арабск.).

⁷⁶ Лысуха – птица из отряда журавлеобразных, по виду напоминает утку.

руху, которая неслышно, как по воздуху, скользнула к забравшейся в ее огород крольчихе и до смерти напугала ее, крикнув ей прямо в длинное ухо: «У-у-у!».

Потом он закрылся с дедушкой для долгой беседы, а меня обнаружили подслушивающим под окном и прогнали к красивой женщине, которая гуляла в саду. Она бродила меж цветущих деревьев и прижимала их мягкие лепестки к горлу, напевая и тихо смеясь.

– Ты помнишь этот стих Торы, Яков? – спросил дедушка Пинеса, когда лорд и его красивая спутница уже уехали. – Помнишь, как Иаков сказал: *«Еще жив сын мой, пойду и увижу его пока не умру»?*

– И он увидел, тот Иаков, в конце концов, он увидел, – сказал Пинес.

– Этот Яков, – сказал дедушка, – уже не увидит своего сына никогда. Только счеты с вами держат меня на этой земле. Вы выгнали его из деревни, и я поражу вас в самом чувствительном для вас месте – в земле. Шуламит я накажу в ее сердце, а вас я накажу в вашей земле.



Время шло, молоко струилось, кукурузные початки созревали, и копыта их листьев ранили кожу. Амбары наполнились, на деревьях завязывались плоды инжира, были еще войны и еще, и на склад комбикорма пришел новый работник – пожилой и могучий человек по имени Иошуа Бар.

– Я тебя откуда-то знаю, – сказал ему страж Рылов. – И я разберусь, откуда.

Как только в деревне появлялся новый человек, старый страж вылезал из своей ямы с оружием, чтобы «прощупать новичка». Мне нравилось смотреть, как он с усилием выползает из своей зловонной норы, стоит несколько минут на солнце, пока к нему возвращается способность двигаться, потом запрыгивает верхом на свою лошадь, поразительно слаженным движением руки и бедра подает ее назад и галопом вылетает со двора. Такими же поразительно слаженными и заученными были движения всех наших стариков, когда они брали в руки знакомый, привычный им инструмент – старый культиватор, чтобы прополоть траву, или косу, чтобы на праздник Шавуот срезать первые колосья. И таким же было движение дедушкиной руки, когда он гладил Шуламит.

Иошуа Бар смущенно улыбнулся. Это был настоящий великан, недалекий и покладистый человек, весь в лысине и морщинах.

– Ну я, это, покрутился там и сям, – сказал он уклончиво.

– Мы не любим людей, которые крутятся, – сказал Рылов. – Двигающиеся цели, в них тяжело попасть, даже если они с тебя ростом.

– Оставь его, – сказал начальник склада. – Он хороший работник. Чего ты к нему привязался?

– Ладно, – сказал старик. – Но если вы оба, ты и он, хотите умереть в своей постели, пусть не приближается к моему двору.

– Но мы, это, не спим с ним в одной постели. И вообще, как ты со мной, это, разговариваешь? – обиделся Иошуа Бар.

Но Рылов уже пришпорил свою лошадь, выкрикнул напоследок: «И перестань все время вставлять свое "это"!» – и исчез в клубах пыли, так каменно выпрямив спину, что это отбивало всякую охоту следить за ним взглядом.

Иошуа Бар любил играть с деревенской детворой. В обеденный перерыв он заходил в лавку и покупал там буханку хлеба, сто граммов масла, завернутого в вошеную бумагу, и три головки чеснока. Это был его обед.

– Хлеб для здоровья, масло смазывает человеку кишки, чтоб легче, это, ходить на горшок, а в чесноке есть сила, и он против глистов, которые ползают в человека съесть его масло, – объяснял он малышам, которые топтались, точно цыплята на обогревателе, на его огромном теле, излучавшем приятную силу и тепло.

В Польше Иошуа Бар был знаменитым борцом. «Я надевал, это, шкуру леопарда, перепоясывался римским поясом и клал на лопатки всех гоев до единого», – возбужденно рассказывал он, демонстрируя старую фотографию, на которой он был изображен в позолоченном картонном шлеме с пышным конским хвостом, и ноги его были крест-накрест перехвачены гладиаторскими ремешками.

Иошуа Бар снимал комнату у Рахели Левин и удивлял начальника склада своим трудолюбием и неустойчивостью. Каждое утро он бегал и упражнялся в полях, и его тяжелое буйволиное дыхание разносилось по всей деревне. Дважды в неделю он тренировал деревенскую молодежь в забытых воинских искусствах времен мандата – джиу-джитсу и рукопашной борьбе. «Мне не нужно, это, платить», – стеснительно отказывался он. Но однажды, когда он, побагровев от натуги и удовольствия, показывал малышам, как поднимает одной рукой мешок с комбикормом, из-за кучи сорго вдруг выскочил Рылов, выхватил из кобуры свой русский наган и крикнул: «Ну, вот! Теперь я знаю, кто ты. Ты тот силач, из труппы Зейтуни».

Теперь вспомнили все. Хотя годы изрядно проредили былую гриву волос Иошуа Бара, это, несомненно, был тот самый цирковой силач, который ломал кирпичи и гнул гвозди.

Дани Рылов и секретарь Якоби забрали его в помещение Комитета и вызвали Авраама.

Авраам пришел взволнованный и напряженный. «Где мой брат?» – спросил он с порога.

Но то, что рассказал силач, ничем не могло помочь.

– Твой брат, это, был с нами всего один день, – сказал Иошуа. – Зейтуни дал ему вроде кличку – Альфонсо Коррида, стальной человек из Толедо.

Тошнотворное цирковое прозвище вызвало у присутствующих стон негодования и отвращения.

– Он шел за нами весь день со своей коровой на спине, – продолжал силач.

– Это бык, а не корова. Не она, а он. Бык породы «шероле», – сказал Дани Рылов.

– Ну вот, он, это, шел себе с этим своим коровой, а я глазам своим не верил, сидел в телеге и смотрел, как он все время шел, в этой своей маске на лице, и даже не запыхался. Мы тогда заночевали у арабов в деревне. А Зейтуни, он с того времени, как твой брат к нам пришел, все время на меня ругался, а вечером сказал, чтобы я всем готовил ужин, как повар.

На глазах изумленных арабов Эфраим десять раз поднял Жана Вальжана на плечи, и те были потрясены. Они решили, что в его теле прячется джин. Его маска и одинокий глаз, освещавший сетку своим зеленым блеском, тоже наводили на них страх.

– Но кроме этого – коровы – у него совсем не было силы, – сказал Иошуа. – Я мог бы уложить его одной рукой. Он, это, даже сто килограмм не мог поднять. Или там пятьдесят. Только своего, это, корову.

– Если ты еще раз скажешь «это», – сказал Рылов, – я тебя заставлю проглотить вот этот кнут!

Пинес открыл дверь, вошел и сел сбоку.

В тот вечер Зейтуни заработал много денег. Он был счастлив.

– После ужина он, это, дал твоему брату резиновую женщину.

Слезы навернулись на глаза Авраама.

– За что нам это? Почему именно нам?

– Каким отчаявшимся должен быть человек, чтоб соблазниться такой подачкой? – спросил, ни к кому не обращаясь, Пинес.

– С ней никто раньше не делал этого, – сказал силач. – Только Зейтуни. Потому что ей вообще не нужны были мужчины. Когда ей хотелось, она могла, это, сама поцеловать себя туда. Она могла сложиться так, что мужчины совсем дурели.

Пинес передернулся и сказал: «Эти детали нас не интересуют. Вернись, пожалуйста, к Эфраиму».

Силач продолжал: «Зейтуни запустил ее в палатку с твоим братом, и они начали там друг с другом, а потом мы все услышали, что она орет, как животное, которое рехнулось. И тут, посреди, вдруг пришел этот его корова, поднял своими рогами вход в палатку и стал на них смотреть. Я видел, как они склешились друг с другом, и она, это, вся вроде как обвязалась вокруг него. Твой брат был совсем голый, одна тряпка на лице, и тут он поднял ногу и дал этому своему корове по морде, чтобы тот ушел. Но корова не ушел.

– Вот так же Эфраим смотрел на него, – сказал Авраам таким глухим и измученным голосом, как будто это дедушка говорил из удушья могилы.

– Тогда он встал и пошел, а эта резиновая женщина так и была на нем завязана. А корова взял в рот его одежду и тоже пошел за ними, но метров через пятьдесят мы услышали такой звук, как будто выскочила пробка, и она, это, отвалилась с него, как мокрая тряпка.

Силач сунул толстый, прямой палец в рот, надавил изнутри на щеку и выдернул его, издав отвратительный, мокрый и хлюпающий хлопок.

– Вот такой был звук, – сказал он.

Зейтуни бежал за ними, кричал и просил, но корова повернулся, нагнул

голову, посмотрел ему в глаза, захрипел и сделал ногой – вот так, по земле, – и Зейтуни испугался больше подходить.

– И куда же он пошел? – допытывался Рылов.

– По какому азимуту? – спросил Дани. Узи, его сын, служил тогда в армии, в части, которая называлась просто Подразделение, и Дани подхватил у него несколько армейских терминов.

Иошуа перестал угрожающе реветь и рыть ногой по полу.

– Это было как будто сон, – его грубое лицо разгладилось и засветилось. – Как будто мне это вроде снится. Он взял своего корову себе на спину, и они исчезли между деревьями и облаками.

– Куда исчезли? Куда? – закричал Авраам.

– Никто не знает, – сказал силач. – Зейтуни тоже искал его немного, ду- мал, может, твой брат, это, раскается. Но они ушли насовсем. Я никогда в жизни не видел такого человека. Мы всего два дня были вместе. Утром я ему завидовал, в обед боялся, а вечером уже любил.

На следующий день Зейтуни купил у арабов новорожденного теленка и потребовал, чтобы силач начал тренироваться в поднимании быков.

– Я сказал ему: сколько я там могу поднять? Корову в двести кило? В триста кило? Это мой предел. Как он, я все равно никогда не смогу. Я знаю, что такое сила. Я специалист по силе. Это не сила. Только совсем пропащий человек может сделать такое. Или, это, двое хороших друзей.

Стоя под окном, я услышал, как кто-то тяжело вздохнул и отодвинул стул. Авраам устало поднялся и вышел. Иошуа Бар посидел еще мгновение, а потом прыгнул к окну и прокричал ему вслед, буквально над моей головой: «Я так думаю, что корова не хотел, чтобы твой брат делал это с резиновой женщиной».

Якоби и Дани толкнули его обратно на стул.

– А почему ты вернулся сюда, Иошуа? – подозрительно спросил Якоби.

– Я бросил Зейтуни. Не хотел больше работать у него. Давно уже. Потом я делал всякие другие работы. Был на строительстве, грузил мешки с цементом, и в порту тоже, привязывал, это, корабли, и только когда пришел сюда, вспомнил, что человек с коровой – он из этой самой деревни.

И тут я услышал, что старый Рылов поднялся, и понял, что сейчас он встанет за спиной допрашиваемого и начнет швырять пугающие вопросы в его оцепеневший затылок.

– Ты рассказал нам красивую басню про Эфраима и его быка, – сказал он. – Мы такие сказочки слышали уже не раз. А теперь слушай меня внимательно и отвечай. Вам попадались по дороге англичане?

– Нет.

– Я опять повторяю, а ты води себя как следует. Тебе не доводилось видеть англичан, которые говорили с Эфраимом, что-нибудь получали от него или передавали ему?

– Какие у тебя, это, англичане в голове? – рассердился Иошуа. – Мы давно в нашем собственном государстве. Твои англичане давно ушли.

– Послушай, я уже имел дело с такими, как ты, и даже в два раза потяжелее, – сказал Рылов с искренней тоской. – Припомни хорошенько. Может, это был хромой английский офицер с палкой? Или два шотландца?

– Что это – шотландцы?

– Не вздумай мне выходить из деревни, – предупредил Рылов. – Я проверю твою историю у моих друзей в Галилее. А потом у меня к тебе будут еще вопросы. Мы тебе не просто люди. Мы – Комитет!

С годами его голос стал гулким, как будто звучал в пустоте, и теперь его слова, прозвенев в воздухе, продолжали отдаваться от стен и после того, как он вышел из комнаты.

Авраам вернулся с допроса Йошуа Бара разможенным и смятым, словно весь мир разом обрушился на него. Он не вошел в дом, а направился прямо в коровник и там стал реветь, и кружить с растопыренными руками, и метаться вперед и назад, как зарезанная курица, и борозды на его лбу врезались так глубоко, что побелели от напряжения. Иоси был в армии, Ури работал у своего дяди, и Ривка поймала меня, когда я возвращался, и потащила в коровник, чтобы я проследил за ее мужем, не то он разобьет себе голову о стену. Я подождал, пока он упал на пол, и понес его домой.

Я нес его без труда. Без всяких усилий. Я сильный человек. Большой, как бык. Внук послушный и опасный, широкий в плечах и жестоковыйный. Зачем мне вся эта сила, которую дедушка втиснул в мое тело? Так я нес больного Пинеса, так я нес моего мертвого дедушку, так я нес едва не утонувшую в море серфистку. Так я несу смертельно усталого Шифриса, свои мешки с деньгами, бочку рассказов, мою мать – высокую, красивую, сгоревшую дотла.

Перевод с иврита – Р. Нудельман и А. Фурман



автор более 40 книг, переведенных на 15 языков, лауреат литературных премий (израильских и французской), персоналий многих словарей и энциклопедий, в том числе и Большой Британской энциклопедии. Член международного ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

ФАРФОРОВЫЕ ЗАТЕИ*

Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой

Она крошечная, смуглая, иссушенная – словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.

1

Просто жизнь

– ...Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка... Настродалась от добрых людей...

Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь, сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: 90 лет – это уже не возраст, это эпоха.

...Пойдем, сядем на диван... он называется *Шурик*. У меня сосед был Шурик, таксист, я упросила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал.

Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний». А Шурик ей: «Кто вам

* Из книги рассказов «Фарфоровые затеи», которая выйдет в России летом 2006 года.

сказал, что нам нужно, чтоб раскладывался? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон, любая старуха тут, на лавочке, – она тебе интереснее расскажет... Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя, вот знаешь, что – этому президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения... Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля – за лодкой, и лает, и стонет... У меня просто сердце разрывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да, – и забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну, скажи – как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит – ведь ему вряд ли дадут сделать что-то хорошее. Потому что он не может окружить себя теми, кто умеет что-то делать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Парни с его двора, говнюки какие-нибудь... Ты как относишься к плохим словам?

– К матерным?

– Ну да.

– Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда вещь необходимая.

– А я могу и без них вытерпеть. Немного, но могу.

– ...И Раневская ваша, вот, тоже...

– ...Да, доктор Бакулев знаменитый однажды был приглашен к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень... Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял... Пришел, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

– Александр Николаевич, не сру!

– Сейчас посмотрим.

– Что – посмотрим?!

– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопочку... Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы, легенда, так сказать, российского фарфора, дали на нее согласие... Я, вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать... А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые я с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала...

– ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый семьдесят лет, это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота, и – никуда от нее не деться...

– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

– Чего ты не можешь, дура! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове...»? А, кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе... Дед был миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе... После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?...» Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

– А в Пензе... там был большой дом?

– Ну, был домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж... А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси... Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши...

– А... Саша?

– Саша – это моя мать. Я ее всю жизнь называла – Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

– Как это – свистела?

– Погоди, не плунтайся под ногами... Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»... Я – про что? ...да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева... в разные стороны так разбегалась... И она стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках... Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо про себя говорила: «а мне – ничего»... И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо... Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальню... тяжелый, сволочь!

– Это вы – чтоб брата зарубить?

– Ну, само собой... Да, ташу топор... А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты тащишь ночью топор?» Я говорю: «Оську убить. Помоги мне, я не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уже не стоит убивать... Грех это... Ежли родился, пусть живет...

– И вы смирились?

– Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то в смокинге, не то во фраке... Кудрявый.

– Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?

И я ему раскрыла сердце.

– Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец! – открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравка, но мне показалась волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дорожке ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания... Я ведь вообще – в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком в фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, теплое, оно так ни-и-зенько висело... и я подошла и вот так подставила руку, и оно, опущенное какой-то нежной пыльцой, такое... под-лин-ное... оно село мне в руку, улеглось... понимаешь? Не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь... Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладонке живое яблоко. Это было такое мощное восторженное ощущение жизни...

И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шел всеобщий любимец селезень Васька... Шел себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепеленная шейка, глаз такой веселый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шел в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. Получив гонорар, отправлялся к своим... Я увидела, что Васька идет в кухню, подумала, не буду ему мешать, обожду здесь... И села в траву... А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущенно и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй» – и что-то бросила мне в руки – холодное, мокрое. Я вышла на улицу, где было светло – разглядеть... Это была Васина головка. Ладонь омочилась его кровью, белая пленка закрыла глазки... Я даже не плакала, я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неопишуемой красоты... я не могу тебе даже объяснить – что это для меня было...

Пауза

– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко... а что революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал... Ваша семья...

– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алушке, в частном пансионе – у Саши были слабые легкие. Хозяином этого пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной

разбойной бородой... У него была охранный грамота, потому что на каком-то процессе, где приговорили Фрунзе к смертной казни, он его отбил.

– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе...

Ну, и отец повез меня на поезде в Алупку, к Саше. Ташились несколько недель, время-то было опасное, глумливое... Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи здесь есть? Выходи!»

Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведете?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот, не пригодится ли вам эта вещичка? Смотрите, какие драконы на ней великолепные, какая тонкая работа»... Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный благоуханными отцовскими папиросами, буркнул: «Ладно, убирайтесь, пока не смотрю!»

И мы с отцом бросились бежать... А ту, другую семью, голь перекатную, понятно, куда повели...

И вот, не помню уж как, добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, прошли через огромный парк великолепный, вошли в дом, нам горничная показала ее комнату... Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела...

– Что-что?! Погодите, я н-не совсем...

– Мне было шесть лет... И мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной ее стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И только когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела...

Я робко к Саше приблизилась... Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьем в поездах, да еще после того налета спали где попало, скитались по селам, добирались на попутных шарабанах... можно вообразить, во что превратилась моя и без того всклокоченная голова. Саша подошла поближе, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела меня мыться...

И все это уже было счастьем... Дивный парк... Море...

– В те годы там жилали многие замечательные люди?..

– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы – с 17-го по 25-й – многие интеллигенты скопились в Крыму: в Коктебеле, в пансионатах в Алупке, Мисхоре... были там и Аверченко, и Тэффи, Волошин... – всех не перечтешь, очень благородная публика. Я при них там крутилась... И еще были дети. Мы учились там, знаешь? Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева... Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас все это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева... Она поставила вазу на лавку, и в ней три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны...

– Где ты их увидела? – спросила меня Хотяинцева.

– А мне так хочется!

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

– Угадала...

– Да, вот такие люди... Поэтому-то и говорю таким языком – их языком... А Саша свистела... Она божественно свистела!

– Да что это значит, наконец?!

– Пока Саша была в Италии, кто-то научил ее свистеть, не открывая рта. Она божественно свистела! Казалось, что звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну, так что, лучше умереть грамотной, чем невеждой!»... Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья... А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром вырывалась из открытого окна и опять влетала в безмолвный дом. Мы долго, долго стояли, все надеялись... Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...»

– Сколько же километров вы отмахивали?

– До Мисхора не так много... Каждый день в оба конца... Саша делала все, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

– А было голодное время?

– Совсем голодное... Опухшие трупы на улице.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» «Как это – мимо?» – удивилась она. – «Ну, вот я расту себе, пью, гуляю... а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер... это ощущение опустошенности – как влетала и вылетала из окна легкая тюлевая занавеска. И ни единого звука... «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

– Сколько вы пробыли в Крыму?

– В 21-м году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сперва в Алупке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра... Потом приехал ее муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву... двадцать четыре дня.

– В Москву – 24 дня?!

– 24 дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался...

– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?..

– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошел совсем молодой, хорошенький такой... У него вот тут, на руке, висели сумки... Навел на меня дрожащий пистолет... кажется, он сам его боялся... сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!»... Повращал глазами и ушел. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..

– Ну, а когда добрались в Москву?

– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптуру? Моя бабушка... Вот такая она сидела: величаява красавица, рыжая, с рыжим котом на руках, у ног черный пудель, а на нем верхом сидел маленький королек-петушок. У него там было гнездо, на пуделе. Это первое мое впечатление в Москве... Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

– А где вы там жили?

– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился... В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены... но сам Елоховский не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение... особенно в страстной четверг.

– Вас крестили?

– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет, что будет... Пусть нас вышлют»... Но никто нас больше не тронул:

– В какой школе вы учились?

– Это была девятая школа имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Например, помню Женский праздник. Зал был набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

– Это была женская школа?

– Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль, который давался в их честь... И вот, только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротное выстроенное прекрасное здание в стиле «модерн»... Внутри зал огромный... И я на сцене этого зала: беленькие в резиночку чулочки, лаковые туфельки, черное бархатное платье... И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обижаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабочего района!» Дальше я забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале...

И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

– Это было завершение вашей артистической карьеры?

– Нет, зачем же... Я еще в нескольких спектаклях с неменьшим успехом участвовала. Но главное таинство Посвященных помню: вступление в пионеры... Экзамены проводили не на шутку, задавали такие страшные вопросы, с идеологическим подвохом... Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убежденные были люди. По-моему, всех

троих потом расстреляли. «Скажи, Горштейн (это моя девичья фамилия)... когда было боксерское восстание в Китае? Знаешь?»

– Никогда в жизни!

Мне было 11 лет.

– Ладно, дам тебе вопрос полегче, – говорит Яша Кронос. – Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем легкий вопрос...

Совсем легкий! Да только я такая незадачливая...

– А что ж ты знаешь?

Я сказала, что знаю все про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им все рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить французскую революцию, Францию... Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб убить тирана!

Тогда они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома рассказала про все это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота была тебе вступать в эту сволочь!»

Но дома я отстаивала репутацию своих друзей. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы очень дружили, часто гуляли по Новодевичьему... Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству. Много чего смешного было – например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит – морда как полено, говорит по телефону. Интересно – с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, все строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы... Его, само собой, посадили в свое время... Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, я как-то столкнулась с ним в коридорах министерства культуры. Он выглядел снятым с креста... Очень скоро умер...

Пауза

– Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы – художник?

– Ну, ты как-то торжественно это... Сейчас, я задумаюсь... Да не было у меня никакого такого чувства. Не было. Сперва лепила на пляже из черной глины, потом из пластилина. Все удивлялись, как это у меня хорошо получаются всякие Золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова... Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении... Но так, чтоб почувствовала, мол, «нет пути иного» – дудки! А вот потом, когда появился Менделевич...

– Который скульптор?

– Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У нее был роман со скульптором Менделевичем. Но она почему-то считала себя обязанной

жить в семье, со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней – мне было лет 12 – и стала уговаривать ее уйти из дома.

– Саша, – говорила я, – не мучайся ты ради меня, уходи... Ну, подумай: пройдет еще несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже жизни...

Она проволынила еще год и ушла к Менделевичу... И все разом повеселели...

– Так вы стали учиться у отчима?

– Ну, не совсем «учиться»... скорее, просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции, у Карла Росси? Это как получилось: он на Весеннем вернисаже выставил мраморную головку «Смеющаяся девушка», прелестная была работа. И она приглянулась богачу Гиршману – помнишь, Серов писал портрет его жены с палантином? Гиршман. Так он буквально влюбился в эту головку (она была с четверть натуры, мраморная)... И говорит: «Если принесешь мне ее домой, пешком, я тебя на два года отправлю во Францию учиться».

– Изверг какой...

– Да-да, Гиршман, богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил ее на плечи прямо с вернисажа, да и поволок...

– Сколько же она весила?

– Не знаю. Наверное, много. Мрамор же. Мрамор, не что-нибудь, не вынутый, ничего. Да и на подставке...

– Сколько же он так шел, бедный?

– Не помню. Гиршман жил на Поварской. А где проходил вернисаж – не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке. Недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Голицын строил для своей возлюбленной цыганки Шурочки Христофоровой, с которой дружила Саша.

– В каких же годах это было?

– Спроси что полегче...

– Спрашиваю: значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделевичу, и?..

– Ну, да... просто сидела, смотрела... Он делал какую-то вещь, деталь самолета или группу «Три летчика» и однажды сказал: «Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь». Видно, как-то понял, что я что-то могу. Так я стала помогать ему на подхвате. Однажды он лепил Громова, летчика. Тот приходил позировать после Чкалова – так это были день и ночь. Громов – денди, со стеком ходил. А Чкалов был обаяшка, очень простой, очень свойский... Ты знаешь, что он после перелета из Америки возвращался на пароходе? И какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: «Если б я знала, что вы поплывете на этом пароходе, я бы сдала билет, вы испортили мне всю рекламу!» Понимаешь, на эту дурунду никто уже не смотрел. Все хотели потрогать живого Чкалова... А он позировал Исааку Абрамовичу... Ну, и Громов позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот,

за час. Бывает так, нашло какое-то вдохновение... Головочка вот такая вот, манюсенькая... Но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошел, посмотрел и сказал: «мала голова» – и размял. Сердце у меня развернулось на другую сторону...

– ...И не простили вы ему?

– Дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой... техникум художественный, в Леонтьевском переулке... Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны... Болталась я неприкаянная, кислая и – горевала... И Валерий Павлович, Чкалов, говорит: «Погоди, я сейчас все устрою. Как этому вашему Грабарю звонить?» Тут же набирает номер: «С вами говорит Чкалов Валерий Павлович. У меня к вам большая просьба: есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите ее на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы ее прогоните, я не буду в претензии, а если покажется и будет работать, я вам век буду обязан...»

– Да уж... свойский человек...

– Свойский! Так что я Валерию Павловичу всецело обязана.

– И вы стали там учиться...

– ...И это, доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчимом была обучена. А он как: сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее... И когда я стала этот способ при всем классе воспроизводить, все на меня смотрели, как на монстра. Потому что скульптура строится с основания каркаса, с построения головы.

– Ну, а Менделевич?

– ...Носик это, брат, дело последнее, а не первое. Если с носиков начинать – ничего не выйдет.

– Но ведь у Менделевича выходило?

– Когда как... Профессора по скульптуре у нас менялись часто, пока не пришел, наконец, Александр Терентьевич, Матвеев. Ну я у него, по-моему, вызвала только отвращение.

– Почему?

– Плохо я работала, очень плохо. Когда он, бывало, ходит по классу и встанет, так, за твоей спиной... ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и видишь все, что ты напортачила. И это было ужасно... Стала я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской... Девочку одну нанимала. Девочке было лет семь, я ей платила рубль за сеанс, она была довольна. Только очень мучилась неподвижностью, все время приговаривала тоненько: «побегать-побегать-побегать-побегать...» – и ногами сучила...

И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась: стоит Александр Терентьевич, смотрит... Говорит: «Я думал, все обстоит гораздо хуже». Больше похвалы я никогда в жизни от него не слыхала. Счастлива была безумно!

– А вы ведь уже были вполне взрослым человеком.

– О чем ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, он был черный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет науч-

ную книжку с чертежами и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает отличные чертежи для книги... Боба страшно был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборт... Ну, позже, разумеется... Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь... Играл ночами... Однажды я прождала его всю ночь, а он пришел под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Федор Толстой. Выиграл. Ну, что ты ему скажешь? Во-он оно, висит над тахтой... Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти... И, главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картежницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.

– А у вас, вы говорили, тоже домработница была...

– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у нее домработница.

Женщина настоящей судьбы, соответствующей веку. В юности муж ее бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а ее на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Ее вывели прямо из зала. 10 лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела 11 лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. А так я бы сдохла». Знаешь, огромные плечи... Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала... к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговориться. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве...

У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Она прилетала ко мне на свидания, я ее кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Так Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, да же войла!»

– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое... людоедское... Как вам в те годы жилось-то?

– А, знаешь... Да, людоедское. Оно, конечно, так... Вот, говорят, мы все в страхе жили. Но... как бы это тебе объяснить не крамольно, по-человечески... Мы весело жили. Мы были молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»... Танцевали...

– Что танцевали?

– Бостон, танго, чарльстон... Домой возвращались часам к пяти утра... И если видели перед подъездом черную машину, то прощались друг с другом...

А летом... как ехали в Рыльск? Поездом до Курска, потом пересесть, потом нанять лошадку худенькую и 40 километров лошадкой. Поселиться у

пани Вашук, самогонщицы... Меня она называла «пани млода Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга... потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Вашук надела лучшее платье, на бретельках, надела «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками... Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?

Что это был за театр! Ничего смешнее этого я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас было растерзали. Это было грандиозное событие – в городе, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия...

– Евгения Леонидовна, ну а когда все началось-то, ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?!

– Ну ты сразу: знаменитая! Погоди... Мое дело, говоришь... С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич... Он нам дал задание, это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли, кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползет, кто выполз, кто недополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника павшим женщинам». Хохот поднялся немыслимый... Она: «Чего вы смеетесь?» Матвеев ей: «Памятник павшим!» – «Ну, я же и сказала: павшим!» Потом я развернула свою работу, от этого хохот уже стал просто гомерическим. У меня шел медведь и нес на руках Татьяну, которая упала в обморок.

– «И снится чудный сон Татьяне». Известная ваша композиция...

– ...Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что была чудесная группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел... и вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»

– Так и сказал – «затеи»?

– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи... Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас все получи...»

2

Дулёво

– Ну, вот, здравствуй... Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть... А мы с Гуленькой тебя очень ждем. Гуленька, ну, где ж ты, покажись, тетка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает... нет! Вот, непреклонная душа... Диван, оно надежнее...

Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная... А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи у нас во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокисшего, а кто и вовсе о нем забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну, как столб.

– Так он такса был?

– Он был никто. Просто длинная собака... Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая черная голова и белая маечка. И наступила зима... никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батареек зимой, 23 градуса мороза... А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдем жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло... Он набросился на еду, лег и проспал 22 часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнет, не ударит... Кротости неземной... А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза, как на портретах голландских мастеров... Такой великолепный был пес. Хромой... Судьба их ко мне приводит...

Ну, давай уж сразу чай пить, а то ты в прошлый раз меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула...

– Просто пленка кончилась, а другой не запаслась...

– Сегодня запаслась? Идем на кухню...

– Только я сама все буду делать, ладно?

– Давай, черт с тобой. Я здесь, в любимый угол, законопачусь... и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько... Умеешь? Чашки на второй полке, слева... Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце... Там – трех сортов от трех гостей... Только мне завари крепкий, чифирь...

– А сердце?

– А плевать... Ну, пошла проводки разматывать... Розетка позади тебя... Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот, то-то...

– Евгения Леонидовна... Мы в прошлый раз остановились...

– Слушай, а может, ну ее к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных. Лучше ты вот, расскажи...

– Евгения Леонидовна!!!

– Ну, хорошо, хорошо... сразу и гром и молния... А мы про что говорили в тот раз?

– Про Дулёво. Как все начиналось...

– Как начиналось... я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал, рекомендательное, в Дулёво... Ну, вот... А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный, – пешачком идти с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла.

Села, сижу на скамье... А рядом стоит... Ну, это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщина, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках... Ну, и поскольку нас двое оказалось в такую рань, разговорились. Я спрашиваю: «А вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться?» – «Это я не знаю. Я поеду до Орехова... Я хожу по поездкам, пою». Я не сразу поняла, что это ее заработок. Что, спрашиваю, поете? – «Ну то, что знаю, что смолоду пела. Хотите я вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Все-таки я вам спою...»

Забыла этот романс... «Она была мечтой поэта...» Нет, не помню... но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, я вам еще что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зареванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла, потом ушла...

– Но вообще-то, песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые...

– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у-...» Нет, он сперва входил – в черных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой – и громким уверенным голосом говорил: «Братья, сестры, я вас не визжду, я не визжду божжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-и-л, я ль на тебя не мо-ли-и-и-лся, след твоих ног цалова-а-а-л, чуть на тебе не жени-и-и-лся!»

– Жуть как трогательно...

– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-и-лся, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-и-лся. Зачем же так горько страда-а-а-ть, зачем так безумно влюбляя-а-а-ться. Любовь не умеет проща-а-а-ть, любовь не умеет смея-а-а-ться!»

– Потрясающая песня!

– Я ему говорю: «Вы сами ее сочинили?» – «Да нет. Ее все поют. Городской романс». – «Спойте еще раз, я вам дам 3 рубля. И запишу слова». Три рубля тогда были, как сейчас 300. А он мне: «За три рубля я вам сам слова напишу!» Снял черные очки, глазки вострые такие оказались, видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послунявил и записал слова. Ну, как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нем было 19 с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!

Так вот, под всякую эту музыку 3 часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылазить» надо, и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком 7 с половиной километров до сухой дощечки-указателя: Дулёво. И все маленькими деревнями... Все кругом интересно... все мне нравилось... Так, значит, Дулёво вот сюда, а напротив – Ликино... Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр... Так у них тоже было, у Дулёва с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось все с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулевско-фарфорской стороны, выходили

гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем неважно было, чем кончался матч, им бы только дождаться, чтоб он скорее начался, чтоб броситься друг на друга.

И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побежденных мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкли так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса...

– Евгения Леонидовна, расскажите про первый свой день в Дулёво...

– Ну, вот я тебе и рассказываю... пришла, значит... Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите... Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой...

– Серебристые тополя?

– Серебристые, да... И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная серебристо-зеленая мурава... Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще, откуда ни возьмись, явилось шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну как диван... Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг... Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёвым еще до того, как переступила порог проходной.

– А потом?

– ...Потом разговор с директором. Захолустный такой, добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: «Ну ладно, попробуй, может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?» Я показала... вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники? Что я хочу такой вот чайник расписать. У него в кабинете заготовки рядком стояли. «Ну это тебе не справиться». – «А я попробую. Мне покажут...» И прямо в этот же день я его расписала, чайник. Вот он там стоит, синий, с розовыми цветами...

– Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво?..

– Вот как начинается, в каком году, тут швах дело...

– Приблизительно – 40-е, 50-е?

– Да, конечно, сороковой с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его надо задуть, потом прочистить... но тут уж рассказывать тебе технологию, это до вечера, Бог с ней совсем.

– Кого задуть? Печку?

– Темная ты баба... Для того чтоб получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской. А потом надо же на нем рисовать: сначала чистить места, где будет рисунок. Значит, ты расчищаешь так, чтоб не повредить это дутье, расчищаешь места, где ты думаешь рисовать и что думаешь рисовать. Потом пишешь все это красками... Потом ставишь в огонь... Потом не живешь на свете: не порвет ли его, и как он выйдет? Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба! При чем дикция превосходная у него была.

– А как же он без зубов говорил?

– Пес его знает, как говорил. Много, долго, да так торжественно. Причем уверенный, что приехала темная баба в Дулёво из Москвы. Он посмотрел на чайник и сказал: «Беру эту женщину на завод. Только вы бросьте институт». Я спросила: почему? – «Он лишит вас непосредственности». Я сказала: пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы «Евгения Онегина» не смог бы записать. Так и я. Я выучусь там грамоте, это вам не помешает... Словом, приняли меня на завод.

– Трудно было сперва?

– А ты как думала?... Подселили меня – вернее, сама я прикипела к нему – к старому мастеру Маслову... Там как жили? Это были еще старинной постройки – кузнецовской – дома, двухэтажные, сложенные из бревен, на каждом этаже две квартиры по три комнаты. Вот он, Маслов-то, старик меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через три как-то ночью он стучит ко мне в комнату: «Женюра, вставай! Вставай, скорее!» А я смотрю на ходики: четвертый час утра.

– Он вас Женюрой называл?

– Женюрой... Меня там все звали Женюрой... сначала. Потом, через годы – Евгения Леонидовна... Потом, в конце, просто – Леонидовна...

– Так, говорит, вставай. Чего – вставай?

– Вот и я: «Чего вставать-то?!» – «Вставай, вставай, там узнаешь, чего. Одевай, хоть чего не то накинй, побежим»... Я босиком, в рубашке, как была, выскочила. Идем прямо в сад. У него маленький фруктовый сад. И там... не знаю, как тебе изобразить... Пели соловьи!.. Он повел слушать соловьиный хор! Это было упоение! В каждом маленьком садике – вот как две комнаты моих величиной – сидели и пели соловьи! И все, кто соображал, выходили их слушать... И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот... Потом он сказал: «Ты слушай только меня. Знаешь, старики какие зловерные. Они подсказывают новеньким такие приемы, после которых у тех все наперекосяк... А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру. Если тебе скажут, что ты поплый сперва на стекло, потом помой его – не слушай. Знай, что это уж гиблое стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска. Ну, тут масса мелочных секретов. Вот...» В общем, стала я работать. И, как все начинающие, была нахальной, самоуверенной. С чего начинает начинающий? С Петра Великого тихо-скромно.

– И вы с Петра начали?

– А как же... Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: Господи, откуда была такая наглость? Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, что это очень талантливо. С годами это проходит, слава Богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь...

– Евгения Леонидовна, а как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было?

– Знаешь, у меня какое-то воображение приемистое, я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон наверху «Встреча любовная», видишь? У нас во дворе жила девочка Катя и совсем в другой семье – собака Смелый. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг другу, как влюбленные. Он первым делом облизывал ей все лицо. Она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день, и не могла не слепить... Такая это была невозможная искренняя любовь... А театр... не знаю, с чего я решила, что надо лепить театр... Саша моя очень любила театр. Особенно «Принцессу Турандот». Ну и втемяшилось мне – слепить Турандот.

А что это значит? Я отходила 27 спектаклей! И ничего не могла придумать... Ступор какой-то. Верный признак – надо бросать затею, к чертовой матери... Потом как-то с одного спектакля пришла и все нарисовала, как должно было быть. Ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причем жили-то мы в коммуналке, конечно. Кроме нас в ней жило еще 42 человека. Один галльон, одна ванна.

– Я даже представить себе не могу.

– А ты вот представь... Просто жили так, и все. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило...

– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире это многое перевернуло. А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, произошло что-то существенное?

– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех МОСХовских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрызг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться... мы выставлялись, конечно. Но были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали... Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или ничего, этого никто не знал... А Турандот, в общем, я слепила, и получилось красиво.

– Еще бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы... Я даже эскизы видела в каком-то журнале...

– И решили в МОСХе, уже когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили подарить это

театру от Союза художников. Уже я тут как бы и ни при чем. И вот, начав очередную спектакль «Принцесса Турандот», пошел занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя... Сперва ей специально саркофаг сделали, на колесиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колесиках? Это же слишком покато?»... А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли... Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через 10 дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе... Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековой женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну, что ж ты не идешь?» А он сидит за столом мертвый.

А через десять дней после него умер мой муж...

Пауза

– Вот как...

– Вот как... Ну... так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом еще были другие, многие, но гораздо слабее.

– Это вы себя судите строго, как художник.

– А как еще я себя должна судить?

– А после «Турандот»?..

– А сразу после Чеховский музей заказал мне целых десять работ, на любую чеховскую тему, какую захочу. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.

– Директор чего?

– Чеховского музея в Мелихово.

– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?

– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.

– Почему?

– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнувшая сигарами и вином, развязная, веселая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, все же свела с ней счеты, все-таки постаралась.

– Каким же это образом?

– Я делала композицию «Вишневый сад», и там она такая... рыдает. Да, задание давали они жесточайшее. Вот, «Вишневый сад», будьте добры, сделать нам две большие группы многофигурные, но чтоб были точно те ис-

полнители, которые были в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и чтоб все детали костюмов и декораций были соблюдены. Ну где это мне было разыскать? А все-таки удалось каким-то чудом.

– В архивах?

– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так, Книппер... Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями...

– Она ведь Раневскую играла в «Вишневом саде»?

– И потом еще в «Трех сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.

– Жестокая месть художника... Я, знаете, о чем хотела вас спросить... Вот, художник-живописец: пошел, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал что хотел...

– Вот именно: ура, все кончено. А у нас все только начинается...

– А с чего начинается?

– Во-первых, надо дурынду эту доставить на завод. Хорошо, когда уже появилась машина, ну, или такси... А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это все весит. Ну, ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – ее режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груды кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом ее формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски – как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда – спасибо партии за это – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повернись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий!.. Ну, ладно. Потом, когда она уже зачищена, ее надо окунуть в глазурь.

– Зачем?

– Чтоб блестела! Ведь это все блестящие вещи. А бывает «бисквит», и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, ее надо полить. Полить – это как? А вот надо взять ее, особенно если она большая, этак в две руки, и погрузиться в чан, с половину этой комнаты величиной, по пояс. Вот так окунуть туда и медленно вынуть ее.

– Как?! А это же вес большой?

– Конечно, большой.

– А кто это делал?

– Я или, если я не могла поднять, – вдвоем с помощницей, или мужика звали какого.

– Вы же хрупкая женщина!

– Ну, какая хрупкая, Господь с тобой! Я была вынослива, как лошадь. Какая там хрупкость. Хрупкие не смогут этого... Вот уже она у тебя в ру-

ках, с нее стекает глазурь. Надо доньшко подчистить, потом поставить ее на ту часть, на которой она будет обжигаться. И она должна сохнуть. А если она сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если ее сушить искусственно – это риск.

– Лучше, чтоб сохла сама по себе?

– Конечно. Вот она высохла, слава Богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь ее надо отнести – аж через весь завод – в другие муфля, где ее обожгут.

– Муфля – это цеха?

– Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только *горна*. Это прекрасно было. Были такие *конселя* с полстола величиной. Туда ставилась работа, такой же капсюль накрывался. И выбиралась оттуда она примерно на третьи сутки. Лезешь туда – 50–60 градусов.

– Боже мой!

– В том-то и дело: Боже мой. Снимаешь эту коробку. И достаешь то, что вышло. Не дай Бог тебе с этим вылезти на улицу, или чтоб форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, ее надо, как младенца, в ватник завернуть и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что ее температура равна твоей. Тогда ее можно нести в мастерскую, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава Богу. Но это еще не все. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру 40, примерно 45 градусов. И медленно на вагонетке движется... Вагонетка чуть потряхивает. И это скульптуре тоже вредно. А другого выхода нет, по воздуху не полетит. Значит, идет она так, потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация – там температура 14 000. А поступает она туда – в каком виде? – вот, как если б ты ее сделала из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор! Но этого мига ты не знаешь! Тебе не дано, это тайна сокрытая, Божественная! Ты только узнаешь, когда работа выйдет оттуда, как Феникс из огня...

Пауза

– А... потом? После этого?

– После этого идешь в живописный цех с этой же цацой. Опять же, сколько она весит, столько весит. Все твое.

– А сколько это может весить?

– Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть «Ревизор» неподъемный. Или «Ковер-самолет». И вот уже там, в цеху, начинаешь расписывать... И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причем есть краски, которые не любят совмещения никакого... Проще всего покрыть поверхность, и по ней расписывать. А те художники, которые искали на белом расписать так, чтоб было не хуже, – по-моему, настоящие подвижники. Был такой Медведь, восхитительный художник, и человек такой же. Очень хороший человек... Ну, ладно...

У нас даже есть рабочая страшная поговорка – как обращаться с вещью при росписи. «Как вся жизнь», вот так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь... И вот она расписана уже! Красотища, глаз не оторвать! Айда обжигать! Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе, если это всерьез – в печь ее круглую. Открывается дверца вот такой толсто-ты. Там два отсека. И не больше трех вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь влиять хвостом перед этим пьяницей Салтыковым незнамо как...

– А что – Салтыков?

– Он горновщик, и все в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь. Раньше времени открыть, позже открыть.

– Испортить?

– В какой-то мере от него зависит. И это тоже надо пережить. Умолить, чтоб три часа не открывали... чтоб не трогали вещь. Но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут.

– Это очень вредно?

– А рискованно, не просто вредно. Рискованно... Ну, вот... И когда, наконец, ты ее приняла на руки свои... расписную, красавицу... завернула в ватник, принесла в мастерскую и там сидишь, высиживаешь, ждешь нужной температуры... И вот раскрываешь! И вдруг – все получилось!!! Это счастье... Как настоящая любовь...

Пауза

Это и есть любовь... Потому что иногда думаешь: Господи, ну, где были мои глаза, вот это... Петр Великий на тонких ножках! Он как живой передо мной. Глаза вытарашенные, дурак дураком.

– Евгения Леонидовна, а когда вы перестали ездить в Дулёво?

– В восемьдесят пятом. Официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал: «Евгения Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили»... Мне этот суконный язык советских отчетных собраний, знаешь, ненавистен... Вот вызывает Всевышний к себе святого Петра и говорит ему: «Петр Абрамыч, нам на будущий год две души сократили...» Да, и вот этот, туда же: «Кого вы рекомендуете уволить?» Я тогда уже старейший скульптор была, лауреат, то-се... меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну, кого из своих коллег, из товарищей-цеховиков я могу рекомендовать уволить? Говорю: «Увольняйте меня»... И он засуетился, обрадовался, что так все любовно, без огорчений. Сказал: «Вам остается пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ... Все остается, кроме зарплаты».

– А у вас квартира там была?

– Ну, какая там квартира, Господи! Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола выходили поздороваться крысы. Иногда кошка приносила полкрысы в подарок – делилась со мной. Мы с ней приятельствовали...

– И вот там-то вы жили по несколько недель подряд?!

– А как же!.. Когда работа идет... Тогда уже ничего, кроме нее, ты не замечаешь, ничего и никого, кроме нее, тебе и не нужно...

Пауза

– Евгения Леонидовна, дорогая... Спасибо вам огромное! Думаю, материала для интервью достаточно. Дней за пять я это все обработаю... и... Ответьте только уже «не для протокола» – вы никогда не жалели о выборе?

– Ты просто, как мой дед. Он дожил до 95-ти, перед смертью все вздыхал и говорил мне: «Лучше бы ты стала фармацевтом!»

– Это который дед – тот самый, лесопромышленник, миллионер?

– Тот самый, который: «Яша, ты этого хотел?!»

– А вот, если оглядывая всю жизнь...

– ...Это уже не жизнь, это эпоха!

– ...Оглядывая знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, вам бы предложили очутиться вновь в каком-то ее периоде. Какой бы выбрали вы?

– Дулёво...

– Потому что – работа, творчество?..

– Потому что – свобода... Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картежника и гуляки... от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы... Потому что – любили меня там, были там друзья, помощники, приبلудные звери... И какая-то была райская чистота души, рук и глины... Вечная первозданность мира: глина... огонь... новорожденное Творение... Потому что в эти часы и мгновения ты – как Бог...

Пауза

...как Бог...

Пауза

...как Господь Бог...

Иерусалим, август 2005



выпускница Иерусалимской театральной школы, автор серии рассказов и эссе, а также книги «Перекресток желаний». Живет в Израиле.

LOVE STORY

У каждого свой жареный петух, и кричит по-своему, у меня – жареный заводной на палочке. И клюется он регулярно, в свое время, у него такой закон природы. Большой, прозрачный, как созвездие, разминает клювом колесо фортуны, совершая утренний моцион. Но клюется вполне ощутимо. Иногда можно даже догадаться, просчитать и быстро отпрыгнуть в сторону, уклониться на время от судьбы (она же карма), хотя зачем? Все равно догонит и клюнет в следующий раз дважды по цене одного.

Короче говоря, я уклоняюсь от этой повинности – носить тяжести, ремонтировать быт, кормить-обстирывать мужа, рожать детей, что там еще? Солить огурцы-помидоры, устраивать варенье, печь пироги... Ну, вспомните еще что-нибудь на свой вкус.

И всю жизнь я считала себя девушкой романтической, из-за угла мешком ударенной, вечной Золушкой в ожидании принца. Хотя, между нами, пить так коньяк, а любить – так короля. С королями нынче дефицит, но, если вам понадобится роман платонический, пару-тройку королей я вам могу издали показать. Это, кстати, очень удобно – платонический роман. Во-первых, никто не будет посягать на вашу свободу и разрушать романтический образ силным храпом прямо в ухо. Во-вторых, можно молчать сколько хочешь, а когда возвращаешься из большого мира домой... что вам сказать, дороже этого нет ничего, если работаешь с людьми. Ну, и так далее, преимуществ масса, молодеешь душой, остаешься вечной школьницей в белых манжетах. Ага.

Таковой я себя и считала до вчерашнего дня, а потом считать перестала. Хотя диагноз был проверенный и окончательный.

Короче, позвонил Женя, он был в Израиле проездом. Дома, в Ташкенте,

его ждали: любимое дело, нелюбимая жена и любимые дети (четверо). Мы не виделись пятнадцать лет.

О'кей, сказала я, буду дома после пяти. А сейчас ухожу (пять минут назад, между прочим, никуда не собиралась, а тут – срочно понадобилось, пока неизвестно куда).

На улице, уже в автобусе, я все вспомнила. Да, гимназистка с розовыми ушами, я, синий чулок по убеждениям, всю жизнь влюбленная в одного типа (в дальнейшем – Мужчина Моей Мечты), который об этом и не догадывается, потому что он давно и прочно женат, и жизнь моя на этом закончилась, потому что без него счастья нет и быть не может, а с ним не будет никогда, да и не дай Бог, чтобы было...

Эта самая я, встречаю Женю... э... мы тут же куда-то девались ото всех и любили друг друга – ночь, пока не приходилось разбегаться. И таких встреч в нашей жизни было ровно четыре. Мы их не назначали, мы просто случайно оказывались рядом. И все наши основательно наполненные жизни оставались за скобками.

Лучшего мужчины в моей жизни не было. То есть... понимаете, я далека от того, чтобы сравнивать отдельных особей по половому признаку, а постельные разговоры для меня вообще – табу. И еще: мне не нравятся мужики – в большинстве своем, утомляют. И попытку поговорить со мной больше пяти минут расцениваю как агрессию. Как сексуальную агрессию.

Да мы с Женей не очень-то разговаривали... Наверное, мы просто подходили друг другу – причем по поводу эстетических соответствий беседа как-то не заходила. Не успевала произойти. Мы влипали друг в дружку, как изголодавшиеся пчелы в весенние бутоны роз.

Однажды, когда мы встретились, он был в гостинице в одном номере с Мужчиной Моей Мечты. То есть самого Мужчины Моей Мечты в номере не было, и Женя предусмотрительно запер номер на ключ изнутри. А потом уже мир мог забыть о нас хоть на какое-то время...

Как и положено по законам жанра, Мужчина Моей Мечты вернулся не вовремя, обнаружил, что номер заперт, и постучал. Женя негромко, но твердо сказал: «Занято». «Понял», – сообразительно отозвался Мужчина Моей Мечты и удалился. Он вообще жутко порядочный, не то что я.

И не помню, чтобы я до слез смутилась от того, что милый ушел, а я тут... у нас и романа-то никогда не было. Ни с одним из них...

Еще помню, как мы с Женей наткнулись друг на друга зимой, в снегу, в ожидании концерта не помню кого, там под афишей мерзли в этот вечер тот самый не помню кто и я, и появился Женя, сообщил, что мы перепутали, концерт завтра, и утащил меня тут же в какую-то общагу, где была в наличии кровать, а больше нам ничего и не понадобилось.

На другой день обычно у меня происходило выпадение памяти, потому что нельзя же ронять себя в собственных глазах, а такое совсем не вписывалось в романтическую картину мира. И мужская агрессия – это не фунт изюма в подарок на день рождения, с тех пор как Первый Любимый Муж-

чина силой добивался любви, доверия к этому полу нет и быть не может. Его (пол) лучше всего любить платонически...

Вчера Женя приехал. Мы сутки пробыли вместе, и ни разу не захотелось, чтобы он ушел, чтобы остаться вдвоем с компьютером, чтобы в доме стало, наконец, тихо. Он принес не помню что, но то, что я люблю. И мы уснули, обнявшись.

Знаете, я не переношу сюжеты. Своей заданностью, жесткостью они не пускают жизнь дальше, туда, где то самое «потом».

Так что, если хотите – вот вам варианты: мы жили долго и умерли в один день. Но в разных странах – и жили, и умерли.

Второй вариант: мы встречались теперь не случайно, а потому что он приезжал два раза в год и всегда заранее звонил. И два месяца в году мы были вместе. А умерли, естественно, в один день.

Еще хороший вариант: через пару дней он ускользнул из моей памяти. А еще через месяц моя судьба выкинула коленце... Но это начало какого-то другого рассказа, я к нему еще не готова, он должен: а) начаться, б) закончиться, в) пройти достаточно времени после его окончания – и тогда – непременно напишу, чего ж не написать?

Я потом еще сочиню несколько вариантов, ладно? Пока что мне не дает покоя вот это: мы уснули, обнявшись. А потом мы, обнявшись, проснулись.



(литературный псевдоним Владимира Стрелкова) выпускник ВГИКа, кинорежиссер-постановщик, кинодраматург, автор около сотни телевизионных программ, документальных, научно-популярных, игровых кино- и телефильмов. Член Союза кинематографистов РФ, член Московского комитета профессиональных драматургов, заслуженный деятель искусств. Живет в Израиле.

ПОДЖИГАТЕЛЬ ВОЙНЫ

Посвящаю победе над фашизмом

Был март 48-го года.

Была рабочая окраина Москвы.

Было 95-е отделение милиции.

– Имя?

Следователь Соловьев смотрел ему прямо в глаза сурово и требовательно.

– Арон.

– Отчество?

– Абрамович.

– Фамилия?

– Двоскин.

– Род занятий? Место жительства?

– Аннино, дом 92...

– Так, – следователь Соловьев в штатском пиджаке с университетским поплавком и синих шевиотовых галифе с кантами встал, прошелся по кабинету.

Роста он был небольшого, плотный, задастый, коротконогий. Новые хромовые сапоги «в гармошку» сочно скрипели. Зашел за спину арестованного.

– Так, Арон Абрамыч Двоскин, Аннино, 92, ты понимаешь, где находишься и что от тебя требуется?

– Понимаю...

– Что понимаешь?

– Что в милиции...

– Хорошо. А что от тебя требуется, понимаешь?
– Понимаю.
– Что понимаешь?
– Хорошо себя вести.
– Молодец, Арон Абрамыч! – следователь Соловьев потрепал Двоскина по плечу и снова заскрипел сапогами по кабинету за спиной арестованного. – А что это означает, хорошо себя вести?.. Правильно, – подхватил мысль в глазах Двоскина следователь Соловьев. – Правильно! Рассказать всю голую правду, как ты поджег барак и, главное, кто тебя научил это сделать. И сейчас ты назовешь мне тех, кто подбил тебя на это преступление...

– Меня никто не подбивал.
– Ну не подбивал, так не подбивал. Но кто-то посоветовал тебе это сделать?

– Никто не советовал. Я сам так решил.
– Что решил?
– Сжечь барак.
– Но там же люди! Живые люди.
– Это не люди.
– Что? Как это не люди?
– А вот так. Это не люди.
– А кто же?
– Я не знаю, кто они, но только не люди.
– И ты сам решил, что они не люди и решил их сжечь?
– Да. Я объявил им войну...
– Ладно хреновину молотить, я тебя спрашиваю, кто тебя на это надушил? Только честно! Ты, наверное, пионер? Да, Двоскин? Пионер? Ну, раз пионер, так говори: кто за тобой стоит?

– Вы стоите...
– Иронизируешь, Двоскин, отказываешься сотрудничать со следствием? – следователь Соловьев вернулся за стол, передвинул массивный чернильный прибор левее, чтоб не мешал смотреть на тщедушного носатого мальчишку с опаленной курчавой половиной головы.

Большими синими глазами мальчишка смотрел на следователя Соловьева. Ни страха, ни суеты следователь Соловьев в этих глазах не видел. Там была спокойная вековая обреченность, и ничего больше.

– Сколько тебе?
– Да, там все написано...
– Я тебя спрашиваю! Тебя, Двоскин! – голос следователя Соловьева поднялся, сейчас громыхнет.

Громыкнул: «А если я тебя спрашиваю, надо отвечать!!!»
– Двенадцать.
– Во-от! – сказал неожиданно тихо и ласково. – Тебе уже двенадцать лет. И ты уже должен понимать, что можно делать, а чего делать нельзя. Что нельзя, вот так взять и поджечь барак. А если кто-то поджигает, значит, он

имеет какую-то цель. Понимаешь? Скорее всего, это вражеская, фашистская цель, диверсия. Враг твоими руками хотел погубить наших русских людей, которые воевали на фронте или ковали победу здесь, на вашей фабрике. Конечно, для некоторых фронт проходил в районе Ташкента.... Кстати, а где твой отец?

– Убит на фронте.

– Убит?

– Убит в 42-м на Черном море, – арестованный Двоскин поднял голову и с вызовом смотрел на следователя Соловьева. – Он был капитаном торпедного катера.

– Вот видишь, твой отец воевал, геройски погиб, а его сын – поджигатель, объявляет войну русским людям! И это ты сам, говоришь, придумал? Нет-нет! Ты мне голову не морочь, сам придумал. Это, возможно, тонкий ход врага, шпиона, диверсанта. Понимаешь?

– Какого еще диверсанта?

– Вот я и хочу от тебя услышать, какого. Кто тебя попросил поджечь барак? Что он тебе за это обещал? Ты, наверное, обманулся, так как не знал, что это был враг. Да, Арончик? Со всяким такое может быть...

– Нет...

– Нет? А что это, как не помощь провокатору и диверсанту? Назови его имя и сразу пойдешь домой... Мать твоя два дня с утра до ночи здесь обрывается... Вон, в коридоре сидит. Тебе не жалко мать?

– Жалко...

– Ну, вот видишь, жалко. Так ты скажи, кто тебя подговорил?.. Молчишь... Она плачет сутки... Хочешь поговорить с ней? Она тебе четко скажет, как надо поступить.

– Нет.

Следователь Соловьев снова сел рядом на соседний стул, обнял арестованного Двоскина за худые плечи в старом нитяном свитере.

– Ну, нет так нет! Не пойму, правда, чего ты упрямисься, Арончик! Ну, ради чего?.. Хочешь чаю, с конфеткой? Ты когда последний раз ел? Вчера? Хочешь конфетку?

В руке следователя Соловьева появилась мятая конфета в синем фантике.

– Хочу-у-у... – прошептал арестованный Двоскин, лицо его с черной подпалиной сморщилось, стало маленьким, старческим, и он молча заплакал.

– Сейчас будет! – сказал следователь Соловьев, встал, нажал кнопку звонка, крикнул в сторону открывшейся двери. – Сержант, кипятку плесни!.. – подошел к арестованному Двоскину, положил руку на плечо. – Я маму твою знаю, Сару Наумну. Хорошая мама. Немецкий преподает в школе. Мою дочку учит. Дочка у меня в пятом классе, в вашей школе. Ты знаешь ее, Лена Соловьева...

– Не-а...

– Вот, тебе конфетка... Чаю, прости, нет. Но кипяток с конфеткой самый, как вы, евреи, говорите, самый цимес! Ха-ха-ха!.. Пей, пей, где-то у меня и

сухарик был... Ну, ладно, потом найду. Мы с тобой кореша теперь, да?.. – следовательно Соловьев снова приобнял арестованного поджигателя Двоскина, заговорил тихо и доверительно. – А скажи мне, Арончик, о чем ты вообще мечтаешь... Летчиком хочешь стать, да? Или... «Мама, я повара люблю, – запел он вдруг. – Повар делает котлеты и готовит винегреты. Мама, я за повара пойду!» Поваром хочешь, да, Арончик? Ха-ха-ха!

– Нет, гражданин следователь, – улыбнулся, вытерев рукавом свитера слезы и сопли, простодушный и отходчивый Двоскин, – я мечтаю быть негром. У нас негров любят. Евреев не любят, а негров любят. И чтобы у меня еще была большая овчарка. Тогда никто не бил бы... А если кто нападет, то я собаку спустил бы... пусть только кто попробует!.. Вы, гражданин следователь, думаете, что я их боюсь? Да, нет! Я никого не боюсь. Но быют-то кодлой. Человек десять–двадцать. Один на один бояться. Быют кодлой...

– За что?

– Как за что. За то, что я еврей... Я иду, а они кричат: «Жидовская морда!» или «Два еврея, третий жид, по веревочке бежит!», или еще что... Да, много чего кричат... Если промолчу, иду своей дорогой, бегут, дразнят, потом догонят, собьют с ног и сапогами, палками, дрынами всякими, тут только голову береги!..

– А ты?

– А я не сдаюсь, не бегу. Пока не собьют, дерусь. Хватаю, что под рукой: кирпич, так кирпич, штакетину от забора, так штакетиной. Как собьют – за яйца рву, ногами отбиваюсь, кусаюсь, стараюсь встать... Если успею кирпичом кого трахнуть – убегают, трусые, а потом все равно подловят и быют насмерть. У меня, смотрите, гражданин следователь, зубы выбиты, башка вся пробита... Хромаю. Это один взрослый бугай об колено мне ногу сломал, когда я еще маленький был... Не терплю, если кто «жидовской мордой» – бью сразу...

– А мать что же?

– Мать? Мать мне так и сказала: «Драться с ними не буду. Старайся не конфликтовать. Сам не лезь и меня в эти дела не впутывай, а то обоих убьют».

– Ну, ладно-ладно, все это ребячьи драки...

– Какие ребячьи, гражданин следователь, быют и взрослые! Вот месяц назад тетки у колонки, когда я воду брал, били коромыслами, всего облили! А мороз был.

– А за что тетки, чем ты им-то насолил?

– Да кто его знает, за что? За то, что евреи Христа распяли! Вот за что...

– Че-го?

– А я-то здесь при чем? Я лично в этом деле не участвовал...

– Да, корешок, не повезло тебе, прямо скажем... А друзья у тебя есть?

– Со мной кто-то и хотел бы дружить, да стыдятся, потому что я – еврей, так что пока нет друга. Мы с мамой одни здесь евреи. Если бы был какой еврей, то мы бы дружили... хотя, гражданин следователь, у меня был один друг. Но его больше нет... И никогда не будет...

В кабинете следователя холодно. Сидели рядом. Мальчик чувствовал сквозь тонкий нитяной свитер тепло живота следователя Соловьева.

– Ну, вот чайку мы с тобой попили, а теперь мне все начистоту, Арончик. Откуда тебе пришла в голову эта мысль поджечь барак?

Мальчик задумался. Потом, доверившись, тихо заговорил:

– Давно кто-то маме сказал, что у меня абсолютный музыкальный слух...

– Ну и... – следователь Соловьев еще ласковей обнял арестованного Двоскина: тот явно «начал колотиться».

– Мама хотела, чтобы я учился музыке...

– Ну-и...

– Мы стали собирать деньги на аккордеон. Ну, не на большой, на четвертушку. Еду покупали на зарплату, а папину пенсию откладывали. Но когда почти собрали, нас обокрали. Мы даже знаем кто: наши соседи Катериночкины. Они знали, что мы собираем на аккордеон. Я даже заболел, так горевал и чуть не умер. Тогда мама написала об этом своей сестре, тете Фане, в Германию. Тетя Фаня воевала, а после победы ее часть оставалась в Германии. И тетя Фаня прислала мне большой настоящий аккордеон фирмы «Лилман». Если бы вы, гражданин следователь, видели, какой это был аккордеон. Он был такой красивый! Такой красивый! И такой музыкальный! Вы себе даже не представляете, какой это был аккордеон! Он был перламутровый и серебряный... Когда он играл, он пел. Он был живой. Вы меня спросили про друзей... Вот он и был моим другом... Он любил меня. Никто не любил меня, а он любил меня. Я звал его Люликом.

Тихие слезы лились сами собой. Он видел его, он слышал песню своего Люлика, которого уже не было на свете, который был убит на его глазах. И слова превратились в слезы. И он не мог больше говорить. Он прижался к теплomu животу следователя Соловьева и горько плакал. Может, он никогда в жизни не плакал так, как сейчас, и никогда больше не будет... плакать.

Следователю Соловьеву это показалось перебором в работе, и он немного отстранился.

– Ну-ну, и... где этот аккордеон?

– Они его убили.

– В каком смысле?

– Я шел к дяде Корешкову. Мама договорилась, чтобы он меня учил.

– Это безногий, что ли, Корешков? Около «американки» живет? У него жена Нюрка?

– Да...

– Хорошо-хорошо, значит, Корешков тебе уроки давал? И о чем вы с ним говорили, с Корешковым? Ну, чего он тебе говорил? Продолжай-продолжай...

Следователь Соловьев освободился от прильнувшего к нему арестованного Двоскина: «Ну-ну... продолжай...» – молодой, кражистый, коротконогий, в скрипучих сапогах, прошел на свое место, открыл тонкую папку со

звездой и надписью «Дело № 67, ведет мл. лейтенант Сергей Александрович Соловьев» и стал медленно листать какие-то бумажки.

– А чего продолжать?

– Что тебе говорил Корешков? Кстати, как его зовут?

– Дядя Капитон.

– Верно, – нашел какую-то бумажку следователь Соловьев. – Капитон Васильевич Корешков, играл в оркестре ЗИСа, рядовой, инвалид войны, ампутация обеих ног у него... Продолжай.

– А чего продолжать?

– Что тебе говорил Корешков?

– Ничего не говорил.

– Как так? Ты же учиться к нему ходил.

– Два раза.

– Ну и?..

– Первый раз пришел в понедельник: он сидел выпимший, просил, чтоб я пил с ним. Я тогда ушел. А в среду пришел – его сначала не было дома, а потом тетя Нюра принесла его пьяного и уложила спать...

– А потом что было?

– А потом я не заметил, как они окружили меня. Около моста. Я задумался и не заметил их... Они окружили, стали отнимать Люлика. Он у меня был в чехле за спиной. Окружили со всех сторон. Ударили трубой по голове. Я прыгнул с моста. Там неглубоко, но грязно, топко. Я побежал по оврагу. Они бежали по обоим берегам и кидали камнями. Бежать было плохо. Люлик, он ведь большой, тяжелый. Там была яма под водой. Я упал в жижу... и, чтобы не замочить Люлика, стал снимать его со спины. Тогда они все попрыгали в овраг и стали бить и отнимать Люлика. Я не отдавал. Они топили меня и топтали. Я вцепился в него и не отдавал. Они содрали его у меня вместе с пиджаком, руку повредили... Я дрался с ними в жиже, там свалка всякого хлама, старые бочки, обручи, сапоги, банки, крысы дохлые...

– Ну, ладно-ладно. Кто бил, запомнил?

– Всех помню. Они из барака.

– Фамилии?

– Они из барака!

– Назови, кто?

– Они увидели, что у Люлика дырка в мехах, что не продадут, и стали ломать его, топтать. Он стонал и плакал. Они били им по земле. И все из него вылетало. Серебряные планочки, кнопочки...

– Ну, ладно-ладно. Что потом?..

– Потом они утопили меня в этой яме, вместе с разорванным Люликом...

– Потом?

– Потом они, наверное, ушли... Меня уже там не было.

– А где ж ты был?

– Умер, наверное... Потом, уже вечером, тетя Маруся Силаева подобра-

ла и притащила к себе в комнату, в барак... Помыла. Руку к доске привязала... Там я вроде как бы в себя пришел...

– Ну, вот видишь, а ты весь барак хотел сжечь. Тебя Маруська Силаева пожалела, а ты...

– Да, пожалела, гражданин следователь, пожалела: так и говорила, чего вы, жида, все к нам лезете? Езжали бы вы в свою Палестину. Там ваша земля. А здесь мы живем. Не надо нам вас! Не надо... Жалела меня...

– Благородная женщина Маруся, – уверенно сказал следователь Силаев, поглядывая на часы. – Ну-и?

– А мне не надо такой жалости, так жалеют паршивого котенка. А я не котенок. Я – человек. Я еврейский человек.

– Ты, корешок, чего-то не понимаешь. Ты ведь живешь не где-нибудь в Америке при капитализме. У нас Советский Союз. У нас все нации равны. Нет ни плохих наций, ни хороших. Ты это понимаешь?

– Я-то понимаю. Они не понимают.

– И ты решил их поучить, устроить самосуд? Отомстить. Взять и поджечь целый барак с людьми. Да?

– Да.

– И знаешь, что тебе за это будет?

– Мне все равно.

– Тюрьма будет или вышка. Понял, Арончик? Расстрел!

– А мне все равно. Такая жизнь хуже тюрьмы... Чего хорошего-то у меня здесь? А в тюрьме «жидовской мордой» не назовут, там, я знаю: ты или вор или фрайер, а жидов там нет. Только там и равенство наций. Так лучше – тюрьма...

– И как ты осуществил свой замысел, Арончик? – перешел к делу следователь Соловьев.

– Просто: мать дает полтинник на керосин. Покупаю литр, сливаю стакан, чтобы не заметила, добавляю стакан воды. Так накопил канистру. Приготовил старую телогрейку. Ночью, в воскресенье, когда все перепились и завалились в барак спать, подпер в сенях у них дверь ломом, заложил снизу телогрейкой, облил керосином, зажег. Вижу, горит...

– Хорошо горело?

– Нет, как-то вяло.

– Ты хотел, чтобы повеселее?

– Да, я очень хотел, чтобы все они сгорели. Чтобы все они сго-ре-ли!

Следователь Соловьев смотрел на арестованного поджигателя Двоскина, видел его сжатые до белых суставов маленькие грязные кулачки.

Двоскин смотрел на следователя Соловьева. Но видел он не следователя Соловьева, он видел, но не чувствовал, видел, как они били и топтали его тело, рвали живого Люлика, видел их звериные лица, нет, не лица – морды, слышал их хриплый мат, и одновременно слышал он позвякивание и тонкие затаенные звуки лопающихся серебряных планочек...

Это «Люлик» звал его...

Он слышал его зов, он был бестелесен и холодным паром висел над боищем...

– Да, я хотел, чтобы они все сгорели! Я объявил им войну и хотел их сжечь навсегда!!! – четко повторил следователю Соловьеву еврейский человек, арестованный поджигатель Двоскин. – Очень хотел... Но с улицы вернулся пьяный Васяка Русаков, увидел огонь, меня с канистрой, выкинул лом, телогрейку...

– А как тебя поджег?

– Как? Очень просто! Отнял канистру, облил и поджег... Полголовы сгорело, – показал, улыбаясь, подпалины на голове, арестованный поджигатель.

– А как живой остался?

– В сугроб головой. Пальтом огонь сбил и ушел, чтоб не убили.

– Если б не бдительный Русаков, значит, ты людей сжег бы? Да?

– Да.

– И эту лабуду ты сам придумал?..

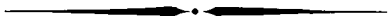
Некрасивое лицо следователя Соловьева вдруг перекошилось. Он встал, навис коренастой фигурой над арестованным Двоскиным и по нарастающей завопил:

– ...И ты мне, советскому следователю, всю эту баланду лепишь, сука малая! Вола мне крутишь?! Ждешь, что я поверю, что за тобой никого нет?! Что тобой никто не руководит? Это ты, гнида, меня провести хочешь? Всю эту муру с аккордеоном, драками кто тебе придумал? Я что, не понимаю, что для отвода глаз!? Ты за кого меня держишь, жидовская морда?

Поджигатель Двоскин побледнел. Рука его сама собой рванулась к чернильнице. Еще миг, и некрасивое лицо следователя Соловьева сталкивается с массивным предметом. Пиджак с университетским поплавком становится пятнисто-фиолетовым. Чернильница, отекая фиолетовым содержимым, крутится, опускаясь по шевиотовым брюкам с кантом, тяжело шмякает о хромовый сапог и откатывается в сторону. Под глазом следователя Соловьева набухал серьезный кровоподтек.

Арестованный поджигатель Двоскин поднялся со стула, как-то обескураженно развел руками в фиолетовых чернильных пятнах и тихо сказал:

– Я ведь говорил, что не терплю, когда меня «жидовской мордой», бью сразу, что под рукой...





инженер-электрик, публицист. Живет в США.

МЯТЕЖНЫЙ ПОТОМОК РЕБЕ ЗУСИ В САН-ФРАНЦИСКО

Я знала его всегда. Когда-то мне казалось, что он не похож на других взрослых людей. Жизнь подтвердила точность моих детских наблюдений.

Сегодня ему восемьдесят. Живет он по-прежнему, то есть без всякой оглядки на то, что делают остальные.

Он родился на Украине, в местечке Аннополь, через семь лет после отмены черты оседлости. В семье говорили на идише. По субботам мама зажигала свечи. Скучный быт, страшный голод 33-го – несчастные приметы его детства. В 11 лет потерял мать, в 17, накануне войны, уехал под Одессу, учиться на сельского механизатора. Видимо, это был первый, тайный знак фортуны, так как отъезд спас его от неминуемой и страшной смерти. Войдя в Аннополь, немцы убили всех евреев, включая его отца и сестру. Он последний и единственный на земле человек, в памяти которого живы уклад довоенного Аннополя и лица его обитателей.

Он воевал. В составе Войска Польского дошел до Берлина. Вспоминать о войне, в отличие от своих сверстников, не любит. В ассоциациях ветеранов не состоит.

В 51-м он женихом приехал в Ленинград. Моя мать встречала его на Варшавском вокзале. Жених был небольшого роста, смуглый, лопоухий и очень застенчивый. В руках у него был фанерный чемоданчик. Содержимое чемоданчика было несколько странным для человека, до 17 лет не говорившего по-русски – Герцен, Белинский, Писарев... Солидные издания 1948-года. Они до сих пор стоят в моем книжном шкафу.

Когда мне исполнилось тринадцать, он убедил меня прочесть статьи

Белинского. Именно с «Обзоров русской литературы» Белинского начался мой неутолимый интерес к этому предмету школьной программы. Последовавший за ним Герцен привил вкус к наслаждению благородным звучанием русской литературной речи. Тому же вовремя прочитанному Герцену я обязана умением «навскидку» отличать демагогию, пошлость и другие составляющие словесного блуда в любом русском тексте, который попадал в мои руки после этого. По сию пору свято верю, что вовремя вложить в руки своего наследника «Былое и думы» – это лучшее из того, что отец говорящего по-русски дитяти может сделать для его будущего.

В 53-м он устроился слесарем-водопроводчиком в цех вулканизации резины объединения «Красный треугольник». Цех принадлежал к категории вредных и сулил тем, кто доживет, ранний выход на пенсию.

Он остался абсолютным и убежденным трезвенником после 37 лет работы на этом недоброй памяти предприятии на Обводном канале.

Чтобы в последнем факте разглядеть элемент личной доблести, необходимо знать, что, кроме него, на «Красном треугольнике» не пили разве что станки по нарезке стелек для галош, и то потому, что не могли в обед «сбегать» за угол, в гастроном.

Но самое удивительное заключалось в другом.

В том поразительном факте, что он неизменно пользовался любовью и уважением своих запойно пьющих коллег по вредному цеху, которые лишь иногда ласково пеняли ему за неизменный отказ быть «третьим». Любому человеку, знакомому с российской действительностью, известно, что дружба одного, непьющего члена коллектива с его остальным, пьющим, составом – явление само по себе хотя и прекрасное, но на святой Руси редкостное, как звездопад или лунное затмение.

Когда-то, в годы далекой студенческой юности, под влиянием его разговоров о благотворной роли физического труда в формировании личности, я устроилась на любимый папин завод в качестве разнорабочей. Приписали меня к цеху резиновой обуви. Цель при этом преследовалась двойная: ощутить на себе это самое благотворное влияние, а также заработать на поездку к морю. На работу мы ездили вместе. Рабочий день начинался в шесть тридцать. Через неделю я начала плакать по утрам. Он же, неизменно излучая бодрость и жизнелюбие, явно ощущал себя основателем никому доселе неизвестного образования – еврейской рабочей династии.

Тот незабвенный воспитательно-трудовой месяц, проведенный среди подзаборного мата, смешанного с адским запахом серы и резинового клея, до сих пор вспоминается автору этих строк исключительно как ад на земле. Хотя «действительность, данная нам в ощущениях» была у нас с ним в то время одна, ощущали мы ее пугающе разнo.

Понятно теперь, почему меня не устает изумлять тональность, в которую сегодня окрашены его воспоминания о годах, отданных любимому «Красному треугольнику». Это какое-то «О подвигах, о доблести, о

славе я забывал на горестной земле...», обращенное к трем зловещим корпусам на Обводном. Нежная грусть с оттенком ностальгии. Любовное перебирание трудовых и житейских биографий членов родной бригады: Витьков, Гриньков, Колянов. Сожаление, что никогда уже ему не стать членом того или любого другого трудового коллектива. В свои 80 он мечтает работать!!

Была у него еще одна особенность, далеко превосходящая его уникальный статус еврея-рабочего, бескорыстно любящего родное предприятие. Я говорю о его постоянной, неодолимой и даже загадочной для человека нашего племени тяге к земле. Откуда у него, сына аннопольского шойхета, появилась такая привязанность к крестьянскому труду? Может быть, утраченные в веках навыки его израильских предков-землепашцев, миновав многие поколения отлученных от земли евреев, чудесным образом возродились в нем? Во всяком случае, это еще одно доказательство, что быть не таким как все написано ему на роду.

Крошечный надел земли – огород под Володаркой – это было его царство, его сельхозакадемия. С раннего отрочества помню его вываливающим из рюкзака на стол «свою» картошку, помидоры, лук и предмет его особой гордости – экзотическую для наших питерских широт цветную капусту. Капусту, соблазненные ее дефицитным статусом, у него часто срезали другие огородники. Каждый раз, когда это происходило, он горевал долго и безутешно.

Когда моему сыну исполнилось четыре года, он определил его себе в батраки и стал брать с собой. Летом они пробирались к огороду на велосипедах, зимой – на лыжах. К шести годам мальчик, кроме искусного декламирования стихов Пушкина и пикирования на скрипке, в момент отличал лошадиный навоз от коровьего и ни разу не ошибся в том, который какому овощу потребен.

По Толстому, ребенок, с детства приобщенный к крестьянскому труду, неминуемо вырастет высоко нравственным существом. Не думаю, что он был знаком с этой утопической теорией, просто у него была надобность в помощнике и друге, а урбанизированных дочь с зятем в эту патриархальную, навозную благодать было не затащить.

Сегодня ему восемьдесят. Зная, что среди его сверстников принято отмечать юбилейные даты в русских ресторациях, где перемены блюд сменяются танцами в сопровождении небольших эстрадных коллективов, я, забыв, с кем имею дело, предложила ему праздничный обед в одном из заведений такого рода под игривым названием «Радости жизни». Он ответил таким негодованием, что вопрос отпал сам собой. После короткого, но энергичного обмена мнениями остановились на скромном ужине в моем доме. Он выставил несколько условий. Я их немедленно приняла.

Условий у него было три – одно другого легче: никаких подарков, никаких славословий и понятная еда за столом. Понятная еда на его языке означает картошку с мясом и салат из помидоров с зеленью. Причем кар-

тошккой это неторжественное собрание он обеспечит сам! Со своего огорода!!! Огород удобно расположен на пересечении улиц Cabrillo и 16 Avenue в славном граде Сан-Франциско, что на берегу залива Золотые Ворота. К картошке прилагаются снятые с того же земельного надела ингредиенты для салата, как-то: помидоры, зеленый лук, чеснок и неведомый американцам шавель.

«И друзей созову, на любовь свое сердце настрою» – это те хлопоты, которые он оставил мне. Со второй частью я справилась лет пятьдесят тому. С первой – сегодня. За столом будут сидеть мои друзья и дети моих друзей, которые знают его еще с младенчества. Его внук, тот самый, помните, которого он с детства обучал тонкостям навозного дела, будет играть на скрипке его любимые мелодии. Из его сверстников за столом будет только моя мать.

Двенадцать лет назад он совершил свое «Путешествие из Санкт-Петербурга в Сан-Франциско».

Переезд этот подействовал на него самым ужасным образом. Он заскучал. Потом затосковал. Слово «депрессия» не входит в его словарь, но я видела, что он не знал, что ему делать с собой в этом странном городе, где на душу населения приходится самое большое в Америке количество ресторанов. «А где заводы, где хотя бы предприятия легкой промышленности?» – с тревогой спрашивал он.

Новая среда обитания, где все было до обидного доступно, обесценивала и даже сводила на нет его замечательные, отшлифованные долгим проживанием в Совдепии качества.

На родине его не угнетало привычное с юности стояние в очередях. Носясь по родному городу в поисках пропитания для семьи, он знал, что без его расторопности и сметки эта самая семья может остаться без ужина. Парадоксальным образом, эта продовольственно-снабженческая деятельность давала ему ощущение живой жизни. Земляки в очередях говорили на понятном языке, дружно ругали начальников всех мастей и, как всегда в России, были готовы к худшему.

Тут стоит добавить, что «добыванию» в России того времени, о котором идет речь, подлежало практически все, включая такие наименования, как сухое печенье «Мария» и подсолнечное масло «Хуторок». И, тем не менее, то ненормально избыточное количество снеди, которое здесь он видел в любой китайской лавке, не вызывало у него ожидаемого восторга. Он был неприятно поражен внесезонной доступностью любого овоща и фрукта. Клубника в январе показала ему посягательством на неоспоримые законы природы. Я еще питала слабую надежду поразить его разнообразием штанов в местном универмаге, но и тут потерпела полный крах. «Зачем одному человеку столько одежды?» – брезгливо спрашивал он, глядя на счастливых потребителей отдела готового платья в одном из фирменных магазинов Сан-Франциско.

Короче говоря, оказалось, что «его не соблазнить ни платьями, ни сне-

дью». Надо было срочно вовлекать его в какую-то разумную деятельность. И я решила начать заниматься с ним английским.

Постижение английского проходило у нас по следующей схеме: каждое новое слово, которое я пыталась ввести в его словарь, сравнивалось с его аналогом на идише. «Come here – это же почти как *ким азр*», – радовался он как дитя. «Forgive me» – повторял он недоверчиво, не обнаружив близкого по звучанию идишского слова.

Как все люди его возраста, он мучительно постигал вариации *коварно непостижимого* глагола «to be». Тем не менее наши занятия дали ощутимые результаты. Он теперь отважно заговаривает с пожилыми американцами, но с облегчением переходит на любимое наречие, если они оказываются евреями, помнящими идиш.

Со времен этой домашней английской школы у него образовалась привычка говорить о себе «I'm able» в самых разнообразных ситуациях: «Thank you, I'm able» – на попытку молодой женщины уступить ему место в автобусе или, форсируя голос, – мне, вырывающей у него из рук сетки с провизией.

Однажды ему представилась уникальная возможность шегольнуть своим английским перед мэром Сан-Франциско. Случилось это так. В 1995 году Франк Джордан, тогдашний мэр нашего города, беспрерывно встречался с так называемыми «простыми людьми» в рамках своей предвыборной кампании. Тем не менее явление Джордана со свитой в садоводстве на углу Cabrillo и 16 Avenue было настолько невероятным, что я не поверила бы отцу, если бы на следующий день не прочла отчет об этом в «San Francisco Chronicle».

В качестве «простых людей» администрация садоводства выставила двух мичуринцев: моего отца и Фиму, появившегося на свет еще накануне Октябрьского переворота. Передаю слово папе.

– А что тут особенного, его к нам подвели, он долго говорил, все непонятно, потом жал руки, я сорвал один огурец, дал ему и сказал: «Тэнк ю вери мач, сэ».

– А Фима что-нибудь сказал? И почему ты презентовал мэру только один огурец? – спрашиваю я.

– Ничего Фима не мог сказать. Он не говорит по-английски. А огурец один, потому что Джордан – не мой родственник, – резонно ответил папа.

Примерно в то же время я услышала, как он энергично шептал в ухо нашему старинному приятелю, приехавшему погостить к нам из Питера: «Боря, ты меня давно не видел и не слышал. Как тебе кажется, у меня еще английский акцент не прет в разговоре?» Интеллигентный Боря застенчиво соглашался: «Да, как будто есть немножко». С тех самых пор, когда обстоятельства жизни кажутся мне особенно невыносимыми, я вспоминаю этот «прущий акцент», и меня отпускает.

Его недоученный английский пригодился ему для осуществления одной давно вынашиваемой идеи. С некоторого времени он стал подбивать меня

на поездку в Ленинград. Он хотел увидеть обновленный Город, провести родной завод, повидаться с людьми, о которых ничего не слышал больше десяти лет, а также добыть и привезти домой черенки черной смородины, запрещенной для ввоза в Америку. На мое замечание о том, что ему не удастся пронести их через таможеню, он коротко парировал, что это абсолютная фигня, и он пронесет. Мне кажется, что именно привкус нелегальщины и привлекал его в этой идее.

Возвращение в прошлое принесло ему «многие печали». В здание «Красного треугольника» его не пустили, несмотря на предъявленный «вечный пропуск», выданный перед уходом на пенсию и бережно хранимый все эти годы. «Это теперь другое юридическое лицо, и мой пропуск недействителен», – сказал он, выходя из знакомой до каждого кирпичика проходной, сказал с такой невыразимой горечью, что у меня дрогнуло сердце. Но еще больший удар ожидал его, когда он попытался разыскать бывших коллег и соседей. Оказалось, что все они умерли. Он был безутешен, говорил, что и здесь, как и в Аннополе, все умерли, а он один остался. Я пожалела, что привезла его в Ленинград.

Единственное, что доставило ему радость, – удавшийся контрабандный провоз через границу черной смородины, и это скрасило ему впечатление от всей поездки. Американскую таможеню на пути домой он проходил сам, без меня. Он догадался, что в вопросах перечисляются запрещенные к ввозу предметы, и бодро, по-военному отвечал: «Ноу, сэр» – на любой вопрос. Растения-нелегалы замечательно прижились в моем саду и напоминают мне о нашем грустном путешествии в прошлое каждый раз, когда я бросаю на них взгляд.

Во время нашей питерской поездки произошел еще один эпизод, который нельзя обойти, рассказывая об этом невероятном человеке. В Йом-Кипур мы с ним пришли в синагогу, и я, неожиданно встретив в холле бывшего одноклассника, на несколько минут оставила папу одного. Вернувшись, я горько об этом пожалела. Я застала его произносящим кощунственные и дерзкие речи о том, что вера в Машиаха нанесла непоправимый вред нашему народу. В прямом исполнении это звучало примерно так: «В то время как другие народы расхватывали земли, евреи, бесплодно надеясь на помощь того, кто никогда не придет, перестали бороться за место под солнцем, а глупую веру в Машиаха передавали следующим и следующим поколениям». Евреи в талесах слушали его в немом изумлении.

Этот поразительный эпизод имеет предысторию.

Лет пять назад, листая книгу очерков по истории хасидизма, я задержала взгляд на параграфе, где перед смертью рабби Зуся из Аннополя (конец XVIII века) сказал: «Когда я предстану перед небесным судом, никто не спросит меня: "Зуся, почему ты не был Авраамом, Яковом или Моисеем?" Меня оглядят и спросят: "Зуся, почему ты не был Зусей?"» Чем-то шемяще знакомым, чем-то родственно-близким повеяло на меня от этих строк.

С все возрастающим волнением читала я очаровательные хасидские

байки, приписываемые аннопольскому праведнику. Когда я дошла до места: «Почести он презирал, ему нравилось восхищаться, а не быть объектом восхищения, и нищета бедняка прельщала его больше скупости богача» — у меня уже не было сомнения, что я являюсь наследницей по прямой само-го трогательного из всех хасидских цадиков.

Равнодушно подтвердив мою догадку, папа нехотя доложил, что окрестные хасиды собирались в их доме в довоенном Аннополе каждый год в день смерти цадика. По понятным причинам мой дедушка со стороны отца пользовался среди них особым почетом и уважением.

Теперь, после всего сказанного, вы можете представить себе, на каких бешеных оборотах вращались в гробу останки рабби Зуси в те минуты, когда его потомок-ревизионист излагал свои взгляды на судьбу еврейского народа, и делал это не где-нибудь, а в стенах ленинградской хоральной синагоги.

В его планах спасения Израиля, вернее — евреев Израиля, тоже наличествует очевидный оттенок безумия, но, тем не менее, они представляются мне эталоном здравомыслия и умеренности по сравнению с планами очистки еврейской земли от евреев руками самих евреев.

В общих чертах папин план спасения звучит так: экспансия, экспансия и еще раз экспансия. Экспансия на море и на суше. Осуществить проект по намыванию земли в Средиземное море. Образующиеся при этом новые территории заселить евреями немедленно. В то же самое время скупать землю у народов, которые имеют ее в очевидном излишке. Например, у канадцев. Выкупленную на собранные мировым еврейским сообществом деньги немедленно заселить израильскими евреями, которые захотят покинуть историческую родину.

На мое осторожное замечание, что канадцы вряд ли обратят свое отечество в предмет купли-продажи, он уверенно отвечает, что при капитализме все продается и все покупается, надо только предложить «достойную сумму», и тогда канадцы смогут хорошо заработать, избавившись при этом от лишней земли.

Одна еврейская традиция вызывает у моего реформистски настроенного отца приступ особого негодования. Надо полностью отказаться от гиюра, особенно ортодоксального, утверждает он. Надо принимать в евреи абсолютно всех, кто выразит это странное желание. Видя вопрос в моих глазах, он заявляет, что человек, добровольно пожелавший стать евреем, ничего, кроме пользы и увеличения числа евреев, не принесет. В пример приводится американский журналист арабского происхождения, пишущий антиисламские произраильские статьи. Насколько мне известно, бесстрашный Жозеф Фара никогда не выражал желания перейти в иудаизм. Но вместе с тем мне понятно, что папа желает, чтобы именно такими людьми со стороны пополнялась еврейская община, причем без всяких искусственных ограничений.

На семьдесят пятом году жизни мой отец внезапно стал заядлым мело-

маном. Началось все достаточно безбидно – с покупки видеоманитфона для просмотра русских кинофильмов. Вскоре после этого он наткнулся на телевизионный канал «Classic Arts Show Case». Это было судьбоносное для него открытие. Он начал записывать арии из опер, отрывки из балетов и симфоний. Вначале мы все над ним подсмеивались. Он называл арии песнями, и первые пленки из его коллекции имели три градации, по-детски выведенные красным фломастером на торце: «хорошая музыка», «очень хорошая музыка» и «очень, очень хорошая музыка».

Но постепенно, с ростом коллекции, он обошел всех нас в любви и понимании музыкальной классики, особенно оперной. Он узнает по голосам и знает по именам всех ведущих оперных певцов Америки. Увертюра к опере Верди «Набукко» представлена у него в двух разных исполнениях. Через Баха и Моцарта он пришел к Стравинскому и Гершвину. У него теперь есть подробный каталог коллекции, в которой на сегодня имеются 143 кассеты с записями музыкальной классики.

Наибольшее счастье для меня услышать по телефону, что я ему мешаю, так как «идет запись». Но есть у этого благородного увлечения и несколько драматических аспектов. Уже пять лет с утра до ночи в их жилище гремят увертюры и торжествуют финалы, и все это время моя бедная мать ощущает себя живущей на сцене Малого театра оперы и балета с ежечасно меняющимся репертуаром, притом что она, так же как, впрочем, и я, никогда не разделяла эту обуявшую его на старости лет любовь к опере.

В свою очередь, мой отец, как человек исключительно практического ума, хочет принести пользу человечеству, поделившись с ним тем, что он почитает истинным сокровищем, но на что, увы, сегодня почти нет спроса. Его соседи – нормальные люди и откровенно предпочитают итальянской опере русскую эстраду. Поэтому остаюсь я...

Приходя к нему, я знаю заранее, что все будет происходить по отработанному за эти годы и потому почти ритуальному действу. На любые гостинцы из русского гастронома он ворчливо заметит, что у него все есть. И только увидев извлеченное из торбы клубничное мороженое, к которому мы оба не по годам охочи, он без лишних слов побежит за ложками. За мороженым, с неотвратимостью смены дня и ночи, следует художественно-познавательная часть моего визита. Он устраивает мне просмотр своей последней и, по его словам, совершенно сногшибательной кассеты с записью оперных арий. «Такие две негритяночки из Верди поют, закачаешься», – увлекает он меня, волнуясь, что я могу предпочесть русское телевидение или болтовню с матерью, и драгоценное время уйдет на пустые разговоры. Сознвая, что компаньонов у него негусто, подписываюсь на Верди. «Негритяночки» оказываются оперными певицами мирового класса. Он фамильярно называет их по именам.

Кассету я забираю с собой, клятвою обещая, что муж насладится ее содержимым, когда придет с работы.

Потом он идет провожать меня до машины. Перед тем как выйти из дома, он обязательно замирает на несколько мгновений перед круглой вешалкой в прихожей, по-детски раскачиваясь при этом на пятках. На вешалке вкруговую развешаны его кепки. Я забыла сказать, что он любит кепки. Переводя взгляд с одной на другую, из каких-то, только ему одному известных соображений, он сегодня выбирает мою любимую, в зеленую клетку, с черной пуговкой на макушке.

Я иду на шаг позади него, в точности повторяя траекторию его медленных, осторожных шагов, и вдруг с ужасом замечаю то, что замороженная его всегдашним презрением к мелким старческим немочам, его безумными проектами по спасению мира, не хотела замечать раньше. Он стареет! Он постарел!! Он – как все.

И жалость, величайшая из всех жалостей – жалость к себе, затопляет меня без остатка. Что я буду делать? Как я смогу жить без этого нелепого старика в смешной кепке, в кедах подросткового размера? Кто сможет заменить мне его, ЕГО – неутомимого производителя шавеля, страстного поклонника итальянской оперы и дерзкого отрицателя Машиаха....

Всему, что есть драгоценного в моей жизни, научил меня он. Всему, кроме одного. Он не научил меня молиться. И тут мне приходится действовать по наитию.

...И, с трудом преодолевая постыдные спазмы, перекрывающие гортань, я шепчу ему вслед самопальную молитву: Господи, будь милостив к нему, сохрани его, Господи. Защити его, помоги ему. Помоги ему «to be able»...

**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**



математик, экономист, аналитик, писатель (автор нескольких повестей, романов и книги стихов, а также множества культурологических статей). Живет в Израиле.

НАЦИОНАЛИЗМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

1

Разговор о евреях – почти наверняка разговор о любви, разумеется, если на всякий случай определить ненависть как любовь с обратным знаком. С учетом такого обобщения выяснение вопроса о том, любим ли «мы» «их» и любят ли «они» «нас», становится неизбежным – и закономерным. Причем безотносительно к тому, какие «мы» и «они» вводятся в предикат.

Разговор о России, на мой взгляд, – тоже разговор о любви. Если я прав, сочинение А. И. Солженицына (далее – АИС) «Двести лет вместе» имеет не право, а, пожалуй, обязанность на существование. Полагаю также, что АИС смотрит на вещи сходным образом.

Второй том этой книги целиком посвящен сравнительно недавним событиям, фактическая сторона которых бесспорна. Она, наверняка, не ставит задачу доказать, что евреи сыграли огромную, ничему, кроме национальной воли, не пропорциональную роль в русской революции и становлении коммунистического режима. Что тут доказывать? Она повествует о последствиях еврейской интервенции в русские дела примерно так же, как многие романисты пишут о природе, – природа обычно фон, а не предмет повествования. В первом приближении это книга о любви – вернее, о недавней истории романтических отношений между Россией и ее евреями, в основном, покойными или бывшими.

Чтобы хоть несколько прояснить вопрос об этой любви, начну вот с чего.

Судьба некоторых текстов – иногда вовсе и не столь уж важных текстов – бесконечно переписываться, переходя из одной книги в другую.

Е. В. Тарле, рассказывая о начале наполеоновского вторжения в Россию, в частности, о поездке российского министра полиции генерала Балашова к Наполеону в первые дни войны с целью убедить его немедленно заключить мир, сообщает, что Балашов оставил записки, скорее всего, поздние, об этом историческом поручении; эти записки были включены Тьером в XIV том «Истории Консульства и Империи», а оттуда «почти дословно по тексту Тьера» воспроизведены в «знаменитой высокохудожественной сцене "Войны и мира"». Тарле рекомендует относиться к этим запискам «с большой осторожностью», ибо «[м]инистр русской полиции не блистал никогда безупречной правдивостью».

Вот как воспроизводит этот текст Л. Н. Толстой:

Между прочим разговором он¹ заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева² о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

– К чему такая бездна церквей?

– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.

– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.

– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

Даже если «испанская» острота Балашова была выдумана им «на лестнице», она великолепна и заслуживает быть развитой³.

¹ Наполеон.

² Правописание толстовское, ничего не могу поделать.

³ Она была развита. Рассуждения о сходстве России и Испании, вырастающие из балашовских, неоднократно попадают в русской литературе. Лишь недавно я натолкнулся на такое рассуждение у Ю. Семенова. Штирлиц не остался в стороне.

В самом деле, у Испании с Россией немало общего, не слишком понятного остальной Европе. Обе страны пережили долгое чужеземное, чужеродное завоевание – арабами и татарами, соответственно. Обе они освободились лишь через сотни лет, после тяжких войн, обе успели за время ига сильно измениться, так, что населявшие их народы стали в немалой степени другими; обе, отвовав независимость, сразу превратились в великие державы. Вдвойне интересно и втройне актуально то обстоятельство, что у обеих стран были бурные романы с евреями. Есть о чем задуматься.

Согласно еврейскому традиционному фольклору, еврейский народ до сих пор не оправился от изгнания из Испании в 1492 году. Еврейская историческая литература называет пребывание евреев в Испании Золотым веком; на протяжении веков (и по сей день) они оплакивают свое испанское прошлое едва ли не наравне с разрушенным Иерусалимом. Чем же Испания была так хороша? Местоположением? Природой? Погодой? Литература на этот вопрос не отвечает, более того, она им не задается. Так или иначе, ни один другой эпизод еврейской диаспоры столь сентиментального отношения не удостоился и, тем более, не породил соответствующего исторического мифа.

В любом случае, нежность, с которой евреи⁴ вспоминают свое пребывание в Испании, неподдельна. Несомненно также, что евреи страстно любили *себя в Испании*. Ну, а как насчет любви к этой стране? Можно ли сделать напрашивающийся вывод – что они любили и саму Испанию, ее народ, ее культуру? Ее природу?

Едва ли. Хотя бы потому, что в еврейской литературе соответствующих времен Испания начисто отсутствует. В ней присутствуют только сами евреи – и Страна Израиля. Все, что вокруг – точь-в-точь, как потом в России, – им чуждо и враждебно. Самое знаменитое еврейское стихотворение испанского времени начинается такими словами:

Сердце мое на востоке,
А сам я на краю запада.

Восток – это Иерусалим, запад – Испания. Чистейшее, полярное противостояние. И далее – никаких комплиментов приютившей автора, Йегуду Га-Леви, стране. В данном случае речь об Испании арабской, культурной столице западного мира, на языке которой он мыслил и писал. Написано это стихотворение, кстати, в звездном XI веке.

Вспомним: евреи жили в Испании с римских времен. В христианскую вестготскую эпоху, непосредственно предшествовавшую мусульманскому вторжению, они чувствовали себя там неуютно и охотно поддерживали арабских завоевателей, пришедших из-за моря в начале VIII века. Именно с ара-

⁴ Справедливости ради отмечу – и арабы тоже. По всему Ближнему Востоку арабские школы называются «Кордова» или «Андалусия».

бами и начался у евреев бурный «испанский роман». Они активно включились в арабскую кампанию по освоению завоеванной страны и заняли выдающееся положение в новообразованных мусульманских княжествах.

Мусульманский этап «испанского романа» завершился, в основном, в конце XI века, когда в упомянутых княжествах задули менее веротерпимые политические ветры. Примерно тогда же приняла острый характер Реконкиста, то есть болезненный процесс отвоевывания испанцами Испании у арабов. Постепенно евреи начали переходить на сторону христиан и, опять же, быстро заняли в испанских христианских государствах выдающееся место. Однако и второй – христианский – этап «испанского романа» продолжался не слишком долго. Пассионарные испанцы, постепенно отвоевывавшие свою страну, не хотели терпеть иноверцев, тем более – сомнительной лояльности. Уже в XIV веке евреев стали активно побуждать принять христианство, а немедленно после того как арабы были окончательно вытеснены с Пиренейского полуострова, т. е. после взятия Малаги, Ронды и Гранады, в 1492 году, католические монархи объединенной Испании Фердинанд и Изабелла предъявили оставшимся в Испании иноверцам, мусульманам и евреям, ультиматум: креститься или покинуть страну. Попытки отделаться штрафом, равно как и дипломатические уловки, результата не дали. Почти все мусульмане покинули Испанию; насколько можно судить – в таких случаях статистика не слишком достоверна, – примерно треть евреев решительно ушли в изгнание, остальные – включая большинство лидеров еврейской общины – либо остались, немедленно приняв христианство, либо, ненадолго покинув страну, вскоре в нее вернулись, согласившись выполнить условия ультиматума. Стоит отметить, что чрезвычайно большая, по некоторым данным, подавляющая часть испанской административной верхушки состояла в этот момент из крестившихся евреев. Недавними евреями были не только министры и прочие высокопоставленные чиновники, но и целый ряд родоначальников будущих знатных испанских фамилий. Фердинанд и Изабелла управляли страной почти исключительно при посредстве этих людей, щедро одаривая их дворянскими титулами. К их этническому еврейству у разноплеменных испанцев не было претензий – при условии, что они станут испанскими патриотами и безукоризненными католиками.

Обыспанивание евреев шло непросто; кроме того, многие из крестившихся евреев оставили веру отцов не по доброй воле и сохраняли, самое меньшее, некоторую приверженность еврейским обычаям. Это тривиальное обстоятельство вызвало чрезвычайно резкую реакцию испанских властей. На протяжении полутора столетий одной из главных задач страшной испанской инквизиции – наряду с борьбой с еретиками-христианами, к числу которых причислялись и протестанты, – была слежка за крестившимися евреями и их потомками и жестокое преследование тех из них, кто был замечен или просто заподозрен в «иудействовании». Стоит отметить, что весьма активную роль в функционировании инквизиции играли сами

крестившиеся евреи и их потомки, нередко становившиеся рыными служителями церкви и церковными сановниками⁵.

Но сколько веревочке не виться – все равно конец будет. Постепенно потомки евреев, в основном, вступавших в брак с потомственными христианами, стали самыми настоящими испанцами. К началу XVIII века память о еврейской предыстории многих испанцев и испанского происхождения латиноамериканцев фактически изгладилась, а инквизиция превратилась в инструмент политических гонений. В начале XIX века она была ликвидирована Наполеоном, на короткое время завоевавшим Пиренейский полуостров. После этого преследования «иудействующих» прекратились, а исторический маятник повернул в обратную сторону – в испаноязычном пространстве стало модным приписывать себе еврейских предков. Сам генералиссимус Франко любил рассказывать, что происходит от крестившихся евреев; то же относится, например, и к великому писателю Х. Л. Борхесу. Самое пикантное: и сегодня немалое число испанцев и латиноамериканцев неожиданно обнаруживают свои еврейские (разумеется, чаще всего мифические) корни, шумно возвращаются к религии «предков», а то и репатрируются в Израиль. Израильские газеты полны такого рода душещипательными историями, восходящими к эпохе жизни евреев в Испании⁶. Таким образом, испано-еврейская тема никак не утрачивает актуальность. Испанская фразеология тоже. Еще пару десятилетий назад все восточные евреи называли себя испанскими (буквально – «сефардскими»), полагая такое наименование почетным. Это относилось и к тем из них, кто не имел никакого отношения к Испании, – просто таким образом они противопоставляли себя европейским евреям, которых огульно именовали немецкими (буквально – «ашкеназскими»). Но если европейские евреи хотя бы были объединены общим квазинемецким языком, ассоциация говоривших по-арабски евреев Ирака или Йемена с Испанией была чисто мифологической.

Согласитесь, удивительно похоже на русско-еврейский роман.

Но это еще не все. У бурной испано-еврейской коллизии есть еще один интересный аспект. Именно на ее базе зародилась легенда о том, что ни одна страна не способна преуспеть политически и экономически без помощи евреев. Испанию предлагается считать идеальным примером, эту легенду

⁵ Как известно, испанская инквизиция была создана крестившимся евреем – Торквемадой, активно добивавшимся ликвидации веротерпимости в Испании и изгнания всех иноверцев. В стране, бывшей в течение столетий самой веротерпимой в Европе, это было непросто и непривычно – но в итоге Торквемада добился своего.

⁶ Не могу не пересказать самый забавный из известных мне испано-еврейских мифов. В еврейских религиозных кругах до сих пор обсуждается история загадочной смерти инфанта дона Карлоса, сына испанского короля Филиппа II. Как известно, Шиллер пересказал ее в весьма романтическом духе. Верди сочинил по шиллеровской трагедии оперу. В свою очередь, еврейская мифология рассказывает, что испанский принц перешел в иудаизм и претерпел на этой почве множество притч. Вряд ли стоит добавлять, что этот миф никоим образом не связан с действительностью.

иллюстрирующим: изгнав евреев, она якобы обрекла себя на историческую анемию, атрофировавшую ее пассионарность и величие. Евреи сделали Испанию великой державой; без них она стала «больным человеком» Европы!

Поверить этой легенде может только очень уж наивный человек; отдельный вопрос, что можно сказать о ее распространителях. Рассмотрение испанской истории подталкивает скорее уж к обратному выводу (будто евреи вредят странам, в которых живут, – есть и такой миф), который, разумеется, тоже неверен.

В самом деле:

Во-первых, эгоцентрическое поведение евреев на разных этапах испанской истории, их переметывание от одной воюющей стороны к другой, их равнодушие к собственно испанской драме, к экзистенциальному спору о национальном испанском характере делает саму постановку вопроса об их вкладе в создание испанского могущества весьма проблематичным; собственно, о чьем могуществе идет речь? Что, обе стороны идут в счет?

Во-вторых, Испания после 1492 года вовсе не осталась без евреев. Напротив, большинство их остались в стране. Хорошо известно, что евреи, принявшие христианство, довольно долго играли в ее жизни очень большую роль.

В-третьих, самое главное, после изгнания не крестившихся евреев и мусульман и введения режима абсолютной религиозной нетерпимости Испания вовсе не стала деградировать. Напротив, именно тогда началось ее быстрое пассионарное возвышение. В XVI веке Испания стала чисто католическим королевством и одновременно сильнейшей европейской державой, завоевала немалую часть Нового Света, затопила себя и других американским золотом, совершила массу географических открытий и, наконец, создала «Дон Кихота». В начале XVI века Карл I, внук «католических королей» и австрийского императора, испанский король и одновременно сюзерен Нидерландов, Сицилии, Бургундии и ряда французских провинций, стал под именем Карла V императором Священной Римской империи, то есть властелином Германии, и впервые в истории Европы (пожалуй, вообще впервые после Чингисхана) создал государственное образование, применительно к которому выражение «над ним никогда не заходит солнце» было не таким уж большим преувеличением. В течение целого столетия все западно-европейские государства находились под непрерывной испанской угрозой. Упадок Испании, вызванный вполне объективными социально-экономическими причинами, начался через столетия после ликвидации «еврейской проблемы» в стране.

Разумеется, теория «еврейской незаменимости» Испанией не кончается. Преемницей Испании в качестве ведущей морской державы, а затем и просто первой державы Европы стала Англия. Предприимчивость английской буржуазии, неустанная жажда преуспеть в торговле, неумная агрессивность вполне могли бы указывать на огромную роль евреев в достижении британского островного и имперского преуспеяния. Увы, не указывают. Ев-

реи были изгнаны из Англии еще в XII веке; вплоть до середины XVII столетия их там вообще не было. Свои великие победы в Столетней войне англичане одержали без помощи евреев. Сами, в одиночку, они стали великой морской и колониальной державой. Оливер Кромвель отменил древний запрет на допуск евреев в Англию, однако вплоть до XIX века их там было мало, и особой роли в британской жизни они не играли.

Часто рассказывают, что Турция, принявшая немалое число евреев-изгнанников из Испании, расцвела с их приездом. Однако как раз XVI век, век их приезда, – начало упадка Турции сначала как великой державы, а затем и просто как государства. Не стоит обвинять в этом упадке евреев, они тут абсолютно не при чем. Но и хвастать им на турецкой почве нечем.

В этом контексте стоит вспомнить и об относительно терпимых итало-еврейских отношениях. Италия, лишившаяся в Средние века государственности, но оставшаяся единственной развитой в культурном и экономическом плане европейской страной, никогда не изгоняла своих евреев. Быть может, это они вывели Европу из средневековья в Ренессанс? Увы, сколько-то пристальное рассмотрение итальянских реалий вынуждает нас отказаться от соблазнительного предположения о том, что евреи инспирировали необычайные достижения итальянского Возрождения. В истории Ренессанса, действительно, мелькают на заднем плане еврейские имена, в основном, имена ученых, из чего следует, что на культурной обочине итальянские евреи не остались; тем не менее очевидно, что итальянская культурная революция захватила евреев, а не наоборот.

С другой стороны, несомненно, что у евреев диаспоры были собственные звездные часы. Они сыграли очень существенную роль в ранней истории Польши, в определенные периоды оказались весьма полезными Нидерландам; в еще большей степени это верно в отношении Германии. Вообще, евреям средневековой Западной Европы есть, чем гордиться. Стоит помнить, что они в течение целого тысячелетия обладали весьма ценной монополией – монополией на иноверие, стало быть, и на инакомыслие, и на свободомыслие. В стране слепых и кривой – король; на фоне абсолютной католической нетерпимости тот факт, что определенные иноверцы, да еще сомнительно лояльные, да еще разбросанные по разным странам и таинственно связанные друг с другом, могли жить среди христиан, является удивительным исключением. Разумеется, положение евреев было трудным и опасным, но ведь в те времена легкой жизни не было ни у кого. Мы часто забываем, что никакие другие иноверцы вообще не могли жить в католической Европе, истребившей язычество до основания и полагавшей «неверных» мусульман своими злейшими врагами. Обратим внимание: на протяжении столетий лучшими в западном мире учеными, мыслителями, врачами, инженерами и коммерсантами были мусульмане, в католическую Европу не допускавшиеся. Поэтому евреи стали, прежде всего, полномочными представителями, более того – паллиативом огромного культурного мусульманского мира в более или менее варварском европейском пространстве. Естественно, они были значимы – и

заметны. Долгое время итальянцы составляли им конкуренцию, но не слишком опасную. Рынок был огромен, культурных и экономических потребителей хватало на всех. Этот цивилизационный голод был утолен лишь после того, как начался культурный подъем в самой Западной Европе – подъем, породивший мир, в котором мы ныне живем.

Именно эти обстоятельства – монополия на иноверие и монополия на культурный импорт – и породили легенду о невероятном еврейском влиянии на Европу. Одни полагали, что это влияние было огромным и благотворным, другие – что оно было огромным и вредоносным. Обе теории являются мифологическими. Роль евреев в развитии Европы была хотя и заметной, но маргинальной и, главное, вполне естественной.

Однако за вычетом еврейских чудес существует иная, более реалистичская постановка вопроса о «еврейских романах». Думаю, именно она лежит в русле исследования АИС. В конце концов, даже если евреи не благодетельствовали и не погубили государства и народы, с которыми соседствовали, они вполне могли быть их историческим зеркалом, чем-то вроде канареек, которых еще не так давно приносили в шахты, полагаясь на птичью чувствительность к малым дозам метана. Быть может, изучение истории сосуществования евреев с народами и пейзажами Европы, их коллективного исторического поведения может породить новое, иначе недоступное политическое и социальное знание? Быть может, не существование евреев, а сосуществование с ними столь значимо для историка, тем более если речь идет о странах, в которых еврейское присутствие было особенно динамичным – и заметным? Быть может, еврейский коллектив, при всем сходстве с европейским, особенно в новейшее время, все же настолько отличен от него, что разность между европейской и еврейской реакциями на исторические раздражители несет важную информацию? Быть может, глядя на живущих в Европе евреев, можно разгадать европейцев? Если не всех – то некоторых? Первый, самый напрашивающийся эмпирический пример – Испания. Второй, разумеется, Россия. С некоторой натяжкой сойдет и Германия. Без всякой натяжки, зато с вывернутой наизнанку парадигмой лояльности, о которой следовало бы говорить отдельно, – Израиль⁷.

Именно об этом, другими словами, об увлекательном диахроническом гадании на еврейской гуще и пишет АИС. Пишет поздно – в конце второго тома «Двухсот лет вместе», на 475-й странице. Стало быть, по всей вероятности, поначалу надеялся на большее, но вот с чем остался:

⁷ Именно в Израиле – а не в России или в США – возникла сейчас во всей красе проблема двойной лояльности евреев. Проблема несовместимых лояльностей: собственному мифу – и собственному государству. Ранее казалось, она типичное порождение диаспоры, результат противостояния нееврейской власти: однако и реальная еврейская, израильская власть вдруг оказалась чужой для вскормленного ею же националистического меньшинства, с тоской вспоминающего о жизни в чужих странах. – там-то традиционная нелояльность была естественной. Но, повторяю, об этом следует говорить и писать отдельно.

Соотношение еврейской и русской судеб, переплетшихся с XVIII века, и так взрывно проявившееся в XX, – имеет какой-то глубокий исторический ключ, который мы не должны потерять и на будущее. Тут, может быть, заложен сокровенный замысел – и тем более мы должны стремиться к его разгадке и исполнению.

АИС вставляет эти слова в историю нынешнего исхода евреев из России, то есть самого последнего этапа того, что у него *соотношение*, а у меня *существование*, но какая разница? Вот, почти не стало в России евреев, скоро совсем не станет, кроме стариков и олигархов. Но ключ-то останется! Найти бы его! И *разгадка* и *исполнение*, хотя уже почти безразличны евреям, еще послужат России. России, которая, в отличие от ее бывших евреев, никуда не денется.

И еще он пишет:

Все происшедшее за два столетия с российским еврейством в России – и черта оседлости, и выход из ее прозябания, и расцвет, и возвышение в круги российской власти, и новое стеснение, и потом Исход – не игра случайных стечений на окраине истории. Еврейство закончило круговой цикл распространения вокруг Средиземного моря, вплоть до востока Европы – и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю.

Итак – налицо *цикл*, причем не случайный. Скорее всего, новый неизбывный, издавающийся над временной стрелой вариант мифа о вечном возвращении. Цикл еврейского кругооборота в российских венах. В самом деле, евреи прошли, кажется, через все возможные фазы эпических и лирических взглядов на Россию – лишь для того, чтобы навсегда (или, если понимать АИС буквально, до нового цикла, смотря по исторической роли русского народа) ее покинуть. В другом, не столь жестоком измерении – просто российско-еврейский роман. В едва ли не полной аналогии с другими – испанским, немецким. Пожалуй, самый поучительный. Ибо он – больше по масштабу и историческому смыслу.

Неудивительно поэтому, что АИС повторяет вслед за М. Моргулисом «меланхолическую» концовку старого анекдота: «Всякая страна имеет таких евреев, каких она заслуживает». Это правило поучительно применить сегодня к пустому еврейскому множеству. Если принять его всерьез, выходит, что по каким-то причинам на нынешнем этапе разумно и правильно (заслужила!) России остаться без евреев вовсе, вернее проживать последних, как утекающий исторический капитал. Но на нет и суда нет. Евреи уходят, Россия остается. И российские проблемы тоже. Так что не стал бы АИС писать свой труд о вымирающем русско-еврейском этносе, как не стал бы, скажем, писать о шумерах или этрусках, если бы не намеревался таким трудным образом поставить своей стране остро необходимый диагноз. Не стал бы, если бы Россия не была больна (кому, кроме больного, нужен диагноз? здоровый своих бывших евреев не наблюдает), вероятно, об-

щей со своими евреями болезнью. Если бы в России, с Россией все было в порядке. Но ни здоровья, ни порядка⁸. Осталось поговорить об иммунитете, несомненно, – а если не несомненно, то в рамках выдвинутой АИС рабочей гипотезы – евреям присущем. А ведь иммунитет всегда отчасти предвидение. Стало быть, неспроста евреи покинули Россию – и до чего вовремя; полбеда, если бы они вернулись к собственным делам, в Израиль, но нет, как известно, в Израиль многие из них не спешили, а ехали они хоть и по израильским визам, но в Америку, Австралию, Германию и Канаду. Проще всего было бы продиагностировать – погнались евреи за длинным рублем, но едва ли – ведь в 20-е годы было куда труднее, но они не уезжали, а приезжали в Россию, даже из той же благополучной Америки. И, как ни странно, в 40-е тоже – в том числе самые левые, передравшись с англичанами и просто с сионистами. Вот он, поиск диагноза, теперь уже прямым текстом. АИС пишет:

В конце 60-х годов, когда я проверял свое ощущение, что коммунистический режим – ведь обречен же? обречен! – меня значительно поддерживало то наблюдение, что вот и столько евреи отшатнулись от него.

Да, отшатнулись. Но от него ли – или, во всяком случае, только ли от него? Отшатнулись и, как только разрешили, начали уезжать, действительно, при советской власти и от нее, но несколько не притормозили, а продолжили втрое пуще после ее падения – и по сей день едут. Как ни крути, сегодня евреи покидают не *коммунистический режим*, а Россию. И если поверить тонкой интуиции АИС, что в 60-е годы отшатнулись евреи от советской власти, еще монолитной и грозной, нащупав, прочувствовав, предсказав ее слабость, ее грядущее падение, то следует пойти дальше и спросить: а почему, собственно, кризис, даже падение коммунизма – повод для бегства евреев? Ведь не за коммунизмом же евреи поехали, да и не в Китай, а в антикоммунистическую Америку, в либеральную Германию и в антибольшевистский Израиль. Тем более что не было их уже в коммунистических органах – партийных, охранных и прочих. Кризис режима евреев не слишком касался, напротив, открывались новые возможности, выжили бы лучше других. Быть может, не падение коммунизма они усмотрели из далеких 60-х годов, а что-то другое? Вероятная гипотеза – предугадали грядущую деградацию России? Распад империи? Утрату общего будущего, национальных, наднациональных амбиций? Очередной шумный виток вечного, как их собственный, русского вопроса: в чем смысл русской жизни (вместо самой жизни)? Вдвойне интересная постановка медицинской, канареечной проблемы? Иными словами, не оттого ли евреи с железной решимостью, ведомые, как перелетные птицы, безошибочным инстинктом, с

⁸ Меня недавно потрясло то обстоятельство, что продолжительность жизни в России ныне намного ниже, чем в Алжире, Тунисе или Марокко. Здесь – 67 лет, там – 73. Какое тут здоровье!

70-х годов оставляют Россию, что отказали этой стране в будущем, обозначив ее грядущий кризис? Быть может, по точной аналогии, именно потому не хотели они, профессиональные скитальцы, на рубеже XVI века уходить из Испании, что предчувствовали подъем, великое будущее страны, близкое и манящее, которым испанцы не захотели с ними, инакомыслящими, поделиться? Предчувствовали открытие Америки, приток золота, пряностей и какао? Имперскую корону? Быть может, по сей день плачут по Монтесуме и его добру? А тут – грядущие российские травмы и потери. Шагреневая кожа, а не империя. Вспомним: еще в 30-е годы Россия от Японии до Англии вызывала у еврейского поэта восхищенные слезы и всхлип патриотизма. Мало ему было Сибири и Камчатки? Едва ли, но, думаю, не размер державы его волновал, а динамика ее роста. Не закономерно ли, в таком случае, что евреи поспешно покидают сжимающуюся Россию, страну, которая сама не знает, чем владеет, а что упустила? Не могу доказать, что это ужимание, неслыханный отказ от завоеваний последних четырех веков, такая уж беда для России, но ясно, что это знак кризиса, симптом болезни. Стоит помнить, что евреи – экономный народ – болезненно относятся к чужим (а заодно и к своим) территориальным потерям. Тем более что эти потери редко бывают исключительно территориальными. Землю, как мы знаем, чаще всего вырывают с корнем. С мясом.

Даже если я не совсем согласен с канареечной гипотезой, невозможно отнять у нее жизненность. К тому же, если не одна гипотеза, то другая. Поэтому даже когда АИС говорит о чисто еврейских делах, он думает о России, во всяком случае, крепко держит ее в уме. Что, в свою очередь, дает мне право рассуждать о российских проблемах ясно и открыто. Если евреи – как голуби в магическом медицинском фокусе – должны помочь с лечением, то неплохо бы сначала выяснить, в чем, собственно, состоит болезнь.

2

Заезженная тема: евреи и русские – два оголтелых избранных народа, равно уверенных, что мир создан исключительно для них. Обладатели двух наиболее известных национальных религий, национальных мифов. Еврею нигде нет единоверца. Если верить православной доктрине, как верим мы еврейской, нет единоверца и русскому, ибо все прочие греческие церкви, самое меньше, со времен Никоновых реформ, погрязли в ереси. О западной церкви нечего и говорить – собственно, Ф. И. Тютчев все сказал:

Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.

Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни – дни Божьего суда –
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.

Но и про православного русского тоже сказано немало оскорбительно-го, да еще в обидном первом лице:

Унизительны наши святыни,
Все рассчитаны на дурака,
И живительной чистой латыни
Мимо нас протекала река.

Нет смысла поминать сочинившему этот бред Лосеву его исходную фамилию – Лифшиц. Раз сменил – сменил. Тем более что недорого станет найти злобствующего коренного славянина. Важно, что и антирусская, русофобская брань стоит несусветная, на весь свет. Так что действительно нет единоверцев: евреям вне синагоги, русским – вне православной фортеции.

Но если нет единоверца – то и равного нет. Зато есть избранный народ, народ-богоносец, избавитель, свет для человечества. Догма, поразительно похожая на еврейскую, а скорее просто та же догма. Неспроста русский народ определяет сам себя как Новый Израиль, а то и как Настоящий Израиль. С достойными рассмотрения последствиями – отчасти упомянутыми ниже.

Тут следовало бы вспомнить, что идея избранности посещала и многих других. Посещала – но редко надолго задерживалась. Е. В. Тарле в написанном во время Отечественной войны введении к книге о Наполеоне с тактом и смертоносной убедительностью выводит в расход идею немецкой исключительности: это не исконное немецкое видение мира, а фашистское помешательство. Мудрый Тарле цитирует величайшего поэта Германии, Гете, который «как будто предвидел... нелепейшее обезьянничанье Гитлера, когда писал свои бессмертные, истинно пророческие стихи»:

Будь проклят тот, кого, как вал,
Гордыни буйство одолеет,
Кто, немцем будучи, затеет,
Что корсиканец затевал.

Наповал, не правда ли? Кто рискнет возразить? Не могут немцы всерьез считать себя избранным народом вопреки Гете – и его стихам. Всякий, кто бывал в Германии в последние годы, наверняка с этим согласится. Найдите сходную цитату у Пушкина – и вопрос о русской избранности также будет закрыт.

Ну, а что французы? Англичане? Итальянцы? Испанцы? Самое их влюбленно-спокойно-серьезное отношение к себе и естественная вовлеченность в дела друг друга исключают систематическую идею избранности. Чтобы

чувствовать себя избранным, необходимо, сосредоточившись на своих символах, постоянно совершать национальную медитацию, требующую экзальтации и одиночества. Поэтому резонно искать тяготение к избранности среди народов, проповедующих изоляционизм. Недаром евреи определяют себя как «народ, живущий в одиночестве» – даже в диаспоре, даже в полнейшей этнической окрошке. Россия, в XV веке открывшая свое мессианское предназначение, провозгласила вечную священную изоляцию, едва сбросив ордынское иго. Вот что писал западник Карамзин в своей «Истории государства Российского» о попытке самого либерального из русских царей до Петра – Бориса Годунова – открыть Россию европейской культуре:

В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже *университеты*, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и *наукам*...⁹ Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства, которое представило царю, что Россия благоденствует в мире единством закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви; что, во всяком случае, неблагоприятно верить учение юношества католикам и лютеранам.

Можно пойти дальше и вспомнить, в противовес Европе, об изолированном на протяжении столетий Китае, о Японии, запрещавшей иностранцам даже высаживаться на ее территории, и несметном множестве (еще недавно) обитавших на всех континентах племен, не преодолевших древнюю племенную изоляцию, зато сплошь избранных. И тут без труда устанавливается общность изоляционистского мифа, генетически связанного с концепцией коллективной избранности, более того – коллективной единственности. Ясное дело, они – миф и концепция – ничего хорошего в долгосрочной перспективе не сулят.

Складно? На первый взгляд, да. Но при внешней убедительности, сие модное и даже наукообразное рассуждение обладает серьезными изъянами. Первый из них, внутренний, сразу бросается в глаза – это проблема размерности, сомнительности результатов сопоставления несоизмеримых величин. Ибо миф об изоляции и настоящая изоляция – опасно разные вещи. Россия и Китай, две великие континентальные державы¹⁰, действительно функционировали в течение долгого времени как практически замкнутые системы (их «обмен веществ» с границей был на порядок незначительнее внутренних метаболизмов). Японцы также замечательно обособились на своих островах. Но евреи, которых мы взяли за точку отсчета, полагали

⁹ Курсив Карамзина!

¹⁰ Стоило бы изучить вопрос о том, случайно ли Россия оказалась отрезанной от Балтийского и Черного морей и какую роль в формировании ее национального сознания сыграла изоляция от открытых для каждого морских путей, пришедшаяся на самые формативные столетия – XV–XVII.

свою отличность внутренней, виртуальной чертой, не всегда приятной для стороннего наблюдателя, но уж точно не препятствовавшей плотному обмену с чужаками; иными словами, их пассионарная избранность не обязательно требовала физической замкнутости. Разумеется, евреи не разрешали иноверцам воспитывать своих детей, однако в борьбе за избранность они не полагались на непроницаемые вещественные границы и уж тем более – на языковой, территориальный или иной видимый барьер.

Но это еще цветочки, ибо наряду с избранностью мистической, изолирующей, еврейской, русской, китайской – словом, островной, есть избранность другая, оживленная и наступательная – прежде всего, исторически, эллинская и римская, так уж пошло, активная и уверенная в себе, столь же шумно декларирующая свое превосходство, но не опасаящаяся внешних контактов, наоборот, завоевательно их ищущая, избранность любопытная, жаждущая диалога, секулярная по содержанию и умениям, собственно, *избранность умения, избранность состязания*, отбрасывающая домашний мистицизм, заимствующая чужих богов, отвергающая изоляционизм, избирающая экспансию и не боящаяся ассимиляции. Избранность иная по существу, иная по исторической судьбе, вернее, судьбам; мало того, именно она – со всеми достоинствами и проблемами – возродилась в Европе в Ренессанс и, хотим мы того или нет, определила физиономию нынешнего мира. Современная западная цивилизация суть метемпсихоз античной военной и интеллектуальной агрессии; в своем самосознании она удивительным образом параллельна греко-римскому миру, уверенному в своем превосходстве, ищущему не защиты, а, напротив, реализации; эта параллель, конечно, в сугубо римской, унифицирующей, гордящейся своей эффективностью стадии, и породила техническую революцию и колониальные империи, объединила мировые ресурсы в единую хозяйственную систему, обслуживающую тех, кто умеет пользоваться хитрыми римскими приемами – прежде всего, сам Запад, но и всех, кто с ним заодно. В глазах этой цивилизации – или насколько у нее хватает сил – мир делится следующим нехитрым образом, строго сообразно принципам открытой избранности: ново-римский Запад, а заодно с ним – все то, что справляется, *по-римски играючи*, против того, что затрудняется следовать римскому примеру. Стоит иметь в виду, что это разделение не только не ясно и не постоянно, но, напротив, динамично и всегда размыто. Никому не возбраняется идти римским путем, приобщаться к римской избранности и порывать не только с прочим миром, но и с собственным прошлым. Большинство пробует. Получается у многих. Но есть и исключения.

Словом, даже избранным можно быть по-всякому.

3

Россия – не только проблемная страна, страна в беде. Она, прежде всего, необычная страна – причем не с сегодняшнего дня. Российская стран-

ность уходит в века. Вероятно, нынешняя российская беда тоже пришла не сегодня. Следует задуматься, увязана ли российская беда с российской странностью. Скорее всего, увязана. Тем не менее, уходя в русское прошлое, не только корректнее, но и правильнее говорить о необычных, а не о болезнях. Они начинаются, самое позднее, с XV века, с момента становления русской государственности в параллель европейскому Возрождению, началу новой европейской эры. Российские исторические странности заслуживают не менее пристального разбора, нежели загадочная русская идея. Настоящему национальному врачу следовало бы уяснить, каким образом сформировался знакомый нам характер великой российской державы – но я не врач и медицинских амбиций не имею. И все же: российское государство с самого начала было непохожим и на европейские, и на восточные, хотя и не чуждым ни тем, ни другим. Оно миновало за ненужностью классический феодализм и многие другие политические формулы, проигнорировало европейские социальные преобразования постфеодального периода (оттого крепостное право, фактическое рабство, крепло в России едва ли не до начала XIX века, когда в Европе о личной зависимости и думать забыли; только не стоит забывать, что к России в этом отношении плотно примыкала якобы демократическая Америка; так патриархальный Рим с его устаревшими институтами сонно жил в параллель бурной Эллады, пока не пришел час вступить в эллинистическое наследство); избрало в качестве политического строя недостижимый в Европе восточный централизм, отчасти государственную, отчасти религиозную систему во главе с обожествляемым монархом и изначально подвластной ему церковью, деспотию, но без обычно сопровождающего ее культа войны (оттого Россия, в сравнении с прочими, мало воевала, мыслила себя охраняющей свои пределы, а не расширяющей их, тем более лицом к населенному Западу, мечтала, максимум, о выходе к морям и о родном, захваченном турками Константинополе, а не о напрашивавшемся господстве над Западной Европой и Южной Азией, частным образом отправляла Ермака в пустую Сибирь, на Обь, а не против немцев и шведов, и вообще, была для своих западно-европейских сопредельников грозным, но относительно миролюбивым соседом¹¹). Россия заглядывалась на богатый Запад, но распространялась на нищий Восток, причем довольно своеобразным путем, сильно

¹¹ Не могу удержаться: русские войска вошли в 1814 году в Париж, находящийся на другом конце европейского света, только чтобы вскоре уйти оттуда – а ведь ничто не могло помешать Александру I, в подражание Наполеону, объявить попавшую под союзнический, стало быть русский, контроль Европу своей данницей. Ничто, кроме ясного российского ощущения, что России это не нужно – да и, по сути, неправильно. Сходным образом, австрийцы не побоялись в 1848 году, в страшный для своей империи момент, позвать на помощь Николая I, бесспорного тирана и реакционера, да еще в центр славянских земель; мало того, буквально через несколько лет, в завязку Крымской войны, они отважно оплатили ему черной неблагодарностью. Резюме: русские приходят в Европу по зову и уходят оттуда за ненадобностью. Первым русским властелином, на-

напоминавшим авантюристические походы Кортеса и Писарро. Впрочем, довольно с нас испанской темы.

Несомненно, напрашиваются аналогии, в основном, с Византией, единственной на свете, неповторимой, ни на что не похожей. Этот удивительный политический реликт, разумеется, мог вдохновить северных соседей, тем более единоверцев, но, увы, не в Новое время, а лишь гораздо раньше, в период могущества и славы, и уж точно не после своей гибели или в последние десятилетия беспомощного существования. Гипотеза о том, что Россия всерьез, сознательно копировала текущий византийский опыт, соблазнительна, но ошибочна, не говоря уже о том, что она – анахронизм; бесчисленные политические и теологические совпадения не меняют дела хотя бы потому, что они относятся к византийским символам, а не к византийским реалиям. Другое дело – замысел *наследовать* Византии и даже самому Риму. Наследовать территориально, политически, мистически. Только где оно, территориальное наследование? Да и с остальными непросто. Тот, кто в середине XV века впервые назвал Россию Новым (Вторым) Царьградом, Новым (а потом и Третьим) Римом, затеял интереснейшую геополитическую, культурную и теологическую игру, актуальную по сей день; Впрочем, он явно не представлял, куда эта игра заведет. Отсюда пошло тонкое экспериментальное скрещение политики с теологией (именно в таком порядке); оно продолжалось почти столетие и породило до странности узнаваемую Россию; видимо, скрещение было удачным и жизнеспособным.

К сожалению, традиция, приписывающая идею *наследования Византии* православным теологам из московского придворного круга начала XVI столетия и объявляющая формулу «Москва – Третий Рим» авторской, созданной примерно в 1520 году старцем Филофеем из псковского Елизаровского монастыря, грешит против истории – и ее духа одновременно. Эта идея родом из предыдущего века, равно как и оригинальное, оторвавшееся от византийского теологическое самообъяснение русского православия как соприсущего царской власти. К тому же – изначально не русская.

Христианство, оно же православие, в рамках этого самообъяснения – явление, параллельное Римской империи и соприсущее ей; недаром Христос родился в годы правления *основателя империи*, Октавиана Августа. Христианство появилось вместе с империей; поскольку оноечно, вечна и империя; они неразделимы и единосущны. Именно поэтому Константин

чавшим заглядываться на мировое господство, был Сталин – со всеми вытекающими отсюда национальными странностями, скорее кавказскими, нежели великоросскими. И еще: все же Сталин устоял перед соблазном включить восточно-европейские страны – тем более Австрию и Финляндию – в состав СССР, ограничившись довоенными завоеваниями и Восточной Пруссией, иными словами, обширным выходом к Балтийскому морю; Горбачев еще до распада СССР оставил Восточную Европу с такой же легкостью, с какой Александр I оставил Париж. Цепкость, с которой Россия до сих пор держится за Курилы, – поразительный исторический курьез. Вероятно, Курилы нужны России не как территориальная единица, вопрос только – зачем именно?

Великий сделал христианство не просто государственной религией, а именно имперской государственной религией, неотделимой от высшей власти¹². Самый термин «имперский» в рамках православной традиции означает: присущий державе, возглавляемой помазанным императором – посланцем и представителем Бога на земле, – каким он был в поздней Римской империи, и далее – в Византии. Соответственно, православие, имперская религия, полагало себя религией мировой, ибо империя – это мир, а то, что неподвластно императору – всего лишь маргинальные, варварские поля империи, нисколько не заслуживающие внимания.

Поначалу в империи, Римской по духу и названию, но со столицей где угодно, только не в Риме, царил опасный, ничего хорошего не предвещавший символический дуализм: Рим со столицей в Равенне, Рим со столицей в Медиолане, а то и в Византии. Однако вскоре упомянутый дуализм благополучно разрешился, разумеется, в пользу имперско-римского духа и в ущерб самому городу Риму. Одна из имперских столиц в решительный час унаследовала римскую харизму; понятие «Рим» приобрело индекс – 2. Старая символическая столица впала в ересь, а затем и вовсе утратила сакральный имперский характер. Рим, потеряв земную опору, стал центром державы не от мира сего, что несовместимо с православной догмой, действительно, вытесненной догмой католической, в рамках которой церковь заменила империю. Для православного – где империя, там и Рим. Поэтому новой, настоящей Римской империей стала империя Востока, уже не римлян, а ромеев, Византия, возвратившая себе греческий язык, язык древнего христианства¹³. Старинный Византий стал стольным Константинополем, Царьградом, Новым Римом. История замкнулась – первая христианская столица империи стала ее вечной столицей.

Так было бы и по сей день – если бы не вечные имперские проблемы. Политика не всегда послушна теологии. Византия пала под турецкими ударами после долгой и болезненной агонии. Пока она существовала, русская церковь безропотно подчинялась константинопольским патриархам, а царьградских императоров рассматривала как богоданных православных

¹² Не случайно пушкинский Борис Годунов говорит: «Достиг я высшей власти». Пушкин, как всегда, точен.

¹³ Пусть не обижаются те, кто считает, что исконный язык христианства – древнееврейский. Христианство с первого дня говорило, молилось и рассуждало не на ученом или государственном языке, а на общепонятных, народных наречиях. Таких в Средиземноморье – от Адриатики до Ливии, если двигаться по часовой стрелке – было два: арамейский и греческий (вернее, имперский греческий, койне), на практике сильно перемешавшиеся. Можно смело утверждать, что самые первые христиане, жившие в Палестине, Сирии и Египте, активно смешивали оба языка, а христиане Малой Азии, Греции и Рима, с которыми бурно переписывался Павел, изъяснялись по-гречески. А когда настал момент записать христианские тексты на полноценном литературном языке, у греческого и конкурентов не было. Древнееврейский был в этом отношении столь же неактуален, как и латынь. Разумеется, до поры до времени.

властителей. Однако гибель Константинополя как православного центра – разумеется, за греческие грехи – не могла не повлечь за собой теологической ревизии. Итогом ее было перенесение имперского православного центра в Москву и объявление ее Вторым Царьградом и, соответственно, Третьим Римом. Что, вроде бы, и следовало доказать.

Отдадим должное этому самообъяснению – оно с блеском демонстрирует всякому, кто хочет тому верить, что папскому Риму до Константинополя далеко, и, следовательно, православие – истинная религия, а католицизм – ересь. Ведь только в Константинополе христианство являлось властной имперской религией, в то время как католический Рим, начиная с конца V века, был лишь центром виртуальной религиозной пирамиды, опасно оторванной от светской власти и вяло вмешивавшейся в дела разнородных княжеств и государств. Благословенье Божие почитает на империи, стало быть, на Царьграде, где бы он ни находился – в Риме, Византии или Москве; религиозное присоединение к Царьграду суть вступление в Царство Божие. Вот каким образом – задним числом, разумеется, – следует объяснять выбор Владимира, крестившего Русь по греческому закону.

Схоласту этого было бы довольно. Скептику, вроде меня, невозможно не припомнить, что тезис «Москва – Третий Рим», правда, без продолжения «два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти», имеет любопытное реал-политическое происхождение. Повторюсь: Константинополь на протяжении столетий рассматривался Русью как источник истинной веры и обязывающей теологии; всякая попытка восстать против греческой церкви подавлялась как ересь. Политическое ослабление Византии, ставшее в конце XIV века бесспорным, хотя и прискорбным фактом, послужило прологом к серьезному кризису русского православия, который был ликвидирован лишь двумя столетиями позже, да и то отчасти – старообрядцы по сей день тут как тут. Новой теологической травмой стала для Руси Флорентийская экуменистическая уния 1439 года, в рамках которой Константинополь, взамен обещания военной и политической помощи против наступающих турок, признал как главенство папы римского над патриархом, так и принципиальное единство христианских церквей. Еще важнее сформулировать содержание унии по-другому, теологически: и западное, и восточное христианство отказались в 1439 году от тезиса о собственной исключительности и от обвинения друг друга в заведомой ереси; де-факто уния допустила легитимность разногласий в христианстве, немудрено, что от нее до открытого провозглашения протестантизма кот наплакал. Следует иметь в виду, что у русской церкви в том, что касается унии, не было алиби: русский митрополит Исидор активно участвовал во Флорентийском соборе; в принципе, уния, хотя и не одобренная формально Москвой, до некоторой степени обязывала русскую церковь. Так или иначе, на Руси долго не знали, как на нее реагировать. У унии нашлись сторонники и противники, оставалось ждать развития событий – политических и теологических.

Как известно, политическая развязка наступила очень быстро, предопределив теологическую. Если бы империя, принявшая унию, устояла, воссоединение Восточной и Западной церквей могло бы стать реальностью. Однако уже в 1453 году турки взяли Константинополь, превратили св. Софию в мечеть и аннулировали ромейскую империю. Несомненно, гибель империи повлекла за собой настоящий теологический кризис православия – вплоть до сомнения в некоторых старинных постулатах. С другой стороны, она породила зерно будущей церковной независимости России – настало время усомниться в мудрости и благочестии доселе непогрешимых греческих иерархов, подписавших бесполезную унию.

Где следовало искать выход из кризиса? Быть может, в эсхатологии. Как раз подходило к концу 7-е тысячелетие от сотворения мира по греческому церковному календарю (семитысячный год приходился на 1492 год н. э.), и мистически настроенные люди поговаривали о конце света. Вот что пишет на эту тему Карамзин:

[1466–1467 гг.] Кроме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн должен был внутри Государства преодолеть общее уныние сердец, какое-то расслабление, дремоту сил душевных. Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по Греческим хронологам: суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества; менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслию независимости, думая, что все ненадолго. Но печальное тем сильнее действовало на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюдинов более, нежели когда-нибудь.

Быть может, в ереси – она же радикальная религиозная реформа, как поведет. Именно в эти годы начинаются серьезные разногласия в русской церкви – между западниками и почвенниками, сторонниками унии и ее противниками, поборниками национального пути и пути греческого, сторонниками и противниками исправления русских религиозных книг, то есть приведения их в соответствие с греческими оригиналами. Мало того, именно в это смутное время возникает на Руси так называемая ересь «жидовствующих», замешанная на мистике, теориях конца света и отказе от опоры на имперскую церковь. Расправа с «жидовствующими» произошла в два приема – в 93–94-м годах XV века (сразу после того как 7000-й год спокойно миновал) и в самом начале XVI. Стоит отметить, что главный гонитель еретиков, архиепископ Новгородский Геннадий, был последовательным западником, судя по всему, сторонником унии, и руководствовался не столько идеей чистоты православия, сколько пресловутым испанским (!) примером борьбы с иудаизмом. Буквально несколькими месяцами ранее иудаизм в Испании был запрещен, а евреи изгнаны из страны. Вдохновленный примером католического «шпанского короля», Геннадий затеял процесс против «жидовствующих», завершившийся, против его ожидания, от-

носителем мягкими приговорами – Иоанн III не хотел публично осуждать, тем более – казнить высокопоставленных церковных деятелей, приближенных жены и невестки и собственного ведущего дипломата. Через десятилетие, в 1503 году, за пару лет до смерти, Иоанн позволил возобновить этот процесс и осудить многих из этих людей на смерть.

Однако теология – это еще далеко не все, даже в религиозных делах. Международная прагматика начала воздействовать на нее сразу же после падения Константинополя, причем довольно неожиданным образом. Именно она и вывела русскую церковь из кризиса.

Папский двор, взявший под покровительство остатки византийской императорской семьи, озабоченный турецкими военными успехами, но в то же время, ободренный теологической победой над греческой церковью, уже в 60-е годы XV века активно заинтересовался Московской державой. Собственно, ничего нового тут нет – Западная Европа издавна мечтала о могучем восточном христианском союзнике. Когда-то им был мифический Пресвитер Иоанн; теперь его место занял Великий князь Московский Иоанн III, первый по-настоящему могущественный русский государь. Разумеется, пик его мощи еще впереди, на рубеже веков; пока что он еще данник Орды. Тем не менее уже в 1469 году, за 11 лет до «стояния на реке Угре», папа Павел II предложил Иоанну руку Софии Палеолог, племянницы последнего византийского императора, Константина Палеолога, погибшего на стенах Константинополя. Папа рассчитывал достичь этим браком двух целей: побудить Иоанна признать унию (это было совсем не столь невероятно, как представляется теперь, тем более что Софию воспитали «в правилах Флорентийского соединения»), а заодно и подтолкнуть его к войне с турками и борьбе за освобождение Константинополя. Интересно, что Иоанн, как и надеялся папа, пришел в восторг:

Сие важное Посольство весьма обрадовало Иоанна; но, следуя правилам своего обыкновенного хладнокровного благоразумия, он требовал совета от матери, Митрополита Филиппа, знатнейших Бояр: все думали согласно с ним, что сам Бог посылает ему столь знаменитую невесту, *отрасль Царственного древа, коего сень покоила некогда все Христианство* православное, неразделенное; что сей благословенный союз, напоминая Владимиров, сделает Москву как бы новою Византиею и даст Монархам нашим права Императоров Греческих.

Мало того, Иоанн отрядил ответное посольство в Рим, которое заверило папу (теперь уже нового) в том, что Москва готова как принять унию, так и начать борьбу за Константинополь.

В 1473 году Софья Палеолог прибыла в Москву с целым двором и вступила в брак с Иоанном, который, как мы видим, в это время заигрывал с унией. Тогда же итальянские дипломаты, вероятные создатели будущего римского бренда, сформулировали идею о том, что этот союз делает Москву *преемницей Константинополя*, и начали активно ее пропагандировать.

Так, в том же 1473 г. венецианский сенат обратился к Великому князю Московскому со следующим посланием:

«Восточная империя, захваченная Оттоманом, должна, за прекращением императорского рода в мужском колене, принадлежать вашей сиятельной власти в силу вашего благополучного брака».

Вопрос о «византийском наследстве» начал подниматься и при московском дворе. Первосвященник Зосима (кстати, один из «жидовствующих»), оставшийся неуличенным до самой смерти) в своем сочинении «Изложение пасхалии», поданном Московскому собору в 1492 г., сложил похвальное слово Иоанну III. Не упоминая о браке государя с византийской принцессой, Зосима подчеркивал верность Москвы православию, превращавшую Москву в новый Царьград. По его словам, Бог поставил Иоанна III «новым царем Константином новому граду Константину – Москве и всей Русской земле». Немудрено, что Иоанн вскоре принял и византийский герб – двуглавого орла, соединив его на своей печати с московским гербом: на одной стороне изображался орел, а на другой всадник, попирающий дракона.

Через несколько десятилетий оба вопроса – об унии и о наследственном праве на Константинополь – были однозначно, хотя и непоследовательно решены, разумеется, не так, как предполагали европейские светские и церковные иерархи. Уния была отвергнута, но Москва стала Новым Царьградом. При этом, невзирая на папские призывы, Россия в течение всего XVI века сохраняла дружеские отношения с Турцией и категорически отказывалась поддержать Европу в борьбе с ней. Объективно говоря, не так уж ясно, чем закончился бы теологический кризис середины XV века, если бы русские теологи были предоставлены самим себе в трудные времена после падения Константинополя. Там, где подвела теология, выручила политика.

Естественно спросить: какое все это имеет значение сегодня? Очень простое: упомянутые выше мифы все еще живы. Более того, налицо симптомы чересчур механического восприятия имперского теологического мифа; не исключено, что они смыкаются с другими симптомами русской национальной проблемы. Ведь, как мы помним, империя – это Вселенная. Таковой она полагалась в Древнем Риме, в Византии, в Китае. Россия, на первый взгляд, была разумнее и терпимее – но все же подавляющее большинство жителей внутренних губерний еще в XIX веке воспринимали границу примерно как оборотную сторону Луны. В России не было настоящей нетерпимости, ни религиозной, ни национальной; тем не менее богоданный император, в точном соответствии с классической моделью, повелевал миром и воевал с нечистой силой. Поэтому не столь уж удивительно, что в сегодняшней России миллионными тиражами пишутся и издаются серьезные книги, утверждающие, что все рассказы о древних цивилизациях суть антирусские выдумки, что мировой культуре лишь около тысячи лет и основа ей положена Византией и Русью, что еще пятьсот лет назад весь

земной шар принадлежал России как преемнице Византии, что в египетских пирамидах погребены русские князья – и в южно-американских тоже. Это, увы, нынешнее непосредственное употребление в дело имперского мифа, которому бы давно следовало обрести тысячу переносных смыслов. Едва ли человеку, всерьез воспринимающему российские проблемы, может послужить утешением то обстоятельство, что еврейская традиция по сей день всерьез рассказывает, что царь Соломон – как и Александр Невский неорусской мифологии – владел всем миром. Русские князья оказались в достойной еврейской компании – но кому от этого легче?

4

Мы начали с российской избранности и закончили живучим имперским мифом, мешающим адекватному восприятию внероссийского мира. Тот, кто нетверд в прошлом, кто по потребностям раз за разом перекраивает его наново, редко успешен в текущих делах. Русские в этом не одиноки. Ничего не стоит показать существование аналогичных еврейских конструкций – но, увы, это мало что нам даст. Скорее уж запутает: российские евреи, конечно, оттолкнулись от российских проблем, но очень скоро запутались в собственных, причем далеко не обязательно израильских. Поэтому, рассуждая о России, резонно задуматься не только о еврейском исходе из российских градов, но и о том, кто еще решает сегодня проблемы, сходные с российскими.

Какие именно – сходные?

Увы, ключевая проблема России очевидна: на протяжении столетий она методически, раз за разом, одинаково безуспешно преодолевает свою отсталость. Странное дело: всегда одним и тем же способом – приглашая иноземных специалистов. В просторечии, варягов.

Именно так она вышла в IX веке из якобы объективного организационного тупика – призвала Рюрика и его родню на княжение.

Именно так она решила в X веке свои религиозные проблемы – призвала чужих теологов и проповедников.

Что хуже – именно так она решала (и решала, и решала) свои военные, инженерные, духовные и технологические проблемы в XV–XVI веках при Иоанне III, Василии III, Иоанне IV и Борисе Годунове, в XVIII веке при Петре, что уже вовсе невероятно – в XIX и XX веках при многочисленных царях, секретарях и президентах – и так, увы, вплоть до сегодняшнего дня. Великие князья, потом цари, завозили иностранных артиллеристов и архитекторов, судостроителей и металлургов, генералов и переводчиков, физиков и балетмейстеров. Ныне дело зашло гораздо дальше – наряду со спецами ввозятся иноземные товары всех сортов и качеств, убивающие российскую промышленность, построенную не без помощи этих же самых импортных спецов.

Российская отсталость ликвидируется со вкусом, за бешеные деньги, самое меньшее, шестьсот лет подряд с небольшими перерывами. Меня тянет спросить: откуда эта отсталость все время берется – да еще в таких количествах? Помнится, мы, детьми, пели в школе «Дубинушку», не слишком задумываясь о смысле слов: «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик, коль работа не в мочь, он затащит родную *дубину*». Музыка прекрасная – но унижительно...

Белой завистью завидуя АИС, десятилетиями работавшему с архивами, переворошившему миллионы страниц всевозможных анналов, я, на некоторое время оставив все дела, читал и раздумывал о ключевых эпохах русской истории. Отовсюду выглядывали, ухмыляясь, странные взаимоотношения России с прогрессом. Чуть не каждый век включал чередующиеся полосы реакции и «славные дни Петра», заново берущегося ликвидировать отсталость России. Реформаторам, по-видимому, удавалось решить все проблемы, кроме одной – отсталости. Отсталости, самое позднее с XVIII века не имевшей рационального основания – кроме, разумеется, крепостного права.

Антоним отсталости – прогресс. На протяжении веков прогресс в России оказывался неорганичным, неестественным, его всякий раз нужно было энергично и едва ли не насильственно внедрять, насаждать, как картофель при Екатерине. Чего всякий раз не выходило – это естественных всходов. Между тем от прогресса можно добиться толку только после того, как он привьется, пустит корни – и пойдет виришь и ввысь.

На первый взгляд, Россия XV–XVI веков, только-только освободившаяся от ордынского ига, едва и лишь отчасти консолидировавшаяся территориально, остро и надолго нуждалась в иноземной интеллектуальной и технологической поддержке. Однако вспомним: многоплеменная, разноречивая Испания окончательно освободилась от мавров ровно тогда же (на 12 лет позже, чем Россия отбросила Орду) – но семисотлетняя война не помешала ей тут же выйти в великие во всех отношениях державы. А ведь Россия была не в пример больше и богаче Испании. Что бы ей за полстолетия стать великой европейской империей? Но она даже при помощи немецких пушкарей и созданных иноземцами войск «европейского строя» не сумела вернуть территории, отторгнутые в ордынские времена Литвой. Российская смута XVII века закончилась одновременно политическим усилением России, огромными территориальными приобретениями, созданием военной мощи, воцарением устойчивой – до самой большевистской революции – династии и пробитым окном в Европу. Но пресловутая отсталость никуда не делась – и, следовательно, без иностранцев, без чужого *ноу-хау* опять никуда. Не ликвидировали ее, проклятую, ни фантастический взлет русской культуры, породивший цепью, звено за звеном, потрясающие литературу, музыку, живопись, ни отмена крепостного права, ни экономический бум конца XIX – начала XX века. И это еще полбеды! Коммунистический режим, казалось, сделал все, чтобы навсегда от

сталости избавиться. Авансы были впечатляющие. Он покончил – или почти покончил – с национальным и сословным неравенством, ввел бесплатное, действительно всеобщее, вероятно, лучшее в мире образование, поднял до невероятных высот науку, создал – на народных костях – мощную промышленность. Русские первыми вышли в космос, вторыми сделали атомную и первыми – водородную бомбу, а отсталость все равно никуда не делась. Она нашла себе новые ремесла – неэффективность, надувательство, дефицит. На сей раз свалили вину на социализм, на отсутствие свободы, конкуренции, предпринимательства, личного богатства, проклятую общественную собственность, идеологическое управление экономикой – и все в этом роде. Перед глазами – в который раз – был американский, немецкий, затем японский пример.

А в наши дни – еще один эксперимент. Отмена коммунизма, введение всех на свете свобод, на сей раз, вероятно, впервые в российской истории, не сдержанных никакими гласными правилами, передача государственных активов в частную собственность обязаны были породить невиданное процветание, но принесли лишь очередную, худшую, чем раньше, отсталость.

Разумеется, потребовались и были даны объяснения, но на сей раз они вышли особенно жалкими. Россия не созрела до свободы? Всему свое время? Сравнение указывает на иную возможность – а не созрела ли?



Это рассуждение обретает наглядность в нескольких простых сравнениях. Невозможно представить себе более консервативную, практически сонную цивилизацию, чем китайская. Китай превратился за столетия дремы в мировой символ отсталости. Как и Россия, он очнулся от самодержавного сна лишь в начале XX века. Он пережил несколько болезненных потрясений – и, более или менее в параллель российской перестройке, бросился ликвидировать отсталость. Поразительное дело – китайская отсталость отступает, как цинга перед лимонным соком. Иными словами, западные рецепты действовали в Китае, да еще как!

Еще интереснее обстоит дело с Японией. Той самой Японией, которая воевала с Россией в начале XX века. Тогда она казалась карликом, с кулаками бросившимся на великана. Сегодня население Японии немногим меньше российского, валовый продукт – в несколько раз больше, технологический уровень несравним и, к тому же, древняя культура цела. Только территория осталась прежней, да полезные ископаемые так и не были найдены. Вспомним, чем была Япония 150 лет назад – едва ли не средневековым государством. С живописным средневековьем здесь начали бороться в 60-х годах XIX века; запретили носить самурайские меч и косу (косичку), провели железные дороги, создали современную армию, вооруженную огнестрельным оружием, – и Япония зашевелилась. Самое интересное, прогресс привился здесь не сразу. Как и в России, добрых полстолетия Япония

знала лишь видимость прогресса. Опьяненная новыми европейскими привычками, она ввязалась в целый ряд безумных войн, однако первое же настоящее поражение ее отрезвило. Несколько лет американской оккупации, инфузия западных привычек и маккартуровы реформы произвели на свет нынешнюю Японию – законодательницу мировых мод. Задумаемся: в самом деле, всего ничего, приехал в Токио американский генерал, составил за неделю (!) конституцию, отписал землю крестьянам, демократию – народу, запретил создавать армию, оставил императора на троне, приказав бросить старые заскоки, – и что? Генерала включили в пантеон святых, его конституцию тоже, налицо вторая экономика мира, да еще сохранившая культурную особость страна. Патент сработал!

Что еще? Верно, все молодые государственности поначалу заносит. Может быть, Россия до сих пор травмирована революцией и отказом от старого имперского порядка? Едва ли. Взглянем на западного соседа – Германию. Германская государственность, созданная Бисмарком, тоже не сразу обрела вменяемость – две мировые войны тому свидетельство. Но лет за 70–80 детская милитаристская болезнь прошла, Германия освоила стандарты европейского общежития, и вот результат – страна, которая во всех отношениях не хуже Японии.

Таких примеров, увы, слишком много. Припомню на закуску Бразилию, да-да, Бразилию, в которой миллионы людей еще недавно жили в картонных коробках, страну, поставлявшую миру футболистов, танцоров и фотографии карнавала. В последние десятилетия Бразилия стала одной из самых мощных экономик мира, ее ВВП сегодня больше российского и, главное, никакого кризиса на горизонте. Лет через 15 она станет великой державой.

Лишь в сравнении, в широком мировом контексте становится ясно, в чем состоит российская проблема. Она одна и та же уже много столетий. Что в XIV, что в XVI, что в XIX, что в XXI веке в России не срабатывают западные рецепты, западные модели прогресса. Почему?

Лет тридцать назад расхожее рассуждение гласило, что Россия – тогда СССР – делает великолепные самолеты, посылает на Луну луноходы, но не в состоянии произвести элементарный серийный магнитофон. Тогда во всем был виноват коммунизм. И вот, нет коммунизма, собственность на недра и заводы вроде частная, даже слишком частная, но не только на мировых рынках, но и на внутреннем, российском прилавке нет такой тривиальной вещи, как персональный компьютер собственного производства. Почему?

Или, иначе – отчего прикосновение Запада повсюду, на всех континентах, действует магически? Как поцелуй сказочного принца. Чмокнет – и зацветают деревья. Плоды вырастают не сразу – но вырастают. Большие и сочные. Всюду – только не в России.

Самое главное – в России, как в единоверной Греции, есть все. Я не о минералах – без них можно обойтись, как обходятся Греция и Япония, я о

людях и об умениях. В России есть наука, есть, не в пример временам Годунова, университеты, есть промышленность, есть культура, есть искусство, есть удивительная самобытность. Но все это вместе никак не сводится воедино, в здоровый социум, способный преодолеть непонятно откуда берущуюся, непрерывно возобновляющуюся отсталость. Не выходит синтеза, составляющие работают порознь. Почему? Подлинная причина обязана быть социальной. Раз вскрытая, она будет сочтена очевидной. А пока остается только надеяться: внедрят в России что-нибудь вроде марксизма, православия, экономического подряда, свободного рынка – и система заработает. Соблазн велик, но от лукавого.

Быть может, у России особый путь? Отчего бы и нет. Но ведь сказать такое – значит, ничего не сказать. Если европейские патенты пробуксовывают, а азиатские непременно сулят отсталость – быть может, пришло время искать диагноз, а не лекарство?

Повторюсь: в России регулярно, век за веком, не срабатывают социальные схемы, справедливо считающиеся прогрессивными, впервые освоенные Западом, а затем ставшие достоянием всех кому не лень. Почему? Или, лучше – кто виноват?

АИС ставит этот вопрос, в другой форме, разумеется: может быть, евреи знают, чем больна Россия, может, уходя, унесли с собой секрет. может, на них глядя, можно угадать? – но не отвечает на него. И правильно делает: осмысление этого вопроса требует медитации, обдумывания, анализа. АИС не скрывает ответ – он хочет прийти к нему вместе с читателем.

Несомненно, российский культурный, религиозный, национальный изоляционистский миф тут еще как релевантен. Релевантен – но не достаточен. Вспомним – у других, реагирующих на западные лекарства, мифов тоже хватает. Не сошлешься и на самоотречение, отказ от прогресса, климат, просторы, консерватизм. Особенно на консерватизм. Россия куда менее консервативна, чем пол-Европы и три четверти Америки. Так что во всем нашем рассуждении не хватает центрального звена. Неплохо бы его найти. Смертельно хочется предсказать российское будущее, хотя бы по принципу «да» или «нет»: преодолима ли вечная, неистребимая российская отсталость; есть ли у России иной выход из кризиса, чем очередная диктатура – и завистливый взгляд на Запад; сколько еще ей ждать?

5

Я не решаюсь подсказывать напрашивающийся ответ. К тому же, в нынешней ситуации он едва ли будет воспринят благожелательно. Я уже пытался отстоять его в других форумах – и понят не был. Стало быть, дело не столько в форуме, сколько в форме. Форма нынешней статьи не подходит. Придется выдумать новую. Вдобавок, она должна вызвать.

И тут самое время вернуться к разговору о любви. Хотя бы потому, что,

как известно, умом Россию не понять и следует взяться за дело более эмоциональным образом.

Евреи – не самый подходящий вид канареек, хотя в некоторых случаях наблюдение за ними может оказаться полезным.

Евреи знают два вида отношения к большому социуму, к чужому миру, в котором они живут: либо отстранение от него, отчуждение, холод, безразличное нежелание вступать в контакт, либо гиперактивность, бешеная любовь, религиозная уверенность, что только они владеют истиной, попытка подмять чужую реальность под себя. Россия – единственная, наверное, страна, где обе эти реакции имели место, да еще подряд, да еще на коротком отрезке времени, да еще недавно. Отношения евреев и России сходны с великой страстью; в таком случае, трудно требовать от сторон здравого анализа этих отношений.

С другой стороны, любовь – закономерная часть отношения людей к стране обитания, увы, далеко не всегда находящая выход и выражение. Поэтому-то национализм – это всегда о любви, состоявшейся или несостоявшейся.

Подозреваю, что евреи любили Германию. И Францию тоже. Испанию они обожали.

Ну, а Россию?

Боюсь, что они запутались в своих отношениях с Россией отчасти потому, что мало здесь прожили. Они появились в ней слишком поздно. Не стоит ссылаться на евреев, живших здесь до прихода татар, – они давно сами о себе забыли. История российских евреев не знает столетий врасстания. Зато у них был чересчур бурный XIX век, отмеченный памятными погромами, кантонистами, чертой оседлости и закончившийся в 1917-м безмерным еврейским процветанием, численным, культурным и иным. Это противоречие не сулило ничего хорошего. Наоборот, оно породило кровавый роман, быстро пришедший к разводу. Тем не менее не забудем: в России история поставила романтический эксперимент, о котором евреи прошлого и мечтать не могли – куда там испанскому Золотому веку. Режим имени Рабиновича (или там Маркса)... Это уже не для канареек.

Евреи, покинувшие Россию, не знают, чем она больна. Евреи, оставшиеся там, – тем более. Тому, кто пытается поставить диагноз эмпирически, сопоставлением разнородных судеб, я посоветовал бы понаблюдать не столько за евреями, сколько за столь же охотно покинувшими Российскую империю среднеазиатскими и прибалтийскими народами, украинцами, молдаванами. За их старыми и новыми судьбами. За их попытками применить все те же западные рецепты и патенты к собственным судьбам. За их вероятными успехами на этом поприще.



Я взялся за многотрудную задачу вступить за оба тома «еврейского» сочинения АИС по трем причинам.

Во-первых, я еврей.

Во-вторых, я не националист.

В-третьих, я никогда не думал, что люблю Россию.

В последнее время некоторые обстоятельства начали наводить меня на эту мысль. Я не стану подробно объяснять – почему. Вместо этого приведу пример. Цитату.

Российские летописи начала XVI века рассказывают следующую коротенькую историю – в контексте чрезвычайно неудачного похода войск Василия III, возглавляемых его братом Димитрием, против Казани. Вот как выглядит она у Карамзина:

В войске у Димитрия находилось несколько иноземцев с огнестрельным снарядом: только один из них привез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с ним к Государю, который, приняв других милостиво, сказал ему гневно: «Ты берег снаряд, а не берег себя: знай же, что люди искусные мне дороже пушек!» Василий не наказал Воевод из уважения к брату, Главному Полководцу, следственно и главному виновнику сего бедствия; но Димитрий с того времени уже не бывал никогда начальником рати.

«Искусные иноземцы» были русскому царю XVI века дороже пушек, которые он им вверил. Ну, не чудо ли?

Как мы видели, не только еврейский вопрос может вытекать из русского, но возможна и обратная постановка темы. О русском вопросе мне придется говорить далее и более, в другом формате, хотя и не вполне чуждаясь еврейских аналогий. Но нынешний разговор, затеянный несколько лет назад АИС, обязан оборваться на этом месте. Это не обидно – ибо Тема жива.



журналист, публицист, редактор, теле-продюсер, участник Ливанской кампании. Автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН СНИМАЕТ КОНЕЦ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Еврейскому государству пришел конец, и евреи возвращаются из Израиля в страны исхода. Маленький человек в котелке и больших ботинках, с усиками и тросточкой суетится вовсю. Он здесь не только персонаж Чарли Чаплина, но и сам Чарли Чаплин – режиссер и продюсер эпохального фильма. Настал его звездный час, и он старается успеть заснять восторги народа, лишенного желания строить свое совместное будущее и расстающегося с мечтой о независимом национальном доме. Даже в праздничный момент в еврейской толпе, как водится, нет единства. Каждый говорит в объектив о своем:

- Евреи! Давайте решать «еврейский вопрос»!
- Евреи! Давайте сначала решим вопрос, стоит ли решать «еврейский вопрос»!
- Евреи! Давайте решать мировые проблемы!
- Евреи! Давайте будем все говорить на иврите!
- Евреи! Давайте будем все говорить на идише!
- Евреи! Давайте обсудим, на каком языке нам говорить: на иврите или на идише?
- Евреи! Давайте будем говорить как можно больше!
- Евреи! Давайте спасти еврейскую систему образования!
- Гевалт, евреи! Почему мы не ходим в еврейский театр?
- Гевалт, евреи! Какой смысл в нашем еврействе?

- Еврей! Будь человеком!
- Еврей! Будь евреем!
- Еврейские люди и человеческие евреи! Будьте одновременно человеком и евреем!
- Еврей! Давайте выпускать еврейскую газету!
- Еврей! Не нужна нам еврейская газета!
- Гевалт, еврей! Он обозвал меня «галицианером»!
- Не верьте ему, еврей, он же «литвак»!

Последние две реплики отражают традиционную вражду между литовскими евреями (северная часть Великого княжества Литовского) и выходцами из Галиции. Сейчас она немного поутихла, но вместо них можно спокойно подставить современные оси вражды – ашкеназы и сефарды, религиозные («досы») и светские «отступники», правые «экстремисты» и левые «предатели», «русские» и «марокканцы»...

Так приходит конец еврейскому государству в сатирической антиутопии «Еврейское государство, или Вейцман Второй» – пьесе замечательного поэта, писателя, драматурга, продюсера, редактора и деятеля еврейской культуры Арна (Аарона) Цейтлина (1889–1973). Правда, под конец на берегу остается некий знаменитый персонаж вместе с группой молодых энтузиастов, решивших все-таки осуществить древние библейские пророчества и не готовых удовлетвориться не меньшим, чем возрожденное царство Давида...



Еврейское государство начиналось с утопии. Книги Теодора Герцля «Государство евреев» и «Новая-старая земля» – типичные утопические произведения. И, как водится, реальность не захотела подчиниться утопии. Не получилась вымечтанная Герцлем страна воспитанных, говорящих по-немецки евреев, где удастся удержать армию в казармах, раввинов в синагогах, а талантам новых репатриантов находится достойное применение. Получилась страна, как в том известном анекдоте, где старожил-кибуцник и новый репатриант из Германии (их в Израиле дразнили *йеке*) наблюдают за работой в кибуце.

– Вон тот, что роет яму, – говорит *йеке*, – он был в Германии известный ученый, профессор, заведовал кафедрой древних языков... Вот тот, другой, что подгребают навоз, – он был в Германии известным хирургом, возглавлял клинику в Берлине...

– Видишь, там собака лает? – отвечает фермер. – Она в Германии была доберманом.

Страна получилась настолько другая, что в ней даже название книги Герцля вопреки правилам немецкого языка переводят как «Еврейское государство», не считаясь с тем, что автор назвал свою книгу «Государство».

евреев»*, что совсем не то же самое. Хотя в школьном курсе литературы учат, что утопия и антиутопия – разные жанры, в жизни они почему-то зачастую совпадают. Так, мрачная утопия Амоса Кейнана «Бегство в Эйн-Харод» изображает будущий Израиль как страну, погруженную в затяжную гражданскую войну и разделенную на маленькие анклав. Религиозные воюют со светскими, белые с черными, Иерусалим с Тель-Авивом. Или вот недавно вынырнувшая из недр интернета утопия Александра Свищёва, в которой те же противоречия будущего Израиля решаются просто и сурово: все «нормальные люди» поехали в Иерусалим на демонстрацию против Верховного суда, а остальные на «демонстрацию левых сил» – в Тель-Авив, и иранцы сбросили на Тель-Авив атомную бомбу. «Так что теперь никакого противостояния правых и левых в Израиле нет, – удовлетворенно пишет автор. – И арабов тоже нет. Вековая мечта еврейского народа о трансфере арабов, наконец, осуществилась». Ирана, заметим, в этой утопии тоже больше нет, и еще многого другого, что сильно мешает автору. Впрочем, встречаются и другие утопии – например, об арабской победе и оккупации Израиля. Естественно, еврейская литература никак не могла обойтись без утопии о крахе еврейского государства, и она-то и родилась под пером Цейтлина в самом начале 30-х годов минувшего века.

В сионистской литературе циркулирует много обвинений в адрес Великобритании и других европейских держав, много рассуждений на тему о том, что создание еврейского государства в Палестине в 30-е годы могло бы предотвратить Холокост. Что бы произошло, если бы после Первой мировой войны всех евреев поселили в Палестине и дали им возможность создать свое государство? Цейтлин дает четкий ответ на этот вопрос. В его сатирической пьесе (она, конечно, написана на идише и называется «*Ди идише мелухе адер*

* Несколько слов о семантике, вероятно, непонятной современному русскоязычному читателю. Слово *государство* в названии книги Герцля на современный иврит принято переводить как *медина* – то есть, согласно словарному значению, «страна, государство, светская власть в противоположность власти религиозной». В идише, включающем древнееврейский язык в качестве языкового подмножества, это слово тоже имеется. Например, *Голдене мединоэ* – Золотая страна (так евреи называют Америку). Цейтлин использовал другое слово – *мелухэ*: буквально «царство», покрывающее огромное и зачастую парадоксальное семантическое поле. В современном идише это тоже государство: например, Советское государство – *Советише мелухэ*. Здесь пролетарские евсекции решились коренным образом перевернуть традиционное значение этого слова. Понятие «царство» в еврейской среде имело два противоположных значения – царство Давида, идеальное библейское общество, и – небесное царство, которое возродит на Земле мессия в конце времен. Всякое другое царство заведомо враждебно евреям, это источник беспокойства, гонений и преследований. В еврейском языке огромное число поговорок и афоризмов, выражающих это отрицательное значение *мелухэ*. Сионистские реконструкторы иврита были более чувствительны к традиционным подтекстам, когда предпочли нейтральное *медина* столь заряженному разными смыслами *мелухэ* (*махлут* в современном иврите). Не менее чуткий к языковым тонкостям Цейтлин (об этом говорит необычайно богатый символический язык его поэзии и драм) выбирает именно второе, отрицательное значение слова *мелухэ*, чтобы показать свое сатирическое «царство».

Вейцман дер цвейтэр») много поистине пророческих предсказаний, в итоге складывающихся во вполне достоверную картину будущего: приход Гитлера к власти, мировая война, тотальная депортация евреев как виновников мировых проблем, циничная измена руководителей возникшего таким образом еврейского государства провозглашенной ими мессианской мечте о возрождении древнего царства Давида в Иерусалиме, следствием чего и является распад еврейского государства. Для Цейтлина и его современников такая фантазия была больше, чем просто театральная игра или импровизацией на актуальную тему. Израильский исследователь творчества Цейтлина Ихизль Шейнтох считает «Вейцмана Второго» важным историческим документом, помогающим понять глубинные процессы в истории современной еврейской культуры. Персонажами комедии выступают целый ряд исторических деятелей – Владимир Жаботинский; лидер американского еврейства рабби Стивен Вейзе; Альберт Эйнштейн; отец израильской журналистики Наум Соколов; основатель нью-йоркского «Форвертса» Ав (Авраам) Каган; писатели Шолом Аш, Шварцбард и многие другие. Не удивительно, что в этот список «выдающихся евреев» не попали лидеры еврейской колонии в Палестине во главе с Давидом Бен-Гурионом – те, кого современная израильская история считает отцами сионизма и нации. Их тогда никто не рассматривал всерьез, а Хаим Вейцман в письмах жене издевательски называл палестинских еврейских лидеров шайкой жадных политиканов, а то и похуже.

Известно, что беспощадная и даже парадоксальная пародия или точная карикатура порой передают реальность достоверней, чем скучные учебники истории и энциклопедии. Там, как известно, никогда не напишут самого интересного. «Вейцман Второй» правдиво анализирует менталитет поколения, которому через какие-нибудь 14 лет после выхода пьесы предстояло создать государство евреев. Несмотря на провозглашенные им великие цели, сионизм во многом не сумел избавиться от уродливого груза местечковой жизни. В значительной степени именно этот груз породил те уродства еврейской политической и общественной жизни, которые впоследствии наложили свою печать на современную израильскую жизнь. Не случайно некоторые сцены пьесы выглядят как сатирическое шоу из жизни современного Израиля. Но вместе с тем Цейтлин сумел дать и удивительно точный прогноз будущих израильских проблем. Вся его пьеса – это анатомия поэтапного краха идеи «нормального» государства евреев – «государства, как все». И в то же время это анатомия почти неприметной в начале 30-х годов и столь очевидной сегодня религиозно-мистической альтернативы этой «нормальности» – мессианской мечты о возрождении еврейского царства в формате «великого и неделимого Израиля». Когда все это, к тому же, играют в манере «Мистерии-буфф» или «Земли дыбом» театра Мейерхольда, а сама пьеса написана как сценарий кинофильма, который снимает не кто иной, как Чарли Чаплин, становится ясно, что новаторская сатира Цейтлина – это важное и незаслуженно забытое культурное явление, достойное занять место в ряду лучших художественных экспериментов XX века.



Вот на рынок катит бричка,
Грустный в ней телок лежит.
А высоко в небе птичка,
Вьется ласточка, кружит.

Привет:

Как смеется ветер,
Гонит тучи прочь,
Он смеется день и вечер,
И еще всю ночь.
Дона-дона, дона-дона...

Песня «Дона-дона» в замечательном переводе с идиша Анатолия Пинского, художественного руководителя московского ансамбля «Дона-дона», – это, вероятно, единственное, что читатель может найти по-русски из всего богатого творчества Арна Цейтлина. Еще, пожалуй, перевод «Дона-дона», сделанный с иврита израильским автором Зезвом Гейзелем.

Арну Цейтлину не повезло с русскими переводчиками. Ведь еврейскую литературу для нас переводили строго по социальному заказу. Творчество Цейтлина поразительно многообразно – лирические стихи, поэмы, исторические драмы, комедии, мистерии, биографическая проза, теоретические статьи. Цейтлин ставил пьесы, создавал и редактировал идишистские художественные журналы. Наследие Цейтлина – удивительный пример многоязычия (он писал на иврите и идише, перевел на иврит идишские поэмы израильского национального поэта Хаима Нахмана Бялика, знал русский, английский, польский, немецкий), а еще больше – пример «разноязычия», полифонии в том смысле, которое придавал этому термину Михаил Бахтин.

В начале 20-х годов Цейтлин прославился героико-историческими драмами: «Яков Франк» (1926) – об известном еврейском мистике, который конфликтовал с раввинским истеблишментом и, в конце концов, принял христианство; «Бреннер» (1927) – о трагической судьбе Хаима Бреннера, замечательного еврейского поэта, мистика, много размышлявшего о синтезе сионизма и русской революции, иудаизма и христианства, погибшего во время беспорядков в Палестине в 1921 году. В 1929-31 годах Цейтлин создал историческую драму «Эстеркэ и король Казимир Великий: еврейско-польская мистерия» – о судьбе еврейской девушки, которая стала возлюбленной польского короля. В межвоенной Польше евреи занимались составлением списков своих соплеменников – героев польских войн и изучением роли евреев в польской истории. Эстеркэ, как и легендарный польский король-еврей Авраам Вол, была тогда любимым героем польских евреев, равно как и многие потомки принявших католицизм последователей Якова Франка, которые со временем породнились с польской знатью и играли заметную роль в польской истории. Драма «Эстеркэ» оказалась последней в ряду «героической» драматургии Цейтлина.

В наших палестинах бытует самодовольная уверенность, будто иди-

шистская литература была отсталой, бесконечно сентиментальной, рассчитанной на удовлетворение вкусов местечковой публики. На самом деле еврейская культура на идише чрезвычайно многообразна и способна удовлетворить любые вкусы. Она стала одним из важных формирующих элементов американской культуры, да и современная израильская культура во многом обязана ей своим существованием. Сама ивритская культура Израиля в течение жизни первых трех поколений в большой мере создавалась людьми, воспитанными в культуре идиша, а зачастую и думающими на идише или по-русски. Лишь в последние десятилетия в Израиле утвердилось поколение, рожденное в ивритской среде и не знающее идиша. (Впрочем, как ни странно, именно сейчас в этой среде вдруг возродился интерес к идишистской культуре и самому языку идиш.) Разумеется, в идишистской литературе было достаточно сентиментального мелодраматического «шмальца» (например, классическая мелодрама «Мирэле Эфрос» отца еврейского театра Аврома Гольфадена) и этнографической драматургии, вроде «Дибук» Ш. Анского. Но в целом еврейский театр 20–30-х годов был в первых рядах художественного авангарда XX века. Еврейские театральные деятели считали себя частью мирового культурного процесса. Универсальные и интернациональные тенденции, ощущение себя частью мировой культуры преобладали в этой среде над национальным изоляционизмом. Не случайно Цейтлин и будущий нобелевский лауреат по литературе Ицик Зингер (которого тогда еще не звали Башевисом) учредили в Польше художественный журнал, гордо названный «Глобус».

Цейтлина всегда привлекало новое, авангардное: творческие искания пролетарского еврейского театра в СССР, новые жанры социальных утопий и антиутопий в западной литературе, современные веяния европейской мысли – символизм, немецкий экспрессионизм, немецкий театр-кабаре, достигший в период между мировыми войнами творческих вершин. Современный русский читатель знаком с искусством этого театра благодаря творчеству Бертольда Брехта и Курта Вайля, да еще, пожалуй, фильму «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Миннелли в главной роли (1972). Не случайно в музыке «Донадона» американско-еврейского джазового композитора Сола (Шалома) Секунды, написанной на слова Цейтлина, тоже ощущается влияние Курта Вайля и Ганса Эйслера. Между тем в Польше, где жил Цейтлин, существовал свой замечательный и самобытный театр-кабаре с богатыми традициями.

Начало 30-х годов стало переломным моментом в творчестве Цейтлина. Он оставляет героическую тематику. «Глобус», в который было вложено столько сил и средств, пришлось закрыть. Символично, что сатирическая комедия «Вейцман Второй» вышла в одном из последних выпусков «Глобуса» в 1934 году. Цейтлин много размышлял тогда о модернистском, синтетическом искусстве, о слиянии еврейского театра с новым медиумом – кино. Об этом он не раз писал в журнале «Унзер экспресс». Интерес к кино остался у Цейтлина на всю жизнь. Позже он много лет вел колонку кинокритики в «Театральной газете» («*Teatr cajtuneg*»), выходившей под его редакцией в Америке. Цейтлин вырабатывает тогда принципы «идео-плас-

тического театра», которые вскоре реализовал в сатирической антиутопии «Вейцман Второй». Он размышляет о синтезе искусств, о роли кино в «пропаганде еврейской культуры». В то время Цейтлин испытал влияние новейших модернистских и революционных веяний, в частности «условного театра», театра «социальной маски» Всеволода Мейерхольда. Он и сам много писал об «игре масок в обществе». «Вейцмана Второго» он посвятил писателю и редактору Аврааму Кагану и в посвящении писал: «Многоуважаемому Ав. Кагану автор посылает свою игру масок (*маскен-шипль* – идиш), общественную клоунату, так похожую на правду».

Идея синтеза искусств привела Цейтлина к созданию новаторского приема, на котором построена его пьеса: ее персонаж, режиссер Чарли Чаплин, играет самого себя – режиссера, снимающего фильм о создании и крахе еврейского государства. Созданный гением Чаплина маленький человек был любимым персонажем театра, цирка и эстрады до самого последнего времени – до тех пор, пока крупные корпорации шоу-бизнеса, аудио- и видеозаписи не переписали законы интеллектуальной собственности в свою пользу. Для еврейской аудитории персонаж Чарли Чаплина стал законным наследником череды неунывающих еврейских неудачников-*шломизлей* и *шлимазлов*, пришедших в еврейскую литературу из фольклора. Культуролог Сэнфорд Пинскер вообще считает *шломизля* метафорой всей еврейской литературы, а «маленький человек» Чарли Чаплина в его списке занимает самое почетное место. Не удивительно, что в советском фильме тех времен «Еврейское счастье» сыгранный Соломоном Михоэлсом шолом-алеихемовский Менахем-Мендл поразительно напоминает Чарли Чаплина. Еврейская публика сразу приняла персонаж Чарли Чаплина за своего, хотя еврейство великого артиста было весьма сомнительным, а участие в еврейских делах и вообще нулевое. Чаплин всегда любил подчеркивать свои цыганские корни и даже вместе с киноактером Юлом Бриннером подписал петицию в ООН с требованием признать права ромского народа.



Пьеса «Еврейское государство, или Вейцман Второй» начинается с того, что евреев поголовно депортируют в Палестину, где они создают свое государство. И тут же начинаются, все нарастая, неизбежные интриги и взаимная вражда, и, в конце концов, наступает крах государства, вслед за которым – организованное возвращение евреев назад, в диаспору.

В «Вейцмане Втором» выведены не только политические деятели, но и простой народ, ходячие «маски» еврейской народной комедии: торговец сельтерской водой Хаим-Янкель (имя в идише практически нарицательное, означающее простака, а то и местечкового дурачка), владелец комиссионки Йерухимзон, американский еврей из Палм-Бич Ирвинг Кнейдельман. Среди репатриантов сразу же возникают два лагеря. Во главе мечтающих вернуться в диаспору стоит малосимпатичный Вейцман Второй (родственник

сионистского лидера Хаима Вейцмана), единственный еврей, которому разрешили остаться на Западе. Он неустанно добивается для евреев «права на возвращение» – на сей раз в Европу.

Другой лагерь новых репатриантов составляют идеалисты, приехавшие навеки поселиться в земле предков, заняться земледельческим трудом, осуществить утопию Герцля и Гордона, а самое главное – «забыть изгнание», «выдавить из себя галут». Во главе этой группы, стремящейся буквально осуществить библейские пророчества, встает не кто иной, как Вечный Жид, а ее члены носят сионистские имена, которые давали «новому ивритскому человеку» – например, Шолом Бен-Хорин (буквально – Мир, сын свободных).

Описанные Цейтлиным жалкая действительность и фарсовые церемонии в еврейском государстве – не совсем плод его творческой фантазии. В 1921 году Цейтлин вместе со старшим братом Эльхананом репатриировался в Палестину. Он прожил там девять месяцев. В Яффо Цейтлин познакомился с поэтом Йосефом-Хаимом Бреннером. До самой трагической гибели Бреннера они обменивались письмами. В стихотворении памяти Бреннера (1933 г.) Цейтлин пишет про Страну Израиля «Там место, там!», вспоминая последнее письмо из Яффо, где Бреннер писал про Страну Израиля «Здесь [наше] место». Цейтлин навсегда сохранил глубокую сентиментальную связь со Страной Израиля. Зато реальная еврейская политическая жизнь в тогдашней Палестине показалась ему мелочной, недостойной и жалкой.



Вернемся к пьесе. Она напоминает творческие концепции советского режиссера-документалиста Дзиги Вертова («правда – юла»). Действие в ней стремительно перемещается с места на место, массовые сцены сменяются диалогами, песнями и интерлюдиями. Пьеса начинается прологом: после прихода Гитлера к власти разражается мировая война. Все правительства обвиняют евреев во всех проблемах и решают депортировать их в Палестину; евреям разрешается создать свое государство; Гитлер заявляет о необходимости изгнания из Европы всех евреев; только Вейцману Второму разрешают остаться в Лондоне.

Затем вслед за камерой Чарли Чаплина мы оказываемся на океанском лайнере, где собраны все еврейские деятели и знаменитости. Они заняты произнесением речей. Сцена эта интересна очень точной передачей позиций разнообразных еврейских партий. Карикатура здесь часто исторически достоверней длинных манифестов и деклараций.

Третья картина переносит нас в Тель-Авив, где евреи устраивают карнавал в честь создания государства и избрания первого президента – Альберта Эйнштейна. Интересно, что через 20 лет после написания пьесы руководители Израиля, действительно, предлагали реальному Альберту Эйнштейну пост президента государства, но великий ученый вежливо отклонил заманчивое предложение. Пока народ веселится на улицах, намечают-

ся разногласия между теми, кто ищет в Израиле временного убежища и хочет «государства, как все государства», и теми, кто требует немедленного возрождения царства дома Давидова. Празднования, как и политическая борьба, никогда не затихают в еврейской среде. Даже в гетто и нацистских концлагерях и того и другого было достаточно.

В следующей сцене мы попадаем в столицу еврейского государства Иерусалим. Пока Тель-Авив празднует, в столице зреет заговор против президента. Честолюбивые политики интригуют и борются за престиж, а прочим уже невтерпёж нищенская жизнь. Народ хочет назад, в диаспору, к «мясным горшкам». Во главе движения «возвращенцев» становится жена президента, голливудская актриса Александра. (Цейтлин и здесь недалеко ушел от реальности – жены еврейских лидеров и вправду отличались бурной политической активностью: например, жена Бен-Гуриона Поля яростно, чуть ли не с кулаками бросалась в коридорах кнессета на политических противников мужа, посмеявшись критиковать ее супруга, и не раз требовала прервать заседания правительства, потому что ее Бен-Гуриону пора обедать и принять лекарство; жены Ицхака Рабина и Биньямина Нетаниягу тоже не стеснялись вмешиваться в дела государственного управления, а Ариэль Шарон открыл своему сыну двери в парламент и государственные дела. Учитывая быстрый рост американизации, переживаемой израильским обществом, можно думать, что вскоре в Израиль придет и царящий в Америке политический nepoтизм, и мы еще увидим, как жены наследуют, а то и отбирают у мужей высший политический пост.)

Следующая сцена открывается яростными спорами всех со всеми. Евреи хотят обратно, в Европу. Во время массовых беспорядков Александра захватывает здание кнессета в Иерусалиме. Мятежники арестовывают президента Эйхштейна и молодых поселенцев во главе с Шоломом Бен-Хорином. Победители в едином порыве поют сионистский гимн «Надежда» («Атиква»), позже ставший гимном Государства Израиль, меняя его слова в духе новой политической перспективы – возвращения из Сиона.

Пока в наших сердцах
Дышит еврейская душа...

Еще не потеряна наша надежда
Надежда, которой две тысячи лет,
В страны изгнания наши любимые
Вернутся всем нам навсегда...

(Вместо: «Быть свободным народом на своей земле, / На земле Сиона и Иерусалима», – как в каноническом тексте гимна Нафтали Герца Инбера.)



Сцены опять стремительно сменяют одна другую. На празднестве в честь новой правительницы власти заставляют униженного заключенного

Эйнштейна петь серенаду, написанную дворцовым графоманом. Чарли Чаплин интервьюирует бывшего президента. Затем новая сцена: построенный Александрой Дворец мечты – как временный храм, пока не станет возможным вернуться в диаспору и построить настоящий. (Кажущаяся простота пьесы скрывает сложную символику, поскольку «дом мечты» – это еще и «фабрика грез», обычный синоним Голливуда, утверждавшийся в массовой культуре начала 30-х годов.)

Весь этот сюжет о стремлении евреев вернуться в галут поражает прозорливой точностью. Известно, какая огромная доля репатриантов знаменитой «пионерской» второй алии бежала из Израиля. Да и сегодня в Германию (до самого последнего времени) ежегодно эмигрировало больше российских евреев, чем в Израиль, в посольствах Польши и Словакии, ставших в Холокост огромным еврейским кладбищем, стоят огромные очереди израильтян, мечтающих о восстановлении гражданства, утраченного их дедами, а в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке десятки тысяч недавних российских евреев со слезами на глазах распевают «Атикву» и пылко заверяют, что «в следующем году» они будут в Иерусалиме.

Эти грезы и мечты маленьких людей, еще в библейские времена мечтавших о «мясных горшках» былой диаспоры, сталкиваются в пьесе Цейтлина с мессианскими идеями Вечного Жида, попавшего на корабль вместе с остальными евреями. Этот вечный скиталец твердо решил поселиться в Земле Израиля и бороться за создание царства Давида и теперь призывает евреев забыть диаспору. Как и во времена библейского исхода из Египта, общество репатриантов в пьесе разделено на «помнящих изгнание» евреев-космополитов и мистиков, решивших навечно поселиться в земле предков. Вечный Жид зовет их на идише *фрумэ фаргесер* (буквально «пылких забывших»), хотя слово *фрумэ* в идише имеет значение «горячо верующие, богобоязненные, исполняющие религиозные заветы». Цейтлин предвидит, что революционный пыл светских сионистов, как правых, так и левых, не переживет поколения отцов-основателей, а идеи восстановления еврейского государства неизбежно переплетутся с новым религиозным мистицизмом.

Как мы знаем, это предвидение оправдалось. После образования реального Государства Израиль далекий от веры и не исполнявший никаких религиозных предписаний первый израильский премьер-министр Бен-Гурион встретился с лидером ультрарелигиозных жителей Иерусалима по имени Хазон Иш. Они пытались договориться о статусе резко враждебных сионизму религиозных евреев в новом государстве. Два деятеля не понравились друг другу. Рассказывают, что, констатировав категорическое несовпадение позиций, Бен-Гурион спросил: «Как же быть?» Раввин Иш ответил, что когда на узком мосту встречаются две телеги, то порожняя уступает путь нагруженной. Под нагруженной телегой он имел в виду иудаизм.

Во времена Цейтлина некоторые евреи искали свои корни в древнем Ханаане (движение так называемых «кнаанитов»), призывали вернуться к доиудейским божествам и ханаанским ритуалам. Другие – в особенности поли-

тики – связывали свои надежды с новым – фашистским и нацистским – язычеством, набравшим силу в Европе. Ревизионисты Зеэва Жаботинского и члены организации ЛЕХИ, группировавшиеся вокруг лидера антибританского подполья Яира (Авраама Штерна), в 20–30-е годы связывали свои чаяния с ростом мистического национализма в Европе. Не случайно программная работа Штерна «Третье иудейское царство» изобилует буквальными заимствованиями из писаний о тысячелетнем Третьем рейхе немецкого народа. Видный тогдашний журналист Абба Ахимеир вел в тель-авивской газете «Доар ха-йом» колонку под названием «Дневник фашиста» (его немногочисленные сторонники из организации «Брит Бирийоним» маршировали в то время в одинаковых рубашках по улицам, выбрасывая руку в знакомом характерном жесте). Впрочем, и сионисты-социалисты, руководившие в то время еврейской общиной в Палестине, тоже не гнушались контактов с европейскими фашистами – Хаим Вейцман, например, встретился с Муссолини и пришел от него в восторг. (Разумеется, с началом Второй мировой войны сионизм с отращиванием отбросил все иллюзии, связанные с фашизмом, хотя наследники застреленного британскими полицейскими Штерна какое-то время еще предлагали нацистам поддержку в обмен на помощь в создании еврейского государства.) Но вот что интересно: далекий от всяких религиозных исканий, Цейтлин сумел гениально предвосхитить совершенно иную, но оказавшуюся, на самом деле, главной тенденцию государства евреев – тенденцию, возможность которой даже не приходила в голову тогдашним политическим мыслителям. С поистине гениальной прозорливостью Цейтлин показал в своей пьесе рождение религиозной мессианской идеологии, связанной не с иудаизмом его времени, находившимся в глубоком кризисе и враждебным к любым переменам, а с появлением религиозно-национального политического фундаментализма, прямо опирающегося на библейские тексты.

Но вернемся опять к пьесе. События в ней стремительно развиваются. В Европе закончилась война. Начались голод и разруха. Там снова нужны евреи – ведь кого-то нужно обвинять в нынешних несчастьях и проблемах. Действие перемещается в Лондон. Изменившаяся конъюнктура дает возможность Вейцману Второму договориться о возвращении евреев в диаспору, что позволяет ему заодно решить и собственные проблемы – ведь ему, единственному еврею в Европе, скучно в мире, где больше нет евреев. В Женеве собираются представители всех правительств. Они публикуют новую «Декларацию Бальфура». В отличие от реальной Декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года, провозглашавшей право еврейского народа на создание национального дома в Палестине, новый документ гарантирует национальные права евреев в европейских государствах и дарует им право **не иметь** своего национального дома.

Следующая картина – та, с которой мы начали рассказ. Праздничная толпа в порту Хайфы готовится подняться на корабли, везущие их назад, в диаспору, в оставленные дома. На трибуне Вейцман Второй с торжественной «сионистской наоборот» речью. Чарли Чаплин снимает заключительную сцену фильма.



Хватит хныкать, – крикнул возчик. –
На кого тебе пенять?
Сам родился ты теленком,
Сам не хочешь, друг, летать.

Привет:

...Дона-дона, дона-дона,
Дона-дона...

Чарли Чаплин уплывает на корабле вместе с «возвращенцами» из Сиона. Вместе с ним со сцены уходит традиционный *шоломит* – постоянный персонаж еврейской жизни, фольклора и литературы. А с ним исчезает и душа еврейского народа – юмор. Остается мистический гротеск. Арестованного за антиправительственные выступления Вечного Жида приводят в пещеру, где уже сидят заключенные поселенцы. Вечный Жид открывает им тайну. Он рассказывает молодым идеалистам легенду о крестьянском царе Шоломе, который принесет освобождение и восстановит царство Давида*. Оказывается, что совсем неподалеку в пещере уже две тысячи лет спит заколдованная Шоломит (Суламифь из «Песни песней»). Простому человеку, сыну Израиля с именем Шолом, суждено разбудить Дщерь Иерусалимскую и жениться на ней. В результате этого брака восстанет из небытия царство Давида. Молодые поселенцы во главе с Шоломом Бен-Хорином воспряли духом. Их мечта, оказывается, не столь уж далека от осуществления. Вечный Жид ведет их в соседнюю пещеру, где сон прекрасной Шоломит охраняют десять каббалистов. Поселенцы во главе с Вечным Жидом и Шоломом Бен-Хорином начинают обряд возрождения еврейского царства дома Давидова. Они будят Шоломит, произнося стихи из «Песни песней»: «Вернись, вернись, Суламифь! Вернись, вернись, – насмотришься нам на тебя» (Песнь песней 7:1, в русской традиции 6:13). Суламифь пробуждается. Все, что случилось с еврейским народом в течение двух тысяч лет истории, стирается из памяти поселенцев. Раны изгнания изглаживаются в их сердцах. Поселенцы гордо шагают, выходя за пределы истории. Их ждут великие дела. Впереди – свадьба Шолома и Шоломит.

* Выбрав Вечного Жида на роль провозвестника мессии или самого мессии, Цейтлин сознательно привносит в свою пьесу нееврейские мотивы. Легенда о Вечном Жиде – Агасфере – вовсе не еврейская, а христианская. Легенда гласит, что иерусалимский ремесленник оттолкнул Христа – на крестном пути, – остановившегося отдохнуть возле его дома. Каноническая версия легенды состоит из двух фраз – Агасфера: «Иди, чего ты медлишь?» и Христа: «Я пойду, но и ты пойдешь, и будешь ждать Меня!» Несомненно, эта легенда была Цейтлину хорошо известна, хотя бы судя по глубоким иудейско-христианским аллюзиям его пьесы «Яков Франк». Несомненно, что Цейтлин знал и о связи легенды о Вечном Жиде с циклом легенд и пророчеств об Антихристе, который грянет в конце времен, восстановит еврейское государство и Храм в Иерусалиме, предвещая Второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому образ Вечного Жида – провозвестника мессии оказывается в пьесе глубоко парадоксальным и даже насмешливым.

Хайфский исследователь идишистской культуры Ихиэль Шейнтох полагает, что в этой заключительной части «Вейцман Второй» из сатирической комедии превращается в героическую мистерию, и поселенцы во главе с Вечным Жидом – отнюдь не объект насмешки, а, напротив, герои, воплощающие идеал автора. Однако кажется невероятным, чтобы Цейтлин, этот энтузиаст идишистской культуры и истории, космополит, опубликовавший вместе с Зингером декларацию «О космическом искусстве», видел выход в отказе евреев от истории и культуры и возвращении к библейским мифам. Все его творчество – антитеза бытующей в определенных кругах идее о некоем «еврейском мире», расположенном вне времени, вне истории, а зачастую и вне географии. Еще трудней поверить, что коренной «литвак» Цейтлин (он родился в местечке Обручи в Белоруссии), выходец из совершенно чуждого мистике мира литовских йешив, сын видного деятеля рационалистического движения еврейского просвещения (Хаскалы) писателя Гилеля Цейтлина, мог соблазниться мистическими заклинаниями и увидеть воплощение идеала в каббалистических ритуалах. В его окружении каббала считалась признаком отсталости, пережитком народных суеверий, а то и язычества, и дикости. Было еще далеко до нынешних времен, когда певица Мадонна увлекается модной еврейской мистикой, супруга израильского министра иностранных дел навязчиво раздает налево и направо каббалистические амулеты, а благословения и проклятия раввинов-каббалистов играют огромную роль в израильской политике. Куда вероятней, что в «Вейцмане Втором» перед нами не только едкая пародия на современных автору сионистов, но и гениальное сатирическое предвидение мессианских течений и ересей, захлестывающих нынешнее еврейство.



Пока к Стене плача обращаем наши глаза,
От разорения Храма нас пробирает слеза,
Еще не потеряна наша надежда...

Этими строчками из стихотворения «Надежда» («Атиква»), не вошедшими в текст израильского гимна, начал свое выступление раввин Исраэль

Вечный Жид напутствует возвращенцев фразой: «Я иду к евреям, которые остаются». Даже если здесь Вечный Жид – ответ Цейтлина христианской легенде, вряд ли такая концовка была пределом мечтаний писателя, удивительным образом сочетавшего глубоко еврейское и интернациональное сознание, не разделявшего мир на Рим и Иерусалим. Да и ссылка на отказ от исторической памяти и выход за пределы истории скорей говорят о загробном характере царства дома Давидова, в которое бодро шагают поселенцы во главе с Вечным Жидом. Образ Вечного Жиды Цейтлин использовал уже в своих ранних стихах 1916 года, а затем не раз возвращался к нему. В «Вейцмане Втором» Вечный Жид появляется в творчестве Цейтлина в последний раз. По-видимому, писатель исчерпал для себя возможности персонажа. Неизвестный в еврейской культуре сюжет Спящей красавицы еще больше подчеркивает пародийный характер «игры масок, так похожей на правду».

Ариэль на мероприятии под названием «Храмовая трапеза» в Иерусалиме в январе 2005 года. «Кто поет это сейчас?» – риторически вопрошал раввин, идеолог мессианских движений крайнего толка. Раввин Ариэль живет под наблюдением службы безопасности ШАБАК, где его прозвали «революционер на пенсии». «Государство Израиль может существовать лишь при единственном условии, – продолжал Ариэль, – как государство, в центре которого Третий храм. Иначе – это просто страна, как все другие страны». Раввина считали духовным отцом «еврейского подполья» 80-х годов, благословившего убийство арабских мэров, минирование автобусов и другие террористические акты и, самое главное – попытку взрыва мечети на Храмовой горе. По его мнению, высказанному в том же выступлении, у проблем Израиля единственная причина – «это наш грех», то, что «мы забросили Храмовую гору и место святилища».

Слушая рава Ариэля, трудно было отделаться от впечатления, что присутствуешь на продолжении пьесы Цейтлина, хотя действие происходило не в тайной пещере, а в Биньяней ха-Ума – Центральном Дворце съездов Государства Израиль. Конференция, на которой выступал Ариэль, была посвящена роли восстановления Третьего храма в деле возрождения еврейского государства. Студенты йешивы, готовящей храмовых жрецов к моменту прихода мессии, демонстрировали изготовленные ими храмовые облачения. В коридорах торговали хлебцами и облатками, выпеченными в точности так, «как это делали в Храме», продавали модели Третьего храма... В зале отдавали почести американской миллионерше Су Бейн Дейвис, финансирующей деятельность сторонников рава Ариэля, именующих себя «революционерами [Храмовой] горы и Храма». Политики, раввины, бывшие, а возможно и нынешние, подпольщики и даже один профессор и один депутат парламента горячо спорили о всемирно-историческом значении восстановления Храма. По мнению участников конференции, только отстроенный заново Храм Соломона будет знаменовать создание подлинного еврейского государства в границах божественного обетования, а не тот «полумирок», который создали светские сионисты-социалисты. Мой знакомый – активист этого движения, студент иерусалимской йешивы, основанной раввином Куком, подытожил свою политическую программу так: «Поставить царя, отстроить Храм и убить Амалека». На мой вопрос, кого он считает Амалеком, этим извечным врагом еврейского народа, он ответил без колебаний: «И тебя тоже». Вот насчет кандидатуры царя у него были большие сомнения.

Незадолго до того в маленьком иерусалимском ресторанчике собралась группа молодых людей в черных штанах и рубашках свекольного цвета под водительством зятя старого раввина из Перми. Под лозунгом «Это наша земля от Хуанхэ до Рио-Гранде» они всю занимались «возрождением народных обычаев» – колдовали, выплескивали из стаканов вино в сторону Восточного Иерусалима в надежде вызвать массовое бегство арабов, жгли клочки каких-то бумаг, чтоб навести порчу на еретических израильских деятелей и всех врагов еврейского народа.

До гротеска, который нарисовал Цейтлин, не хватало лишь спящей в гробу Суламифи – Дщери Иерусалима. Да еще среди этих парней не было никого, годящегося ей в женихи. В их внешнем виде начисто отсутствовали признаки сексуальности, играющей огромную роль во всей практической магии каббалы.

Я спросил тогда знакомого религиозного журналиста, как он относится к возрождению Третьего храма.

– Понимаешь, все бы здорово, но массовое убийство животных, практиковавшееся тогда, противоречит современным нормам, да и еврейскому канону – Галахе – тоже. Я бы не хотел, чтоб такая кровавая бойня каждый день происходила в Иерусалиме на глазах всего мира.



И за что телят зарежут,
Им никто не объяснит.
А кому мила свобода,
Тот как ласточка взлетит.

Прпев:

...Дона-дона, дона-дона,
Дона...

Если бы еврейское государство возникло в 1936–1937 годах, спасло бы это евреев от Холокоста? Известно, что история не имеет сослагательного наклонения, и ставить вопрос «что было бы, если...» некорректно в научной дискуссии. Зато в политическом, общественном и особенно в художественном диспуте на такой вопрос можно бы ответить. Американский историк Питер Новак в замечательной книжке «Холокост в американской жизни» считает, что маленькое нищее еврейское государство не смогло бы принять значительное число евреев или, тем более, изменить ход Второй мировой войны. А в 30-е годы в Палестине могло возникнуть лишь крохотное национальное образование. Что там говорить о Западном берегу Иордана – сионистские вожди не смели помышлять даже о Негеве. По свидетельствам очевидцев, в 1948 году советскому представителю в ООН Андрею Громыко чуть ли не угрозами пришлось понуждать представителей Израиля не уступать в вопросе о Негеве. «Без Негева вы ничто!» – кричал он будущему главе израильского правительства Моше Шарету. Сегодня принято упрекать англичан в том, что они препятствовали притоку эмигрантов. Опубликованные документы, в том числе из британских и израильских архивов, говорят, что дело было не в сопротивлении британских мандатных властей. Репатриация и заселение Земли Израиля существенно зависели не столько от доброй воли колониальных властей, сколько от финансовых возможностей сионистских организаций. Известно, что на про-

тяжении двух первых десятилетий своего мандата в Палестине Великобритания вполне добросовестно выполняла Декларацию Бальфура – она разрешила увеличение еврейского населения в десять раз и способствовала созданию независимых органов еврейского самоуправления со своими вооруженными формированиями (что не разрешалось арабам Палестины). Лишь в 1936 году, во время арабских беспорядков (или Великого арабского восстания, как их называют арабские историки), англичане поняли всю сложность и неразрешимость конфликта. Именно тогда в Лондоне впервые осознали неизбежность своего ухода из Палестины и бессилие в решении арабско-еврейского конфликта. Не случайно Палестина была единственной колониальной территорией, откуда англичане ушли, так и не наведя порядка и не прекратив вооруженные столкновения сторон.

Кроме того, возникнув в 1933–1936 году, еврейское государство неизбежно оказалось бы на грани финансового банкротства, как это случилось после его провозглашения в 1948 году. Тогда Израиль выстоял главным образом благодаря репарациям из Германии («платы за кровь»). Эти мощные финансовые вливания позволили покончить с карточной системой и приступить к созданию экономической структуры. Исследования «нового» историка Тома Сегева «Седьмой миллион» и официального израильского историка Дины Порат «Вожди в ловушке» единодушны в выводе, что довоенная Палестина не смогла бы принять значительное число еврейских беженцев.

В вопросе о том, могло бы еврейское государство, возникни оно в 30-е годы, повлиять на ход Второй мировой войны, историки расходятся. Понятно, однако, что с началом войны такое государство оказалось бы в сложнейшей политической ситуации – извне Ирак, Иран и Египет с сильными пронацистскими режимами, а также Сирия, с ее вишистской администрацией, в самой Палестине – большая немецкая колония. Этого не случилось именно благодаря британскому присутствию в Палестине. Англия сумела организовать серию переворотов в арабских странах – в частности, при помощи подразделений польских и французских бойцов Сопротивления. Весьма сомнительно, что без англичан Палестину вообще удалось бы отстоять. Итальянская авиация несколько раз бомбила Тель-Авив. Вторжение корпуса Роммеля в Палестину казалось неизбежным. Бен-Гурион всерьез рассматривал в 1941 году планы эвакуации всего еврейского населения на гору Кармель в Хайфе, где обреченные евреи собирались дать последний бой наступающим германским войскам. Но англичане остановили Роммеля под Альбукерком, а его окончательное поражение предопределили героические действия союзников, а еще больше – победы Красной армии на Восточном фронте.

Так что вряд ли маленькое еврейское государство в Палестине смогло бы как-то повлиять на ход Второй мировой войны. Уж скорее, стараясь спасти евреев и выполнить свой национальный долг, оно неизбежно пошло бы на уступки и соглашения с нацистской Германией и ее союзниками. Даже в этом случае ему вряд ли удалось бы вывезти из Европы значительное число евреев. Зато вполне вероятно, что после войны еврейское государст-

во оказалось бы не в стане победителей, ощущающих вину перед еврейским народом, а в стане побежденных.

Да и в военное время любое сотрудничество еврейского государства с нацистами неизбежно повредило бы еврейским общинам во всем мире. В США власти не встретили бы большого сопротивления, если бы вместе с миллионами немцев, итальянцев, японцев, венгров и других выходцев из стран Оси интернировали, а затем и выслали бы евреев.

Еще более вероятной была бы в таком случае депортация советских евреев в восточные районы СССР. Подобно крымским татарам, чеченцам, ингушам, немцам, их запросто могли объявить «народом-предателем». Грустно думать, какова была бы в таком случае их судьба, да и нынешний Израиль выглядел бы совершенно иначе*. Однако это уже другая утопия, заслуживающая отдельного рассказа**. История, как уже сказано, не знает сослагательного наклонения – даже в таком варианте, в каком так ярко представил еврейское государство, якобы возникшее в 30-е годы, незаслуженно забытый Аарон Цейтлин.

Автор от всей души благодарит руководителя Ансамбля еврейской песни Анатолия Пинского (Москва), Ирину Зубкову (Нижний Новгород) и Наталью Тышкевич (Израиль) за предоставленные материалы и помощь в работе.

* Похоже, в СССР какое-то время, действительно, планировали депортацию евреев на Дальний Восток и в Сибирь – сначала в 1948 году, а потом в 1953-м. Хотя здесь тоже не все просто. Для такой операции нужны списки в каждом ЖЭКе, в каждом райисполкоме, в каждом министерстве; нужны тонны документов – накладные на вагоны, бараки, довольствие если не для ссыльных, то, по крайней мере, для ВОХРа. Между тем до сих пор не обнаружено ни одной такого рода бумажки.

Существует и другое объяснение этих настойчивых слухов о депортации. Раздувая панику, советские власти надеялись вызвать массовую истерию и репатриацию евреев в другом направлении – в Израиль. Для этого не было нужды в создании особых структур. Государственное управление по репатриации уже имело достаточный опыт – к этому времени оно уже репатриировало миллионы поляков, армян и других. Москве выгодно было выполкнуть массы советских евреев в Израиль. Как известно, СССР оказал решающую помощь молодому еврейскому государству в деле отражения арабских армий, вторгшихся в страну, и в деле строительства Армии обороны Израиля, и все это в надежде обрести опору на Ближнем Востоке и ослабить там позиции Великобритании. Москва располагала в молодом Израиле гигантской агентурной сетью и, вполне вероятно, надеялась, организовав переворот, превратить его в государство «народной демократии». Во всяком случае, в первые годы существования Израиля многие там ждали массовой репатриации из СССР – кто с надеждой, а кто со страхом. Крупнейший советский специалист по Ближнему Востоку Евгений Примаков неоднократно говорил, что «Громыко голосовал за Израиль, надеясь, что туда приедут наши люди строить социализм». А Зерах Варгафтик, депутат Национального собрания, подписавший Декларацию о независимости Израиля, рассказывал мне, что Бен-Гурион в 1947 году уговаривал испуганных министров голосовать за провозглашение независимости, обещая два миллиона евреев из СССР в течение двух лет.

** Ее, кстати, попытался изобразить израильский писатель Зеонид Гиршович в романе «Прайс».



преподаватель Отделения политических наук и научный сотрудник Центра еврейского образования в диаспоре им. Лукштейна Университета Бар-Илан в Рамат-Гане, руководитель программы изучения Израиля в Центре иудаики на русском языке им. Чейза Еврейского университета в Иерусалиме, автор четырех книг, изданных в Лондоне, Иерусалиме, Тель-Авиве и Москве, и десятков статей по социально-политическим проблемам Израиля, Африки, Восточной Европы и современных еврейских общин. Живет в Израиле.

«РУССКИЕ» ПАРТИИ В ИЗРАИЛЕ – ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ?*

По мере приближения к очередным выборам – состоятся ли они, как это стало принято в Израиле, досрочно или, в виде исключения, по истечении определенной законом четырехлетней каденции, – все активнее будируется тема «русской» партийной политики. И это несмотря на то, что прошло всего два года с того момента, как «русские» партии потерпели крупнейшую за свою историю электоральную неудачу, поставившую под сомнение перспективы самого существования этого, несомненно, одного из наиболее заметных феноменов израильской политики второй половины 90-х годов.

В отличие от выборов 90-х гг., которые демонстрировали стабильный рост доли голосов, отдаваемых репатриантами за «русские» партии (с примерно 20% в 1992 до 44% в 1996 и 55% в 1999), в 2003 г. подавляющее большинство выходцев из СССР и СНГ, принявших участие в выборах, отдали свои голоса общенациональным партиям. Наибольшим разочарованием «русского Израиля» стала, пожалуй, самая яркая «звезда» общинной политики Израиля конца прошлого века – партия Щаранского Исраэль ба-алия (ИБА). На выборах 2003 г. за нее проголосовали только 67 719 человек, что принесло ей лишь два мандата (против 7 в 1996 г. и 6 в 1999).

Очевидная неудача этой партии на выборах и политическое размежевание в «русской общине» в целом показали, как видится на первый взгляд,

* В развернутом виде статья будет опубликована в ближайшем номере «Вестника Еврейского университета».

что идеологические и структурные различия в ней превалируют над интеграционными тенденциями.

Кризис и новые перспективы

Оценивая эти процессы, многие обозреватели поспешили заявить о «завершении процесса политической интеграции новых репатриантов в израильское общество», «исчерпанности электоральной ниши» и «незаинтересованности репатриантов в общинных партиях».

Впрочем, ряду наблюдателей (в том числе и автору этих строк) этот вывод уже тогда казался несколько поспешным. Настораживало, что столь стремительная «политическая интеграция» общины заняла считанные месяцы – ведь еще в конце 2001 г. «русские» партии, согласно всем опросам общественного мнения, имели абсолютный приоритет на «русской» улице.

Другое объяснение падения влияния «русских партий» – превалирующая на выборах 2003 г. тема безопасности и борьбы с арабским террором, заставившая выходцев из СССР/СНГ забыть о своих «секторальных» интересах и отдать голоса партии Ликуд, возглавляемой символом этой борьбы – «ястребом» А. Шароном. Однако и это объяснение может быть принято только частично. Так, крупнейшего за свою историю электорального успеха – семь мандатов – ИБА добилась именно на выборах 1996 г., основной темой которых также были вопросы внешней политики, безопасности и арабо-израильского конфликта. Массовая поддержка, которую очень многие репатрианты обеих волн алии (70-х и 90-х) оказали «своей» партии, не помешала им отдать голоса на выборах премьер-министра «правому» кандидату Б. Нетаниягу, программа которого носила отчетливо «битхонистский»^{*} характер.

То, что выборы 2003 г. проходили по другой системе (т. е. вместо голосования «двумя бюллетенями» – за кандидата на пост премьера и партию, что в свое время привело к резкому усилению влияния общинных, в том числе «русских» элит, к возможности выбора только партийного списка), также, на наш взгляд, не является достаточной причиной столь резкого падения электорального рейтинга «русских» партий. Теоретически, «новая-старая» система выборов должна была способствовать усилению поддержки населением и росту представительства двух ведущих партий за счет «секторальных». В 2003 г. это действительно случилось с Ликудом (рост представительства в два раза, с 19 до 38 мандатов), но его основная соперница – партия Труда, напротив, потеряла больше четверти голосов, большинство которых было отдано отнюдь не Ликуду, а «неосновным» партиям лево-центристского лагеря (Шинуй, Ам эхад и т. д., но, по понятным причинам, не «ультралевому» Мерецу, который также потерял 4 из 10 своих мандатов). При этом падение парламентского представительства такой сек-

^{*} От *битхон* – «безопасность» (*иврит*).

торальной партии, как сефардская ШАС (с которой часто, хотя и не всегда правомерно, сравнивают ИБА), несмотря на изменение системы выборов, было намного менее драматичным (с 17 до 11 мандатов).

Понятно, что электоральные неудачи «русских» партий, и прежде всего ИБА, было бы также совершенно неверным целиком относить на счет их очевидных тактических ошибок, которые они допустили во время избирательной кампании. Главная причина, вероятно, в другом: их лидеры не нашли верный баланс между общинным и идейно-политическим измерением своей деятельности.

Таким образом, ответ на вопрос – является ли поддержка репатриантов общенациональных партий в 2003 г. за счет «русских» списков долгосрочной тенденцией, или мы имеем дело со стечением ситуативных обстоятельств, был уже в январе 2003 г. отнюдь не однозначен, и вряд ли уже тогда стоило исключать возможность возрождения «общинной политики» в том или ином ее виде.

Что же касается конкретных путей этого возрождения, то тут возможны, как нам кажется, три основные опции.

Первая – это дальнейшая эффективная интеграция репатриантов в «основное течение» израильской политики. Речь в данном случае идет не об исчезновении «русских» политических структур и институтов как таковых, а об их структурном вхождении в общеизраильские политические организации и создании в них сильных «русских» филиалов как альтернативе самостоятельным общинным партиям (т. е. возвращение к одной из опций, широко обсуждавшихся в «русской» общине еще в 1994–1995 гг.).

Проявлением этой тенденции, вероятно, и стала интеграция «русских» партий – «центристской» ИБА, «правой» НДИ (Наш – дом Израиль) и «левой» Демвыбор – в соответствующие их идейной платформе общеизраильские движения: Ликуд, Ихуд леуми и Мерец. Каждая из партий при этом избрала различные модели этой интеграции. НДИ стала ядром блока Ихуд леуми, превратив его остальные компоненты – партии Молевет и Ткума – в своих младших партнеров; напротив, Демвыбор стал периферийной частью блока Мерец, формально сохранив свою автономию; ИБА фактически растворилась в структурах партии Ликуд.

Вторая опция – возвращение в общинную нишу прежних либо обновленных партий репатриантов. Третья опция – выдвижение новых «русских» лидеров и создание новых общинных движений, в том числе и с использованием остатков «русских» партий первого поколения.

Как можно заметить, судьба ИБА – первого и крупнейшего в новейшую эпоху «русского» общинного движения – во многом символизирует те политические тенденции, которые характерны для общины репатриантов в целом. Пережив период беспрецедентного роста влияния, эпоху идеологических расколов и персональных конфликтов и, наконец, тяжелый кризис «общинной идентичности», как это показали итоги выборов 2003 г., ИБА демонстрирует весь спектр возможных вариантов политического выживания.

ния связанных с ней общественных элит и членов некогда разветвленной внутри- и околопартийной структуры.

Часть из них последовала за Щаранским в Ликуд в надежде на выполнение обещаний, данным Шароном лидерам ИБА в ходе объединения двух фракций в кнессете. Другие поддерживали именно сейчас получивших возможности выйти на общенациональную политическую арену региональных лидеров ИБА в их попытках реанимировать всеобщинную «русскую» партию на основе остатков ее инфраструктуры. Третьи поддерживали претензии лидеров НДИ на «общинное наследство» самораспустившейся, по их мнению, партии ИБА.

Вес каждой из этих тенденций долго оставался предметом спекуляций. Говоря о первой альтернативе, наибольшие шансы стать лидером среди общезраильских партий в плане формирования сильного «русского» крыла имел Ликуд. На роль ядра этого крыла в партии претендовало сразу несколько групп влияния:

- так называемый «Русский форум» Ликуда (организованный вскоре после выборов 2003 г. на базе «русского» избирательного штаба в рамках Ликуда), который пользуется прямым покровительством Шарона;
- «русская секция» правого внутрипартийного блока «Еврейское руководство» М. Фейглина, к которой примкнули и многие бывшие участники движения Алия за Эрец-Исраэль;
- лидеры присоединившейся к Ликуду вскоре после выборов-2003 партии ИБА и их сторонники, которые выдвинули претензии как на роль главного представителя интересов «русских» сторонников Ликуда, так и на более значительную роль в движении в целом.

Другой перспективной общезраильской партией, способной аккумулировать политическую активность русскоязычных израильтян, мог стать Шинуй. Судя по всему, именно Шинуй, а отнюдь не партия Труда оказался основным наследником голосов, отданных в 1999 г. репатриантами за Эхуда Барака. Как известно, репатрианты из СССР/СНГ внесли свой вклад в крупный успех этой партии на выборах 2003 г., дав ей не менее 4 из полученных 15 мандатов.

Вместе с тем партия Шинуй не вполне отказалась от прежней практики ограждения своего «кадрового ядра» от чужаков, проявив особенную осторожность в привлечении в таковой «русских» членов. Так, после успеха партии на выборах 2003 г. многие «русские» поспешили записаться в Шинуй в преддверии муниципальных выборов в октябре 2003 г., однако руководство партии блокировало эти попытки решительными мерами – как официального, так и неофициального характера.

Помимо Ликуда и Шинуй, и другие общенациональные партии после выборов 2003 г. предпринимали попытки участия в «разделе политического наследства» ИБА. Понятно, что подобная деятельность общезраильских партий существенно активизируется накануне очередных выборов, и, возможно, некоторым из них удастся получить часть «русских» голосов.

Однако приличный шанс на удержание «русских» в сфере своего влияния между выборами имеют, судя по всему, лишь те движения, в которые «в полном составе» влились «русские» партии 90-х гг., особенно в том случае, если они сохранили – полностью или частично – свою инфраструктуру, активистов, фракции в местных органах власти и наработанные за десятилетие политические связи.

Самое же главное состоит в другом. Тенденция «израилизации» «русской» политики в Израиле могла получить дальнейшее развитие только в том случае, если общенациональные партии и элиты сумели бы показать новым репатриантам из СССР/СНГ, что они смогут дать им больше, чем «секторальные» движения и их лидеры. Однако ситуация, как можно было заметить, развивалась в прямо противоположном направлении.

Ожидания и реалии

Как только были подведены итоги выборов 2003 г., стало понятно, что «русские» избиратели дали не только Ликуду, но и многим другим общеизраильским сионистским партиям (не считая Мереца) существенно больше голосов, чем уровень парламентского представительства, который партии смогли обеспечить общине. В результате, хотя репатрианты из СССР/СНГ, как всегда, оказали огромное влияние на исход выборов, прямое представительство общины в кнессете, несмотря на относительный рост числа «русских» избирателей (до 680 000, что соответствует 20–22 мандатам против 17–18 в 1999 г.), снизилось – с 12–13 в 1999 г. до 10 в 2003. Еще больше снизился удельный вес депутатов, представляющих политически организованную «русскую» общину – с 9–10 до 6 (2 от ИБА, 3 от Исраэль бей-тейну и 1 от Демвыбора).

Уже в самой этой диспропорции крылся немалый потенциал «секторальной» политики. Но еще важнее было то, что большинство израильского истеблишмента восприняли итоги выборов–2003 на «русской улице» как свидетельство того, что «русские» уже всем довольны и «вполне вписались» в местное общество. Соответственно, нет никакой нужды в особых усилиях – особенно в условиях нынешних бюджетных проблем, – нацеленных на поддержку «русских» репатриантов как группы, реализацию новых проектов интеграции, продвижение представителей репатриантов во властно-управленческие структуры и т. д.

Естественно было бы ожидать, что различные группы внутри миллионной общины выходцев из бывшего СССР, политически расколотой практически по тем же линиям, что израильское общество в целом, по-разному оценят и практические последствия исчезновения «русских» движений с политической арены страны. Однако в этом вопросе уже через год-полтора после провальных для общины выборов–2003 стали проглядывать контуры некоторого «общинного консенсуса».

Опросы разных лет зафиксировали, что община выходцев из СССР/СНГ делится на две примерно равные группы: первая включает тех, чье политическое поведение связано в основном с социально-экономическими интересами (жилье, работа, социальное обеспечение и т. д.); члены второй в большей степени озабочены идеологическими проблемами (внешняя политика и безопасность, светско-религиозное противостояние и т. д.) и заинтересованы принимать участие в разработке национальной политики по этим проблемам. Как можно заметить, обе группы оказались жестоко разочарованы, хотя и по разным причинам.

Так, уже вскоре после того как в феврале 2003 г. была окончательно сформирована правящая коалиция, стала очевидной ее линия на ограничение влияния русских общинных элит в различных сферах власти и управления в стране. Разочарование репатриантов этой тенденцией развивалось на фоне осознания ими того факта, что «русские», как отмечалось, дали почти всем партиям больше, чем получили. Например, в Ликуде репатрианты составляют около 10% членов партии и лишь около 1% членов Центра. Соответственной была и степень влияния представителей общины на процесс принятия политических решений и, в свою очередь, растущее недовольство израильскими элитами, включая и общенациональные партии, собравшие на выборах около 60% голосов «русских», – Ликудом и Шинуем.

Общая картина разочарования «идеологической», в массе своей правонастроенной фракции «русской» общины была дополнена практическим переходом правительства А. Шарона от широкомасштабной борьбы с арабским террором к политике уступок («одностороннего отделения»), включая строительство «забора безопасности» в непосредственной близости к «зеленой черте» и принятие программы ликвидации ряда еврейских поселений в секторе Газы и в Самарии.

Не меньшим было и разочарование тех избирателей, чьи интересы лежали не столько в «идеологической», сколько в социально-экономической сфере. Уже вскоре после выборов стало понятно, что интерпретация модели голосования этой группы, разделившей в 2003 г. голоса между общеизраильскими Ликудом и Шинуем, как «выход из секторальной ниши» была несколько поверхностной и неточной. Видимо, в эту категорию входят и те избиратели, реакции которых предложил дожидаться бывший пресс-секретарь ИБА, а ныне политический советник Щаранского Д. Шехтер. По его мнению, «когда получающие различные социальные пособия репатрианты заметят недостачу на своих банковских счетах, они пожалеют о том, что в Израиле больше нет партии, которая может достойно защитить их социальные интересы».

Этой прогноз оправдался довольно скоро. Первые признаки проявились уже через считанные дни после выборов 2003 г., когда новое руководство министерств абсорбции и строительства и развития отказалось от своих обязательств финансировать проект субсидированного долгосрочного съема жилья для репатриантов-пенсионеров. Следующим ударом стала

проводившаяся министром финансов Б. Нетаниягу политика ограничения государственного регулирования экономики, и в ее рамках – сокращение социальных выплат малообеспеченным слоям населения. Хотя первые позитивные (в том числе и для многих репатриантов из СССР/СНГ, ставших частью израильского среднего класса) плоды экономических реформ Нетаниягу стали очевидны уже в середине 2004 г., для немалого числа репатриантов социальные последствия этих реформ, усугубленных сворачиванием программ поддержки выходцев из СССР/СНГ, стали фактором общественного недовольства.

Не случайно, что опрос, проведенный тель-авивским институтом «Мутагит» в начале ноября 2003 г. зафиксировал растущее недовольство «русских» репатриантов правительством Шарона. Лишь 35,2% респондентов были удовлетворены деятельностью правительства в сфере безопасности (42,5% были недовольны ею) и лишь 14,1% (против 67,0%) были удовлетворены деятельностью Ариэля Шарона в социально-экономической сфере, причем 51,4% считали, что руководство страны утратило контроль над социально-экономическим положением в Израиле.

С конца 2003 г. вновь предметом общественного внимания стали уже, казалось бы, прочно забытые сюжеты полицейского произвола и этнической дискриминации по отношению к выходцам из СССР/СНГ. Так, крупный общественный резонанс вызвали многочисленные эпизоды предвзятого отношения и даже избиения полицейскими (в массе своей – восточного происхождения) выходцев из бывшего СССР. С другой стороны, анализ, проведенный в 2004 г. Центром исследований и информации кнессета по инициативе тогдашнего председателя комиссии кнессета по внутренним делам, одного из лидеров партии Исраэль бейтейну Юрия Штерна показало, что в то время как доля русскоязычных израильтян среди трудоспособного населения страны превышает 15%, среди руководящих кадров государственных ведомств их доля составляет 0,8%. Полицейское расследование в отношении деятельности филиалов израильских банков «Ха-Поалим» и «Мизрахи» по обвинению в отмывании многомиллионных сумм, в ходе которого навязчиво мелькали имена крупных предпринимателей русско-еврейского происхождения, также, по мнению многих, почти сразу же пошло по накатанным рельсам «борьбы с русской мафией».

Все эти факты, активно раскручиваемые русскоязычными и ивритоязычными СМИ с подачи различных групп политических интересов, постепенно подталкивали репатриантов к выводу о том, что «подобное было бы невозможно, существуя у них свое эффективное политическое лобби». В итоге, проведенный еще в конце 2004 г. репрезентативный опрос общественного мнения выходцев из СССР/СНГ показал, что 67% респондентов были убеждены в необходимости коренных изменений в обществе, гарантией которых они считали соперничество с традиционно сложившейся в стране элитой. Комментируя результаты этого опроса, известный специалист по общественным настроениям «русской улицы» Элизер Фельдман

отметил «значительное повышение политической активности репатриантов, ставшей результатом их разочарования тем, что они должным образом не представлены в политическом истеблишменте страны, и уверенностью, что это не просто стечение обстоятельств, а дискриминация, устранение которой большинство считает своим персональным делом».

«Русские» партии возвращаются?

С течением времени становилось все более понятно, что общественное недовольство и общинный политический потенциал этих групп, в свете набирающих силу негативных для общины тенденций, неизбежно найдет свое политическое выражение. Разочарование в политике «израильских классов» сопровождалось воспроизводством у ряда русскоязычных израильтян ощущения «ущемленной общинной гордости», похожее на то, которое десять лет назад было одним из наиболее важных факторов формирования и электорального успеха партии Исраэль ба-алия. Показательно, что, согласно упомянутому опросу, в качестве рычагов борьбы за свои права более половины (55%) респондентов называли необходимость формирования новой «русской» партии, в то время как 23% были готовы поддерживать влиятельные репатриантские организации в рамках общезраильских партий, и лишь 12% посчитали, что существующие общезраильские партии и так адекватно представляют их интересы.

Понятно, что появившаяся организационно-политическая ниша немедленно стала объектом соперничества различных «русских» политических фракций и групп интересов. «Первыми в очереди», естественно, оказались лидеры уже, казалось бы, без остатка растворившихся в общезраильских движениях «русских» партий «первого поколения». На каком-то этапе эти политики все еще пытались одновременно играть и на общинно-социальном, и на общенационально-идеологическом поле. Так, общезраильские блоки, в которые вошли «русские» партии, их нынешние и бывшие лидеры первоначально видели в качестве удобного канала присутствия в национальной политике, в то время как на муниципально-общинном уровне многие из них предпочитали быть представленными своим обычным партийным деятелем.

Например, лидеры НДИ, независимо от блока Ихуд леуми, провели широкомасштабную кампанию муниципальных выборов 2003–2004 гг.; близкие по типу конкурирующие движения были созданы и на базе остатков отделений ИБА, а также под эгидой партии Демократический выбор. Однако, по мере углубления политического противостояния и классовой поляризации как в стране в целом, так и в общине выходцев из СССР/СНГ в частности, это «сидение на двух стульях» становилось все более проблематичным и вынуждало «русских» общинных лидеров определяться со своим организационно-политическим лицом.

Сторонники Щаранского, судя по всему, достаточно долго колебались между желанием использовать инерцию популярности Ликуда среди «русских» и механизмов влияния правящей партии, в которую влилась ИБА после выборов 2003 г., с одной стороны, и новой попыткой самостоятельного партийно-политического плавания – с другой. Так, в октябре 2004 г. была проведена встреча Щаранского и пяти десятков бывших высших функционеров ИБА, на которой обсуждались перспективы выхода бывших лидеров партии из Ликуда и воссоздания самостоятельной инфраструктуры массовой репатриантской партии. Основной причиной, по мнению участников встречи, стал тот факт, что, покрыв 14-миллионный дефицит ИБА, лидеры Ликуда не спешили выполнять остальные пункты соглашения с ИБА – обеспечить сторонникам Щаранского адекватное представительство в руководящих органах партии.

Заметим, что немало активистов ИБА были изначально недовольны ее роспуском. Например, уже через неделю после присоединения фракции ИБА к Ликуду в феврале 2003 г. и началом подготовки к интеграции их структур с резким протестом против этого шага руководства выступило собрание активистов ИБА (включая 14 заместителей мэров городов, более 40 депутатов муниципальных советов и ряда председателей городских партийных советов). В опубликованном заявлении делался акцент на массу далеко не решенных специфических социальных проблем алии (образование, жилье, трудоустройство, социальный статус и т. д.), вследствие чего, по мнению активистов ИБА, «неудача, постигшая партию, отнюдь не является фатальной... и ИБА не собирается уходить с политической арены, а тем более растворяться в Ликуде».

Все эти инициативы, однако, не получили продолжения, по крайней мере на уровне партийного руководства. В январе 2005 г. конференция Ликуда окончательно утвердила слияние с ИБА, бывшим членам которой было предоставлено 128 мест в Центре объединенной партии. В результате лидеры бывшей главной репатриантской партии, по крайней мере, сейчас, сделали свой выбор. Объясняя свое решение, Щаранский заметил: «...через пятнадцать лет после Большой алии большинство выходцев из СССР/СНГ больше не считает себя репатриантами. Они – русскоговорящие израильтяне, и рамки чисто репатриантской партии стали им тесны. Мощная группа русскоговорящих израильтян в ЦК Ликуда – это огромный успех для алии... Теперь у нас появились совершенно иные возможности, и можно не сомневаться, что мы используем их во благо алии и Израиля».

В свою очередь, дилемма, которая стоит перед лидерами главной оставшейся на «русской улице» политической силы – «русской» несекторальной партии Наш дом – Израиль во главе с Авигдором Либерманом, – с одной стороны, использовать потенциал солидарного общинного голосования, а с другой – не потерять свой «идеологический» электорат, подтолкнула их на шаг прямо противоположного свойства. В ноябре 2004 г. НДИ вышла из парламентского блока Национальное единство с тем, чтобы идти на казав-

шившиеся в тот момент неизбежными очередные досрочные выборы самостоятельно, чтобы получить максимальное число мандатов на «русской улице». Лидеры партии, судя по всему, пришли к выводу, что передача «русских» мандатов своим «туземным» партнерам – слишком высокая цена за статус общенационального блока.

В то же время ситуация в обоих главных политических лагерях «русской улицы» – и в распушенной партии Щаранского, и в обновленной партии Либермана – развивается по схожему сценарию. Очевидно, что после слияния с Ликудом бывшее руководство ИБА унаследовало принципиальную проблему своей партии – попытку говорить от имени всей «русской» общины, тщательно балансируя между ее фракциями, по-разному относящимися к критическим для израильского общества темам – арабо-израильскому конфликту и светско-религиозному противостоянию. Это, в сочетании с персональными противоречиями, часто пересекавшимися с идеологическими, дважды приводило к расколу ИБА. Третий – и, видимо, последний – раскол ИБА произошел уже внутри Ликуда, вскоре после завершения процесса официального слияния двух партий.

В феврале 2005 г. депутат кнессета от Ликуда/ИБА Марина Солодкина, которая, несмотря на свою «левую» идеологию во времена ИБА, считалась последовательным сторонником Щаранского и Эдельштейна, неожиданно выступила против своих давних патронов. Очевидно, что за завесой личного и политического конфликта проступают контуры двух разных представлений о структуре и характере деятельности «русского политического лобби». Марина Солодкина явно отстаивает «общинную парадигму» такого лобби, имея в виду превращение его в сообщество, ассоциированное с Ликудом и имеющее несколько ограниченную свободу деятельности, но при этом собственную широкую и фактически автономную инфраструктуру, и работающее преимущественно на «русской улице». Щаранский и Эдельштейн, в свою очередь, выступив за принятие существующих в общенациональных партиях правил игры, отстаивают парадигму «персонального политического лагеря», работающего не столько с «репатриантскими массами», сколько занимающегося кооперацией и обменом ресурсами с другими группами влияния в Центре партии. Таким образом, с точки зрения Солодкиной, «русскому Ликуду» нужны лидеры для работы на «русской улице», с точки зрения Щаранского – «дисциплинированные бойцы» для продвижения интересов алии и ее лидеров через механизм Ликуда.

Близкие тенденции были характерны и для обновленной НДИ. В сентябре 2004 г., вскоре после выхода из правительства движения Национальное единство, ядром которого была НДИ, ее фракция в кнессете также пережила раскол, ставший следствием персональных и идеологических противоречий. Михаил Нудельман, до того момента – верный сподвижник Либермана и Штерна, поддержал, в отличие от своих коллег по НДИ и блоку Национальное единство, программу А. Шарона. С другой стороны, в политических и журналистских кругах высказываются настойчивые предположе-

ния о том, что А. Либерман готов открыть свою партию для заметных «русских» политиков, перспективы которых в их прежних партиях выглядят сегодня туманно (среди последних наиболее часто упоминаются М. Солодкина – Ликуд/ИБА, С. Ландвер – Авода и И. Ясинов – Шинуй).

Последним из политиков «первого призыва» во вновь открывшуюся сферу «русской» партийной политики вступил Роман Бронфман, лидер третьей русской партии образца 90-х гг., – Демвыбор, который в сентябре 2005 г. решил прекратить сотрудничество с Мерец и баллотироваться на ближайших выборах отдельным списком. Бронфман, очевидно, рассчитывает на маргинальный (по нашим оценкам, не превышающий 2 мандатов), но все же существующий левый политический лагерь «русской общины», который так и не был по-настоящему политически институционализирован, а также на поддержку тех «русских», которые в 1999 г. отдали свои голоса на выборах премьер-министра Э. Бараку, а в 2003-м в массе своей поддержали Шинуй.

Все эти факты, очевидно, являются внешним проявлением бурного процесса новой перегруппировки политических сил «русской общины» и ее лидеров, которые в очередной раз готовы использовать опцию «секторальной», в том числе партийной, политики в различных ее конфигурациях и вариантах.

Партии «нового поколения»: тенденции и перспективы

Не исключено, однако, и появление нового поколения «русских» партий, предпосылки для формирования которых заметны уже сейчас. Во-первых, базой для создания «русской» партии в какой-то мере может служить новая зонтичная структура русской общины, созданная объединением «правого» Сионистского форума и «левого» Объединения репатриантов – выходцев из СССР. В январе и феврале 2005 г. была предпринята попытка создания своего рода «русского общественно-политического лобби», представители которого, впрочем, решительно отвергли идею наличия у них партийных амбиций.

Во-вторых, новая попытка строительства репатриантских движений может начаться на этот раз с местного уровня (подобно тому, как это случилось с секторальными движениями выходцев из стран Востока), что в перспективе может обеспечить «прорыв» в структуры власти на национальном уровне. Так, вскоре после выборов 2003 г. появилась инициатива группы «русских» депутатов местных органов власти, нацеленная на создание общеизраильского «русского» внепартийного движения, которое представило единый список кандидатов на муниципальных выборах в ноябре и декабре 2003 г. Для реализации этой идеи осенью 2003 г. было создано движение С тобой и для тебя (явная аллюзия предвыборного лозунга ИБА 2003 г.), члены которого попытались провести своих кандидатов в муниципальные советы некоторых городов севера страны и завоевали по одному мандату в

городских советах Хайфы и ее пригородах – Кирьят-Ата, Кирьят-Моцкин и Кирьят-Ям.

Понятно, что к следующим выборам в кнессет подобные списки, несмотря на их не слишком удачный муниципальный дебют, могут стать основой новой «русской» партии. И действительно, в начале марта 2005 г. организаторы движения С тобой и для тебя объявили о проведении всеизраильской конференции. Определяя себя как «партию выросшего в Израиле и вполне культурно и профессионально адаптированного поколения русскоязычных израильтян» («русские с ивритским акцентом»), лидеры С тобой и для тебя, тем не менее, активно эксплуатируют тему «этнической дискриминации». По утверждению председателя движения Леонида Бравштейна, «власть в Израиле находится в руках пары десятков коррумпированных и раз и навсегда закрытых для чужаков семей... Поэтому выступать в роли просителей бесперспективно и глупо... Ментально мы русские, и с первого дня в Израиле нам об этом не забывали напоминать... мы выучили урок и тоже никогда этого не забудем».

В-третьих, зимой 2004/05 года заинтересованность в создании новой «русской» партии стал проявлять бывший директор правительственного Бюро по связям с евреями Восточной Европы (Натив) и бывший видный активист подпольного сионистского движения в СССР Яков Кедми. Показательно, что именно в этот период колоссальные усилия по возвращению в политику и к руководству партии Авода предпринял и бывший премьер-министр Э. Барак, давним сподвижником которого считается Я. Кедми. Последний активно поддержал Барака на выборах 1999 г. и руководил его «русским» штабом на выборах 2001 г. Известно также, что, когда Барак убедился в невозможности восстановления сотрудничества с Щаранским и ИБА после их выхода из коалиции летом 2000 г., он уже тогда всерьез взвешивал возможность «сконструировать» новое общерепатриантское «русское» общинное движение во главе с Я. Кедми. В случае если эта идея реализуется сегодня, такая партия может составить одновременно общинную и левоцентристскую по идеологии альтернативу правой общинной альтернативе лиbermanовской НДИ и одновременно стать привлекательной для разочарованных «русских» избирателей общеизраильских партий (прежде всего Шинуя). Такая партия может стать убежищем для «русских» политиков, больше не находящих себе в новых политических условиях место в своих прежних партиях (таких, как М. Нудельман или Р. Бронфман, или даже М. Солодкина и С. Ландвер, если две последние не найдут себя в «обновленном лагере» А. Либермана).

Наконец, не исключен и принципиально иной вариант развития событий, который может реализоваться в случае, если «русские» партии – как старые типа ИБА, НДИ и Демвыбор, которые на протяжении последнего десятилетия эффективно интегрировали и представляли все линии конфликтов внутри и вокруг общины, так и идеологические партии нового поколения – не сумеют организовать и заполнить имеющуюся общинную нишу.

В этом случае новый политический раскол в общине может пойти по линии углубления существующих этносоциальных противоречий, и в относительно недалеком будущем, как считают некоторые комментаторы, израильтян может удивить новая русская партия – на этот раз настоящая, без кавычек. Базу для такой партии, судя по всему, может составить часть выходцев из СССР/СНГ нееврейского или смешанного происхождения, обладающих сильно ослабленным еврейским и израильским самосознанием. По оценкам, электоральный потенциал этой группы, составляющей, по разным данным, от трети до половины галахических неевреев, прибывших в страну в соответствии с Законом о возвращении, может составить от двух до трех мандатов.

Накануне следующих выборов может появиться и выдвинуть претензии на эти мандаты одна или больше русских или славянских в прямом смысле этого слова партий, типа активно эксплуатировавших нееврейскую тему, но так и не одолевших в 2003 г. электоральный барьер партии А. Цинкера Эзрах у-медина и прогрессивной либерально-демократической партии А. Редько Лидер. Шансов преодолеть электоральный барьер у подобных явно маргинальных групп и на следующих выборах, вероятнее всего, практически не будет.

Несколько больше шансов, вероятно, могут иметь партии, эксплуатирующие не столько этническую славянскую тему, сколько поднимающие флаг борьбы за «гражданские и культурные права» лиц смешанного происхождения, тему «религиозного равноправия» и концепцию «нееврейского государства всех граждан». Организационную и материальную базу такой партии могут составить всякого рода «правозащитные» структуры типа ассоциаций смешанных семей, «центров гражданского и религиозного плюрализма» и т. п. При этом такой партии придется конкурировать с традиционными претендентами на симпатии неевреев и лиц этнически смешанного происхождения, в первую очередь с Демвыбором Р. Бронфмана, в его возможных комбинациях с постсионистским Мерецем и антиклерикальным Шинуем.

Итак, присутствие «русских» политических организаций отнюдь не переводит политический конфликт в одномерное русло этнических противоречий, а существенно усложняет политическую и идеологическую палитру Израиля. Какая из описанных выше тенденций возобладает, мы, учитывая динамичный характер израильской политики, узнаем уже скоро.



доктор исторических наук, журналист, редактор американского журнала «FrontPage Magazine». Живет в США.

СИМПОЗИУМ: ГЛАЗАМИ ТЕРРОРИСТА-САМОУБИЙЦЫ

Глазов: Что происходит в голове исламского террориста-самоубийцы? Какие мотивы побуждают человека взорвать самого себя в толпе ни в чем не повинных людей? Для обсуждения этих и других вопросов наш журнал собрал сегодня группу экспертов. Наши гости:

Джессика Стерн, преподаватель Гарварда, эксперт по терроризму, автор книги *Террор во имя Бога: почему религиозные экстремисты убивают людей*.

Д-р Теодор Дальримплъ, тюремный психиатр, имеющий большой опыт общения с мусульманскими заключенными в Великобритании, автор сборника статей *Наша культура, и что от нее осталось*.

Д-р Нэнси Кобрин, профессор Хайфского университета, арабист, психоаналитик и автор готовящейся к публикации книги *Новое платье шейха: Исламский террор и его истинные цели*.

Д-р Ганс-Петер Радатц, специалист по исламу, автор книги *От Аллаха к террору: джихад и деформация Запада*.

Террористы-самоубийцы стали сегодня повседневной реальностью в жизни Израиля и Ирака. В Израиле палестинцы, зачастую дети, взрывают себя, убивая и калеча случайных прохожих, а родители убийц радуются этому. В Ирак со всех концов мусульманского мира стекаются шахиды, чтобы взорвать себя в толпе гражданских лиц. Недавно мир стал свидетелем серии терактов в Лондоне. Как человек приходит к решению взорвать себя?



Д-р Радатц: Если вы принадлежите к «атомарному» типу личности, лишенной индивидуального эго и слитой с массой в единую умму – общину Аллаха, – вы тоже можете поддаться соблазну раздобыть динамит или какую-то другую взрывчатку, чтобы сфокусировать всю свою ничтожную, бессмысленную жизнь в одном-единственном деянии – желательно эффективным. А если к тому же вы не способны отличать духовное от материального, то вам, действительно, действительно грозит серьезная опасность.

В одном из своих выступлений д-р Кобрин верно отметила достойную сожаления неспособность многих мусульман проводить различие между мозгом и умом. Отрубая своим жертвам головы, они полагают, что тем самым уничтожают их мысли. Равным образом они верят, что в раю их поджидают толпы красоток, поскольку им всю жизнь втолковывали, что в качестве мучеников они попадут прямиком в рай. Не стоит уж говорить об их фантастическом представлении, что их эрекция и девственность их наложниц будут там каким-то чудесным образом восстанавливаться ежеминутно и бесконечно. Не случайно некоторые палестинские террористы-самоубийцы обматывают свои половые органы защитной алюминиевой пленкой, дабы уберечь их для предстоящих наслаждений. А их родители получают даже двойное вознаграждение – как в виде почета, так и в виде наличных. Воистину Аллах придумал для этих людей крайне прибыльное занятие.

Во всем этом проступает не просто до-современное, но поистине докультурное мышление. Коран и исламская традиция установили предписания, способствующие консервации весьма распространенных претензий манихейского типа, которые, в конечном счете, отвергают любую иную социальную альтернативу. Укрепляя свои ортодоксальные структуры во всем мире, ислам по-прежнему характеризуется полным отсутствием в нем одной крайне важной особенности, которая характерна для большинства других культур и является незаменимым каналом для снижения уровня внутриобщинного насилия, а именно – концепции компромисса и жертвенности. Традиционная неспособность рядового индивидуума мыслить себя вне общины, а мусульманского коллектива как целого – решать проблемы власти и отказаться от насилия по отношению к женщине, сегодня не только не ослабевают, но – из-за конфликтов, рожденных столкновениями с современным миром, – даже усиливаются.

В этой связи следует, кстати, припомнить тех западных социологов, нейрофизиологов, антропологов и других, которые отрицают сингулярность человеческого разума. Этого рода ученые, естественно, не испытывают никаких трудностей в «понимании» исламского типа мышления и потому торопятся объяснить феномен «мучеников»-самоубийц как своего рода средство «экстренной защиты». Разумеется, здесь уже речь идет о чистейшей политике, о возрождающихся симпатиях некоторых западных интеллектуалов ко всякого рода радикальным идеологиям, весьма близким к «биологической идеологии» нацизма.

Стерн: Сегодня мы видим рост числа террористических самоубийств –

самого вирулентного вида террора. Хотя эти взрывы составляют лишь 5% от всех террористических акций, но погибает в них 50% всех жертв террора. Многие такие акции, начиная с 1980 года, были частью вооруженной борьбы с теми, кого террористы воспринимают как оккупантов, и различные военные интервенции Соединенных Штатов только усугубили эту ситуацию. Но даже с учетом этого нельзя не заметить, что в прошлом подавляющее большинство военных кампаний США не провоцировали действий шахидов.

Ответ на вопрос «Что побуждает человека взорвать себя?» зависит от многих факторов. Я полагаю, что причины этого, скорее всего, представляют собой комбинацию политических, религиозных, психологических, организационных и материальных факторов. Но отнюдь не все самоубийственно-террористические деяния совершаются религиозными zealots. В свое время большинство такого рода акций совершалось вполне секулярной организацией – «Тамильскими тиграми» в Шри-Ланке. Сегодня эту тактику освоили исламистские группировки.

В Палестине ХАМАС и другие террористические группировки используют религию для оправдания своего стремления к политической самостоятельности и освобождению палестинской территории от израильского присутствия. Для достижения этих целей, которые в большинстве стран мира воспринимаются как легитимные, террористические объединения, действующие в данном регионе, совершают преступления как против израильских граждан, так и против палестинского народа. Главарь террористов намеренно культивирует представление, будто «мученические акции» являются сакральными деяниями, заслуживающими как земной, так и небесной награды. Однако многие авторитетные мусульманские ученые все чаще высказывают убеждение, что деяния шахидов, направленные против гражданского населения, не являются актами мученичества, а представляют собой самое обычное убийство и самоубийство, которые запрещены исламским законом.

Я убеждена, что наилучший подход к анализу ситуации в Палестине состоит в том, чтобы рассматривать убийства посредством самоубийства как своего рода эпидемическое заболевание. Давно известно, что самоубийства способны распространяться в обществе подобно эпидемии, благодаря некой «социальной инфекции», особенно среди молодежи. Исследования показали, что подросток, у которого друг или родственник покончил или пытался покончить с собой, куда более других склонен к суициду. И не приходится удивляться тому, что обычные самоубийства более распространены среди молодежи, подверженной депрессии или сильному социальному стрессу. Разумеется, самоубийственные взрывы отличаются от обычных самоубийств. Они предполагают не только готовность умереть самому, но и убить других. Зачастую, когда планирование такой самоубийственной акции берет на себя какая-либо организация, террористу приходится ждать смерти месяцами, а то и годами, как это было в случае 11 сентября. Тем не менее между обоими типами самоубийств имеется некоторая общность.

Анализируя ситуацию в Палестинской автономии, мы видим, что само-

убийства с целью убийства других людей тоже могут распространяться посредством «социальной инфекции». Имеется некая точка насыщения, после которой культ подобных самоубийств пускает корни в сознании молодежи. Когда это происходит, роль организации становится, судя по всему, все менее существенной – явление начинает разрастаться спонтанно. Сегодня такие «мученические акции» уже стали частью массовой культуры в Газе и на Западном берегу. Так, на улицах Газы можно увидеть детей, которые играют в игру под названием «шахид», которая включает в себя имитацию похорон мученика-самоубийцы. Молодежные рок-группы восхваляют мучеников в своих песнях, подростки называют самоубийц-террористов в числе своих кумиров.

В Ираке в 2004 году было больше взрывов самоубийц (104), чем на всем земном шаре в какой-либо из предшествующих годов. К ним оказались причастны боевики, по меньшей мере, из 15 арабских стран. Судя по всему, в 2005 году число таких акций окажется еще больше.

Из бесед с террористами и с теми, кто наблюдает за ними, я и другие специалисты вынесли впечатление, что терроризм особенно пышно расцветает при наличии чувств унижения, маргинализации и подавленных ожиданий. Заместитель Усамы Бин-Ладена Айван Завахири утверждает, что глобализация предельно унижительна для мусульман. Вот почему, говорит он, она подталкивает молодежь ислама взяться за оружие, чтобы с гордостью и достоинством защищать свою религию, не подчиняясь постыдному «новому мировому порядку». Лидеры терроризма цинично используют это чувство униженности и религиозный пыл молодежи, чтобы пропагандировать такое «мученичество».

Глазов: Благодарю вас, госпожа Стерн. Ваше утверждение, будто «военные интервенции США только усугубили проблему», возможно, верно в определенном отношении – в том смысле, что если вы вступаете в конфронтацию, ваш противник неизбежно прибегает к насилию. Но упоминать об американских интервенциях в связи с темой нашей дискуссии равносильно утверждению, будто это Америка каким-то образом виновата в том, что какой-то мусульманин вдруг бросает учебу в университете и отказывается от вполне комфортного существования ради того, чтобы отправиться в Ирак и там взорвать себя. Между прочим, статья Даниэля Пайпса *Калифорнийский бомбист-самоубийца* дает замечательный пример той разновидности террористов-самоубийц, которые не являются выходцами из бедных, униженных и угнетенных слоев. Они стремятся взорвать себя отнюдь не потому, что якобы страдают от «американского империализма», а по многим иным причинам. А кроме того есть много разного рода военных интервенций, оккупаций и тому подобного, однако вовсе не все противники этих действий взрывают себя.

Госпожа Стерн, вы заметили, что многие авторитетные мусульманские ученые все чаще высказывают убеждение, что самоубийственные взрывы, направленные против гражданского населения, не являются актами мучени-

чества, а представляют собой самое обычное убийство и самоубийство, которые запрещены исламским законом. Это, несомненно, положительное явление, и остается надеяться, что оно получит дальнейшее развитие. Но, к сожалению, мнение этих «авторитетных мусульманских ученых» не оказывает никакого влияния на среду террористов-самоубийц, да и на значительную часть мусульманского мира вообще. Почему родители палестинского террориста-самоубийцы не дрожат от страха, что их сын попадет в ад, коль скоро их уважаемые духовные наставники утверждают, что такое самоубийство противоречит исламскому закону и ведет не в рай, а в геенну огненную? Не может ли быть так, что самоубийство и убийство, в действительности, не так уж недвусмысленно противоречат определенным предписаниям исламского закона? Исламовед Роберт Спенсер в своей книге *Наступление исламских солдат: Как джихад продолжает угрожать Америке и Западу* четко показывает, что джихад во многом основывается на определенных мусульманских религиозных текстах. Верно, в этих текстах есть много мест, где говорится о терпимости и мире, и мы должны добиваться, чтобы именно эти положения звучали громче, заглушая те постулаты, на которые ссылаются и которыми манипулируют исламские экстремисты и террористы. Но вправе ли мы отрицать, что эта негативная и темная сторона ислама существует?

Книга Мак-Дермотта *Идеальные солдаты* неопровержимо доказывает, что совершившие теракт 11 сентября ни в коей мере не были бесправными и угнетенными. У меня есть основания сомневаться в том, что, будь они христианами или даже атеистами, они точно так же горели бы самоубийственным желанием покинуть сей мир, направив свои самолеты в здания, наполненные тысячами людей. Унижение, маргинализация и подавленные ожидания? Да, эти слова вполне подходят для описания чувств моих соотечественников-россиян и многих российских диссидентов, страдавших от советской тирании, включая моих родителей и многих наших друзей. Они испытывали унижение, маргинализацию и подавленные ожидания, но я не могу назвать ни одного, кто вошел бы в кафе и взорвал себя рядом с невинными людьми.

Разумеется, исламские террористы ненавидят глобализацию. Но они ненавидят ее потому, что она делает жизнь на земле все более комфортной. Они же отвергают материальный комфорт и посюстороннее счастье. Радости жизни кажутся им унижительными. Вид счастливой, свободной и безотчетно смеющейся женщины, одетой по своему собственному усмотрению, кажется им оскорбительным. Вот в чем проблема. Так можем ли мы винить Америку в несчастьях тех, кто поклоняется культу самоубийства и убийства, отвергая индивидуализм и стремление к счастью на земле?

Д-р Дальримпл, поделитесь с нами вашим опытом общения с пациентами. Каковы особенности мусульманского образа мысли? И, насколько это возможно, сосредоточьтесь, пожалуйста, на том, что является темой нашей дискуссии: каков образ мысли террориста-самоубийцы?

Дальримпл: Я согласен с тем, что это явление нельзя объяснить только бедностью и чувством униженности. Я полагаю, что дело во взрыво-

опасной комбинации многих факторов. Первым из них является убежденность мусульман, что они обладают некой окончательной, открытой им небесами истиной, то есть располагают высказываниями пророка, которые дают ответ на все вопросы бытия. Разумеется, и среди христиан есть люди, которые точно так же воспринимают Библию, но ныне им приходится жить в мире конкурирующих истин. Мусульмане же создали мир, в котором хотя и разрешается толковать Коран и высказывания Магомета, но нельзя оспаривать их решающий авторитет в ответах на все вопросы. В исламских странах нельзя заявлять, что Бога нет, и потому Магомет был не его пророком, а человеком, страдавшим галлюцинациями.

Однако хоть мусульмане и считают себя обладателями трансцендентной истины, они все же понимают, что мусульманский мир все более отстает от всего остального мира. Япония, Китай, Индия быстро догоняют или даже перегоняют Запад, но ни одна мусульманская страна не сумела добиться большего, чем чисто паразитического благополучия, основанного на нефти, в открытии источников которой ни один мусульманин не участвовал. И в этом смысле даже их богатство напоминает им об их зависимости. Весь арабский мир в целом, если лишить его нефти, экономически менее значим для мира, чем одна финская телефонная компания.

Тот факт, что исламская цивилизация некогда была цветущей, в этом контексте тоже оборачивается отрицательной стороной, ибо побуждает мусульман мыслить в терминах минувшего величия, а не искать чего-то нового. В книжных магазинах мусульманского мира можно найти книги о мыслителях и ученых, много сотен лет назад внесших ценный вклад в мировую культуру, но касательно всего, что было позже, зияет полная пустота. Если бы в последние 300–400 лет в мире вообще не было мусульман, он не потерял бы ни одного из своих технологических или научных достижений.

Поэтому мусульманский мир обуреваем сегодня и чувством превосходства, и мучительным комплексом неполноценности. Неоднократные попытки «догнать Запад», оставаясь в исконных исламских рамках, не увенчались успехом. Более того, это также породило чувство ненависти к самим себе. Как бы современный мусульманин ни ненавидел Запад, он ему жизненно необходим для удовлетворения его потребностей. Все они частично вестернизированы. Даже Усама одевается на полумусульманский-полузападный манер. Не говоря уж о том, что без западной технологии он и шагу ступить не может.

А, кроме того, имеет место каждодневное чувство унижения, вызванное невозможностью найти чисто прагматический выход из этого тупика. Я полагаю, что это тоже важная составляющая исламского образа мышления.

Суммируя, мы имеем: метафизическое ощущение превосходства; технологическую и интеллектуальную отсталость; ненависть к себе, вызванную осознаваемой нечистотой собственных желаний; отсутствие практических путей избавления от каждодневного и вполне реального чувства униженности; и, наконец, обещание награды – для их близких на земле и для них самих на небе.

Глазов: Благодарю вас д-р Дальримпль. Попробуем, с учетом этого фона и контекста, представить себе, что думает гипотетический террорист-самоубийца. Покажите нам, скажем, одного из тех мусульман, с которыми вы имели дело в вашем психиатрическом отделении в Великобритании. Предположим, что он решил отправиться в Ирак, чтобы там взорвать себя. Что происходит в его голове, когда он отказывается от своей прежней жизни и отправляется в Ирак? Какие мысленные процессы приводят его к этому решению? Вообразите себе, что вы пишете сценарий для кинофильма, и сейчас мы должны услышать, что происходит в его голове, когда он бросает учебу или работу, пакует свой чемодан или что там еще и с огромным восторгом представляет себе, как он взорвется в толпе прохожих в Багдаде.

Дальримпль: Следует понимать, что хотя обрисованные мною фундаментальные социопсихологические факторы оказывают воздействие на сотни миллионов людей, лишь очень незначительная их часть действительно хочет стать террористами-самоубийцами. Куда большая часть этих миллионов просто восхищается такими самоубийцами.

Что же все-таки толкает кого-то переступить край? Мои наблюдения подсказывают следующее. Террорист-самоубийца – это обычно человек с интеллектом выше среднего. Поэтому он ищет рационального объяснения своей экзистенциальной неудовлетворенности. А это требует опознания врага.

Человек, который становится «живой бомбой», зачастую имеет свои личные причины для ненависти. Причиной ее может быть повышенная чувствительность к пережитым унижениям, что является вполне нормальной вариацией индивидуального характера, или же иметь источником внешние обстоятельства, как, например, в случае человека, которого изобличили в чем-то, в чем он действительно виновен, но сам он воспринимает такое обвинение как унижение его достоинства. Например, один мусульманин, с которым мне пришлось иметь дело, хотел стать «живой бомбой», когда решил, что Запад прогнал насквозь и утратил все моральные ценности, поскольку поверил показаниям какой-то ничтожной женщины, обвинившей его в изнасиловании.

Акт самоубийства-убийства во имя какого-то дела – это, по существу, *apologia pro vita sua**. Нельзя забывать, что и мы, на Западе, имеем давнюю и постыдную привычку считать, что масштаб жертв, которые люди готовы принести во имя какого-то дела, уже сам по себе свидетельствует о моральной значимости этого дела.

Гипотетический террорист того типа, который мне знаком, рассуждает так: меня обвинили в том, что я сделал; сделанное мною – не преступление; поэтому те, кто меня обвинил, – это самый гной земли; но они являются истинными представителями своего мира, поэтому уничтожение этого

* Дословно – «оправдание моей жизни». по названию знаменитого произведения Джона Ньюмена (1864), англиканского священника, перешедшего в католичество и посвятившего эту книгу оправданию своего поступка. (Прим. ред.)

прогнившего мира будет вознаграждено по достоинству. И не имеет значения, сколько людей я при этом уничтожу. Потому что так называемое демократическое общество – это, на самом деле, преступное общество.

Кобрин: Д-р Дальримпль четко охарактеризовал суть проблемы: виноват всегда другой, и потому с ним нечего считаться, им можно пожертвовать. Д-р Радатц тоже прав, выдвигая на первый план *умму*. Точно так же, как ребенку в мусульманской общине не разрешается отдаляться от матери (*уми*), так эта неразрывная сращенность повторяется и усиливается затем в неразрывной связи взрослого араба с *уммой* как единой слитной группой. Такие сплоченные группы могут иногда стремиться к улучшению жизни общины, а могут нести в себе разрушительное начало. Исламские террористические группы принадлежат к числу наиболее деструктивных, потому что они отправляют своих членов, включая женщин и детей, на выполнение «мученической миссии», по ходу дела убивая ни в чем не повинных людей. Но из того, что это делается вполне сознательно и используется как тактическое оружие, еще не следует, что здесь не существуют также подспудные и извращенные психологические побуждения.

Когда человек не ощущает себя отдельной, самостоятельной личностью, возникает множество тяжелых проблем. Если тебе отказано в индивидуальной жизни, и ты вынужден жить в общине, где власть (в смысле абсолютного контроля над другими) осуществляется жесточайшим образом, посредством убийств во имя семейной чести, избиения женщин, сексуальных насилий, отрубания рук и голов и так далее, то в такой среде страх и террор становятся всепроникающим явлением. Потребность изжить внушаемый такой властью страх через ненависть к кому-то, а, следовательно, и необходимость иметь «врага» утверждаются в детской душе уже с трехлетнего возраста – и, кстати, еврей входит в число самых ненавистных врагов. Именно в детстве начинается для ребенка иррациональное расщепление мира на «любящих нас» и «ненавидящих нас», причем отсутствует всякая возможность перебросить рациональный, познавательный мостик между этими двумя крайностями.

Внешне мусульманский мир выглядит нормально: мы видим множество взрослых людей, которые как будто бы функционируют вполне нормальным образом, но на самом деле под этой видимой поверхностью сознание таких людей расщеплено, и они по-прежнему ведут внутреннюю борьбу за освобождение от подспудного детского страха быть отвергнутыми и покинутыми, непрерывно ощущая унижение и стыд от того, что не способны освободиться от этого страха. И поэтому, когда террористы и *умма* начинают оглушительно вопить, что «мы опозорены и унижены!» – может быть, стоит спросить: какой вклад они сами внесли в создание такого коллективного «я», которое так легко может быть унижено и опозорено другими? Если у взрослого человека есть реалистическое ощущение своего индивидуального «я», его не так-то легко заставить стыдиться себя.

Для мусульманина иудеи и христиане – это *джимми*, которым ислам от-

водит подчиненную роль. Корень этого слова связан с понятием вины, так что можно сказать, что пророк Магомет изначально встроил в свою религию некую социально подкрепленную идеологию, которая позволяет всегда винить другого и никогда не признавать собственную ответственность за трудности своей общины. Не говоря уже о принципе подчинения только Аллаху и неподчинения какому бы то ни было «неверному», что делает всякую оккупацию особенно мучительной для мусульманина.

Как вам хорошо известно, Муса (Моисей) является наиболее часто упоминаемым в Коране пророком. Почему? Потому что, получив Закон на горе Синай, он дал возможность Божественной воле проявляться через обсуждение людьми этой дарованной им Торы. Христиане заимствовали это дарование закона и добавили к нему Новый завет. Положение Магомета было намного сложнее, потому что ему пришлось маневрировать между двумя уже существовавшими религиозными типами. Поначалу Магомет очень многое позаимствовал у евреев, которые в то время населяли нынешнюю «юден-райн» Саудовскую Аравию. Он заимствовал у них в надежде, что они обратятся в его веру. Когда это не произошло, он пришел в ярость и выдвинул принципы *джихада* (войны против неверных) и *даава* (обращения неверных). Тем не менее перед ним и его последователями по-прежнему осталась проблема их смешанного религиозного наследия, то есть их еврейских и христианских корней.

Умма не желает признавать это заимствование. Поэтому исламские террористы готовы скорее уничтожить евреев, чем признать, что у ислама иудейские корни. По существу, этот террор продиктован страхом утратить мнимую «чистоту» своей идентичности. Подумать только – смешаться с другим, признать, что твоя идентичность происходит от других, от *джимми*! Не случайно *джихад* существует только в исламе – ни иудаизм, ни христианство ничего подобного не знают. Следует напомнить, что мусульмане вторглись в Испанию в 711 году не просто как завоеватели, а как воины Аллаха. Они пришли по пути *джихада*. Реконкиста и крестовые походы были всего лишь ответом христиан на массовые побоища и насильственное обращение в ислам. Теперь исламские террористы пытаются обрести «чистую» религиозную идентичность с помощью грубой силы, используя террористов-самоубийц в качестве тактического средства, чтобы разрешить свои подспудные психологические конфликты. Кстати говоря, *Сира* (биография Магомета) сообщает, что пророк дважды пытался покончить самоубийством. Но этот факт – возможно, играющий важнейшую роль модели и образца для мусульманской идентичности, – почему-то редко упоминается.

Я согласна с д-ром Дальбримплем, что нищета и унижение – недостаточные объяснения мотивов террориста. На мой взгляд, очень важную роль тут играет еще и тайный страх, скрытое подозрение, что ты «нечист», что ты – смешанной породы. Мусульман мучает «нечистота их собственных желаний», что сопровождается фантазиями о насилии, и они реализуют эти фантазии, мучая или убивая невинных людей. Подобно серийному убийце,

террорист-самоубийца скрывает под маской нормальности внутренний мир, в котором бушуют жестокие психосексуальные страсти.

Так что понять, как мыслит такой человек, не так уж трудно – достаточно помнить, что он ощущает себя неотъемлемой частью *уммы*. Мышление такого человека – всего лишь отражение того кризиса, который переживает ислам в целом, кризиса исламской идентичности. И этот свой внутренний конфликт они проецируют на Запад.

Глазов: Благодарю вас, д-р Кобрин. Если я правильно понял, вы утверждаете, что одним из самых мощных движущих факторов в исламском терроризме является чувство вины, которое экстремисты испытывают в силу своих собственных психосексуальных фантазий, которые демонизированы в их религии и культуре и от которых они поэтому стремятся «очиститься», преобразуя, с одной стороны, свою ненависть к себе в ненависть к объекту своего желания – в данном случае к Западу с его материальными благами и свободой, а с другой стороны – освобождаясь от своей влекущейся к этому же Западу и потому «грязной» плоти посредством самоубийства.

Д-р Радатц, не могли бы вы объяснить нам, что понимают психологи под такими выражениями, как отсутствие своего «я» или иррациональное расщепление мира на «любящих» и «ненавидящих». Почему и каким образом это, в конечном счете, превращается, например, в ненависть к евреям и в их преследование? И, наконец, каким образом это патологическое мышление преобразует для себя самоубийственные террористические акты в подобие вполне рациональных и легитимных действий. Кстати, хотелось бы услышать также ваше мнение об отмеченном д-ром Кобрин факте попыток самоубийства Магомета. Эта малоизвестная деталь, действительно, весьма любопытна.

Радатц: Я хотел бы, прежде всего, заметить, что наше толкование исламского терроризма во многом определяется нашим личным порядком приоритетов. Я далек от того, чтобы критиковать д-ра Стерн, но мне кажется, что, придавая слишком большое значение «авторитетным имамам, осуждающим террористов-самоубийц», мы попросту успокаиваем себя отвлекающими от дела банальностями. Как вы совершенно правильно сказали, такие имамы не играют никакой мало-мальски заметной роли в мусульманской политике. Кроме того, сами эти высказывания зачастую составляют всего лишь часть так называемой *таки* – предписанной мусульманам обязанности систематически лгать неверным. Ну и, наконец, стоит напомнить, что подлинные «тяжеловесы» мира имамов, люди вроде Мухаммада Тантави и Юсуфа Кварадхави, без всякого стеснения говорят, что террористы-самоубийцы принадлежат к самым достойным и высокочтимым существам, которые Аллах когда-либо смилостивился создать. Но даже среди этих высших существ, по словам Тантави, есть свои «нанвысшие» – это те, кто убил больше еврейских женщин и детей, чем другие. У них больше шансов попасть в рай.

Таким образом, перед нами устрашающая идеология, сконструированная элитой для того, чтобы манипулировать массами. И тут мы подходим к вашему первому вопросу – о личном «я». Хотя многим подвизающимся се-

годня в психологии людям порой выгодно вообще отрицать существование такого индивидуального «я», оно, тем не менее, вполне реально и представляет собой некую – весьма парадоксальную – способность человеческого сознания наблюдать себя в процессе наблюдения за собой. Такое взаимодействие наблюдаемого и наблюдающего образует в данном случае единство, которое мы и называем личностью, и эта личность способна – во всяком случае, гипотетически – до определенной степени отделиться от самой себя и рассуждать о самом широком круге вопросов. Однако в культуре, где личность мыслится – и осознает себя – только как часть некоего целого, будь то *умма* или другое политико-религиозное движение, эта личность утрачивает ту индивидуальную дистанцию, которая необходима ей для свободного суждения о любом противоречивом вопросе. Грубо говоря, свобода ее интроспекции ограничена «дистанцией коллектива», то есть его религиозно-политическими предписаниями и стереотипами. Соответственно, таким людям уже заранее суждено подчиняться предписаниям священных книг и/или лидеров, которые почему-либо считаются легитимными представителями этого коллективного «я» и имеют право решать за всех составляющих его людей. Следует, конечно, иметь в виду, что, благодаря все еще наличествующему у таких людей инстинкту самосохранения, лишь очень малая их часть выберет для себя участь шахида. Но почти все прочие – подавляющее большинство такого коллектива – неизбежно будут разделять присущие этой культуре – в данном случае исламу – способы оправдания таких насильственных путей ликвидации всего, что не согласуется с нею.

Как прямое следствие этого, возникает механизм «позора–почета», весьма типичный для любой тоталитарной системы. Поскольку быть личностью, обладать индивидуальностью, выделяться из массы – это извращение, то становится «позорно» настаивать на этом и, напротив, «почетно», «правильно» отказываться от своего «я» и осуждать других, если они не следуют этому правилу. Такое подавление собственного «я» (по-арабски *таджарруд*) представляет собой признанное обществом и высоко ценимое им усилие подавить в себе индивидуальные соблазны. Среди «нормальных» мусульман мало найдется таких, кто позволяют себе высказывать независимые, откровенные суждения, расходящиеся с официальной исламской доктриной. Тому, кто, как я, долго жил в мусульманских странах, не раз доводилось видеть, как много недоверия, скрытности и тактических уловок существует там даже в самых тесных семейных отношениях. Мусульманин, который нарушает правила или даже просто поступает как-то по-новому, не общепринято, навлекает этим позор и бесчестие на свою семью, на свой род или племя и, в конечном счете, на весь ислам. Эта особенность простейшим образом объясняет, почему в исламе практически неизвестны изобретения и усовершенствования, почему решение даже самых простых вопросов бесконечно откладывается (хотя может быть тотчас ускорено с помощью обыкновенной взятки). И в этом плане я полагаю, что предложенная д-ром Кобрин концепция влияния *уммы* и *умы* заслуживает самого серьезного внимания. Мы рискуем

увековечить наши проблемы, если не поймем, что основы мусульманского образа мышления, действительно, закладываются в самом раннем детстве.

Отмеченное выше отсутствие интеллектуальной дистанции по отношению к вопросам, затрагивающим основы ислама, влечет за собой также манихейское поведение и манихейский язык, равно как и постоянную готовность к применению насилия. Именно поэтому в диалоге Запада с исламом невозможен компромисс. Ислам не признает компромиссов и уступок, и потому Запад, который в силу своей политкорректности, а лучше сказать исламокорректности, боится задевать коренные для ислама вопросы, вроде отношения к женщине или смертной казни для инакомыслящих и отступников, идет на непрерывные уступки всем исламским требованиям. Эти уступки Запада только закрепляют – и тем самым усиливают – характерное для мусульманского сознания расщепление мира на «своих» и «чужих», на «любящих нас» и «ненавидящих нас». Наша исламокорректность уже привела к тому, что в Европе стал утверждаться взгляд на ислам, как на «беспроblemное» явление, которое должно быть приемлемо для любой европейской страны как единое целое, со всеми своими особыми правилами поведения, и которому должна быть дана возможность максимально полно сохранять эту свою особость и отдельность, свою принципиальную неинтегрированность в окружающую среду. Именно в этом духе второй по рангу судья конституционного суда Германии недавно постановил, что мусульманина нельзя принуждать отвечать на вопросы, критически важные для его веры.

При таком особом отношении к исламу не приходится удивляться происходящему на Западе – во всяком случае, в Англии, Германии и Франции – процессу постепенного приятия известной частью общества исламских установок и норм. Этот процесс идет рука об руку с другими аналогичными и явно метаисторическими, выходящими далеко за рамки политики, явлениями, вроде растущей враждебности к женщине, сочувственного «понимания» особых нужд гомосексуалистов и педофилов, а также широко возрождающегося антисемитизма. Последний уже не ограничивается одной только мусульманской средой – он теперь эмансипировался повсюду в Европе. Все это связано с давно известным феноменом – очередной попыткой «выйти за рамки» так называемого «старого», «традиционного» общества. Такие попытки всегда с неизбежностью оборачиваются против евреев как «изобретателей» первого в человеческой истории Закона. Сегодняшний упадок западного индивидуализма и взрывной рост информации, которую обрушивают на людей СМИ, непрерывно укорачивая их коллективную память, тоже, вероятно, способствуют росту радикальных, тоталитаристских идеологий, вроде ислама, со всеми их последствиями.

Что же касается биографии Магомета, то, в действительности, исламские ученые не так уж уверены в правдивости повествования о двукратной попытке его самоубийства. Они вообще предпочитают поменьше вдаваться в подробности его жизни. Личность Магомета – еще одна психологическая проблема, ждущая своего прояснения и уточнения. Это во многом свя-

зано с его беспорядочно менявшимися психическими состояниями и довольно неустойчивой, в силу каких-то глубинных причин, психикой, подмеченной его приближенными. Подобно тому, как Коран нуждается в историческом анализе, так и Магомет нуждается в кушетке психоаналитика. Для меня он «увеличительное стекло» ислама, потому что он как бы концентрирует основные особенности этого имеющего всемирное значение феномена в крохотном ядрышке своей жизненной истории – истории жизни вроде бы ярко выраженного индивидуума, а на самом деле личности весьма массовидной. Присущее этому человеку сочетание чувства своей крайней исключительности с незаурядной волей лидера породило модель, которая может оправдать любое насилие и на мгновение дать любому террористу-самоубийце иллюзию своей индивидуальности – своей смертью он наделяет смыслом свою жизнь.

Глазов: Благодарю вас, д-р Радатц. Хотя вы, конечно, совершенно правы, напомнив нам о *таких*, наличие которой должно предостеречь нас от наивной доверчивости, я, тем не менее, считаю нужным подчеркнуть, что многие мусульмане и мусульманские клирики вполне искренни в своей вере в миролюбие ислама и в своем осуждении террора. Ваше мнение, д-р Стерн?

Стерн: Я согласна с вами и с д-ром Радатцем – есть и такие мусульманские клирики, которые осуждают террор. Но, конечно, не следует наивно думать, будто можно пренебречь мнением тех имамов, которые поддерживают террористов-самоубийц.

Что же касается военной оккупации, то я подняла этот вопрос потому, что он характеризуется как самый важный фактор в недавней книге Роберта Пейпа *Умереть, чтобы победить*. Но мне лично представляется, что терроризм – куда более сложное явление. История знает много оккупаций, но большая их часть никогда не порождала терроризма, а с другой стороны, многие виды терроризма, которые тревожат нас сегодня, не являются ответом на военную оккупацию.

Дальримпль: Я полагаю, что в свете лондонских взрывов разговоры о «военной оккупации» следует рассматривать, в лучшем случае, как удобное оправдание, а не истинную причину исламского терроризма – по крайней мере, за пределами Израиля. По-моему, чрезвычайно интересно, что один из участников лондонских терактов был не только верующим мусульманином, но и поклонником Элвиса Пресли. Это кажется мне противоречием. Мне трудно представить себе какую бы то ни было трактовку ислама, которая была бы совместима с поклонением Элвису Пресли. Всякий правоверный мусульманин должен считать (и, скажу честно, не без оснований), что Элвис Пресли – это символ всего декадентского, что есть в западной культуре. Он воплощает собой победу сексуального желания над всеми ограничениями. Ничто не может быть дальше от ислама. И поэтому сосуществование двух таких форм поклонения в одной человеческой душе наверняка должно порождать ужасный конфликт и мучительное чувство вины. Может быть, наличие таких противоречий объясняет существование

двух типов террористов? Ведь нельзя забывать, что можно быть террористом – то есть убивать людей без разбора – без того, чтобы испытывать желание взорваться самому. Верно, террорист-самоубийца ужаснее, потому что трудно себе представить, что может его остановить, но в целом террорист, который остается в живых, чтобы убивать еще и еще раз, куда эффективней в достижении любой конкретной цели.

В итоге мы имеем две взаимосвязанные особенности: во-первых, исламские террористы (во всяком случае, лондонские) не предъявляют миру никаких специфических требований, а стало быть, во-вторых, они явно пытаются решить какие-то свои собственные, внутренние конфликты. Я думаю, они хотят доказать самим себе, что Запад ничем не может их соблазнить, что они больше мусульмане, чем сам Пророк, и в то же самое время какой-то голосок внутри нашептывает им, что это не совсем так. Смерть для них – способ примирения этого противоречия, эдакая квадратура круга.

Глазов: Д-р Радатц, что вы можете сказать о психической патологии исламских террористов?

Радатц: Ислам допускает и поощряет самые разные формы поведения, но там, где речь идет о достижении какой-то цели, он явно предпочитает обман и насилие, особенно в противостоянии «неверным». Помимо этого, следует отметить их привычку думать, что какая бы неприятность ни случилась, виноват кто-то другой.

Меня заинтересовало замечание д-ра Дальримпля, что один из лондонских террористов был поклонником Элвиса Пресли. Это наводит на грустную мысль, что, в сущности, эти явления сходны – как два разных типа одного и того же массовидного поведения. Наблюдая за поведением слушателей рок-концерта, которые тоже утрачивают индивидуальность и становятся «атомарными» частицами толпы, можно увидеть признаки зарождения «исламоподобных» массовидных движений на Западе.

Мы должны также признать не только спектральную широту ислама, но и особый характер свободы, которую он предполагает. Хотя Коран и исламская традиция предусматривают много промежуточных типов поведения между крайностями войны и мира, мусульмане всегда предпочитают решать проблемы силой, что породило исторически все более усиливающийся феномен, который я бы назвал антиэтикой. Антиэтика означает, что специфически понимаемая мусульманами свобода поведения (то есть выбор из возможностей, предоставляемых исламом) порождает столь же специфическую склонность к насилию в любых ситуациях, где это может дать перевес – как внутри, так и вне исламского мира.

В исламе мы имеем дело не столько с проблемой религии, сколько с проблемой власти и силы, потому что здесь наличествует весьма свободная трактовка того, что называется религией, а на самом деле является предельно обнаженной и, как правило, весьма примитивной политикой манипулирования и подавления. Пример первый: история мусульманского мира свидетельствует о систематическом преследовании евреев и христиан, хо-

тя Коран предписывает иное отношение к ним. Пример второй: история мусульманского мира – это систематическое унижение женщины, избияния, изнасилования и убийства во имя «семейной чести», хотя правила Корана и многие предписания требуют другого. Пример третий: инакомыслящие и отступники подвергаются суровым наказаниям, вплоть до смертной казни, хотя в Коране есть прямое указание, что такие грешники должны понести наказание в загробном мире.

Поэтому не приходится удивляться тому, что мы то и дело сталкиваемся с убийствами во имя «поруганной чести», с террористами-самоубийцами и с массой других преступлений того же рода, выпестованными исламом как идеологией насилия. В своей новой книге *Женщины Аллаха, или джихад между шариатом и демократией* я описываю, среди прочего, как раз этот мир исламского насилия, которое само себя легитимизирует, несколько не нуждаясь ни в какой личности, поскольку ему нужны – и достаточны – только атомарные псевдоиндивиды, легко поддающиеся индоктринации. Это единственная форма индивидуальности, которую допускает ислам. Именно такими были лондонские террористы, которые выросли в мире западной цивилизации, но совершенно не восприняли ни одного из ее индивидуализирующих элементов. Пример этих людей доказывает полный провал так называемой интеграции. Но именно таких людей ислам выращивает, и ими он держится. Все они наделены «от Бога» свободой убивать, и это легитимизированное усилие обеспечивает выживание «общины Аллаха». Разумеется, не все мусульмане поголовно насильники и убийцы, но спектральная структура ислама и все возрастающее число его последователей обеспечивает ему вполне достаточный резерв на обозримое будущее.

Не находя в себе мужества и решимости увидеть ислам таким, каким он является в реальности, европейские политики всячески искажают и затемняют истинное положение дел. Это идет вразрез с их ответственностью за безопасность немусульманского большинства населения Европы, потому что это поощряет все новые террористические акты и убийства «во имя чести» и усиливает риск еще больших конфликтов с исламом в будущем.

Глазов: Знаете, дамы и господа, я чувствую себя подавленным. Неужели нет никакой надежды победить нашего врага? Если верить всему сказанному до сих пор, положение выглядит безнадежным. Г-жа Стерн, не можете ли вы вдохнуть немного оптимизма в наши души, указав, каким способом мы можем одолеть этот культ смерти и защитить нашу свободу, безопасность и привычный образ жизни?

Стерн: Я полагаю, что у нас есть основания для такой надежды. Следует напомнить, что мусульманская община в Лондоне очень быстро отреагировала на взрывы в метро и в автобусах, решительно осудив эти террористические акции. Такого быстрого и резкого осуждения не было, например, после событий 11 сентября. Далее, я полагаю, что службы безопасности и контрразведки теперь лучше понимают противника. Растет также понимание, что полная ликвидация угрозы невозможна и что проникновение в ряды терро-

ристических организаций подчас является более эффективным, нежели попытки прямого захвата или ликвидации террористов. Масштаб сотрудничества между различными странами в этой области тоже непрерывно растет.

Следует также напомнить, что терроризм имеет тенденцию накатывать волнами. Исламский терроризм не вечен, хотя, скорее всего, его сменит какая-нибудь другая разновидность террора. Терроризм как таковой вряд ли исчезнет вообще. Все это означает, что самое важное, что мы, рядовые люди, можем сделать – это как можно сильнее любить своих близких, потому что следует дорожить каждым отпущенным нам днем.

Глазов: Д-р Дальримпль, на что надеетесь вы?

Дальримпль: Я надеюсь, что кровавые теракты заставят, наконец, многих людей отказаться от своего набожного поклонения пресловутому «мультикультурализму», который чем-то похож на наши ресторанные привычки – сегодня мы едим венгерскую еду, завтра мексиканскую, послезавтра ливанскую и так далее. Это, конечно, вполне возможно и очень приятно, но в жизни есть вещи посерьезней, чем разнообразие еды. Возможно также, что люди начнут понимать, что некоторые ценности попросту несовместимы с другими, и будут готовы защищать те из них, в которые мы все верим. И я, конечно, надеюсь, что люди перестанут игнорировать факты отвратительного унижения женщины, которое если и не повсеместно, то весьма широко распространено в мусульманском мире и составляет – я в этом убежден – одну из важнейших причин привлекательности ислама для определенной категории западных мужчин. (Недавний опрос газеты *Le Monde* показал, что среди французов, перешедших в ислам, 83% составляют мужчины. Это очень красноречивое свидетельство.) Я думаю, что если бы мы в Великобритании набрались мужества защищать мусульманских женщин, ислам постепенно утратил бы значительную часть своей привлекательности. К сожалению, жена нашего премьера незадолго до последних выборов отправилась в суд защищать право мусульманских школьниц носить «традиционные» одежды – для того, полагаю, чтобы обеспечить своему мужу голоса избирателей-мусульман, наверняка зная (и будучи обязанной знать), как зачастую отвратительна социальная роль этой одежды.

Кобрин: Думается, что немало еще кровавых терактов потрясет мир, прежде чем *умма* всерьез займется тем, что она же и породила, – феноменом террора. Так что исламский терроризм – это надолго, и поэтому нам важно сохранять выдержку и стойкость перед лицом исламского натиска или обмана. Чтобы успешно бороться с терроризмом, нужно досконально знать самые тайные и глубинные страхи самих террористов. Только это позволит нам, в конце концов, эффективно противостоять исламскому насилию.

*Перевод с английского – Рафаил Нудельман
(FrontPageMagazine, September 2005)*

**ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ**

во время написания дневника заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, позже – помощник Горбачева, ныне сотрудник Горбачевского фонда, где и хранится копия его дневника.

О ВОЙНЕ СУДНОГО ДНЯ

(Из дневника А. С. Черняева)

22 октября 73 г.

...Между тем сегодня усилиями США–СССР прикончена война на Ближнем Востоке. Это колоссальное событие с точки зрения перспектив всеобщего мира. Значит, записанное в нашем договоре с Никсоном «о принципах – консультироваться» на предмет тушения конфликтов, могущих перерасти и т. д., – не просто слова. Это реальность, да еще какая!

А дело было так (со слов Пономарева*). Косыгин не привез из Каира согласия Садата на прекращение огня. Тем не менее, мы решили это предложить Киссинджеру. Он прилетел с самыми широкими полномочиями от президента. И вел себя с размахом, иронически, не торговался по мелочам, уверенный, что все будет так, как надо. Уже, когда он был здесь, израильтяне долбанули Синаю, на западном берегу канала – 300 танков, 13 бригад уверенно расширяли плацдарм, и создалась реальная угроза захвата главных переправ уже с запада. В 4 часа утра с пятницы на субботу Садат вызвал к себе посла Виноградова, будучи в состоянии полной паники, не владел собой. Буквально умолял посла тут же позвонить (т. е. поднять с постели) Брежневу и просить добиваться немедленного прекращения огня. Что и было на утро согласовано окончательно с Киссинджером, передано в Нью-Йорк, в ООН. Совет Безопасности немедленно четырнадцатью голо-

* Борис Николаевич Пономарев – заведующий международным отделом ЦК, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК.

сами принял резолюцию (китаец воздержался), с ней тут же согласились Египет и Израиль. Асад, правда, бурчит, что с ним даже не потрудились посоветоваться.

Сторонам дадено было 12 часов для прекращения огня. Киссинджер, правда, заметил было, смеясь, что в международной практике на подобные дела обычно дают 24 часа. Ему в ответ: «Ну зачем же люди-то будут гибнуть еще целых 12 часов?» Он: «Ну, ладно, пускай 12!»

Так что война, видно, уже кончилась.

Арабов опять «смазали». Очень трудно представить себе, чтоб израильские так просто начали уходить с Голанских высот, из Синая и даже с западного берега Суэцкого канала (выполняя резолюцию 242!) И еще труднее вообразить, чтоб переговоры между враждующими сторонами «под эгидой» начались в скором времени.

Однако нам тоже уже не удастся вернуться к политике 1967–1973 годов: т. е. вновь перевооружать арабов, гнать туда танки, самолеты, ракетные установки и т. д. и в то же время «выступать» за политическое урегулирование. И еще – главное: хотя всем ясно, что мы вновь спасли их от разгрома, и этого они нам уже никогда не простят. Карта наша там бита окончательно. Надо кончать с нашими великодержавными заботами и держать свой авторитет и перед ними, и перед всем миром только одним: не позволим мы вам развязать мировой пожар! А освободительное движение? От него мало что осталось. Кто теперь поверит всерьез в прогрессивность режимов и вообще в какие-то «идеи», если Саудовская Аравия, Кувейт и Марокко выступили в роли самых яростных носителей «правого дела»?! Все это самый вульгарный национализм.

4 ноября 73 г.

...Однако вернемся к Брежневу. Его разговор с Громыко. Министр спрашивает: как, мол, Леонид, будем действовать (на Ближнем Востоке).

Брежнев: 1. Участвовать в переговорах, причем настойчиво и повсюду. На это мы имеем и право и обязанность.

2. Будем участвовать в гарантиях границ. Причем – границ Израиля, потому что именно о них идет речь, они – яблоко раздора.

3. В подходящее время восстановим дипотношения с Израилем. И – по своей инициативе! Да, именно так.

Громыко: Но арабы обидятся, шуму будет...

Брежнев: Пошли они к ебене матери! Мы им предлагаем столько лет разумный путь. Нет – они хотели повоевать. Пожалуйста! Мы дали им технику, новейшую, какой во Вьетнаме не было. Они имели двойное превосходство в танках и авиации, тройное – в артиллерии, а в противовоздушных и противотанковых средствах – абсолютное превосходство. И что? Их опять раздолбали. И опять они драпали. И опять завопили, чтоб мы их спа-

сали. Садат меня дважды среди ночи подымал по телефону: «Спасай!» Требовал послать советский десант, причем немедленно! Нет! Мы за них воевать не будем. Народ нас не поймет. А мировую войну затевать из-за них – тем более не будем. Так-то вот. Будем действовать, как я сказал.

1 декабря 73 г.

...Кстати, из документов я узнал, что во время пика войны на Ближнем Востоке все было совсем не так, как изображал Загладин*: будто бы ночью в Завидове в пижамах, вдвоем в зимнем саду были телеграммы Никсону, гнев против собственных экстремистов, предлагавших крутые меры против Израиля и т. п. Оказывается, когда Израиль, нарушив договоренность о прекращении огня, 22 октября, отхватил еще большой кусок территории на западном берегу Суэцкого канала и двинул танки на Каир, Брежнев сделал две вещи: а) написал Никсону письмо с предложением вдвоем высадить в Египте советско-американские войска; если же Никсон не захочет, то он, Брежнев, сделает это один. Вот почему и последовало объявление американцами боеготовности № 1.

б) Брежнев написал записку членам ПБ, предлагая «что-то» немедленно предпринять – подвести советский флот к Тель-Авиву или разрешить египтянам долбануть по Израилю нашими средними ракетами (но не по Тель-Авиву и Иерусалиму), или еще что-то сделать.

Остаются загадкой две вещи:

– Почему Никсон и Киссинджер (прошел уже месяц с лишним) не сделали утечки информации, хотя они ведь оказались в очень сложном положении, вынуждены оправдываться и перед союзниками, и перед американцами, и перед общественным мнением вообще – зачем они предприняли столь грозную акцию, не имея на то вроде серьезных причин.

– Почему записка Брежнева в ПБ осталась без последствий. Кто и как остановил эту инициативу.

Причем, поразительно, что эта записка не изъята. Ее читали даже некоторые работники нашего отдела, читают и сейчас, когда все обернулось иначе и Брежнев выглядит из записки совсем не так, как он выглядел с этим же вопросом на трибуне Всемирного конгресса.

Все это для меня непостижимо.

* Владимир Валентинович Загладин – первый заместитель заведующего международным отделом ЦК.



бывший политзаключенный, инженер-строитель, автор нескольких рассказов и повестей. Живет в Израиле.

ПЛОЩАДЬ РАЗГУЛЯЙ*

Мемуарное повествование

Мы размещались** в бельэтаже особняка в начале Доброслободского переулка. Над нами жил горный инженер Александр Карлович Шмидт с женой фрау Элизе и доберманшей Герой... Гера была очень серьезной и доброй собакой. Мощная темно-коричневая красавица никогда не позволяла себе попусту рычать на кого-то, лаять без очень серьезных причин. Она знала: достаточно ей повернуть голову в сторону нарушителя спокойствия, и тот сразу сам все поймет. Так она себя и вела на прогулках, когда ей поручалось меня сопровождать. Она шла чуть сзади, слева, как и полагается дрессированной собаке. Но ее никто никогда не дрессировал. Она воспитывалась в большой и дружной семье. И потому вела себя как старшая сестра, отвечающая за младших. К посторонним она относилась сдержанно и доброжелательно. Не было случая, чтобы она кого-то напугала. Напасть на человека – это исключалось! Но если ей поручался «младший», она никому не позволяла с ним фамильярничать, и тут уж была насторожена и собрана. Так и гуляли мы по воскресным дням, если родители мои после поздних маминых курсов должны были заниматься «запущенными домашними делами».

Александр Карлович отпускал ее гулять одну. Она аккуратно проделывала все необходимые процедуры, не обращая внимания на собак и не играя с кошками. Справившись с делами, она ложилась где-нибудь в те-

* Журнальный вариант.

** Москва, вторая половина 20-х годов того века. (Прим. ред.)

нечке, а в холодные дни – на солнышке... Дети лезли к ней, обнимали, держали за лапы, шекотали... Устав от малышей, Гера аккуратно стряхивала с себя их и уходила. Ее знали во всех переулках вокруг. Она была достопримечательностью самого Разгуляя.

...На одном из углов-разворотов Разгуляя располагались молочный и плодоовощной магазины, большой «Гастроном» и аптека. На противоположном – булочная-кондитерская и знаменитая в Москве Филипповская пекарня... и магазин «Мясо–рыба», в народе – «У Васи».

И в эту грохочущую железно-лошадиную-людскую сутолоку Разгуляя Александр Карлович вот уже шесть лет ежедневно отправлял безбоязненно свою любимицу Геру. С плетеною корзиной в зубах выходила она из переулка. В магазинах на «нашей стороне» она, соблюдая очередь, чинно появлялась у прилавков. Ждала терпеливо, когда к ней обратятся: «Гера!» Все продавцы знали ее. Читали записку с заказом. Отвешивали и укладывали снесь. Возвращали в кошелек сдачу. Гладили Геру...

Потом, двигаясь осторожно в массе людей и в потоках транспорта, Гера переходила площадь. И там заходила за мясом и рыбой к Васе.

Продавец Вася работал в этом магазинчике года с 1905-го. В 1954 году, возвратившись в Москву, я застал его в добром здравии, ничуть, как мне показалось, не изменившимся и не изменившим своим добрым привычкам, сделавшим его знаменитым в людской памяти. Вася был очень высок и худ. И работал он за своим прилавком, стоя на деревянном трапике поверх цементного пола. Голова его колокольней возвышалась над «торговым залом». Первое, что видел и на что обращал внимание входящий в магазин, – розовое доброжелательное дяди Васиного лица под ослепительно белым колпаком. Особенностью этого уже тогда почитаемого человека было давно утерянное «работниками прилавка» определяющее для продавца качество: внимание к покупателю.

...Увидав Геру, Вася готовил свертки, доставал деньги из кошелька в корзине, сам относил их кассирше. И обязательно завертывал отдельно сладкую косточку для Геры, угостив ее «специальным» хрящиком. Только у Васи она брала угощение из рук.

За хлебом Гера ходила отдельно. Для хлеба в корзине Геры лежали белые холстинные, до блеска выглаженные мешочки: хлеб в слободе был свят, его не полагалось носить открытым.

К семи часам утра Гера приходила к киоску «Союзпечати», где хозяйничала Полина Ивановна. Тетя Полина подавала Гере перевязанную бечевую пачку. Гордость читалась на физиономии собаки, когда шла она домой в потоке прохожих, зажав зубами газеты.

...Пришедшую в полдень Линду Генриховну, старую няню мальчиков Александра Карловича, квартира встретила молчанием. Геры не было. Старушка забеспокоилась. Поискала-поискала ее во дворе. Прошлась по магазинам на Разгуляе, хотя время покупок давно прошло. Позвонила хозяину. Александр Карлович сразу приехать не мог. Когда же добрался до дома, Ге-

ра уже была там – сидела на полу ванной комнаты, громко зализывала лапы и грудь...

– Кровь зализывает! – догадался Александр Карлович. Он осмотрел ее – никаких ран не нашел, только на голове и на шее нащупал сухие вздутия-рубцы. Но кровь-то на собаке была! Много присохшей крови. Шмидт оставил с нею испуганную Линду Генриховну и позвонил начальнику 24-го отделения милиции Терехову. Отделение помещалось недалеко, в расположенном на Новобасманной улице доме бывшей Басманной части полиции, известной своими до- и послереволюционными квартирантами – от Баумана и Каляева до Маяковского и Есенина... Иван Петрович Терехов, погладив Геру, подтвердил: кровь. И по телефону связался сперва со своим отделением, а потом и с МУРом.

...В то утро газеты запаздывали. Тетя Полина выглянула из киоска, сказала Гере: «Сиди, лапа, скоро привезут».

Гера понимала – не впервой. Она отошла от очереди и втиснулась в узенькую щель между киосками. Села – как подошла в тесноте – спиной к площади, к «браунингам»-таксомоторам. Таксомоторы с утра простаивали. Водители скучали. Одному из них от скуки было, видать, невмоготу. Требовалось развлечься. Он дверцу приоткрыл и, размахнувшись, «от души» ударил по собачьей голове резиновым шлангом. Ударил сильно – Гера от неожиданности не удержалась на лапах, но вскочила тотчас и молча бросилась на обидчика. Шофер успел схватиться за дверную ручку и «поймал» голову собаки... Уже задыхающуюся, теряющую сознание от боли, ударил шведским ключом...

Тут подоспели люди из газетной очереди, разомкнули дверцу... Гера вырвалась... В поднявшейся перебранке ее потеряли.

Потом, когда все уже произошло и было поздно, постовые милиционеры у Красных ворот и на перекрестках Садовой свидетельствовали: «Да, видели вот эту вот собаку – летела в потоке транспорта в сторону Зубовской площади...».

Обидчика настигла она далеко от Разгуляя – на противоположной стороне Москвы, на Потылихе. Заехал он, уже без пассажира, на склад горючего – бензину залить...

Заправщик склада показал: «Заехал этот мужчина. А как вылез из таксомотора, тут как раз и она... Рванула сходу за глотку – и ваших нет! Не пикнул! Я, конечно, закрылся в будке. А она покрутилась у бочки, попила... Все – больше ее не видал. А милицию я вызвал».

Эти подробности мне пересказали лет через восемь. А тогда все было очень серьезно. Что бы там ни предшествовало трагедии, человек-то погиб. «А собака должна знать свое место!» Как негр или стрелочник. «И понимать должна была» – не шофер же! Тут узнали, что хозяин собаки – немец! И что сама она – надо же! – доберман! Чего больше? Еще было им, друзьям погибшего, обидно до невозможности, что о поганой

этой суке столько добрых слов нашлось у людей с Разгуляя, а про погибшего нисколько не нашлось ни у кого, даже которые из таксомоторного парка шофера...

МУР, прокуратура были непреклонны: собаку-убийцу полагалось уничтожить, хозяина, само собою, судить. Действительно: человек-то погиб. Но полез в драку, игнорируя субординацию, Иван Петрович, вызвав ерническую реакцию московской сплетницы – «Вечерней Москвы». Терехова поддерживали коллеги – хулиганье надоело им смертельно, поступок начальника 24-го отделения милиции они оценили. Как оценил его неожиданно Сергей Николаевич Шевердин – тогдашняя «юридическая совесть», московский губернский прокурор.

Было следствие. И суд был. Свидетели – разгуляевцы, числом не менее полусотни, «лично знакомые с собакой Герой со щенков», яростно защищали добермана. Суд ограничился штрафом с хозяина собаки и передачей дела для дальнейшего по нему решения общественности Наркомтяжпрома – по месту службы ответчика. А собаку приговорил к смерти. Но Геру не усыпили. Иван Петрович и сын Александра Карловича Виктор отвезли ее в подмосковный питомник МУРа. Месяцев через десять счастливый Александр Карлович забрал ее, еще не разуверившуюся в хозяйской верности, на дачу к своим мальчикам «без права показываться с ней в Москве»...

В благословенные пятидесятые отбывал я модную тогда общественную повинность третейского судьи в «Полтиннике» – центральном, пятидесятом отделении милиции (располагалось оно на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки). Его начальник полковник Карпов, настороженный ко мне из-за недавнего моего лагерного прошлого, «прозрел» вдруг: «Точно! МУР! Он спас ту самую суку, доберманшу коричневую с Разгуляя! Самую ту Геру! Пошумели, конечно, на Москве: народ-то, он что подумал бы? Парашу пустили: мол, кончили ее. И спасли. Оставили жить. Эли-ит-ная, скажу тебе, собачка была! По союзной бонитировке – лучшая представительница породы! Дочь грозы тогдашних домушников Геммы – тоже, скажу тебе, псина. А вот дочка Геры твоей – Рада, – она меня бессчетно спасала, когда, в войну, мы Москву от банд чистили. А тебя-то как прежде я не узнал?! Я, дружок, так тебе скажу: через это твое знакомство с той сукою, Герой, я тебя теперь знаешь, как зауважал?! Это, брат, железная, вроде партийной, рекомендация – такое знакомство!»

...Меня привезли в тюрьму!* Почему в тюрьму?! Я знал, что тюрьма – дом, и в нем на ключ запирают бандитов, чтобы не разбойничали... Но я не бандит! Почему же тюрьма?.. Тюрьму звали «Таганка». В нее свозили и детей – беспризорных. Милиция и чекисты ловили их в облавах, как живодеры ловили в московских дворах бездомных собак... Еще тюрьму звали *кичман*, нас всех – *матолетками*. Все, все здесь звалось не так, как дома или у фрау Элизе, или у дедушки с бабушкой в Мстиславле. Мальчиков зва-

* После ареста родителей. (Прим. ред.)

ли пацанами, девочек – пацанками и сучками. Кто умел воровать, звался *людем* или *уркой*, кто не умел еще – *фраером*...

Мне сказали: «Слышь, пацан, это твой дом!»

Нет! Это был не мой дом! Здесь нас «держали» в огромных комнатах, которые называли *камеры*, и спать «ложили» на доски поверх «козлов» – их звали *нары*. А сами мы были *хеврой*. Кормили нас дяди *мусора*. Они «выдавали» нам суп – он звался *баландой* – и хлебушко, который назывался *пайка*, или *горбушка*. Дяди мусора нас не били. Потому, наверно, я их не запомнил. А вот когда после осени и зимы меня «перегнали» в Даниловку, в детприемник – здесь запомнил всех. Первой – тетю *легавую* Раю. У нее были черные волосы и доброе, как у моей тети Рахили, белое лицо. Утром она кричала: «Па-дъем!» – давала нам баланду и половинку пайки, а вечером – еще половину и чай. И укрывала «одеялками» самых маленьких. Тех, кто не ложился сразу, она больно хлестала свернутым мокрым тряпичным жгутом. Еще она очень сердилась на маленькую сучку Юльку, которая была меньше меня, била ее. Та днем и ночью плакала чуть слышно, и все звала и звала маму свою... Я не мог спать из-за ее стонущего плача. Плач был похож на тихий вой взаправдашной больной сучки...

Здесь, в Даниловке, в первые дни приходили чужие мусора. Спрашивали одно и то же: «Где брательник?» И про фрау Элизе: «Где проживает?» Я не отвечал – не мог или не хотел. За это мусора били меня рукой по лицу, а тетя *легавая* Рая секла своей мокрой тряпкой...

Я бросался на них, как кидались «психованные» сучки, когда их били, кусался, кричал что-то... Однажды я укусил дядю мусора за руку. На меня «накинули ласточку» – страшный мешок с длинными рукавами... Я успел подумать, что переломился пополам, – услышал, как спина громко хрустнула... Потом ничего не было...

Когда я начал видеть и водички попил из чьих-то рук – это случилось через несколько дней, – *легавая* тетя Рая сказала, что у меня имя неправильное и что правильное мое имя Виктор. Виктор Белов. Я не понимал: почему мое имя Бэн – не настоящее? Но *легавая* тетя Рая звала меня Витёк. Я не откликался. Она сердилась. И снова хлестала меня – как Оливера Твиста – свернутым жгутом, который мочила под краном, снова била меня рукой по лицу... Но и плакать я не мог. Она еще сильнее сердилась. Снова и снова била. И кричала: «Падло! Мамзер!»

Так проходили весна и лето. Когда нападал снег, новая тетя *легавая* Соня вывела нас гулять. За осень и зиму в Таганке, за весну и лето в Даниловке я забыл, как гуляют «на воле». Потому на прогулке захлебнулся воздухом. *Легавая* тетя Соня сперва подумала, что я умер. И позвала мусора Егора отнести меня в «покойнищкую». Дядя мусор Егор в покойнищкую меня не отнес, сказал, что живой я. Он взял меня на руки, как папа или Александр Карлович, отнес в камеру, на койку. Укутал меня одеялком. Посидел рядом. Сказал: «Чего с детьми творять!...»

...Из-за сквозняков дети «болели кашлем». Тех, кто болел сильно, куда-то уносили. Насовсем.

– Ну и слава Богу, – говорила тогда легавая тетя Роза. – Отмучились ангелочки!..

Таганский кичман всегда шумел, днем и ночью – *гудели* малолетки. Мусора орали на них. Когда крик переходил в вой, мы знали: это легавые мусора *метелят* пацанов и сучек палками от метелок или «гладят по-таганскому» – лопатами. Когда же малолетки *базлали*, мы знали: легавые мусора «гладили» их шлангами для воды или пороли *цепками* – цепными поводками для собак. Велосипедными цепями малолеток начали пороть в самом конце моего пребывания в Даниловке, когда страна стала входить в эпоху сплошной индустриализации и появились отечественные велосипеды «Харьковчанка».

Зимою малолетки «психовали» – *бесились*. Тогда в камеры, на длинных поводках, запускали овчарок. Собаки зубами хватали детей, а мусора-проводники выдергивали их за поводки в коридор. В коридоре выдернутых *топтали* – «калечили» ногами. Больше всего малолетки боялись ног легавых тёт: тети легавые ходили в высоких, на шнурках, ботинках. Их острыми носами, подбитыми железными подковками, легавые тети били пацанов в низ живота – «под снасть». После нескольких метких ударов тёт пацаны переставали кричать... «Успокаивались».

Сучек легавые тети топтали – по лицу и животу – обязательно до беспамятства, калеча жертву. Позднее, в лагерях, я убедился: женщины женщин не щадят – уничтожают. То же наблюдал я в Сибири, в волчьих стаях: никогда волчица не оставляет живой соперницу. Закон природы.

Еще я заметил: здесь, в Даниловке, «наши» собаки зубами нас не рвут, не кусают даже, а только *фиксируют*. А рвать – дело натасканного «человека». Или человека без кавычек, в отличие от незакавыченных собак. Не было случая, чтобы даже при психовке, когда и собаки бесились, какая-нибудь из них укусила ребенка. Они даже не фиксировали лежащих! Все было не так в Таганке. Там собаки тоже были «человеками». Из-под собак, после топтания малолеток там *вязали* – «кидали» в «ласточки». И тоже насовсем утаскивали. От животного ужаса перед напавшим на них огромным зверем многие пацаны и сучки – особенно самые маленькие – сходили с ума. Они ведь не могли уразуметь, что страшно не само чудовище с клыками в рычащей пенной пасти, а дядя мусор-проводник, что держит поводок и изрыгает брань и команду «фас, фас!» Старшие из малолеток начинали заикаться и мочиться непроизвольно... Этим лучше уж было бы погибнуть: их начинали ненавидеть и преследовать не только палачи, но и свои. А уж это-то – страшнее любого топтания!

Экзекуции с собаками и топтанием провоцировали вселенское беснование – потерявшие остатки разума несчастные малолетки стаями набрасывались на оплошавших мусоров и легавых тёт, рвали их за правду, стараясь выдрать глаза, откромсать железками «мужицкую

снасть», проткнуть *заточкой* живот тётё легавых, воткнуть им лом в промежность, отрубить пальцы... Частенько это им удавалось – в одиночку справиться со стаей беснующихся малолеток невозможно: дорвавшись до мести, они затихают только на *замоченной* жертве... С высоты опыта-возраста приходит понимание государственного значения Таганок – да и Даниловков, – которых по стране – тьма. Они исподволь готовили кадры исполнителей, которые должны были физически – не бумажными приговорами и постановлениями – прикончить миллионы смертников, в мирное ли время, или на готовящейся войне. Воспитанники Таганок и Даниловков задачу эту с честью выполнили: вослед расстрелянным в 30-х годах чекистам, они и без горячих сердец и чистых рук намолотили наганами и пистолетами ничуть не меньше покойников, чем все вместе армии мира, оснащенные самой вроде убойной техникой и технологией. И вошли после войны офицерским корпусом в «пятые полки» – спецкоманды «исполнителей воли народа», иначе – воли политбюро ЦК КПСС. Народа, который они, приведись только, прикончили бы тотчас в память о том, что с ними, детьми, этот народ проделывал...

...На *бесновку* в Таганке прибывали пожарные. Для них эти вызовы были праздником, заслуженным отдыхом после изнурительной «топорной» работы на пожарах. В зимнюю стужу струями ледяной воды из брандспойтов они вышибали еще не разбитые стекла окон в корпусах, замывали пацанов и пацанок в малые камеры, прижимали их в углах и на койках... Мороз ковал их... После часа-полутора они замерзали в ледяных глыбах... Когда все «успокаивалось», являлся *летило* – фельдшер «дядя мусор Гриша Штипельман». Он щупал толстыми пальцами лед. Сопел. Говорил: «Чего это вы, товарищи? Ведь детей простужаете же! Кончайте, кончайте!» Уходил к себе. Пожарные слушались его: свертывали шланги. А дяди мусора и легавые тети начинали выкалывать изо льда малолеток. Однажды, на моих глазах, они выкололи и тетю легавую Цусю... Кишки из разорванного малолетками ее живота разрубали: они были схвачены тоже замороженными в лед детскими руками...

«Латышский» детский дом, куда меня спустя год перевезли из спецкорпуса детприемника, располагался здесь же, в Москве, на Новобасманной улице, 19. И доньне главные его корпуса стоят по обим ее сторонам.

Почему меня сюда привезли? Зачем? Эти вопросы пришли, как только я невольно сравнил свое голодное существование в вонючей вольнице Даниловского кичмана и начавшуюся сытую жизнь в ослепляющей чистоте боксов-одиночек детдома. Почему меня там морили голодом, а тут сытно и вкусно кормят, там били, а здесь... Полюбили, что ли? Но так не бывает!

Ко времени, когда меня поместили в детдом, латышей (прибалтов) в нем было меньше трети воспитанников. Это были сироты погибших на войнах офицеров русской армии – выходцев из Прибалтики. В спецграфах наших анкет они все числились детьми белогвардейцев. Жили скверно и голодно. Но где-то со второй половины 20-х вдруг всех стали хорошо кормить. Еже-

дневно водить в душ. Часто менять нижнее и постельное белье. Главное – перестали наказывать голодом! Наркомпросовские комиссии в это же время, под началом «ученой тети Лины» и кучи других врачей, начали отбирать якобы нуждавшихся в лечении воспитанников в отдельные группы. Их переводили в новые помещения у сада Баумана. Там сменили им имена и фамилии. По двое разместили в крохотных камерах-«палатах». «Ученая тетя Лина» и на новом месте их навещала. После чего дети из этих групп стали исчезать... Куда? Зачем? На лечение? Но ведь именно в такие группы отбирались самые здоровые мальчики и девочки! Все это было непонятно. Потому страшно... Командовала детдомом старая большевичка Варвара Яковлева, революционная подруга – или любовница – народного комиссара просвещения товарища Бубнова. Он наезжал к ней часто. Принимали наркома Андрея Сергеевича запросто, без церемоний. К нам он относился по-доброму. И, казалось, знал всех в лицо и по именам. Даже по именам сменным. Мы не сомневались поэтому, что исчезновения, которые нас держали в страхе, без него не обходились. Яковлева была женщиной сухой и властной. О ее жестокости среди obsługi ходили легенды. С нами она не общалась. Общалась только, когда это было необходимо. Старшие воспитанники страшились ее: они были уверены, что исчезновения детей происходят и по ее команде.

Нами занимались безликие надзиратели – «воспитатели». Большинство их прежде служили в учреждениях и войсках ВЧК–ОГПУ–НКВД. Значит, были специалистами своего дела. У нас их интерес – наш быт. Дисциплина. Режим. В душу к нам они не лезли. Строги были «по делу». Попусту не придирались. Зря не наказывали. Сами же наказания сводились к «отставке» от сладкого, к замечанию или выговору перед строем, наконец, к «карцеру» аж до трех суток! Виновного запирали на день в хозяйственной комнате... И все это – в одном, столичном, городе с Даниловским приемником и Таганкой... Не иначе – красный уголок системы. Ее ленинская комната... Радоваться бы нам всем – воспитанникам такого детдома! Благодарить советскую власть за любовь и ласку. Но что-то не выходило с благодарностью. Снова начались недобрые сны.

...Мой конвоир Степаныч ухоженным не был. Но, слава Богу и Хозуправлению НКВД СССР, не голодал – три раза в день имел право питаться в закрытой столовой в Большом Комсомольском переулке, что у начала Мясницкой улицы. Мы с ним иногда ходили туда ужинать, когда задерживались у книжных развалов. Но попасть в эту столовую, где питались многие сотрудники союзного Комиссариата внутренних дел и Московского управления, не так-то просто – нужно было пройти два контроля: внешний, сразу же за входными дверьми, и внутренний – миновав короткий коридорчик. В нем немногочисленные получатели «чекистской кремлевки» приводили в порядок сумки с продуктами, перед тем как выйти с ними на улицу и показаться многочисленным москвичам. С самого начала нашего знакомства со Степанычем я догадался, что он стесняется своей принадлежности

к счастливицам, имеющим возможность выносить сумки из столовой. Впрочем, считая справедливым само право столоваться в «хитрой забегаловке». «А что? – говорил он. – Работа у нас – безо времени. Я, например, когда Фриновского возил, по двадцать часов дежурил! И механиком когда – там целыми сутками. И единственно мог что позволить – отвалить на полчаса сюда и поесть по-человечески. При моей койке в общежитии – негусто. А вот когда некоторые неподъемными сидорами продукты по домам растаскивают – непорядок это! Тем более, кругом нехватки у людей».

...В этот раз разговор в столовой мало касался свежести продуктов. Говорили все больше об аресте опасных государственных преступников из высшего эшелона армейских командиров. И все переминали имена Тухачевского, Корка, Якира... Кто-то кого-то поздравлял с разоблачением еще одной группы врагов народа. Кто-то из осведомленных поминал каких-то Ушакова и «ледокола» Радзивиловского – следователей, расколовших подлещов. Несколько раз называлась фамилия Фриновского. Тогда я во все глаза смотрел на Степаныча. Все же было мне до отчаяния неприятно слышать эти откровения ментов с Лубянки, треплющихся о своих чекистских успехах... Степаныч мой молчаливый вопрос понял. И успокоил ответом: «О чем же им разговаривать промеж собой, как не о своих делах? В чужие лезть им интереса нет. А ты не заводись. Ты арестованных знаешь? Дела их тебе неизвестны. А мне вот они знакомы. И ничуть их не жалко. Они, брат, из тех, кому все было нипочем. Они сроду за лесом деревьев не видели. Им мы все – пыль на дороге. Им и... другим тоже. Повидаешь с мое – поймешь. Мне из этих, что арестованы теперь, четверо хорошо знакомы. По гражданской. Командармы, ничего не скажешь. Только была бы моя воля, я б их сам... этими руками. Ладно. Давай-ка поедим. И восвоюси – у нас дел сегодня много еще».

Мы кое-как доели. Вышли. Когда переулочек кончился, Степаныч сказал: «Не мое это дело, однако скажу так, а ты запомни – один, никому не пересказывая. Есть такой Блюхер. Слышал, наверно. Так он позавчера на спецприсутствии – суд так называется, трибунал – обвинил этого Корка! В чем – не знаю. Секретно все. Но если Блюхер сам обвинял своих же товарищей по офицерскому корпусу, то это, скажу тебе, верх подлости! Ну, не офицерское это дело – ябедничать на своих. Ты молодой еще и понять это до конца не можешь, пока. Мне же скоро шесть десятков. Точно знаю: если кто с женщинами обманщик и беспомощность ихнюю использует бездумно и корыстно, тот обязательно обманет кого хочешь. И народ таков. И государство. Я, брат, с летчиками и с шоферною жизнь прожил. Неправда, что все они бабники и ерники обманные. Но есть и такие. И вот кто из них именно такой, тот никчемный человек, тот вор, если по-русски сказать. Когда услышал, кого 26 мая замели, вспомнил их художества. Что они перед государством творили – мне неизвестно. Что с людьми делали – знаю, и как с женщинами обходились – тоже знаю. Потому веры моей им нет. Нет и жалости».

Уже в общежитии, когда мы расположились на койке Степаныча, я спросил: «Но если у них было что-то страшное: государственная измена, например, или шпионаж? Так он – Блюхер – молчать должен был? Или как?»

– Так не при трибунале же товарища своего раздевать догола! Ведь если он, Блюхер, что и знал – он вмешаться мог и пресечь преступление на корню и вовремя. Так? Мог, конечно. Они же вместе одно дело делали. В конце концов, у одного корыта харчили! А тут, видишь ли, «свидетель» Блюхер вдруг важное что-то такое прознал! И, дождаясь, когда у приятелей его, или подельников, руки и ноги позагигали и глотки заткнули, он их лежачих – по ребрам!

А все просто: если тот же Блюхер человек подлый, то подлость его проявится, как у того же Кольцова-писателя или как у твоего Переца.

– Маркиша?!

– Маркиша, Маркиша... Кто его за язык тянул, а? Ведь не Блюхер. Вошь всего лишь, а туда же! Только бы поглубже жопу грузинскую лизануть! И свойство свое выказать неистребимое: выболтнуться наперед, прежде чем подумать – как у троцких у всех. Что еще-то дернуло подонка пакостничать на беде? – Степаныч нагнулся, пошарил, не заглядывая, под койкой, где его имущество хранилось. Словил там старенький, виды выдавший портфельчик... – Вот! – сказал, порывшись в нем и вытягивая из него «Известия». – Дата – 29 января, 1937-й год. Теперь читаем... Сейчас, сейчас. Так:

... На бойни гнать бы вас с веревками на шеях,
Чтоб вас орлиный взор с презреньем провожал
Того, кто Родину, как сердце, выстрадал в траншеях,
Того, кто Родиной в сердцах народов стал...

...Как-то раз мы со Степанычем дошли до Третьяковского проезда. Здесь старик остановился. Поглядел в темную глубину горкой поднимавшегося проулка. Долго молчал. Решился.

– Завернем? Я тут одно место покажу.

Мы прошли под аркой и остановились справа у стены аптеки Ферейна на узеньком тротуарчике. Аптека выходила к проезду высоченной глухой стеной, снизу украшенной заглушенными кладкой окнами. Густел вечер. Небо потухло. Тьма опустилась. Над проездом загорелись редкие желтые огни подвесных фонарей. Тишина стояла. Только внизу, за аркой, шуршал Театральный проезд и чуть слышная музыка откуда-то долетала.

– Вот, – сказал тихо, будто бормоча, Степаныч. – Вот, отсюда всех их вывозят, – он кивнул на глухие серые ворота под домом напротив стены аптеки. – Судят Военной коллегией... На первом этаже. Потом сводят вниз, в подвал. И сразу кончают. А ночью понакидывают в автовозки и через ворота увозят... Вон, где оперативники мельтешатся...

Я задохнулся, выдавил шепотом: «Как... кончают?! Почему?» – я не понимал, про что спрашивал...

– Очень все просто: один – в затылок, с метра, другой – в висок, проверочный. Этот – в упор. Все.

– За что?!

– За «то»!.. Пойдем! – он медленно, тяжело переступая старческими ногами, двинулся вверх, к арке проезда. Я – вслед, на ватных ногах. Услышанное было неожиданно и страшно. Рта больше не раскрывал – спрашивать. Тут вышли на ярко освещенную шумную Никольскую. По ней двигалась пестрая густая толпа. Она кипела разговорами, взрывалась смехом, лизала мороженое, завиваясь водоворотами у магазинных входов, кружила у лотков и стекала с тротуаров...

– Степаныч! – в каком-то никак не угашающем отчаянии спросил я его через несколько дней. – Степаныч, ты меня для чего туда привел?!

– Чтоб знал ты все. Чтоб в проезд этот никогда больше же заходил с товарищем твоим по вашим маршрутам. Мало вам в Москве улиц? Большие уже долбоебы – жениться скоро. И петух жареный в задницу клювануть тебя успел. А все как кутенок играешься. Вот ты теперь знай, каков петух этот бывает... Не будет «Степаныча»... скоро – кто тебе правду откроет про жизнь? Родители? Они у тебя далёко... Бабка старая? Смешно говорить...

...Мы шли по Большой Лубянке, останавливаясь у киосков с газировкой: Степаныч много, жадно пил. И в разговорах свернули в Варсонофьевский переулок.

Он очень нравился мне своей ухоженностью. Этим в Москве отличаются переулки и даже целые улицы в центре, занятые сплошь каким-нибудь одним солидным ведомством. Вот и здесь, в Варсонофьевском, было чисто, тихо, уютно. По обе его стороны вплотную к тротуарам стояли бывшие купеческие особняки и дома городской знати, хорошо сохраненные занявшими их учреждениями. Фасады домов после очередного сезонного косметического ремонта выглядели только что достроенными и свежеекрашенными. Окрашена заново была и заглушенная плотными деревянными панелями решетчатая стальная ограда на каменном основании у дома 9 и автоматические ее ворота, за которыми располагалась большая автобаза какого-то учреждения. Ворота то и дело раздвигались, впуская во двор после проверки очередную машину или выпуская ее в переулок. В эти краткие секунды раздвижки в глубине уютного чистого двора, заставленного большей частью легковыми автомобилями, можно было успеть разглядеть окруженные деревьями дома, тоже будто только построенные.

С Аликом во время наших прогулок мы не раз проходили мимо дома 9, мимо его ограды, мимо ворот. И с трепетом первооткрывателей, волнуясь, заглядывали внутрь, если ворота в эти мгновения раздвигались и открывали двор.

Теперь, со Степанычем, мимо дома 9 мы не прошли: неожиданно он

дверь толкнул в проходную справа от ворот, пропустил меня перед собою и, кивнув приветственно взявшим под козырек дежурным, прошел со мною во двор. Там слева, у ограды, стоял большой стол. Вокруг него сидели по лавкам доминошники – резались в «козла»: смачно шлепали костяшками о столешницу, шумно разговаривали, громко смеялись. Мы подошли. Заметив нас, вся многочисленная компания обернулась и повскакивала из-за стола. Загомонила разом: «Ива-ан Степаныч! Дорогой! Какими такими ветрами?! А это кто же? Внучек? Скажите, пожалуйста, – какой внук-то у Иван Степаныча?!»

– Внук. Внучек. Живете-то как без меня?

– Сам видишь: живем не тужим. Порядка только без тебя мало. Ты-то сам, Иван Степаныч, как живешь-поживаешь? Чтой-то тебя давно видно не было. И похуде-ел! Часом, не болеешь?..

Они разговаривали со Степанычем. Я рядом сидел. Смотрел на них во все глаза. Они почему-то сразу мне понравились: веселые, жизнерадостные все. Приятно было разглядывать их чуть задубевшие, как у всех шоферов, моложавые обветренные лица, сильные руки их, ловко достающие папиросы из одинаковых алюминиевых портсигаров и аккуратно перебирающие твердыми пальцами глазастые фишки домино. Шла от этих людей прохладная юношеская свежесть, мужская упрямая уверенность, спокойная сила. Впервые видел я рядом с собою столько по-настоящему крепких, по-товарищески объединенных профессией и, наверно, дисциплиной взрослых привлекательных людей, разительно отличавшихся от всех, тоже взрослых, которые окружали меня прежде в Даниловке, в Таганке и даже в детдоме на Новобасманной. Хотя я сразу с тревогою сообразил: все эти шофера-доминошники были чекистами, ментами. Но ведь и Степаныч был ментом, чекистом. А сколько доброты в нем помещалось! Как он помог мне, когда оказался я вдруг в тюремном детдоме, один, без пропавших родителей и брата. Все наши многочисленные родственники в Москве и бесчисленные столичные «друзья дома», роившиеся густо вокруг гостеприимного уюта нашего семейного очага, ошпаренными крысами кинулись врассыпную прочь осенью 1929 года, когда слух об аресте мамы и отца долетел до них. Они и сейчас не объявлялись. А старый мент-чекист объявился и согрел меня. И вот тут, на лавочке у стола, мне привиделось: какое-то волнующее облако-чувство обволакивает меня, соединяя с этими симпатичными людьми. Сила, излучаемая ими, и другая сила, исходящая волнами от, казалось бы, совершенно обессиленного моего Степаныча, соединившись, восставала победно против где-то в глубине сознания спрятанного детского трепета перед таинственностью дома 9, его раздвижных ворот, самого Варсонофьевского переулка. И, утвердившись, отгоняла прочь наваждение болезненного недоверия к соседям по столу – чекистам, вызванное, конечно же, устоявшимся комплексом собственных моих несчастий...

Между тем из проходной то и дело выкрикивали чьи-нибудь фамилии – вызывали доминошников к машинам. Игроки вставали неспешно. Потяги-

вались, с хрустом расправляя плечи. Церемонно прощались с нами. Уходили к своим автомобилям. Почти сразу на освободившиеся за столом места подсаживались новые шофера, только что на своих машинах въехавшие во двор или пришедшие от мойки из глубины двора. Они сходу хватались за костяшки и сразу вязывались в разговор. Изредка подходил военный со шпалой в петлице. Произносил: «На выход!». Так же неспешно вставали несколько шоферов, потягивались, прощались с нами и уходили за военным в примыкавший к автобазе двор дома 7. Там, в зелени таких же, что и тут, огромных лип пряталась мойка, а за нею бункер – вход в серое трехэтажное здание. С лавочки у стола мойка и бункер были хорошо видны. И видно было, как входили в бункер шофера, только что сидевшие рядом с нами. Видны были и стоявшие на мойке автовозки столовой с надписями «Хлеб» и «Сосиски, ветчина, бекон».

Так пробежало часа два. За это время всем нам, сидевшим за столом, официантки из буфета выносили несколько раз чай в стаканах с подстаканниками и свежие, с маслом, очень вкусные булочки на тарелках. Я ел и пил с удовольствием и даже с гордостью приобщения к компании симпатичных своих соседей. Ведь здорово очень было трапезничать с настоящими взрослыми шоферами. Они весело перекидывались шутками, кидали друг в друга хлебные шарики и с пристрастием допрашивали моего старика о жизни его «за эти годы», о здоровье, обо мне – его «внуке».

Наконец Степаныч поднялся. В сопровождении шоферов мы прошли к воротам. У проходной Степаныч оглянулся. Внимательно, прищурившись, оглядел двор, дома, провожающих. Мы распрощались с ними. Он взял меня под руку, и мы вышли в переулочек. Сразу за углом он жадно напился у дворничьего крана. Отдышался. Снова взял меня под руку... Часто отдыхая, тихонько добрались до Брюсовского. Там сели на лавочку в скверике за домом 12.

– Так, еще одна экскурсия... В котором дворе мы были сейчас, называется он дом 9, «Объект литер один». При нем – дом 7. Вот с 1921 года и по сию минуту в доме 7, под бункером, в коридорах подвала, казнят. Приводят в исполнение, значит. «Козлобои» – шофера, которые за столом, как есть все – комендантская расстрельная команда. Который за ними приходил и отводил их в бункер – Фельдман-комендант. Мосей Соломонович. После аварии, двенадцать лет – с 1921-го – я на «объекте» служил старшим механиком автобазы. Шоферов не хватает. «Козлобои» по сменам подрабатывают – баранку крутят...

Сначала – с 1918-го – лавочка эта называлась «Спецбаза № 1 ГПУ». Там одни только машины стояли, которыми трупы вывозились. Расстреливали в подвале дома 7, а прежде еще и в подземном коридоре, что шел от дома страхового общества «Россия» сюда, к нам, в эти самые подвалы в Варсонофьевском. Потом Дзержинский Феликс Эдмундович сделал замечание Браверману-коменданту: мол, жалуются жители на стрельбу под полом. Тогда и приспособили коридоры в подвалах в Варсонофьевском. Я только

что автобазу принял, у меня забот – по горло: запчастей нет, специалистов нет. Да и ремонтировать машины особенно некогда – что ни ночь, отправляю грузовики МУРу под курсантов – банды брать. Тогда в Москве бандитов развелось видимо-невидимо! И по ним приговора приводить в исполнение – опять же к нам, на Варсонофьевский. Тогда ведь все без разбору приводили в исполнение: и ГПУ, и МУР, и трибуналы, и Военная коллегия верхсуда. Сказано было: объединить комендатуру по исполнению, чтобы не разводить антисанитарию. Вот и спихнули все на наш «объект». А тут свалка! Трупы вывозить – темного времени суток не хватает, столько их понаваливают... В грузовик сперва по тридцать их сваливали. Потом по сорок – плечи перевозок увеличивались сильно. Покойников из «объекта» поначалу отвозили на Рогожку, в Калитниковское, на Ваганьково, к Донскому монастырю, на Бутово, на Алтуфьево, во Владыкино. Когда все заполнилось, начали отвозить в наш совхоз ГПУ – в «Коммунарку», на «объект № 17», а это уже недалеко, по Калужскому шоссе 24-й километр. Потом, кровь с расстрелянных не вся стекала в подвале, в машину их кидали-то в мокром от крови нижнем белье. Кузова сильно перепачканы, асфальт в ручьях... Даже брезент, которым укрывали на машинах, – весь в крови. Тогда мойку построили – отмывали машины брандспойтами. Я все ходил просился на обыкновенную автобазу. Мне отказ: «Терпи, Панкратов! Люди, которые в исполнение приводят, – они не такое терпят. Вон у Бравермана, у Гутмана, у Песаховича или у Фельдмана – комендантов поспрошай, каково им-то?! А тебе – машины приготовь и прими, когда из рейса вернутся. Всё! Остальное – фанатерия интеллигентская. Терпи!» Терпеть-то терпел. Только видел же: Браверман еврей, а пьян сутками. Значит, и ему невмоготу! А ведь в МУРе он один самого Крохмалю банду брал, одной финкой четырех вооруженных амбалов утихомирил и двух повязал – тоже вооруженных! Пистолет-то в свалке обронил... А про Манделя что говорить: не только что пьяным ходит, а, сдается, мозгами он трекнул... И ничего особенного – тут любой с ума стронется... Так... Года с 1930-го стали мы машины с грузом отравлять совсем далёко – в Бронницы. Это по Рязанскому шоссе, да под саму Рязань. А теперь они возят в «Каналстрой» в Орудьево и в «Торфотрест» по Дмитровскому шоссе... Не пацан, понимаю: рано ли, поздно ли за эти дела придется кому-то ответить. Закон возмездия! Когда-то мне пассажир мой его объяснил – Янис Доред, латыш. Я ведь, мальчишечка, не с ГПУ начинал – с летчиков. Учился. И летал. Почти что всю империалистическую и гражданскую пролетал в разведке, при штабах. И Яниса выводил над позициями и германскими тылами. Был он съёмщиком кино – оператором. Вот мы с ним и летали. И долетались по время, когда они антоновских мужиков истравили газами. И я тогда, в аварии, попал под газ. Провалился с полгода в лазаретах. Списали, конечно. И послали в петроградское, потом в московское ГПУ механиком. Сперва я Мишу Фриновского возил. Года три. Но газ меня и тут настиг – слепнуть стал. И «подняли» меня старшим автомехаником на «объект» в Варсонофьевском. В детдом на

Новобасманную случаем попал. Директорша Варвара приходила на «объект», вроде как в тир, вот я к ней и напросился в водопроводчики и электрики... А ходила она ни в какой не в тир, а на исполнение. С самых 20-х годов сюда многие приходят упражняться. Даже Есенин приходил с женою и Кольцов-журналист с бабами своими... Когда увидел, что и Маяковский ходит – глазам не поверил! Все же такие стихи хорошие писал... Многие приходят. Всё больше писатели – люди известные... Как это все понять? Из-за них, веришь, «козлобоев» перестал презирать. Кто они? Все больше без дела, без специальности, да за пьянку из аппарата НКВД переведенные. Они все верили сперва, что исполняют справедливый приговор трудового народа. Им лестно было доверие! Они гордыми ходили сперва. Ну, а потом поздно было: втянулись, пообвыкли, вроде бойщиков на бойне. Там ведь тоже не просто по первости быка завалить. А вот те, и дамочки с ними, кто к нам ходят вроде в тир, – эти самые настоящие убийцы: им выстрел амбиции колыхает, им мука чья-то – сладость. А на них гляючи, на знаменитых, да на видных из себя, «козлобои» навроде героев становятся. Прямо сказать, если не думать про подвалы эти, я на человеческое подонство насмотрелся. С тем же Антоновым когда воевали. Там ведь одни мужики поднялись – бунтовали. Их продразверсткой прижали невысказанно, они и поподнимались. Мы с Янисом при штабе были, при Тухачевском да при Антонове-Овсеевском. Все знали доподлинно, что затевается и как оно получается на деле. Так ведь это они мужиков удушающими газами поотравливали тысячами! У Яниса все это на кино было заснято. Того мало – они такую систему заложников придумали, что всех мужиков с бабами и детишками ихними под корень изводили – показательными расстрелами. С одного раза пулеметами сотни людей губили. После того дела «объект» – так, баловство! Меня больше всего мучило, что «староста»-то наш, Михаил Иванович Калинин, сам мужик, со своим ВЦИКом побоище против антоновцев – с газами да расстрелами заложников – благословил, вроде архиерея! Я не верил. Мне бумагу Янис показал. А когда и бумаге не поверил, он мне тогда, в Москве уже, кино крутил. В кино засняты были агитпоезда. И в тех поездах – баба его, Калинина. Супруга. Как она в галифе, да в гимнастерке, да в кубанке набекрень из вагона выпрыгивала и в кресло садилась. Перед нею строй офицеров-белогвардейцев выставляли, выносили пулемет бельгийский на станке. И она связанных расстреливала с кресла...



(Она их расстреливала, а Янис Доред – летописец войны – крутил себе рукоятку кинокамеры. И накрутил таких эпизодов девятнадцать. Мог бы и больше, но отвлекаться на съемку позиций. За месяц до отъезда кинооператора-документалиста Кармена на гражданскую войну в Испанию архив Дореда попал к нему. Но только в 1959 году, разбирая завалы роликов в страду переезда в новую квартиру – в высотку на Котельнической

набережной, он наткнулся на эти впечатляющие кинодокументы. Тогда же, кстати, обнаружили и три ролика, переданные Роману Лазаревичу по моей просьбе, – ролики, снятые прокуратурой Волжской военной флотилии в трюмах барж страшного Бакинского этапа 1943 года, что из Каспия пришел по Волге в Куйбышев. Вот с тех дней, когда выгнали нас «разгружать» этот этап, я и понес в себе гордую значимость свидетеля раскрытого ужаса. И нес ее пятнадцать лет. Но когда увидел – в полутора метрах от себя, на белом экране в затемненной комнате – сводимые судорогой смертного презрения русские лица офицеров, взрывающиеся струями свинца из того самого бельгийского пулемета, и тут же – сосредоточенно-собранную в свинной пятак животного экстаза харю калининской бабы Екатерины Ивановны, намертво вцепившейся в ручки гремющей машинки, мне стало непереносимо страшно. Куда как страшнее картины, открывшейся в трюмах этапного «нефтеналивняка»...

Где-то через год, когда Кармен вышел в ленинские лауреаты, Михаил Ромм начал подбирать материалы к «Обыкновенному фашизму». И Роман Лазаревич подкинул ему мысль: включить эпизоды с мадам Калининой и трюмами этапных барж в будущую ленту. Поскольку опознать их национальную и государственную принадлежность – расстрельный большевизм или результат «административно-хозяйственной» деятельности Багирова, Булганина и свояка его Липилова – невозможно: лица президентиши никто не вспомнит, и ленточка на кубанке «черно-белая», а на «этапной» пленке только «безличностные» люки, трюмы и... холодец из тысяч разложившихся человеческих тел, как в наших разоблачительных фильмах о нацизме.

Поостерегся Михаил Ильич: ролики с обыкновенным отечественным большевизмом в ленту «Обыкновенный фашизм» не вмонтировал – страшны были слишком! Без Галича знал:

*Пусть другие кричат от отчаяния,
от обиды, от боли, от голода!*

*Мы-то знаем – доходней молчание,
потому что молчание – золото!*

Поостерегся. Промолчал. Разбирался в «вышечной технологии»: вернутся времена Иосифа Виссарионовича... и что тогда? Тогда умников – в зоны, молчальников – на вышки с автоматами! Потому: «Промолчи!» До времени молчал еще один – Разгон. Бывший любимый зять бывшего главпалача ПетроЧК Глеба Бокия. Брат главных дубяньских заплочных Разгонов. Шестерка Агранова и других. В лагерях столкнулся с Екатериной Ивановной – супругой процветающего президента Калинина, отиравшейся при бане. Поплакали с нею хором. Из-за загубленных ею и им россиян? Нет – из-за горькой ее судьбы: стеклышком выковыривала президентша гнид из зековского белья. Жаль ее. Жаль гнид...

А стоит ли их всех жалеть? Вот, по согласованному комбригом Огородниковым списку посещают Варсонофьевский «тир» заслуженные товарищи. Оттачивают на казнимых ими бывших заслуженных товарищах умение без промаха – с метра и в упор – поражать классового врага в затылок и в висок. И не подозревают они, что хозотдел Управления, неукоснительно исполняя Закон возмездия, уже завез на склад, что в доме 5 по тому же переулку, аккуратные «цинки» с пистолетными патронами для отстрела следующей очереди «ворошиловских стрелков» – для ИХ отстрела...

Известно, «человек ко всему привыкает». Вот и я стал привыкать к тому, что огородниковский список не скудеет. И полнится любимыми на родом товарищами, отмеченными почетным правом тренировки в спецтире дома 7, в известном нам переулочке. Правда, Огородников не здоровается с ними – ненавидит люто. Как возненавидел и я любимого некогда писателя Бабеля, узнав однажды, что и он днюет и ночует в «тире» с бабою Ежова.)

...Раз и навсегда – не переступив еще порога «взрослой» тюрьмы – я запретил себе терять время и нервы на поиск и обдумывание доступных мне вариантов мало-мальски результативной войны с «чертовыми мельницами» большевистского режима, скогтившего мою семью. К такому решению меня подвела не только или не столько ее собственная трагедия, но и мой – пусть еще детский – опыт не спровоцированных мною столкновений с машиной государственного подавления. Тем более что ежедневно и ежечасно пытаюсь объяснить себе происходящее со мною – и только со мною, – я пришел к выводу, глубоко меня поразившему: абсолютная бесперспективность всяческих моих надежд на малейшую победу разумных начал в моих взаимоотношениях с властью исходит из моего трагического одиночества. Возникающая у каждой особи в ситуации экстремальной эфемерная надежда на защиту ее от гибели только тогда оправдана, когда сама популяция, к которой особь принадлежит, нацелена на спасение каждого ее представителя. К сожалению, это не относится к моему сообществу. Более того, это сообщество еще никогда никому не подсказало дела, суть которого – бескорыстная помощь ближнему...

Настоящее дело подсказал приход посланцев мамы. Они пронесли через все шмоны записочки полусотни их товарищей по заключению, которые надо было теперь отправить по адресам, соорудив обычные, ничем внешне не настораживающие бдительную почту конвертованные письма. С Аликом мы эту первую нашу работу быстро выполнили – положили записки в конверты, надписали адреса, наклеили марки и опустили письма в разные почтовые ящики. Мой друг ни о чем меня не спрашивал – я прежде ознакомил его с началами тюремной этики. Потому сразу взялся помогать мне и в иной работе: закладывать в квартирные ящики для корреспонденции списки известных нам заключенных. Ведь сразу же после неожиданно-

го появления на тетя Катериной даче Капцевича и доктора Саввина они начали вспоминать всех своих соседей по нарам, бараку, зоне, не успевших или не сумевших передать им записок к родным. Таких уже в первый их день спокойных воспоминаний оба маминых знакомых насчитали около двухсот! Это была удача! Под копирку размноженные списки заключенных далекого Управления Северо-Восточных Исправительно-Трудовых Лагерьей – УСВИТЛа – мы опускали в разных районах Москвы в квартирные почтовые ящики. Надеялись – как оказалось, не без оснований, – что кто-то случайно обнаружит на нашем листке родное имя. Догадывались – и тоже не без оснований, – что многие владельцы ящиков, обнаружив списочки, тут же бросятся с ними сломя голову в ближайшее отделение милиции или в райотдел НКВД списки наши предъявить – поиметь счастливый случай де-факто проявить лояльность родной власти! Даже те, у кого эта родная власть уже успела отнять кормильца или брата с сестрою. Все это мы учитывали. Старались быть предельно осторожными. В том числе в технике работы. Буквы текстов списка рисовали только одной маркой карандашей, которых дома не держали и которыми сами не пользовались. Абрис букв наносили на бумагу только через окошко-трафарет «командирской» линейки; меняя эти линейки, мы никогда не покупали их в военном универсаме у Арбата, а только в магазинчиках школьных принадлежностей. Сами линейки, разломанные на куски, тщательно прятали в домашнем мусоре. И меняли их не реже двух раз в месяц. Так же, как и школьные тонкие тетрадки в косую линейку. Тетради эти мы тоже дома не хранили. И меняли часто, чтобы каждый раз выбрать изделие другой бумажной фабрики с иным качеством бумаги и даже с другими рисунками на обложках.

Как-то, выбирая новые тетради, я натолкнулся на обложку с высказыванием полярного администратора Самойловича: «Мы превратим Арктику в цветущий сад. И он будет взращен на огромном слое научного и практического гумуса, что мы закладываем сегодня».

Господь милосердный!.. Но гумус-то – это ведь и брат мой Сифонька, пропадающий у Воркуты! И мои мама и отец, погибающие... колымским гумусом, закладываемым вот такими вот «учеными и практиками» – подонками.

После подобных откровений начинало казаться, что только силой ненависти можно жить в моей стране, не сойдя с ума. Я пытаюсь понять действия ученого. Стараюсь уверить себя: его призывы – плод сокрушающего страха перед репрессиями. Они сродни рефлексу обывателя, кидающегося с нашими списками к участковому, – все то же слепое стремление выкрикнуть верноподданство, успеть выкрикнуть, пока тебя не схватили с «поличным»! Но ученый – не обыватель с вешдоком в дрожащей руке. Ученому полагается выкрикнуться так, чтобы слышали, чтобы заметили, чтобы милостиво повел рыжим рысьим оком Сам. Кругом – процессы, дичайшие самооговоры под средневековыми пытками, таинственные московские подвалы. А в них – «одна – в затылок, другая, проверочная, в висок»! Но

мой любимый полярный исследователь Адольф Лазаревич Самойлович, академик, интеллигентный – хотя бы по роду деятельности – человек, должен он понимать, что «крылатые» его измыслы освящают преступления, которым аналогов нет в кровавой человеческой истории, легитимируют и поощряют убийства перегонимых огромных масс населения – зеков и ссыльных – в арктическую пустыню, где голод и мороз перерабатывают их всех в настоящий, а не лозунговый гумус. И чем тогда академик Самойлович лучше «командировочного» соседа на Степанычевом юбилее в клубе Дзержинского с его письмо-посылочной чекистской экономикой? И как жить в ими конструируемом сумасшедшем доме?.. Остается надеяться на Закон Возмездия. Да, палачи все казнят и казнят муками и смертью множество ни в чем неповинных людей. Но двинулся, набирает масштабы и скорость поток-конвейер со вчерашними главными мучителями... А за ними появляются на бесконечной его ленте мучители мучителей... Палачи ПАЛАЧЕЙ... И движутся все эти убийцы, сменяя друг друга, в бездонную дыру Варсонофьевских и Третьяковских... И гаснут там раздавленными окурками. И правдолюбец Степаныч мрачно подтверждает мое любопытство, наколотое несмываемой памятью на сердце: «Да, проходил такой... И этот проходил... Этот не доведен – помер прежде... Этот проходил... Закон Возмездия!»

Мы были обыкновенными мальчишками. Потому очень увлекались автомобилями... К машинам нас пристроил шофер Моисей Сегал, мой сосед по двору. Дочка его была еще маленькой. И он возился с нами, катал на грузовике и давал порулить. Он еще и маму помнил, как она «выручила» его собственную маму от опухоли на гипофизе. Главное, он был еврей. И разрешал себе любить детей – евреев. Говорили, были у него для такого мажорского национализма веские причины. Со времен погромов 1905 года, когда при нем, пятилетнем пацане, бориспольские парубки убили отца и сестер. Еще лучше помнил он погромы гражданской войны, когда никак нельзя было сообразить, белые ли грабят, красные ли, зеленые...

Но то было время, когда юный балагула Мойше Сегал уже научился давать сдачи – в отца пошел, который тоже ломовиком был. И еще совсем мальчишкою мог играючи таскать десятипудовые тюки с пряжей и железом.

К концу гражданской войны Мойше с младшим братом Лёвою перебрались в Москву. Место себе нашли в сараях дома 43 по Новобасманной, у Разгуляя. Завели пару першеронов и огромные полки-телеги. И стали развозить тяжелые грузы. Вскоре женились. Перестроили сарай в квартирку – рук о работу пачкать не боялись. В 1927-м мама прооперировала супруга Моисея Женю. Узнав нас ближе, они стали заходить к нам. Жизнь их налаживалась. Они уже подумывали прикупить еще пару тяжеловозов. Но почувствовали: нэпу конец. Почувствовали прежде записных экономистов. В это самое время началось строительство на Новорязанской улице того самого – огромной подковою – современного гаража. Братья, напеременку извозничая, подались на эту стройку каменщиками. Месяцев за шесть до

окончания работ стали они посещать курсы шоферов-«тяжеловозов». Когда появились первые «бюссинги» – грузовики, Моисей с Леоной сели за баранки механизаторами! Росли дети: у Моисея – дочь, у Льва – сын. Тесно становилось в квартирах-сарайчиках. Моисей нажал на местком автокомбината. Местком – на дирекцию. Дирекция – на исполком. Сработало. Гаражу разрешили за счет производства перестроить Большие конюшни, что стояли во дворе того же дома 43, где они прижились. И где в 1936 году стали жить мы с Бабушкой после того, как нашлись. Условие, которое поставил автокомбинату исполком, – перестраивать конюшни и строить квартиры только собственными – комбината – силами. Все восемнадцать будущих квартир распределили на шумных собраниях. Постановили: две квартиры забронировать за братьями Сегал. Сходу местком, партком и райком закидали «телегами»: оба брата не только что бывшие нэпманы-кровопийцы, но и в синагогу ходят, молятся дома, не хотят работать по субботам. А старший – даже раввин!.. Настучали-то, в общем, правду: в субботу братья не работали еще при лошадях, а в гараже, где смены, договаривались со сменщиками, как им всем удобнее. Раввином Моисей не был. Но миньян из верующих соседей по субботам собирал. И пищу употребляли они кошерную... «Телегам» хода не дали. Время еще для разборок с евреями не пришло.

Три конюшни, которые предстояло перестроить, ставлены были мастерами Немецкой слободы в 1809 году – так выложено было цветным камнем по их фигурным фронтонам. Лошади проживали в них просторно: по старым Бранденбургским прописям на каждого элитного рысака полагались 23 кубические сажени воздуха. Конюшни-дворцы сложены были на века. Потому пережили они семь войн, пожар московский 1812 года, пятерых российских императоров, две революции, нэп и всех хозяев своих: от графа Карла Ноймана – конозаводчика до Гвоздева Сергея Петровича – барышника, прасола, тестовского друга и завсегдатая, собирателя старой московской гравюры. Теперь конюшням, в которых не один десяток поколений элитных орловских рысачков прожили счастливо, предстояло превратиться в новые квартиры. Люди, конечно, не лошади. Потому в каждой конюшне, рассчитанной на четверку рекордистов, строили шесть квартир – по две на каждом из трех этажей в каждом из одноэтажных лошадиных бельведеров.

На вожденном этом объекте будущие его жильцы-счастливчики вкалывали самозабвенно и по-черному! И через десять месяцев – аккурат под новый, 1939-й, год вселились в большие трехкомнатные апартаменты с высотой потолков в три с половиною метра... Сказка! Конечно, не как для рысачков, но все равно здорово. Квартиры свои Моисей и Лев получили в разных, но в соседних подъездах-конюшнях. Зато на вторых этажах. И «спиною» друг к другу. Счастью конца не было!

...Тут, прежде чем рассказывать дальше, весьма кстати вспомнить диалог inferнальных булгаковских героев, почему-то несущих нормальным людям добро.

Итак:

– ...А вот интересно, если вас придут арестовывать? – спросила Маргарита.

(Позволю себе еще раз напомнить читателю, что это был наиболее часто в ту пору задаваемый друг другу вопрос, после «дают ли масло в гастрономе?» или «какая с утра погода?»)

– Непременно придут, очаровательная королева, непременно! – отвечал Коровьев. – Чует сердце, что придут, не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут! Но, полагаю, что ничего интересного не будет...

Все ж таки читающий в будущем, как в телефонной книге, гаер в прежней жизни был человеком порядочным. Потому ответил, что придут. Но... не сейчас. И что чего-то особенного не предвидится – не хотелось ему огорчать свою королеву горькой правдой близости беды...

Тем временем у Сегалов веселье было в разгаре: ели, пили, пели и *Славное море, и Хаву нагила, и Конницу Буденного*, плясали *Фрейлэхс, Семь сорок*. Поздравляли друг друга с Новым годом и Сегалов с новосельем... Напоздравлявшись и напраздновавшись, выпроводили гостей. Подоткнули одеяла давно спавшим ребятишкам. И присели за кухонный столик кофе попить...

И было так – это теперь точно известно абсолютно всем:

– ...А что это за шаги такие на лестнице? – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

– А это нас арестовывать идут, – ответил Азazelло и выпил стопочку коньяку.

– А, ну-ну, – ответил на это Коровьев...

И точно! «Поздравить» Сегалов с Новым годом прибыла в дом 43 квадрига «дед-морозов» с Лубянки. Начали с квартиры Льва, оставив на площадке лестницы чету дворников – понятых, – вызвать, как потребуются. Было два часа ночи – самое время нечисти с ордерами являться.

И пока то да се – пока квартирку шмонали, пока вещи разбрасывали, не поймешь что искавши, еще пара часов прошла. Трусиха Берта Израилевна, жена Левы, трясется – плачет из-за ночного подъема, от навалившегося на семью кошмара, от крика маленького Изидора... И от страха, что соседи услышат... Но соседи не дураки же – понимают все. Не спят...

Сделав дело, двое мусоров, оставив своих товарищей с арестованным и прихватив с собою понятых, вышли, спустились, зашли в соседний подъезд, поднялись к Моисею. Долго стучались: не иначе, после пьянки Сегалы спали крепко. Наконец, вошли с лаем, велев понятым ожидать.

Потом улица байки станет распускать, что, мол, ох, напрасно оперы не взяли с собою понятых к старшему брату – евреи же, с этим народом ухо остро держи! Еще болтала улица, что энкаведешники нарочно понятых

сразу не пригласили, чтоб одним, без свидетелей и лишнего дележа, золото забрать – ну не может такого быть, чтоб у бывших нэпманов да золота не оказалось?! Небось, у Левы-то, у младшего, нашли золотишко какое-никакое. Слыхали соседи, говорят, как звенело-то при шмоне!..

Мура! Досужие разговоры. Обывательские домыслы. Турусы на колесах. Что в действительности случилось и каким таким образом все произошло, никто никогда не узнал.

...В шесть часов утра 2 января на комендантской разнарядке хватились: одной из групп захвата не сдано табельное оружие – револьверов системы «наган» пять штук, винтовка системы «манлихер» одна. Обыск, по-видимому, затянулся. Бывает. В девять снова вспомнили: к этому времени являются на службу оперработники. Если, конечно, успели вернуться с ночной операции и отоспались – работа тяжелая, нервная, особенно по ночному времени. В одиннадцать, когда все жданки прошли, связались по телефону с 24-м отделением милиции на Новобасманной. Выяснилось: обе квартиры заперты, на звонки и стук никто не откликается. Туда сразу выехала опергруппа. У Разгуляя, на условленном месте – около угла Новобасманной и Старобасманной, напротив аптеки – не оказалось малого автобуса с его водителем – машины, что ночью привезла группу захвата и ожидала ее и арестованных. На стук – точно – ни в одной из двух квартир никто не ответил. Тогда двери взломали. Жильцов в квартирах не обнаружили. Обнаружили зато всех четверых «дед-морозов», аккуратно, рядком уложенных на полу спальни в квартире Льва. У всех в наличии «признаки асфиксии» и «следы удара тупым предметом» в основании черепа. И ни крови, да и следов борьбы или сопротивления убийцам. Чего еще не оказалось – это табельного оружия и документов покойных. Конечно же, не найдено было документов, фотографий и ценностей членов обеих семей. Зато обнаружена была... дверь между квартирами, соединяющая их через кладовки в кухнях! Она все и объяснила. Ничего, правда, не раскрыв... Банда захвата – теперь-то, слава Богу, мы понимаем, что это именно банда была, бандитской властью посланная глухою ночью ворваться в чужую квартиру, – так вот, банда захвата дверь эту за лихою наглостью вседозволенности... просрала. А с нею – души свои опоганенные. Ну, и самих Сегалов тоже.

Следственные бригады союзного НКВД тупо, зло, теряя лицо – зная, что без толку, – трясли двор, прилегающие к Разгуляю кварталы, район и территории вокруг Редкино – до Калинина, где обнаружился... брошенный «арестный» автобусик. Мучили с полгода всех, допрашивая даже слепых стариков и детей, истязая их педагогов и опекунов. Вызывали и нас с Бабушкой, вопросы задавали. Мы отвечали что-то, обескураженные... собственным их страхом. Они работали у нас ночами, думаю, чтобы не показываться на Лубянке. Они боялись представить себе: что же случилось у Сегалов?! Они не могли смириться с тем, как, каким образом Сегалы подняли руку на доселе неприкосновенных оперативных уполномоченных аж

самого НКВД?! И что будет теперь, если каждый арестуемый станет встречать их удавкой и «тупым предметом» в основание черепа... Страшно!

...Крикнуть бы, но голо как ничей!

Палачам бывает тоже страшно,

Пожалейте, люди, палачей!.. – попросит позднее Галич.

Тетка братьев, Сарра Ноевна, объяснит через много лет: «Воны ще з самого Борысполю дуже нэ вважалы, якшо хтось бэз спросу заходыв до ихней хаты та чыпав, наприклад, когось рукамы. Такой вже характэр...»

Но это тоже потом...

Даже когда союзники – Германия и СССР – поразграбили Польшу и началась Вторая мировая война, и без того по горло занятая Лубянка не успокоилась. И как раненая россомаха все бесновалась, ярилась, нападала допросами на тот же Бауманский район, на кварталы Басманных, Рязанки, Немецкой слободы, на наш дом, на всех нас в нем. Только почему-то с большей злобой и настырностью. Людмила Сергеевна, Володьки-железнодорожника сестра, пояснила: до смерти напуганные убийствами у Сегалов, дворничиха и ее муж начали вдруг показывать несусветное! И то – подумать только, что было бы с ними, не придержи их мусора на лестничной площадке, а потом не отправь домой?! Так они божатся теперь, когда малость в себя пришли: энкаведешник тот самый, что приоткрыл дверь и велел им уходить, был не из тех оперов, которые делали обыск и арестовывали Льва Сегала! Был он куда старше тех. Висок у него совсем белый, седой совсем – блеснул, когда он голову повернул к свету от фонаря, – на лестнице-то и в передней темно – не разглядеть! И чином он был куда выше тех – точно! Не кубаря у него в тот момент сверкнули в петлице, а навроде прямоугольничков продолговатеньких... Шпалы, наверное...

– Не могло там такого быть! – кричали дворничихе и дворнику. – Немогло! Понимаете? Не могло! Не-е-ет! – бились в истерике оперы.

– Было! – залупалась чета понятых. – Было! Точно вспомнили!..

Вот этот – «седой, со шпалами» – не давал житья-покая орлам-стервятникам с Лубянки. Каково им теперь? С одной стороны, дворник и дворничиха уперлись, паразиты: «Были!» С другой – никто его больше не видел... Есть от чего сойти с ума. В общем, было всем плохо.

Нам с Аликом тоже было плохо. Моисей-то Саулович, да и Лев Саулович – они не раз брали нас с собою в московские поездки и даже в недалекие рейсы по Подмоскovie. И где можно, давали порулить! А ведь такое, только самому пережив, можно оценить, когда сам крутишь баранку. И огромная машина – «бюссинг» – тебя слушается...

Конечно, самое важное в этих поездках с Сегалами было то, что однажды Моисей показал нам один секрет – записки на железнодорожном полотне. Он рассказал, что этапы из московских тюрем отправляют обычно с Казанского вокзала от ветки, что подходит к холодильнику у самого перрона

для дачных поездов, только сбоку. Там у них отдел милиции выходит как раз к путям и на площадь, к путепроводу с Курской дороги на Северные отделения через Каланчевский вокзальчик. Так вот, когда эшелон с заключенными отбывает и проходит ближние городские платформы, люди, просидевшие под следствием и судом месяцы, а некоторые по году и больше, выкидывают в окошки или просто в щели вагонов записочки родным людям с адресами – авось какая-нибудь добрая душа найдет случайно. И отправит по адресу. Или так принесет, если близко. «Понимаете, мужики, – случайно! Как мало надежды у этих несчастных на случай, а вот бросают записочки. И в каждой – чье-то разорванное сердце и крик о помощи! Займитесь записками, мальчишки!»

После этого разговора мы с Аликом несколько ночей не спали – во все глаза глядели на ужас отправки ночных этапов. Там, рядом с тихой ночной Каланчевской площадью, ярко освещенной веселыми огнями и иллюминацией фасадов Ленинградского, Ярославского и самого Казанского вокзалов, в закутке между путепроводом, Новорязанской улицей и отделом железнодорожной милиции, незаметно для прохожих, толпы прибывающих в воронках арестантов разгружают во дворе холодильника. И холодильника ли?! И под матерный лай конвоя и хрипение овчарок загоняют колонны заключенных в теплушки эшелонов, один за другим подтаскиваемых сюда маневровыми паровозами. Все было так непередаваемо тошно и мучительно, что, не сговариваясь, со следующего дня мы начали регулярные обходы всех бесчисленных путей вокзала. И сразу стали наткаться на такие записки. Собирали их десятками, сотнями! И были так счастливы настоящим делом, которое на нас свалилось неожиданно-негаданно.

Собирание записок на путях связано было и с большими огорчениями. Зимой они быстро заматались снегом и становились невидимыми. Копаться в заносах на путях, да еще в черте города, было опасно: тогда обходчики были очень насторожены к посторонним и видели во всех вредителей и диверсантов. И нам не хватало только попасться с поднятыми посланиями «врагов народа»! В теплое время часто шли дожди, особенно утренние, записки намокали. Хорошо, если текст на них наносился простым карандашом. А всего чаще люди на кусочке ткани писали жидкой грязью, подпалывая на спичке обрывок резины от подошвы и смачивая нагар слюною, или писали огрызком химического карандаша, одолженного у блатных. Урки прятали такие карандаши, как прячет приговоренный к смерти ампулку с ядом: они ослепляют себя, залив глаза разведенным грифелем, чтобы не уходить на убийственный этап или не попасть в пыточную камеру и не расколоться под «теплой железкой»...

Да, под дождичком записки мокли. Текст расплывался. Бесценное послание пропадало... Мы время от времени наведывались ночами на Казанский вокзал. И на Красную Пресню, где от пересыльной тюрьмы тоже уходили «веселые» этапы. «Веселые» – это большими эшелонами из пятидесяти–шестидесяти телячьих вагонов со стрелками на тормозных и спе-

циально сколоченных из досок площадках с пулеметами, иногда счетверенными зенитными, на тендерах паровозов, с ловушками-граблями за последним вагоном. Были еще этапы в специальных «вагонзаках», или «столыпинских» вагонах. Но только настоящие столыпинские, связанные с именем российского премьера начала века, были обычными вагонами дачного сообщения, окна которых, как на полотне Ярошенко «Всюду жизнь», закрывались негустыми решетками, через которые заключенные могли обозревать всю красоту проносившегося мимо них Божьего мира. Но то было в тюрьме народов – в России царской. В наше время в родной державе, «где так вольно дышит человек», для перевозки «врагов народа» и прочей сволочи проектируются и строятся институтом «Гипровагон» (Москвa, улица Пушкинская, дом с подвалом-пивной у Столешникова переулкa) вагоны несколько иной конструкции – бронированные пульмановские чудища. В них «купе»-камеры отсечены друг от друга бронешитами. От коридора они прикрыты сплошной решеткой со стальными дверьми-каталками... Погода немного и меня станут возить в этих «вагонзаках». Норма загрузки одного купе, оборудованного трехъярусными нарами «покоем», девять человек. «Загружают», бывало, тридцатью шестью: вцепившись руками в решетку, четверо вертухаев вколачивают в камеру очередного зека ударами сапог. Еще четверо заминают его до отказа в спрессованную массу тел тоже сапогами. При движении вагона слипшийся ком человечины оседает, спрессовывается, монолитится, будто окостеневает. Его уже не размягчают испражнения, самопроизвольно истекающие из теряющих сознание, задыхающихся, медленно погибающих человеческих останков. Быстро умирают сердечники и старики. Вслед за ними погибают легочники и желудочники. Как всегда и везде, выживают самые сильные, самые жестокие и те, кого первыми загнали в камеру: они запрыгивают или по слабым вбегают на нары верхних ярусов. А потом ударами ног отбивают напрочь всех, кто пытается вслед за ними занять условно безопасное место наверху. «Счастливицам» еще не раз «в пути следования» предстоит боем утверждаться на верхнем ярусе. Внизу тем временем идет незаметное со стороны заминание трупов вниз, в ноги. Вытолкнуть их наверх труднее. И незачем: конвой не откатит дверь до прихода к «плечу» маршрута. Дважды в сутки через «кормушки» в камеру закидываются пайки хлеба. Сильные сжирают его, не делясь. Бывает – если конвой литовский – из кормушек на замятых выливают «суп». Шутят...

...Еще с полмесяца покрутившись у пересыльных «посадочных пунктов», мы довольно точно знали время отбытия «веселых» эшелонов. И сразу вслед за ними, тотчас после их прохода, подбирали новые сотни записочек. Пришлось бить челом опять же Володьке. Примерно с этого времени я перестал его так звать, хотя сам он против своей дворовой клички ничего не имел. А называл теперь Владимиром Сергеевичем, что было мне приятно. Бил же челом по серьезному поводу: никаких наших «доходов» не могло хватить на рассылку найденных записок! От сестры его, Людмилы

Сергеевны, я знал, что подруга Володьки, Клавдия Петровна, работает на какой-то железнодорожной почте. И может помочь. Теперь, я решил, самое время обратиться за обещанной помощью. Сам Володька был весьма доволен нашей с Алькой деятельностью на путях. Он даже однажды вскользь сознался: не подумал, что стоит такие кидаемые фраерами записки подбирать и рассылать! И, кажется, заревновал нас к тому, кто надоумил огольцов на правильное дело. Через несколько дней, поздно вечером, Людмила Сергеевна повела меня через грузовые дворы Казанского вокзала на пункт приема почтовых вагонов рязанского направления. Где-то в самом конце бесконечных переходов через пути и мосточки, от вагона к вагону, стоявших на подставках и без колесных пар, мы вошли в уютный зальчик, где хозяйничала Клавдия Петровна. Все помещение было аккуратно заставлено стандартными посылочными ящиками, ящичками и совсем маленькими фанерными коробочками, судя по сургучным печатям на них, приготовленными к отправке. Видимо, хозяйка зальчика знала, зачем мы пришли. Она сходу усадила нас за чай, поставила розетку с вареньем и корзиночку ванильных сухариков. И, доделав свои какие-то дела, спросила меня: «Много ли надо отправлять писем?» Я ответил. Она подумала, поглядела искоса потеплевшими и, кажется, повлажневшими глазами. Сказала: «Приносите, сколько надо. Отправляю. Только чтоб точно раз в неделю. Лучше – в понедельник, вот в такое позднее время, когда я дежурю. Если сторож какой спросит, отвечайте: к тете Клавдии, племянник. И – вот, возьмите судочек, будете с ним приходить и показывать, если что. Можете туда чаю налить, для понта. Все?»

– Спасибо! – сказал я.

Но тетя Люда меня перебила: «Насчет посылочек, Клава...»

– Да! О посылочках. Я ваши посылочные дела тоже знаю. Вы неправильно делаете – большие посылки шлете. На них теперь зарятся, на большие. И в зону они редко попадают – до зоны есть кому их увести и раскурочить, большие-то. Лучше маленькие слать, вроде бандеролей. Дешевле и надежнее. Можно даже их чаще отсылать. Ясно вам? Поверьте мне. Я ведь тоже... не раз и не один год посылки ожидала. Потому знаю... Теперь... это ж разорительно – столько вам посылок отправлять! Вы меня послушайте, что скажу – я ведь давно про вас знаю. И надумала. Понимаете, такие вот, как знакомый ваш, Володя... Железнодорожник... ну, вы знаете, конечно... Такие имеют вроде кассы взаимопомощи. И если припухают где, им тоже сидорки толкают кирюхи из общака. Ну, друзья, конечно... – она улыбнулась. – Так ведь и тогда через обычную почту сидора, ну, посылки, не отправляют... Я вам все не могу открывать. Но вот такое предложение: вы мне сюда приносите все мясные изделия, чтоб отправить. И масло хорошее, чтоб на русское перетапливать. Я вам за это деньгами верну полностью. Вы мне адреса передадите... А дальше мое дело. Согласны? Сахар, там, другое, что надо в зоне, – это все на местах есть. И посылать туда нет резону. Только оплатить. Так мы из «общака» все возьмем. Лады? Ну, тогда хорошо.

С этого дня жизнь наша с Алькой впервые показалась нам такой настоящей, будто стали мы взрослыми. И, научившись всему, приступили к самой нужной работе из всех дел. Впервые обоим, одновременно, пришла в голову мысль: не зря, не зря свела нас наша общая судьба!

Случившееся у нас на Разгуляе в ночь с первого на второе января перевернуло все мои представления о всесиили системы, с которой начал я свое мальчишеское единоборство. Система оказалась не такою уж могущественной, не такою неприступной. Два близких мне человека, мухи не обидевших за время, что мог я их наблюдать, два безоружных законопослушных еврея, без шума и возни, задавили группу вооруженных бандитов, проникших к ним темной ночью, чтобы поломать им жизнь.

Задавили. И исчезли. Оставив их хозяев в растерянности и страхе. Ибо, действительно, если есть в России некое сквозное историческое положение, пронизывающее всю – до дна – дремучую толщу ее «национальной идеи», оно однозначно выражается так: «Это если каждый станет...» жить ли по собственной совести, думать-рассуждать ли не как парткодла и поступать не «как все»? Так и в неординарном разгуляевском случае: «Это если все... вот так вот?!»

...Недолго думая, я побежал к моему опекуну, что жил посреди вот таких вот бандитов. Кому-кому, ему известно все, что той ночью произошло. Как понятно, что чувствуют теперь орлы-чекисты, которых – оказывается – в самый разгар очередной бандитской кампании можно вот так вот прихватить и задавить как крыс.

Мнения моего «консультанта» Володьки, вора в законе, спрашивать я не стал: нравственным кредо его было – «мочить гадов». О чем наслышан я был из источников верных. Но что скажет чекист?

Степаных отнесся к делу спокойно. О нем он знал, конечно, прежде меня. И куда точнее. Но ответил не совсем определенно, будто про себя рассуждал: «Покойные с оружием были... Значит, сопротивления ожидали. Такое дело – не игра... Но, недотепы, дверь не заметили. А она в их судьбе – мина... Во-от... Они и отслужили... Только... там не двое братьев их встретили. Там еще кто-то был. Мастер!.. Но кто? Чтобы все так чисто сработать, нужна высоко-о-кая квалификация! На моей памяти ни один уголовник такое после себя не оставлял. Тот же Ленька Пантелеев. Он все же в ЧК Петроградском поработал, прежде чем завестись и уйти в блатные. На нем убийств – не счесть: раскрытых и таких, что неизвестно – его ли работа, нет ли? Были на нем и такие – без крови. Но чтобы так?.. В Москве наши берут военных. Всегда чисто – военным в Москве деться некуда: пригласят, вроде в штаб или в наркомат, или в парторганы. Там и берут, если не дома. Дома-то в Москве им у своих квартир охрану не поставить. В доме правительства, например. Там охрана – вся как есть наша. Сложнее

на перифериях. На окраинах. В округах, к примеру. Там большой командир – главное старорежимного губернатора. Взять его на месте сложно: у него не только положенная охрана – войско у него. Вмиг повяжут. Сходу – трибунал. И через полчаса приговор – окончательный, обжалованию не подлежащий! Ищи потом виноватых. Такое у Якира было на Киевском. Так Уборевич сыграл. По первости прошло. Тогда стали вызывать в Москву, в «Метрополе» брать. Того же Якира так же вызвали. И попытались взять его в вагоне. Не получилось – охрана всех наших уложила. Якир Ворошилову по связи: так и так! Что прикажете? Климент Ефремович посоветовал не ерепениться. В Москве, мол, разберемся. Фельдмана так же брали – в пути. Ну, Примаков – этот сам явился. Прежде других. Тухачевского практически тоже в дороге взяли. Но не трогали до Москвы. В Москве, перед прибытием, забрали оружие. Словом, брали по-разному. Хотя, конечно, была и кровь. Но чтобы так?.. Тухачевского когда забирали... Это было 26 мая – у нас пограншколу на Скаковой подняли. На всякий случай. И так случалось. Но тут... Все же кто-то им, братьям, сильно поспособствовал... Был кто-то весьма профессионалист! И то, что никто его не видел, никто не знал и не предполагал, – это все за то говорит, что был кто-то! И был этот кто-то Сила! МАСТЕР!.. Но вот кто?»

Степаных как в воду глядел. Только глубина той воды была велика – тридцать восемь лет! Осенью 1977-го мы с Ниной были приглашены в США. Так получилось – по существу гостевая, к родичам, поездка за океан обернулась государственной: встречи с конгрессменами и сенаторами моих сестер и братьев, с их губернаторами, наконец, гостевание у Эдварда Кеннеди и Джимми Картера. Потому внимание прессы и, конечно, телевидения, которое показало – в числе прочего – и мои детские фотографии. Естественными (и ожидаемыми) были отклики американцев. Но один из них – телефонный звонок из Иллинойса – был куда как неожидан: абонент, не называя себя, предложил встречу, «которая Бэну будет приятна»! За полтора месяца мы накатали 22 тысячи миль. И, конечно, никуда больше ехать не собирались. Потому договорились с ним, что он будет нашим гостем в доме моего кузена под Вашингтоном. Через несколько дней мы встретились... с сыном Льва Сауловича Сегала Израэлем!

– Какое чудо! – были первые его слова. – Какое чудо! Я случайно вошел к мальчишкам и увидел на экране ваше лицо! Я сразу вспомнил эту фотографию, и тотчас мне представились вы, и ваша Бабушка! Чудо!

Два дня мы говорили о прошлом.

Израэль теперь был высокий, крупный, плотного сложения сорокасемилетний мужчина с глазами его матери и ухватками дядьки. Наконец, я задал ему вопрос о той ночи. Он охотно откликнулся на него – все же это была ТА ЕЩЕ ночь! Такие не забываются никогда.

– ...Конечно, конечно, – засмеялся Изя, – мы тогда были не одни. Приоткрыл дверь на площадку и отправил понятых домой мой самый старший дядя Аба! Аба проездом был в Москве. Он очень редко навешал нас. За мою

тогда девятилетнюю жизнь он виделся с нами, быть может, пять или даже меньше раз. С 1920-го дядька служил на Дальнем Востоке. И был уже полкашом погранвойск. А началось все очень давно. Во время Бориспольского погрома 1905 года он, по мнению моего миролюбивого папы, немного переборшил. И вынужден был бежать из родных мест. Судьба привела дядю сперва в Хабаровск, а чуть позднее – во Владивосток. У него была идея уехать в Палестину, где к тому времени жили многие наши родичи. Сами понимаете, дядьке пришлось обзавестись видом на жительство с новой фамилией, именем и отчеством. Конечно, он брался за любую работу. Но, человек огромной природной силы – и сметки тоже, – дядя Аба, а теперь уже Александр Сергеевич, ввязался в профессиональную борьбу. В 1914-м в Благовещенске с ним – прямо в цирке после представления – познакомился ссыльный Трилиссер, только что отсидевший срок в Шлиссельбурге по какому-то там политическому делу. Тогда этот человек еще не был бандитом и очень понравился дядьке. Интересно: они сошлись на ниве полиглотства! Сам Трилиссер знал несколько европейских языков. И был приятно удивлен, узнав, что дядя Аба, пока мотался по Восточной Сибири и Дальнему Востоку с цирками шапито, заговорил по-китайски и по-японски. И когда произошла Февральская революция, а затем и октябрьский большевистский переворот, Меир Абрамович Трилиссер – человек, по отзывам дядьки, величайшей притягательности своею убежденностью – втянул в свои политические дела и дядю Абу. Так, после Иркутска с его Советом, после Сибвоенкомата и Центросибири, после Благовещенского подполья и Дальбюро, Аба вслед за Трилиссером очутился в Москве, в аппарате ВЧК. Вот он-то точно был бандформированием высшей пробы! И то, что творилось им в Москве и в Питере, было Абе поперек горла. В это время Фриновский начал формировать институт пограничных войск. Аба кинулся в него как в омут – куда угодно, только не в аппарате чекистских разбойников!

И послан был на Восток – ведь не каждый день Москва могла выделить для такого важного участка службы натаскавшегося при Трилиссере коммуниста, да еще владеющего свободно языками сопредельных государств. Так дядька оказался в погранвойсках, сперва в Тихоокеанском, а потом в Северо-Восточном погранокругах. За время до злополучной ночи января 1939 года он успел побывать и в ролях заместителей, а потом и начальников этих округов, товарищем военного министра и заместителем главкома армии Дальневосточной Республики Блюхера. И поработать с Василием Константиновичем в Китае, когда там создавалась «народно-революционная армия». В 1935-м Блюхер стал маршалом, их общий друг и сослуживец Абезгауз – командиром корпуса, а сам Аба – Александр – полковником. Немного времени прошло – началась эпоха арестов. Аба никогда не обольщался своим положением. Он уже в Москве в 1920 году понял, что за система власти пришла на смену российскому царизму. И если не бросал своей пограничной службы, то только из-за исключительной возможности, которую она открывала перед человеком, внимательно отслеживающим мир, где злая

судьба указала ему жить и растить детей. Детей же у Абы к этому времени было трое – сын и две дочери. Все они были погодками. Все тогда заканчивали – один за другим – геологический факультет в Хабаровске. Его созерцательности пришел конец, когда были арестованы Тухачевский, Якир, Гамарник, другие хорошо известные ему военачальники. Он был поражен поведением своего товарища – Блюхера, неожиданно выступившего на суде против своих коллег. Вот тогда и приготовился дядя Аба к войне с бандитами. Он ведь прекрасно понимал – опытный пограничный волк, – что его война особая – без правил, без сантиментов, без рыцарских фокусов. Все же он в чекистах состоял, в высшей чекистской касте. И уж кому-кому, а ему известно было все, что проделывали его коллеги по далекой Лубянке со своими вчерашними товарищами. И как они все это проделывали...

В начале октября 1938 года Аба с женой отправились в четырехмесячный отпуск. Почти три месяца провели они в санатории имени Фабрициуса на теплом Черном море. А остаток их льготного отпуска – все же северянами были, жили и работали аж почти у 65-й параллели! – они решили провести в столице у братьев. Так Аба и Маргарита оказались в ту ночь в квартире дяди Моисея и Жени. Судьба!

– Подробности нашего освобождения от вломившихся к нам погромщиков до сих пор вызывают во мне оторопь, – продолжал Израэль. – Потому не берусь сравнивать, что было для нас страшнее – налет ворвавшихся к нам бандитов или профессионализм дяди Абы, с которым он и дядя Моисей встретили ночных «гостей»?

...Нас отвезли куда-то на маленьком автобусе. Оттуда – уже на такси – на какой-то вокзал. Позднее к нам присоединились дядя Моисей с тетей Женей и Райкой. Куда-то пропал папа. Оказалось, он «отводил к чертовой матери» автобус. Ехали поездом. Очутились в каком-то Быково. Там дождались папы. И через сутки улетели на Север. Нас все время опекал усатый старик, которого с папой познакомил в Быково дядя Аба. Путешествие длилось больше месяца – из-за погоды были частые посадки и ожиданки. С неделю или больше жили в поселке Анадырь у дяди Абиных друзей. Вообще – у него везде были на Севере друзья! Из Анадыря нас «перебросили» – через Магадан – в Усть-Камчатск. С месяц мы отдыхали. Наконец, прибывшие за нами два морячка-пограничника куда-то отвезли нас. И после встречи, а потом прощания с дядей Абой мы оказались на «японской стороне»...

А еще через месяц нас «устроили» к рыбакам и привезли в самую Японию, в город Нагасаки. И оттуда на огромном пароходе мы ушли в Маньчжурию. Здесь мы жили с полгода. Объездили страну. И двинулись, наконец, в Америку... Где, как видите, живем-поживаем...

– И все живы-здоровы?!

– Все, да не все... Живы мои старики. Жива тетя Женя – она часто вспоминает вашу маму – свою спасительницу... Вообще, мы не забываем Москвы, вас всех... А вот дядя Моисей в 1948 году погиб в Израиле...

– В Израиле?!

– В Израиле. Бросился туда «драться за евреев»! Вспомнил погромы... Между прочим, и дядя Аба там же погиб. Четыре года назад... На войне. В 1942 году он с семьей тоже ушел из вашего «большого оцепления»... Но не как мы. Их, офицеров-пограничников «из евреев», с семьями, откомандировали «на укрепление» ЛЕХИ. Но ненависть Абы к большевикам заставила его плюнуть на их палестинских апологетов. Он ушел в британскую армию, пристроив Маргариту и уже взрослых детей где-то в Яффо.

Возвратившись с войны, служил в британской полиции. Потом воевал во всех войнах за Израиль. И до смерти своей оставался в кадрах ЦАХАЛа.

– И все же, как он – пусть профессионал, пусть при помощи твоего отца и Моисея, тоже не слабаков, как он... они сумели разделиться с четырьмя вооруженными громилами (с пятым – в автобусе)? Так тихо и «мирно» их «уговорить»?

– Всё Аба. Я тогда уже сообразил: ему что человека, что муху... Сам говорил: «Работа у нас такая».

...Мы с мамой сидели в спальне. Папу пристроили они на табуретке посреди столовой. За спиной у него торчал один из тех... Другой мотался по квартире... туда-сюда, туда-сюда...

Вдруг услышали – банка стеклянная разбилась... На кухне. Тот, что бежал, крикнув: «Крысы!» – кинулся на звон... Вот и все... Услышали только, как – тут же – всхлипнул негромко солдат, что стоял возле папы.

Папа появился, измученный, растерянный. За ним дядя Аба – раскрасневшийся, веселый. Шутил. Маму попытался рассмешить... Но какой тут смех.

Начали помогать маме чемоданы собирать. Аба снова шутил. Смеялся весело – маму успокаивал... Да-а... Он-то, дядька-то мой, Аба, он куда страшнее тех... убитых!.. Зачем он их так? Наверно, можно было их не убивать – связать просто... Или я чего-то не понимал тогда?.. Мы вышли. Влезли в автобусик у начала Старобасманной. Под сиденьем лежал еще один... в одеяле... Ужасно!.. Прямо Куликовская битва! Да, да! Именно Куликовская битва! Русь от налетов татар она не спасла, они снова возвращались. Москву не раз еще сжигали... Но сражение научило: сопротивление врагу возможно, бить его правомерно!

...Сорок лет пролетело.

Аудитория кафедры оснований, фундаментов и военной геологии Военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве. Читаю высшему инженерному командному составу армии очередную лекцию своего двухгодичного курса «Подземные сооружения в вечной мерзлоте». Курсанты – главинжи округов, начальники главков министерства, институтов, организаций – напряженно слушают. Дотошно записывают. Склоненные над столами лица напряжены, сосредоточены. Мысли... Мысли при этом далеки от темы. Весной слушатели курса повышения квалификации будут сдавать экзамены. Мне, штатскому, не обремененному заботами о службе, о возвра-

сте, который вот-вот подскочит убийцей. И сразу же казенное поздравление министра. И... приказ об увольнении по возрасту, трижды будь ты генерал или адмирал, единожды или дважды Герой, легенда Великой Отечественной или заслуженный, с мировой известностью профессор или доктор военных наук... А тут этот «никому не нужный» курс с четырьмя семестровыми госэкзаменами, словно у салаг-курсантов общевоинского. И каких экзаменов?! Гидравлика, гидродинамика, шахтные сооружения в мерзлоте – исследования, изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация! И совершенно прежде неизвестные разделы теории «малых величин», без которых не решить ни одной рутинной трехмерной задачи!.. Надо же им попасть в полосу трагической неудачи – внезапного «озарения» руководства страны в том, что главная-то, арктическая граница государства с врагом и агрессором номер один вовсе не прикрыта! И теперь, «в самые сжатые сроки» необходимо эту границу протяженностью в добрых полтора десятка тысяч километров по фронту и в тысячу – в глубину запереть и обустроить! А эта глубина – сплошь вечная мерзлота, сложнее которой ничего на свете нет!.. Словом, ничего, что способствовало бы поддержанию дружеских, даже доверительных хотя бы отношений со мною большей части аудитории. Экзекутор я для них. Да еще чистой воды шпак – обстоятельство вовсе непереносимое в их субординационном величии!

Тишина. И в ней – мой голос, отскакивающий от стены глухой враждебности... И вдруг!.. Вдруг!..

Вдруг из дальнего ряда поднимается высокий седоголовый полковник. В аудитории полковники в меньшинстве. И, как правило, не возникают. А этот:

- Разрешите обратиться, товарищ профессор?
- Прямо сейчас, на лекции?
- Так точно! Серьезный вопрос.
- Если серьезный – пожалуйста.
- Это о вас в «Науке и жизни»?.. Это вы? Вы тогда писали на тетрадных листках списки заключенных и кидали их в почтовые ящики? Ваша вроде фотография – вот!
- Да.

Тогда он вынул из верхнего кармана кителя пластиковый пакетик, извлек из него сложенную вчетверо бумажку. Даже от меня, с кафедры, показалось, что она пожелтела и на сгибах поломалась...

– Вот ваш листок, товарищ профессор!.. С фамилиями. С адресами лагерей... Четвертым в списке – мой отец, Примаков Валентин Илларионович... Мама кинулась тогда, с листком, по этому адресу. На Колыму. Полгода проездила – нашла отца! Он дошел на общих. И умирал. Мама оставила меня с сестрою у деда. И моталась терапевтом по зонам и больничкам Колымы. Но отца спасла. И хотя мамы мы не видели почти что пятнадцать лет – она в отпуск к нам приезжала в 1953 и 1955-м, – вернулась она вместе с отцом... Спасибо вам, Вениамин Залманович... У меня еще вопрос. В

1938-м мы с мамой, сестрой и дедом жили на Большой Почтовой в Буденовском городке летчиков – отец был пилотом-испытателем на 24-м авиазаводе... Это вы лично писали? Вроде ваш «почерк». (На доске я писал полупечатными буквами – огромная, девятьсот слушателей, аудитория иначе ничего бы не разобрала.)

– Почерк мой. Но в ваш ящик по Большой Почтовой этот листок бросил мой друг Алексей Молчанов. Он жил на Новой дороге, рядом с вами.

– Где он теперь?

– Алексей Михайлович Молчанов погиб в первые дни войны. Солдатом. А его отец, Молчанов Михаил Иванович, директор 22-го завода, комдив, погиб в сталинских застенках в 1938 году...

И тогда... Тогда инженер-полковник тихо, в замершем зале, командовал:

– Товарищи генералы, адмиралы и офицеры! Прошу встать!

Будто вихрем сорванные со своих кресел, все встали. Они все на меня смотрели. Я – на них. И никого не узнавал: не глухой зал, аудитория – люди передо мною были.

– Товарищи, – так же тихо произнес Примаков, – товарищи... Я прошу вас почтить молчанием светлую память героев – отца и сына Молчановых, Михаила и Алексея...

Разошлись за полночь. Все, абсолютно все изменилось в наших отношениях с той ночи на Покровском бульваре в Москве... Генерал Примаков провожал нас в Израиль...



Вокруг нас шли аресты. Тихие, по кухням, разговоры об арестованных родственниках, знакомых, известных артистах, художниках, музыкантах изматывали людей, ожидавших своей очереди... В том кругу, где я жил, говорили об этих несчастных с жалостью, вспоминали какие-то их добрые дела, какие-то красивые поступки. И поминали, поминали, хотя никаких сведений об их гибели не имели – одни слухи.

Но вот один арест, происшедший в мае на Переделкинской даче, вызвал у всех, кого я тогда знал, шок... удовлетворенности... По язвительным репликам Григория Марковича Ярона выходило: один из моих любимых писателей – Бабель «удачно вписался в созданный им любовно-деловой треугольник»: Николай Иванович Ежов – Евгения Соломоновна Хаютина – сам вписавшийся, Исаак Эммануилович. Только надолго ли? Ненадолго, как оказалось. Вообще, вокруг имени Бабеля постоянно плелись легенды сомнительнейшего свойства. Поминался его «не совсем корректный» поступок в отношении молодой еще Бабановой. Актрисой театра Мейерхольда, она была попросту изнасилована автором недавно только увидевшей свет «Конармии» – прекрасной книги. И был он за то бит не единожды: сразу после скандального события – мужем Евгении Соломоновны Алешей Гладуном, позднее – мхатовцем Баталовым Николаем Петровичем, нако-

нец, и весьма обстоятельно, ГАБТовским басом – самим Максимом Дормидонтычем Михайловым. Во всех случаях – за бахвальство по пьяной лавочке «викториями» над женщинами, к которым он тянулся задолго до экзекуций в ПетроЧеКа. Ему руки не подавали. Не садились с ним за стол. Не приглашали. Не принимали его методов самоутверждения и способов «познания жизни» через чужие смерти. Ведь не один Степаныч знал о «художествах» его на чекистской ниве...

После того Бабель выжидал. И дождался своего часа вслед за расстрелом Ягоды: молниеносно перепорхнул с его труп к открывшемуся корыту нового мессии прогресса – Ежова и его пассии. И плотно там присосался.

В те годы я усиленно приращивал информационный багаж во всех доступных мне областях знаний. И уже понимал значение адреналина в крови, как и реплику Ярона: «Именно избыток этого надпочечного гормона подвинул Исаака Эммануиловича в лоно наложницы сановного палача». «И потому же в бункер дома 7 по Варсонофьевскому», – добавил я про себя. И снова ломал бедную свою голову вопросами: зачем писатель Бабель снова продирается туда, где каждый час измышляются новые приемы палачества, сочиняются новые пытки, придумываются новые провокации? Зачем? Ради познания «бездны»? Ради участия в кровавых шабашах? Или это только адреналин? И, как кот валерьянка, так и талантливый... женолюба затягивает похоть в дом грязной шлюхи, путающейся и с мальчиками из кордебалета, и с цирковыми девочками, и с бывшим мужем, и с ним, и с красавчиком-карлою Ежовым, который «за делами» терпит пока Бабеля – «домашнюю блоху», покусывающую его «бедное сердце» любовника-рогоносца. На что рассчитывает Бабель? Неужли он, «инженер человеческих душ», прожженный петрочекист и просто ходок, неужли не понимает, не догадывается, не чувствует, что его ожидает, какой конец ему уготован... хотя бы все тем же Законом Возмездия?!

На Москве благовест: схвачен Ежов! Был в квартире у них по Кисельному переулку шмон – и сразу сталинского наркома поволокли на правезж. Теперь – слышно – идет облава на всех, кто принят был в ежовско-хаютинском доме, кто жрал там на халяву с ежовских окровавленных рук, кто под славословие «Величайшему очистителю авгиевых конюшен страны от злобных врагов советского народа» (по Михаилу Кольцову) купался в свальных с Евгенией Соломоновной «компотах»...

И вот уже мечется по Москве, колотится в истерику у непроницаемых подъездов Лубянки Иван Семенович Козловский – знаменитый тенор, великий Ленский и удивительный Юродивый Большого театра. Рвется в проходную управления погранвойск к верному другу и поклоннику, а теперь еще и к первому заму «вражеского оборотня» Ежова товарищу Фриновскому. Но поздно: Фриновский, Мишка-друг, тоже там – там, откуда никто не возвращается. Тогда Иван Семенович кидается к Славскому, пройдохе из пройдох, – писать телеграммы Великому Другу Советских Артистов. Никто проникновеннее не выступает на похоронах, никто слезливее не пишет

для редакций – загодя, загодя! – некрологов на самых подлючих проходимцев, никто, кроме Сенечки Славского! Только телеграф посланий этих сперва не принимает. А когда все же принял – товарищ Сталин на них не ответил, занятый важными государственными делами. Вот тогда-то совершенно сдуревший от страха «Ленский» бросился к Гоголевой – Любови Яровой – «любимой актрисе вождя». Но ведь и Николай Иванович Ежов любимым был наркомом Иосифа Виссарионовича! Дома Гоголева великого тенора не приняла. Но был он человеком настырным. Отловил ее все же на именинах у кузена ее Димы Головина, приятеля и коллеги по Большому театру. Имеющему несчастье проживать – а теперь еще и юбилей справлять – все в том же доме 12 по Брюсовскому. Между прочим, в годы войны Московский уголовный розыск арестует Дмитрия Дмитриевича. И его сына. Сыну припишут убийство Зинаиды Николаевны, супруги Мейерхольда. Отцу – соучастие. Все же бдит, бдит МУР и те, кто скрыт навек за надежной его спиной! Обоих осудят. Оба отсидят. Потом будут оправданы. И, чудом выжив, окажутся на свободе, уже в «большом оцеплении»...

А теперь Козловский отловил Гоголеву, сыграл в подъезде – его в квартиру и здесь не пустили – безобразнейшую сцену...

Суеверный со времени убийства Зинаиды Николаевны дворник дома 12 дядя Андрей Сарыков, теперь уже ото всех своих жильцов ждущий беды и несчастий для себя, снова, как тогда, прибежит к Василисе Ефимовне. Та бросится – на скандал – к Головиным. И – постоянная свидетельница всех происшествий на Брюсовском – успеет к монологу Елены Николаевны, обращенному к коленопреклоненному Козловскому: «Тебе мало, кобелю, твоего Юродивого на сцене?! Тебе юродствовать приспичило еще и перед холуем да перед этой блядищей?! Не народ – мухи вы все навозные! Вам просто дерьма мало! Вам – чтобы повоньливее оно! И что они у этой "компотницы" понаходили?.. Уйди, козел! Не погань праздника!..»

Мечется по Москве, ищет, куда бы спрятаться, главный затейник мероприятий на Кисельном Дунаевский! К Марку Осиповичу Рейзену прибежал за полночь. Его оставили, попытались успокоить – в этом доме его когда-то любили. Не из-за великого таланта – просто по-человечески: был он в чем-то удивительно ребячлив и по-детски непосредствен. Откровенно стесняясь своего еврейства, он, когда было это безопасно, жался искренне к евреям-старикам. Очень любил всласть поболтать на импровизированном идише, когда виделся с Бабушкой. Марк Осипович много позднее говорил мне: «Он ведь к Ежовым ходил, чтобы окунуться в атмосферу еврейского застолья, безопасного, по его мнению, при таком патроне. А Хаятина – она умелец по этой части...»

И Утесов мечется – певец народный – в беспамятстве! Бегаёт взад-вперед по Нижней Красносельской – от Верхней до Плетешков, ищет нору – юркнуть, залезть поглубже, притаиться, спастись... Да разве ж уйдешь от них?! Вот дом построили – «Железнодорожник страны» у Красносельской, ведомственный. Сам Лазарь ему квартиру в нем отвалил. Не квартира –

замок Инженерный. Но строили-то ведомства и заселяли, чтобы ведомством замести всех, разом! На телефонные звонки благодетель не отвечает. Уехать? Куда?! И уже патрули на всех московских вокзалах: берут-то саму верхушку НКВД! Одно спасение, одна надежда – квартира Яновых в Плещеках, у храма Богоявления... Сам – Володя Янов – свой в доску, даже числится директором Леонидосипычева оркестра. Сама – не профурсетка какая-нибудь с Кисельного – Женщина! Царица! Самое оптимальное – отсидеться у них...

Правда, имеется досадная мелочь. Как назло, вчера молодая – кровь с молоком – домработница Яновых Марьяша наябедничала Наталье Владимировне, хозяйке: «В который раз прошу обратить внимание – лепится, мерин, как банный лист к жопе, спасу нет! И хучь молодой был ба, а то слизняк слизняком, а все туда же... Да за грудя! Тьфу-у!.. А в доме у нас девушки растут – всё видют...»

Теперь необходимо извиняться, снова объяснять не раз в этой квартире осуждаемое. Доказывать, что не сам он, не са-ам наладился в Кисельный! И не в «компотах» дело (почему-то вся Москва только про эти несчастные «компоты», да про саму «компотницу»!). А дело в тяге этой блядищи Хаютиной к ментальности его одесской! В тяге этих подонков к голосу его!.. А здесь еще эти «грудя» встряли!

– Теперь они – «подонки». А неделей раньше вы, Леонид Осипович, расписывали его эдаким русским Бернардом Шоу. И с подругой наркома... бывшего... у вас не сходится: она в ваших рассказах – вспомните! – хозяйка литературного салона, новая Волконская! А теперь ее нехорошими словами позорите. Вы все перепутали, Леонид Осипович. Пора бы вам брезгливостью обзавестись. Рядом с вами эталонище порядочности – Полина. Не мне вам мораль читать. Но очень боюсь, что вы за собою можете и ее потащить, чего доброго. Она ведь абсолютно не защищена! Да и кто защищен-то в наше время, Господи?! Поговорите с Володей. Устройте что-нибудь и уезжайте пока... На гастроли куда-нибудь... Вы же такой активный и смелый. Надеюсь, не только в отношении Марьяши? И с Марьяшей, пожалуйста, будьте осторожнее: она девушка деревенская, крепкая и с норовом. Может лицо вам испортить невзначай – она такая у нас. Что тогда делать будете?

Я эти разговоры слушал – они при мне велись и при Мусе: ее мама полагала, что ничего нельзя скрывать от детей. Пусть видят мир таким, каков он есть на самом деле. И людей в нем – какими бы они ни казались или ни пытались казаться. Она была права. Я знал двух Утесовых (наверно, были еще, о которых знать я не мог). На сцене – из партера, и дома у Яновых. Они были друг с другом даже не родственники, даже не однофамильцы. Полину – Полину Осиповну – я тогда знал меньше. Но сразу разглядел в ней тоже большую актрису, под стать фигуре брата. Они были совершенно непохожие друг на друга двойняшки. И если он был типичным лабухом с приглянувшейся чете Ежовых «одесской ментальностью», то она была сгу-

ством большой культуры, эталоном профессиональной тактичности, примером энциклопедичности – маленькая, куклоподобная, изящнейшая женщина. Так случилось – с 1956 года она стала издательским редактором моих первых статей в союзных журналах «Промышленное строительство» и «Строительная промышленность», моих первых книг в «Стройиздате». Мужем ее был известный строитель Мирза. На Востряковском кладбище – белый ее бюстик на стеле.

Однажды тетя Катерина вспомнила безнадежно устаревшее событие: как раз в день 7 ноября приходила жена Бабеля Пирожкова, старая знакомая покойной Зинаиды Николаевны. Рассказала: приезжал следователь Исаака Эммануиловича за носильными вещами для зимнего времени – взяли-то его 16 мая! Видимо, готовят к суду. Она просила тетю Катерину ходатайствовать, чтобы ей дали свидание с мужем. Катерина Васильевна что-то буркнула насчет незадачливых ходатаев. Но взялась узнать. Ей кто-то очень «высокий» в аппарате культуры обещал. Как всегда, напрасные это были хлопоты. Тут снова Пирожкова прибежала: в почтовый ящик ее квартиры кто-то сунул листок со словами: «Перевели в Бутырки». Она бросилась на Новослободскую. Оказалось – точно: он во втором корпусе. А в последний день января 1940-го к нам на Разгуляй пришел от Степаныча посланец – такой же старик. И, видно, оттуда же. Он сказал: Степаныч знает о хлопотах Пирожковой у тети Катерины. Он просит передать «на словах»: знакомец ваш случился быть в гостях у шоферов 27 января сего года, недавно совсем... Опоздал посланец... И теперь все. Еще один гость в переулке... И будто душа его – отлетает злость на любимого писателя, на испакошенную приобщением к жильцам Кисельного переулка судьбу его... Ох, эти милые московские переулки...

Посланец передал приглашение Степаныча. И я сразу поехал к нему на Солянку в больницу. Внутри никого без приглашения больного не пускают – охраняют это закрытое заведение пограничники. Туда муха не пролетит! Я вызвал пропуск, заказанный Степанычем. Один из дежурных проводил меня в третий корпус. В нем, на втором этаже, в четырехместной палате лежал старик. Он был не меньше моего счастлив встрече. Поднялся, выполз со мною в холл. Там мы сели у окна. Я расспросил его о планах врачей, известных ему. Как понял из коротких реплик, дела старика были плохи: обширная опухоль в основании легкого – последствие газового отравления во времена антоновщины... Первый раз он ни о чем не спрашивал, слушал меня без интереса, будто был уже не здесь, а совсем в другом месте. Все же я рассказал последние новости в наших семейных делах. Старался вернуть его из неприятного мне состояния отсутствия. Я даже предложил прогуляться по садику, видимому из окна. Поманил его расчищенной от снега дорожкой в молодых елках, что шла к невысокому дому, обсажен-

ному придавленными снегом деревьями. Степаныч косым взглядом мазнул домик, поглядел на меня усталыми, мутными глазами. Положил ладонь на мою руку. Чуть прижал ее. Сказал, будто продолжая давно начатый разговор – повернув голову и глядя в окно: «Товарищи твои, детдомовские, будто деваются куда-то... Они, внучек, никуда не деваются. Они все сюда падают – в тот вон корпус, – он кивнул в сторону дома в каре заснеженных деревьев. – Там лаборатории. Туда их привозят, к тете Лине – суке ученой. Академику. Она долголетием заведует. Чтобы людям жить сто и более лет... Мне неизвестно, сколько кто жить хочет и может, но знаю: товарищи в Кремле все как есть жизнелюбцы! Им – чтобы дольше прожить! Для этого академик ребятишек из детдомов свозит. Что она с ними делает, мне неизвестно тоже. Здесь их только обследуют – месяца два. Потом увозят под Москву куда-то, в институт. Вот там все и происходит... Слух: будто ихняя молодая кровь и вещества всякие в организме сильно способствуют старикам обратно становиться молодыми. Так ли – не знаю...»

Показалось: или он добить меня хочет, или... ангел он с небес, чтобы уберечь меня. Я обнял его и поцеловал. Он тоже попытался. Заплакал, всхлипывая по-детски и подвывая... Точно, как пацаночка в Даниловке с десяток лет назад, когда сутками маму свою звала... Он плакал. А я плакать не мог: меня только колотило, когда я представил, что они делают с моими товарищами из детдома. И страшно стало за всех. Особенно за ту пацаночку: она в памяти моей оставалась маленькой навсегда... Почему-то представил еще, как тетя Лина своими тоненькими пальцами, спрятанными в прозрачные перчатки, что-то вынимает из той пацаночки... И только сейчас дошло до меня: вот почему нас так откармливали, почему не наказывали голодом! И зачем отнимали они наши имена и фамилии, постоянно их меняя... И почему разъяренная Яковлева крикнула на меня, когда привезли полуживого в детдом на Новобасманную из Таганского карцера после побега на Север, – почему она страшно, в истерике, будто запсиховав, крикнула мне: «Не смей, слышишь, не смей никогда поминать Таганку эту! Она тебе, дураку, жизнь спасла – доходному! Пойми!» А я так и не понял... И вот теперь Степаныч все разъярил. Раскрыл. И как мне теперь быть? Как поступить? Этого я не знал. А что-то следовало делать обязательно: я не мог, не имел права бездействовать, пока они продолжают какие-то страшные эксперименты с моими товарищами по детству. И, верно, не только с мальчиками и девочками одного моего детдома. Ничего не стоят наши с Алькой списки, наши посылки в зоны, вообще, сами мы ничегошеньки не стоим, если теперь промолчим и ничего не предпримем!.. Надо же: ведь и общаться друг с другом нам в детдоме не давали! Держали как бы в одиночках! Я с грустью обнаружил, что ничего абсолютно не знаю о моих товарищах по корпусу «тети Лины». Да самих-то их знаю только по именам – тех, кто спал в соседних камерах и сидел рядом за столом или за партой, да и то по именам не настоящим! Нас прятали друг от друга!.. Я гадал: сами-то наши педагоги – они что, осведомлены, для чего все это делали, к чему

и зачем нас, «воспитанников», готовили?! Хотелось верить, что нет, не осведомлены. Поразилась же Евдокия Ивановна, когда я пересказал ей «слухи» о судьбе ее учеников, якобы ходившие по Москве. «Быть не может! – выдохнула она. – Быть такого не может, Беночка! Мы ребят в школы аргонавтов готовим! Будущих подводников! Ты этим слухам не верь, слышишь?! Не верь!..»

– А девочек, их тоже в аргонавты-подводники?! – выкрикнул я.

– И девочек... наверно. Я не... знаю... Но то, что тебе кто-то рассказал, – неправда! – она плакала навзрыд, что-то зная. Я теперь был в этом уверен: зная! Существование в этом страшном мире чему-то научило меня. И оно же заставляло держать себя в руках. И подсказывало: не все, далеко не все люди умеют, могут этому миру сопротивляться. И дело совсем не в обстоятельствах, на которые принято ссылаться, когда собственная трусость или подлый прагматизм философии «Ложь во спасение!» позволяют совершить подлейший поступок под рефрен рассуждений про «говенные обстоятельства». Но при чем обстоятельства, если сам ты говно? Однако все эти ухищрения сумеречной бессовестности не могут изменить человеческой природы, ее многоликости. И то, что дано одному, не дано другому. Вот и Евдокии Ивановне, женщине совестливой и очень доброй, отзывчивой, не дано восстать против зла. И не мне, ею обогретому, судить ее. Как, не приведи Господь, не позволено мне осуждать «вертухая» Степаныча с его судьбою, что сперва вознесла его аж в самые небеса, потом искалечила и сбросила механиком на «объект».

Рассказу Степаныча поверил я от начала до конца – я ведь и предполагал именно такой ответ на терзавшие меня вопросы: почему, куда ночами внезапно исчезают мои товарищи? Рассказ Степаныча все расставил по местам. Свое место обрел и страшный смысл сентенции о Революции, пожирающей своих детей. Ибо, если сироты жертв Октября, гражданской войны и постпереворотного разбоя не есть «дети революции», то кто же? Образ любимого поросеночка оказался точным до ужаса! Ну, с жертвами проблем нет. Они истреблены. Но с их детьми... Марат, выкидывая их в Сену, оправдывался: «Это волчата! Из них вырастут волки!» Святая простота – этот французский вурдалак! Он убивал детей из страха перед ними. Его кремлевские наследники уничтожают их лишь из гуманных побуждений. Но – прагматики, – они, прежде чем умертвить «своих детей», высасывают их кровь. И только потом пожирают их плоть. Не оправдываясь, как недотепа Марат, а с помощью ученой тети отбирая «не дохлых»...

В тот же вечер мы с Аликом решили немедленно составить, размножить и раскидать по Москве сообщение о преступлении власти – использовании детей-детдомовцев советскими учеными в непонятных геронтологических экспериментах. Мы решили действовать только вдвоем, чтобы не засветить девчонок. Мы понимали: то, что мы должны сделать, – не безобидные «штучки» с зековскими именами и адресами. Потому, чтобы запутать тех, кто обязательно кинется искать нас, мы будем называть в сооб-

шении и другие детские дома. Тем более, нет у нас доказательств, что их воспитанников не отправляют на смерть. Текст пишем только химическими карандашами, которые никогда прежде не использовали, на обратной стороне стандартных нарисованных бланков. Они валяются в нашем детдоме на подоконниках в бухгалтерии. Текст наносим не по командирской линейке через прорези, а вручную, печатными, «детскими» буквами. Еще решили: кроме рассказа о преступлении, наши сообщения должны показать всем, что о зверстве властей уже известно множеству людей, а для этого будем распространять наше сообщение через общественные организации, в том числе через творческие союзы, где все любопытные прочтут текст... Через три дня – к утру 11 февраля 1940-го – первые шестьдесят листов «Сообщения» лежали в почтовых и абонементных ящиках учреждений центра Москвы. А еще через неделю-полторы Москва уже шепталась о «невероятном в детдомах!»

Мы свою войну с режимом начали – вопреки искреннему желанию ни в какую борьбу с всесильной властью не вступать. Но промолчать в ситуации с геронтологическим бандитизмом значило быть с преступниками заодно!.. Да, мы начали войну. Теперь, как выражалась Бабушка, дело за панами Потоцкими...

В конце февраля встретил Евдокию Ивановну. Под большим секретом она рассказала: в детдоме – все вверх дном! Два дня – обыск! Забрали все бумаги, бланки, даже карандаши! Трясут новую директрису Павлову! А Варвару-то нашу, Яковлеву, – ее еще в ноябре 1939-го арестовали!..

Все же – как сам-то я изменился за прошедшее время! Не колышет меня шмон в моем бывшем доме-детдоме, не волнует арест Яковлевой. Даже видение страшное не душит: вот, и ее, «ворошиловского стрелка», волокут в подвал... В тот самый, куда ходила она весело с другом своим революционным товарищем Бубновым – наркомом аж народного образования – потренироваться в «тире» на приговоренных к смерти... – на товарищах своих по той же партии. Не иначе как тоже вымазанных в крови предыдущих потоков своих партийных подельников... И не колотит меня смертный озноб такой вот картинкой – виденьищем таким: по отмытым из шланга минуту назад плиткам короткого коридорчика под бункером дома 7 по Варсонофьевскому идет, подобрavшись, знакомый Варваре «шофер», с которым пил я чай и ел вкусные булочки за шумным столом... А перед ним ведут-волокут зашедшуюся истерикой директоршу мою бывшую – Яковлеву... И шофер-«козловой» под локоток ее не берет, чтоб ручку с наганом подправить и в удобную для выстрела стоечку подтолкнуть-поставить... Он, не доиграв наверху с товарищами партию в «козла» и тем обидно лишась наслаждения рубануть по столу с мастерским треском замыкающей костяшкой, – с удовольствием и с тем же треском, только пистолетным, делает своей бывшей подопечной Яковлевой в подвальнике этом завершающую «р-рыбу!» – «с метра – в затылок». Закон Возмездия!

...Держимся с Аликом третий год. Стараемся хоть чем-то помочь остав-

ленным всеми и казнимым беспощадным государством гражданам. Надеемся, что нас еще «не срисовали». Конечно, напрасно надеемся...

Вот почему-то зачастил ко мне домой одноклассник Юрочка Поляков. До сих пор бывал он у меня очень редко и только по книжным делам...

Ничего я поначалу не заподозрил. Парень он сложный. Не без талантов. Иногда выдавал довольно интересные стихи. Видимо, по этой причине вертелся в окололитературных коридорах, где был знаком с молодыми поэтами... Весной он даже затащил меня в Дом литератора. Познакомил с преподавателями ИФЛИ – Института философии, литературы и искусства. Кто-то из них вел семинары, на которых Юрочка читал свои стихи. К нему были благосклонны и Барто, и Инбер...

Однажды Поляков предложил: «Хочешь, познакомлю тебя с замечательным мужиком – Пашкой Коганом, поэтом?»

– Для чего? Стихов я не пишу...

– Необязательно – стихи... Вот ты составляешь для школ географические каталоги (их я делал по заказу секретаря Географического общества с подачи добрейшего Эрнеста Теодоровича Кренкеля). Чертишь их, потом вписываешь текст. Так? Затем сам снимаешь все на кальку – вручную! А с кальки – на синьку. Так? Морока же! А у Пашки – ты только смотри-и, никому об этом! – у Пашки друг может достать гектограф. А на нем ты хоть тысячу экземпляров твоих каталожных страниц распечатаешь!.. Тебе сколько за лист отваливают?

Да, я эту муторную работу делал. Хоть и платили мне мизер. Но и он нам с Бабушкой был нелишним. Другое дело – никто, никто, кроме секретаря общества, о моей работе знать не должен был! Я насторожился. А тут через пару дней после Юрочкиного предложения позвонил и сам Коган. Сослался на Полякова. Сходу предложил:

– Передай через Юрку, чего там у тебя есть – множить.

От его напора я опешил: меня еще никто так нагло не провоцировал!

– Нет у меня «чего множить». И никакими каталогами я не занимаюсь. Путаєте вы что-то с Поляковым.

– У тебя что, правда, нечего множить? – настырно пер Коган. – Чего замолчал?.. Юрка, что, не друг тебе? Мы ж тебя, Бэн, давно знаем по «курятнику», чудак ты человек. Потом, дружок, память у тебя короткая: не с тобою ли мы когда-то познакомились в «оранжерейке»? Ась?

– Нечего множить, парень, – я повесил трубку. В «курятник» – студию на Неглинной – я никогда не заходил. Была она грязным бардаком. В ней сутками паслись черные посетители «Арарата» и козлицы из ЦДРИ. А «оранжерея»... Кто-кто, а Коган там бывать никак не мог. Она была рядом с гримборной Гельцер. Но туда даже персонал ГАБТ не пропускали. Заходила Уланова. И то потому, что жена заместителя начальника Генштаба. Да Давыдова, «родственница» Сталина. Меня же, теткинго племянника и малолетку, пропускали «по родне». Даже при частых косметических ремонтах разваливавшегося здания театра – в канун высочайших визитов – ис-

пользовались мастера из специального ремстройуправления, и то в присутствии бесчисленных сталинских охранников.

Напористая ложь Когана несколько меня успокоила: или его небрежно подпускают, или ему позволен «свободный поиск». По-видимому, или они еще ничего толком не знают, или проверяют подозрения. Но насчет чего – списков, сообщений? Если насчет сообщений, тогда все серьезно. Однако мы правильно сделали: остановились на первой серии из шестидесяти листов. На этом им нас больше не поймать. Если нас вычислили в связи со списками – не страшно: криминала тут нет. Им придется его искать в чем-то другом. Например, в фактах размножения неких антисоветских материалов. Не найдут: мы антисоветчиной не занимаемся. И никаких секретов не разглашаем: адреса в списках официальные, фамилии по личным делам.

Телефонный звонок Когана, его предложение совпали с другим звонком. Вдруг я понадобился моему бывшему однокамернику по детдому и даже однокласснику по закрытой школе № 13 Вите Беляеву. Он сказал, что часто рассматривает наше школьное фото, на котором «мы оба запечатлены», грустит, вспоминает прошлое... Тут, случайно, нашел номер моего домашнего телефона... Очень бы хотел встретиться. Встречаться с ним мне очень не хотелось – Евдокия Ивановна когда-то, а позднее сам Степаныч предупредили меня, с кем из товарищей моих по детдому не следует открывничать, и среди них – с Беляевым. Но ведь тоскует человек, ему плохо, не иначе. А что если отказ повидаться с ним причинит ему боль... Вот такие вот ностальгически-евангелические рассуждения... «с петлей на шее».

Встретились по его предложению в Елоховском скверике. С ним пришел парень много старше нас и, как оказалось, значительно опытнее. Проговорил скороговорочкой – в сторону – приветствие, встал в сторонку. Беляев сходу сообщил: «У этого тоже отца посадили. Вместе с моим. В 1931-м. Ты знаешь...»

Я знал. Как и то, что никого «вместе» с отцом Беляева тогда не сажали: отец Виктора был военным пилотом, при облете границы (где-то у Бикина, под Хабаровском) «сдох» движок, вынужденная посадка на китайской территории, возвращение под крышей Красного Креста, тюрьма, расстрел... Пока эта картинка прокручивалась во мне, услышал: «Ну, задумали мы выпускать листки...»

– Какие же листки? – спрашиваю. – Для чего?!

– Обыкновенные – какие?.. Потом уточним... Ну, нашли мужика – продает механическую множилку и еще гектограф у него продажный... Но ломит, зараза, дорого! Вот, собираем желающих, чтоб подешевше... Ты, как – войдешь в артель?

– Я – никак. Мне делать с множилками нечего. Только если шпаргалки к экзаменам... Но их так продают, никаких кумпанистов не требуется.

...Прошло совсем немного времени. Беляев вместе со своим «ведущим» сидели напротив меня в камере лубянских следователей. И выдавали пока-

зания на комедии очной ставки: «он предложил нам принять участие в изготовлении, размножении на гектографе и распространении...» Все путем.

Юрочка Поляков формальным свидетелем по моему «делу» не проходил. Поначалу его, сексота, не светили. Приберегали для завершающей провокации, если сшиваемое обвинение рассыплется. Оно не рассыпалось. Поляков на «отлично», как и положено комсомольцу-патриоту, выполнил поручение следователя Ройтмана: он нащупал и разыскал под линолеумным ковриком пола на кухне засунутый туда обломок командирской линейки с прорезями-окошками. Экспертиза сходу обнаружила на их краях следы карандаша. Сами карандашные огрызки Юрочка подшустрился откопать аж на дне «мокрой» помойки во дворе дяди Васиного магазина! После чего та же экспертиза открыла Америку – установила: «рисунок букв в рассылавшихся листовках повторяет дефекты кромок штампованных отверстий фрагментов линейки». Таким образом, в результате титанического двухлетнего труда армии доброхотов-доносчиков, сексотов, оперов и топтунов «внешнего наблюдения» хваленый лубянский сыск родил мышь – установил-таки, могущественный и всепроникающий, лично мое, и никого больше участие «в изготовлении и распространении листовок антисоветского содержания»! Именно «листовок», так как слова «записок» или «листочков» не несли в себе строго контр-р-революционного звучания. Другое дело, само содержание «листовок» не тянуло за собою никакого солидного наказания. Потому лубянские оперы, изловчась, сшили из этой пустышки свой собственный криминал. Они воспользовались тем, что фамилии, имена и лагерные адреса зеков вносились в «изготавливаемые листовки» не разрозненно, «не единично», а купно, что сводило их в списки... «с коллективными адресами». Да еще эти коллективки размножались и рассылались!

У лубянской мыши, естественно, были и повивальные бабки. Их имена тоже не были секретом. Первая – все тот же Поляков Юрий Александрович. Он раскрылся подшитым к «делу» его собственноручным в адрес начальника городского отдела НКВД заявлением о «злостном антисоветском настроении ученика 353-й школы имени Пушкина Додина Вениамина». Донос я прочел с интересом. Поляков сообщил, что «распространяемая Додиныным Вениамином контрреволюционная агитация в виде листовок антисоветского содержания содержит... клевету на советскую пенитенциарную систему». Слова-то какие знал Юрочка! Главным в его доносе было помещение его в мое «дело» – значит, использовали подонка и выкинули в него, выдав мне его с головою в момент «окончания следствия» и подписания статьи 206 УК РСФСР.

Второй повивалкой мыши оказался ожидаемый мною все время следствия Павел Коган, поэт из ИФЛИ. Ему, судя по его «докладной записке», тоже подшитой к делу вслед за поляковским заявлением, «стало известно о контрреволюционной деятельности ученика... предложившего ему, Когану, участие в изготовлении и размножении, а затем и распространении листовок контрреволюционного содержания»...

В параллельном с провокаторами поиске компромата следователи вы-звали на Лубянку всех моих одноклассников. Каждого из них заставляли написать заявление о «фактах контрреволюционной деятельности аресто-ванного органами НКВД» их товарища. Подшитые к «делу» их собствен-норучные ответы на требования всесильной системы было бы целесооб-разным исследовать психологам. Непохожие друг на друга, они были еди-ны в части моей гражданской характеристики. Ни одно не содержало ника-ких вымыслов, которых ожидало следствие. А ведь половина класса – до-чери и сыновья предубежденно настроенных против меня – детдомовца и контрика – осторожных родителей. Но все они были людьми. Еще были...

Кроме Полякова. Кроме Фундукова, написавшего грязную «доклад-ную». Кроме Когана, который до славы поэта успел походить в гражда-нинах.

...Десять лет прошло. В Мостовой зоне Озерного лагеря в Братске я по-дружился с писателем, поэтом, автором блестящих исследований и моно-графий по монгольской и японской поэзии Анатолием Клещенко – учени-ком Бориса Корнилова и Анны Ахматовой. При жизни Сталина Анатолий – зек самых убойных зон спецлагерей – писал обличительные стихи о крем-левском узурпаторе-убийце, безоговорочно беря на себя их авторство. Узнав от меня о Когане, Толя так отозвался о нем: «Если бы эта сука Коган заложил только тебя или меня! Мои следователи Вайншток и Глозман, вы-шибая из меня показания на Слуцкого и Кульчицкого – после побоев в кар-цере, – лупили меня, свернутого в "ласточку", по морде тетрадками доно-сов Пашки Когана! В этих его сочинениях с измыслами на всех без исклю-чения наших преподавателей и на нас на всех – ифлийцев – содержались профессионально составленные "листы обвинений". Никогда не поверю, что он работал по чьей-то натирке! Это было активной самодеятельностью прирожденного провокатора. Чтобы так работать, нужна была серьезней-шая чекистская школа, хорошо набитая рука и бо-о-о-льшой творческий интерес...»

Еще через восемь лет, осенью 1958 года, Анатолий познакомил меня с Самойловым. Давид к тому времени знал обо мне все, что и сам Толя. По-тому с самого начала нашей дружбы был открыт и предельно со мною от-кровенен. Мы вспомнили аресты сороковых и пятидесятых годов. Самой-лов заметил: «С исчезновением на войне множества наших знакомцев ста-ло не то чтобы чище, но значительно... уютнее, что ли. У новых нет того профессионализма проникновения в душу, вдохновения личной заинтере-сованности... И, конечно же, полностью утеряно божественное озарение Охотника, не просто загоняющего зверя в заранее расставленные сети, а точно видящего место – "номер", – в котором он встретится с жертвой и за-гонит ей пулю в лоб... Да, таких, как Коган, сегодня уже нет. Другое дело – их поганое качество переросло в количество!»



...Ночью у тетки схватило сердце. Прискакал Этингер. Он ее постоянный кардиолог. Когда-то, еще в годы мировой войны, он работал в одном из маминых лазаретов. Во время гражданской служил у Исаака Савельевича Баранова. Вновь с моими родителями встретился уже в середине 20-х годов. Привел его к нам Абрам Борисович Топчан, лектор 2-го Мединститута, где мама вела курс. Она познакомила Этингера с Россолимо, и уж Григорий Иванович свел его со Сперанским, восходящим тогда под патронажем своего именитого коллеги на педиатрический Олимп... Впоследствии Яков Гиляриевич Этингер попал в окружение Александра Васильевича Вишневого и, автоматом, очутился в Санупре Кремля. С самого начала этой околоправительственной деятельности он стал сперва участковым, а чуть позже – личным лечащим врачом Екатерины Васильевны Гельцер. Очень часто – и естественно – такие персональные врачи превращались в близких друзей дома своих пациентов. Ведь секретов от своего доктора быть не может, коль скоро сама жизнь твоя и твоей семьи со всеми ее секретами и тайнами зависит от мастерства и порядочности такого вот всеисцелителя. Так сперва и было у тетки Катерины с Яковом Гиляриевичем. Но, по мере совершенствования режима и ужесточения его свирепости, отношения между пациентом и врачом усложнялись. Постоянные скандалы в Санупре просачивались за пределы его империи. Волчья грызня за зланные места и могущественных подопечных в ЦЕКУБУ и в Кремлевке естественным образом отталкивала нечиновных пациентов от рвущихся в чиновники еще вчера таких милых, таких своих в доску, таких душек-лапочек докторов, умевших, оказывается, не только лечить горло, но и перехватить его «за яблочко» у своего доброго коллеги, заподозренного в конкурентных намерениях. Отношения «доктор–пациент» еще более «усложнились», когда первого попросту приставили ко второму.

В рутинной обыденности первые по-кошачьи окарауливали каждый потенциальный прыщ на задницах вторых, их домочадцев и чад. Попутно истаивая верноподданно от переполнявшей их любви к родной семье пациента. И безо всяких колебаний тотчас вослед посещению любимой семьи ночными гостями забывали ее адрес. В лучшем случае, не предавая по собственной инициативе своих уже бывших подопечных. Что, между прочим, каким-то образом обнаруживалось окружающими и почиталось гражданским подвигом. Однако... Однако положение сотрудника Санупра обязывало. И обязывало весьма определенно, в том числе подпиской о сотрудничестве. И здесь собственная инициатива не требовалась – инициатива заложена была в инструкции, неукоснительно исполнявшейся всеми, без исключения, сотрудниками Высокого Учреждения, призванного охранять драгоценные жизни Вождей и ближайших к ним бояр. Чистота рядов Кремлевки охранялась куда как строже и неизмеримо внимательнее кадров Лубянки: ответственность у них была несопоставима...

Потому забавно было наблюдать, как наши ответственные знакомые из санупровских врачей сухими вылезают из воды, когда все – без исключе-

ний! – близкие и неблизкие их заметенного пациента подбираются и исчезают вслед за ним. А они – хранители всех семейных тайн и секретов – отрываются по-собачьи, отдыхают с месячишко в Барвихе или Железноводске от пережитых волнений. И приставляются к очередному номенклатурному пациенту – потенциальному кандидату в престижные подвалы Третьяковских или Варсонофьевских. Да, наблюдение, пока оно еще и забавное, дело занятное. Но надо войти в положение кремлевского врача. Кто как не он блистательно разрешал многочисленные проблемы власти, отправив в лучший мир колонны лишних товарищей – от Маслюкова, Глинки, Фрунзе и Бехтерева до зарвавшихся «старых большевиков» и «возомнивших» литературных корифеев... Тетя Катя жила всем, чем жило ее окружение. Не раз пыталась она переменить врачей, мягко говоря, не вызывавших ее доверия. Того же Этингера. И иже с ним. Ни фиги! Умри, но у них! И – будьте уверены – умирали как миленькие! Кому и как положено было. В точно определенные партийные сроки. По утвержденным Спецглавком и ВЧК–ОГПУ–НКВД, а потом и МВД сценариям и загодя составленным эпикризам. С протокол-нибелунгами вскрытий, сочиненными Главным гробовщиком республики академиком Алексеем Ивановичем Абриковым со товарищи.

Да что там «лишние товарищи», если занятия, встречи, образ жизни тяжелобольного Ленина, наконец, жить ему еще или с него хватит, кремлевские эскулапы – «душки-лапочки» – решают не в связи с потребностями его лечения, не по согласованию с его родными, людьми образованными, даже не с ним самим, еще отлично соображающим, а с недоучкой-семинаристом Сталиным, лично больному, мягко сказать, несимпатичным и с семьей его, тем более, никакими сердечными узами не связанным.

Надо думать, гениальное озарение января 1953 года – «дело врачей» – не с неба свалилось на чиновных медиков. Происходившее тридцать с лишком лет за заборами Санупра и его филиалов по всей стране щедро – щедрее некуда – густо унавоживало почву под будущую «всенародную» оценку многосторонне разнообразной деятельности закрытых лечебных заведений – от цековской «кремлевки» до республиканских, обкомовских и даже райкомовских спецбольниц и спецпалат, где творилось одно и то же. Все-го-то за потребовалось организаторам очередной чистки – «праведного гражданского гнева», – что кинуть в давно и с нетерпением ожидавшую светлого праздника толпу советских граждан безотказную крысу «еврейского ритуального убийства»...

Тем не менее Яков Гиляриевич оставался для меня только врачом. Ничто в моих глазах не могло уронить его. Даже неприятие его теткой. Происходящее «где-то там» бессильно принизить в моем сознании имя врача. Доктор – это имя свято! В конце концов, создавая союз совестливых для спасения военных медиков, мама моя не хуже Володьки-железнодорожника понимала: не все, не все они стоят ее крови, ее сил, ее времени, что она им отдает. Понимала! Но не позволяла этому обстоятельству влиять на

свои решения и дела. С чего бы мне отходить от ее принципов? Я и не отходил. Хотя очень хорошо и давно знал от старого знакомого Бабушки – и моего, с младенчества – доктора Вовси «о совершенно непонятной близости» Якова Гиляриевича с доктором Клименковым, одним из фигурантов трагедий Владимира Михайловича Бехтерева, Юленьки Корнфельд, Александра Яковлевича Маслюкова и Белочки Уваровой. Мало того, Этингер был и лечащим врачом Рейна. А ведь Рейн – участник всех калининских преступлений! Имя его всплывало многократно. А он плевал на это – калининская «шестерка». А вот Этингера после гибели Уваровой отставили от него – не сработал! Обозленная прокуратура не позволила списать смерть Белочки на счет подсказанного доктором «сердечного приступа». Даже Абрикосов отступился! И сам Яков Львович Рапопорт – патологоанатом – пошел напролом: на месте перепроверил версию Моршанского, установил – зверское убийство после изнасилований. И для верности тут же «просочил» подробности из-за, казалось бы, неперелазного забора секретности вокруг калининской дачи. Вообще, этот замечательный, мужественный человек, изливавший на своих друзей ниагары ослепительного юмора, ничего и никого не боялся: «Мы с Розалией Иосифовной уже давно ТАМ», – говорил. И бил морду подлецам, которые вот этого вот ТАМ боялись больше срама. Он приходил к тетке поздними вечерами с Топчаном, который любил его и служил мишенью рапопортских двусмысленностей, о которых Степаныч однажды заметил: «Ты, Яша, прямо как важняк высказываешься – что ни мысль, то "лист дела"; тебе бы поопасаться маленько, от друзей хоть». Мой опекун любил Якова Львовича. Потому, видно, в воду глядел: после 13 января 1953 замели Рапопорта. В самый страшный для евреев час. Но берег Господь этого чистейшего своего раба. Охранял его бдительно: любил потому что. И сохранил, приставив пожизненно к последней Черте, отделяющей скверну жизни от никому не доступной Вечности...

Никто не забыл о трагической смерти Владимира Михайловича Бехтерева в 1927 году. Невропатолог, психиатр, физиолог с мировым именем, он был учителем и сподвижником мамы. Одним из самых активных деятелей ее «Маньчжурского братства», ее «Спасения»... Визит Этингера еще раз напомнил наболевшее...

Гибель Бехтерева загадочностью и внезапностью потрясла ученый медицинский мир России. 23 декабря этот жизнерадостный человек, отличавшийся, как говорили о нем, «бехтеревским здоровьем», под овацию заканчивающегося Первого всесоюзного съезда невропатологов и психиатров прочитывает свою итоговую лекцию-доклад. Извещает участников собрания о начале 24 декабря, в субботу, еще одного, Первого всесоюзного съезда педологов. Тут же уезжает в Институт психопрофилактики. Занимается там до вечера. И, полный сил и энергии, появляется на спектакле «Любовь Яровая» в Малом театре с Еленой Николаевной Гоголевой в заглавной роли, которую «не поймал» у себя в Ленинграде. По окончании представления Владимира Михайловича не пускают домой – настойчиво рекомен-

дуют посетить музей театра, размещенный в маленькой комнатке под чердаком здания. Музей, «в котором и взглянуть-то не на что было!» – скажет позднее Гоголева. А затем провожают вниз, в кабинет директора театра. И там «только что не силой», по выражению супруги Бехтерева, приглашают за приготовленный стол с чаем и пирожными.

Уже на извозчике у Владимира Михайловича случилась обильная рвота. Она не прекращалась и дома у друзей Бехтеревых – Благоволиных. Когда больному стало совсем плохо, хозяин дома, сам известный московский доктор, вызывает из «скорой» для ученых постоянного лечащего врача Бехтерева Леонида Григорьевича Левина, давнишнего друга Владимира Михайловича. Но его телефон отключен. Тогда доктор Благоволин звонит в поликлинику ЦЕКУБУ на Гагаринский. Но вместо Кончаловского, Фромгольда, Плетнева или Зеленина – профессоров, специально ожидающих срочных вызовов по неотложным случаям заболеваний особо опекаемых ученых, приезжает клиницист профессор Бурмин, чем-то – до открывшегося вдруг заикания – смертельно напуганный. Он настолько растерян и раздавлен, что даже не пытается удержать около себя (не то что заштитить!) «захваченного им с собою» и прибывшего вместе с ним к больному профессора Ширвинского, когда примчавшиеся вслед за ними четверо «неизвестных» вышвыривали этого почтенного старика из квартиры Благоволиных.

Для чего этот уважаемый всеми восьмидесятилетний человек, «признанный глава московских терапевтов, председатель Московского и Всесоюзного терапевтического общества», – напишут о нем в «Вечерней Москве», – был завлечен Бурминым (лечащим врачом самого Калинина!) к больному Владимиру Михайловичу? На этот вопрос ответили газеты тремя сутками позднее: «...его непререкаемый авторитет, четкость его мышления и точные диагностические формулировки оказались бы спасительным прикрытием в безвыходнейшей ситуации, в которой оказался Бурмин...» Точно: «оказался уже куда-то приглашенный и кем-то проинструктированный!» – выскажется в те же дни невропатолог Крамер, директор поликлиники – той самой ЦЕКУБУ и, одновременно, сотрудник кафедры нервных болезней 2-го Медицинского института. А ведь это тот Крамер, что в 1922-м стал основным лечащим врачом Ленина. Не однажды приглашая Владимира Михайловича к постели своего именитого больного, Крамер проникся к Бехтереву глубочайшим уважением. И всегда был готов оказать ему любую поддержку. Между прочим, в том же 1927 году Крамер осматривает и Сталина (по поводу развившейся атрофии мышц левой руки). Как писал он сам, «диагностические сложности (страх Сталина перед любой болью. – В. Д.) и особая ответственность за любые промахи в лечении побудили меня предложить консультацию Бехтерева. Сталин колебался. Но в середине декабря согласился на нее». Так случилось, что эта консультация была возможной только в дни Первого съезда невропатологов и психиатров, когда Бехтеревы появились в Москве. Предположительно, 22 или 23 декабря. Не

исключено, пишут многочисленные авторы ЭТОГО домысла, что Бехтерев осматривал Сталина дважды. Но именно 23-го он имел для этого не менее 3 часов... А затем они очень живописно домысливают и сам процесс этой пикантной беседы-консультации, в результате которой чуть позднее якобы появляется «ошеломляющий психиатрический диагноз – паранойя». Смакуемый, между прочим, по сей день. Все без исключения авторы этих рассказов единодушны в одном: свое мнение Владимир Михайлович сообщает по телефону только одному Крамеру (с кем-то должен же он был поделиться этим открытием, чтобы оно тотчас разнеслось по Москве и напрямую привело его к логическому концу – столику с импровизированной закуской под чай в кабинете директора театра). «С этого момента Бехтерев обречен!» – заключают они. При этом часть доброхотов объясняет причину трагедии тем, что «по возвращении в Ленинград автор диагноза немедленно сообщил его... Зиновьеву, естественно, как член Ленсовета...»

Нет. Ни минуты не оставалось у Бехтерева и его супруги после того дня в Институте психопрофилактики. Напрочь упущено было любителями «клубнички» (и если бы только ими!), что чета Благоволиных – самых близких друзей Бехтеревых, в доме которых по Дурновскому переулку (что у Собачьей площадки на Арбате) они всегда останавливались, – абсолютно точно знала все, что в эти дни происходило с Владимиром Михайловичем и его женою. И вокруг них. А знала она, во-первых, что Сталин еще 21 декабря, в день своего рождения, извинился перед приглашенным им Крамером и сообщил, что времени у него на упомянутую консультацию до первых чисел января не будет. Крамер тогда же позвонил Благоволину домой и попросил сообщить об отмене встречи Бехтереву. Тем не менее слух о невысказанном диагнозе был уже выпущен и пошел гулять. И именно тотчас после «начала болезни» Бехтерева. Нужно сказать, что сама эта версия выеденного яйца не стоила. Если Сталин расправился с одним из участников консилиума из страха перед высказанным им «ошеломляющим диагнозом», то почему не ликвидировал другого? ...Знала чета Благоволиных, во-вторых, что именно в Институте профилактики следует искать разгадку смерти ученого. Там, после его лекции, ему сообщили новость: вместе с ним съезд педологов будет открывать «коллега Ш.», директор Института Наркомпроса. И она же рекомендована его сопредседателем. Одновременно стало известно, что группа ученых – медиков и педагогов – неожиданно отказалась от участия в этом столь ожидаемом и важном для них съезде. Между прочим, и моя мама просила ее не ждать. Человек горячий, импульсивный, Бехтерев, не назвав имени навязываемой ему сопредседательницы, вспылил. И выкрикнул в аудиторию: «Рядом с нами я не потерплю присутствия детоубийцы!» Все были в шоке... Догадались только поднести Бехтереву стакан воды, которую тот расплескал в дрожащей руке... Друзя его, в отличие от слушателей, хорошо знали причину волнения ученого и немедленно приняли меры для угашения публичного скандала, понимая, какие силы он поднимет. Они не ошиблись. Но в конце 1927 года

ничего уже сделать не могли: Бехтерев, который, как оказалось, уже не раз порывался раскрыть сущность деятельности Ш., был обречен...

Несколькими часами позже, когда Бехтерев умер и был похоронен, все та же пресса сообщила, что неизвестные у постели покойного вовсе не инкогнито какие-нибудь. А врачи «скорой помощи» Клименков и Константиновский. Но не это главное. Главное, они... отметив у больного сперва «помрачение», потом «потерю дыхания» и, наконец, «коллапс», впрыснули ему камфару и проводили на тот свет...

Вроде дело происходило не в центре Москвы, а в рыбсовхозе на Чукотке. Интересно также, что назавтра, 25 декабря, произошло чудо возвращения действия с Чукотки обратно в столицу: у постели покойного появился цвет советской медицины – Крамер, Кроль, Гиляровский, Минор, тот же несчастный Ширвинский, Россоломо и, конечно, патологоанатом Абрикосов. Кто еще? Да те же Константиновский и Клименков, но уже в качестве... представителей Народного комиссариата здравоохранения! Все согласились с диагнозом и... постановили исполнить волю покойного – передать мозг Бехтерева в Ленинградский Институт мозга. И вот, мозг человека, всемирно почитаемого ученого, работавшего до последнего дня «без развлечений и домашнего отдыха по восемнадцать часов в сутки» и внезапно погибшего от «случайного кишечно-желудочного заболевания», тотчас по окончании этого высокого сборища извлекается Абрикосовым...

Когда... извлекается?! Где?!.. Да тут же – на столе в квартире потрясенных чудовищностью происходящего несчастных стариков Благоволиных. Во исполнение грозного, именем председателя ВЦИК, распоряжения... Рейна: «Патологоанатомическое исследование не производить! Мозг передать в Институт мозга (в Ленинград)! Тело кремировать немедленно!..» Все-ё! Всем присутствующим светилам медицины ясно: смерть скоростижна; закон требует обязательного судебно-медицинского вскрытия и исследования; извлеченный мозг до чрезвычайности увеличен – отечен, значит, поражен токсинами и также должен быть подвергнут судебно-медицинскому анализу. Всем все ясно. А молчат! И тело ученого из квартиры Благоволиных увозится в Шаболовский крематорий. Мозг... Его по сей день «ищут». Но это все – лирика. Человек исчез. Соответственно, исчезли связанные с ним проблемы. Точно в духе сталинского принципа разрешения кадровых вопросов.

...Через год после моего счастливого освобождения из детдома другого рода происшествие потрянуло все тот же научный, партийный и медицинский мир Москвы. Эпицентром тектоники стал санаторий ЦЕКУБУ «Уское» по Калужскому шоссе. Там, со времени его открытия в самом начале 20-х гг., в читальном зале заведены были чернопереpletные фолианты-гроссбухи для записи впечатлений и пожеланий Высоких отдыхающих. Они прижились. В них вносилось все. И восторженные отзывы о столовой. И хвалы великолепию усадьбы Трубецких. И пожелания относительно сохранения всего этого для потомства. Да что только ни заносилось в гросс-

бухи! Однако, наряду с панегириками «Ускому», фолианты стали заполняться и нелепыми репликами и микрорефератами, негативно оценивающими аж политические метаморфозы в стране. В пастораль лирических соплей вплетались все гуще и гуще тернии скрывааемых фактов, острые критические реплики всяческих оппозиционеров, хорошо знающих экономику и действительное положение дел. В сущности, начинались роды будущего самиздата. Конечно, такие записи авторами не подписывались. Но отмечались давно отброшенными за ненужностью после совершенной ими революции и забытыми всеми псевдонимами, вывернутыми инициалами, символами. Вовсе анонимные записи были редки: самым великим зазорно было скрывать великие мысли. Особо хитрыми заранее написанные тексты вкладывались, даже вклеивались – пишущего в книге легко застукать, вкладывающего – труднее. Совершенствовалась «цензура»: администрация вымарывала всяческие непотребства. А весной 1937-го самими отдохавшими обнаружилось вдруг наличие серии совершенно поразительных записей. Последние из них были вписаны аж между строк в повествования великих старцев, в упоении отдыхом и значимости кропавших свои бессмертные мысли с академическим размахом по вместительным листам фолиантов. Они и заставили невероятностью своей исследовать все предыдущие опусы вплоть до середины 1926 года, где и обнаружился первый из них. Их авторы раскрывали щекотливые, если не страшные обстоятельства деятельности... профессора Ш., «известного физиолога швейцарской школы». Да, тексты первых записей тревожных нот не содержали, но предполагали «мотивы деятельности» швейцарской профессорши несовместимыми – как бы это мягче выразиться – с этикой ученого, тем более, с гиппократовыми принципами. Драматизм реплик, однако, рос. И вот, одна из последних записей (по М. С. Вовси): «...кроме многих иных проблем физиологии, серьезность коих сомнений не вызывает, профессор Ш. исследует и гуморальную регуляцию функций и значений неспецифических продуктов обмена веществ для координации физиологических процессов в человеческом организме. Потому, одновременно, она решает и задачи максимально возможной проницаемости так называемых тематических барьеров, необходимой для достижения абсолютной восприимчивости различных систем организма к вводимым в кровь стимуляторам... Еще на кафедре физхимии Женевского университета Ш. установила: искомая ею степень барьерной проницаемости эффективнее всего достигается введением реципиенту естественных (в том числе неспецифических) стимуляторов тотчас после непосредственного их изъятия у донора в кульминацию его подросткового развития!.. Ясно всем, что это означает, будучи переведенным на человеческий язык...»

Да, очень ясно. Мне в особенности – «Дохламу! Дохламу!». Тем более после осмысления крика Яковлевой: «...Он тебе жизнь спас!» – Таганский карцер, после которого вернулся я двенадцатикилограммовым...

Вряд ли кто-нибудь из ощутивших шок от прочтения записей находил-

ся в неведении относительно особой специфики текущего года. Возможно даже, именно она – специфика весны 1937-го – многократно усилила впечатление от раскрывшихся на страницах санаторных инкунабул «новостей науки», мне этого знать не дано. Но то, что последовало за первыми раскрытиями, – на моей памяти. Было обращение к Генеральному прокурору. Было письмо президенту Академии наук. Еще куда-то. Первыми все документы подписали Мирон Семенович Вовси, который еще с начала 30-х гг. пристально наблюдал за работами Ш.; Георгий Несторович Сперанский, который пристальным наблюдателем не был, зато с тех же пор принимал все доступные ему меры, чтобы сперва проломить стены глухого, злобно-го сопротивления «Верхних бояр» его попыткам добиться прекращения «постыдной для просвещенного общества деятельности, покушающейся! на здоровье и саму жизнь детей», затем, в одиночку, начал войну с «заказчиками преступлений». Да еще абсолютно уверенный в том, что «страшная смерть его учителя и коллеги Россоломо напрямую связана с высказанной незадолго до кончины Григория Ивановича собственной его оценкой деятельности Ш.». Для меня важно то, что смерть Россоломо произошла в присутствии все тех же врачей – Константиновского и Клименкова. Но вернемся в весну 1937-го. Под обращениями и письмами подписались и Николай Нилович Бурденко, и Сергей Сергеевич Юдин – в страду Первой мировой и гражданской мамин ординатор, и, конечно же, Яков Львович Рапопорт, супруга которого много лет работала у Ш. и хорошо понимала смысл исследований своей патронессы. Вскоре генпрокурор Акулов принял делегацию подписантов. Следом пригласил и Ш. и сразу после беседы с нею и... визита во ВЦИК (!) отдал распоряжение начальнику следственной части Льву Шейнину расследовать... «претензии заявителей» к профессору Ш. К этому времени санаторная летопись была уже изъята. И следствие началось. Правда, исследовать деятельность лаборатории химфизиологии 2-го Мединститута и Института Наркомпроса прокуратуре запрещалось... ВЦИК СССР!!! «Для этого будет создана специальная комиссия АН СССР и Наркомздрава», – сообщил Акулов. (Она так и не была создана. – В. Д.) – Подождем, что она решит...»

В это же время, по его же команде, следователь-важняк Голомыстов начал было изучение творчества завсегдатаев «Уского». Он сразу обнаружил, что значительная его часть может оказаться весьма кстати настроениям шагающей по стране весны. И, не желая влезать в зону интересов Лубянки, сделал ей подарок, передав туда собрание сочинений «Уского», сообщив о своем решении Сперанскому, Вовси и Юдину – авторам обращений.

Правильно поняв этот поворот следствия за оборот дела из уголовщины в политику – да еще на фоне все той же «весны», – они. не такие уж далекие, но, безусловно, порядочные люди, кинулись в приемную НКВД убеждать чекистов «в абсолютном отсутствии у коллеги Ш. каких-либо "не таких" мотивов в ее работе...» Те посмеялись. Разъяснили борцам теперь уже за честь Ш., что точно, нет и быть не может у нее «таких» мотивов. Зато у

авторов записей в настольных книгах из «Уского» такие мотивы наличествуют. Тем не менее НКВД благодарит всех информаторов – и Юдина, Вовси, и Сперанского в их числе – за службу...

Не хочу «входить в положение» уже давно покойных, жизнь положивших за человека и пострадавших за то. Но, ничего не сделав для пресечения преступных действий профессора Ш. и ее покровителей – возможно даже, что и палачей ее, – все они, засветившие записи в книгах «Уского», невольно подвели под монастырь и совсем иного толка публику, непостижимым образом подраслабившуюся на отдыхе до выплеска на бумагу непозволительных мыслей или острого слова. Что было – то было...

Как мы знаем, большинство записей не имело подписей. Из-за чего у Лубянки сразу возникли сложности с их идентификацией. Но без пяти минут писатель Шейнин знал отгадку загадки. И... на очередном междусобое в Доме литератора секрет растрепал – по «секрету». И только сутки спустя узнал, какой мощи фугас самооговора, а теперь еще и запальный ключ к нему, отдал он «друзьям» с Лубянки! Ладно: фугас-самооговор всей старобольшевистской кодлы утерять не он. Но ключ к нему! Не удержался – похвастался своей осведомленностью в литературоведении! И в одночасье потерял лицо хотя бы автора тех же «Записок следователя» – запала-то теперь не утаить. А все потому, что ему – литинститутовцу – известна была деятельность Ивана Филипповича Масанова – русского литературоведа. Этот незаурядный самоучка из Черкизова специализировался на идентификации авторов статей, брошюр и книг, подписанных псевдонимами. Свою деятельность он начал в конце 80 – начале 90-х годов XIX столетия и тогда же принялся за создание «Словаря псевдонимов».

Незадачливые российские интеллигенты всех мастей – от народовольцев до государственных деятелей – и в их числе маститые и полуживые публицисты и писатели, скрывавшиеся в литературной молодости за всевозможными псевдонимами, с удовольствием раскрывали никому не известному собирателю все секреты своей доморощенной защитной символики. Не подозревая, естественно, какое будущее они себе уготовливают в пригрезившемся им мире Света и Свободы. И с приятностью обнаруживали свой давно забытый ими и читателями опусок под символом в начавшихся с 1904 года масановских публикациях. Николай Дмитриевич Телешов, смеясь, иронизирует: «Только Амфитеатров вознегодовал на Масанова и даже выступил со статьей в газете "Русь" с протестом против опубликования псевдонимов, усматривая в этом... одно из самых тяжелых литературных преступлений». С иронией не получилось. Последним смеялся Александр Валентинович Амфитеатров, наблюдая из иммигрантского далека за итогами «литературных преступлений». При этом – умирая в собственной постели. Он, мудрец и провидец, еще на стыке веков знал то, что не дано было увидеть Масанову, так и не понявшему, какую услугу он оказал не столько российскому политическому сыску, сколько своим грядущим чекистским коллегам – литературоведам... И Закону Возмездия...

Можно представить бурное жеребьячее ликование «собирателей народа русского» с Больших Дмитровок и Лубянок СССР. Перед ними высилась гора концентрированного компромата – готовых к употреблению «дел» на тысячи именитых отдыхантов «Уского». В том числе на дивизии до рвоты поднадоевших «старых большевиков» и «политкаторжан», кичащихся своими никому неведомыми заслугами и лезущими всюду со своими претензиями-доносами. Можно также предположить, что произошло, когда лубянские умельцы наложили тысячи некогда раскрытых Масановым анонимов на примерно то же количество набравшихся за время функционирования «Уского» еще здравствующих псевдонимов, которыми их носители-отдыханты прикрывали свои имена. Хотя, конечно, не подвернись Шейнин со своею «анонимной» информацией, все, кому положено, и без того загремели бы в подвалы. Жеребцы, тем не менее, ликовали, когда он – с кровью оторвав от себя – приволок им эту чудесную отмычку к санаторному компромату. Да еще оказавшуюся – вот удача, так удача – тоже анонимной! Бесхозной, по сути, потому что пребывала еще в рукописи со стажем. И по этой причине неизвестной главному лубянскому начальству за его литературной серостью. Получалось: вся честь раскрытия «контрреволюционной банды, многие годы творившей зло под крышей санатория ЦЕКУБУ "Уское"» принадлежит коллективу Управления НКВД... Худо, хуже некуда чувствовали себя на этом оптимистическом фоне наши правдоборцы. А тут еще наркомздрав Каминский пригласил их к себе. И «от имени наркомвнутдела товарища Ежова Николая Ивановича» горячо поздравил «с замечательными результатами их патриотического поступка...» Худо. Худо?! А ведь вникни эти большие медики и – по положению – большие шельмы в самой сути вещей, они сообразили бы, что удостоились участия, быть может, аж в Божьем суде над погубителями сперва интеллигенции России, а потом и Русского Мужика – корня ее жизни. И тем возгордились бы, воскликнув вослед великому провидцу, Святому патриарху Тихону: «Все ж таки есть Ты, Создатель, на небе! Долго терпишь, да больно бьешь!» И без труда разгадали бы нехитрый код «хитрого» ежовского поздравления. Прислушались бы к собственной совести, коли бы осталось ее хоть чуть после службы в Санупрах и ЦЕКУБУ. И услышали бы стон миллионов из-под земли, замученных с самого 1918 года. Замученных в том числе и отдыхантами «Уского». Теми, кого Закон Возмездия настиг трудами Ивана Филипповича Масанова.

О, большим бы медикам – большого ума! А его-то и не было...

А как же с Ш.? С обвинениями ее в страшном преступлении – экспериментах на детях? Никак. Когда пришедшие в себя после ежовской «ласки» Сперанский, Юдин, Бурденко, Рапопорт и кто-то еще из известных нам и нам неизвестных, присоединившихся к ним в попытке приостановить деятельность профессора Ш., возобновили атаку, их вежливо, но настойчиво предупредили «об ответственности за клевету на известную ученую и коммунистку». Тут же собрали в приемной Прокуратуры СССР, где... все тот

же Рейн, теперь уже вовсе не таясь, от чьего имени, заявил: «Или вы оставите профессора Ш. в покое, или по поручению председателя ВЦИК СССР вами займются органы...» Вот, наконец, в деле Ш. проклюнулся нечаянно долго прятавшийся за своих «шестерок» товарищ Калинин! Все, все вроде бы становилось на свои места...



...Сто тридцать шесть суток лубянской отсидки – не Бог знает как много для времени, в котором я начинал жить...

Большой и Ройтман – мои следователи. У них и у меня взаимоисключающие задачи. Задача Михаила Моисеевича Ройтмана и Семёна Львовича Большого (Большой и вправду большой – двухметровая россомаха, и оба аж даже старшие майоры государственной безопасности) – выколлотить из меня «установочные данные» моих... «взрослых руководителей». Тех, кто, по версии следствия, «направлял мои контрреволюционные действия». Таких нет в природе. И следователи знают об этом не хуже меня. Но это не имеет значения. «Они есть!» – таков посыл «следственных действий». Более того – и это главное! – «Они необходимы!». Следствию, естественно. Без них совершенно скандальная двухлетняя безнаказанная рассылка-«распространение» несовершеннолетним бесчисленных «листовок» по сотням московских квартирных почтовых ящиков, «пресеченная» лишь случайно моим арестом по иному делу, остается позорищем всего аппарата вроде бы вездесущей Лубянки. Позором, влекущим за собою недвусмысленные оргвыводы. С ними же, с взрослыми – с «поручиками Киж», – моя безобидная «систематическая рассылка листовок контрреволюционного содержания» автоматом оказывается в разряде «важнейших групповых» и, конечно же, престижнейших дел...

Моя задача – не возникать. Ничего больше. По закону, доказательство существования неких взрослых граждан в моем «деле» – проблема самого следствия. Это я знаю точно. Не совсем точно знаю, как следствие будет эту проблему решать. Мне показывают – как. Показывают мои единокровные братья-евреи Ройтман и Большой. Они метелят меня все – напролет – часы ночного следствия. «Дают прикурить!» – смеются... Отработанным приемом Большой сбивает меня с ног. И оба, сапогами, тыпают-сучат по моим почкам, по ребрам, по животу, по голове... Особенно старательно – по лицу...

Славные, красивые, не первой молодости еврейские ребята. Интеллигенты по повадке. Неинтеллигенты так не смогут. Бьют не всегда «от души» в отсутствие начальства. Не то чтобы жалеют. Нет. Сачкуют. Когда оно – пять-шесть раз за ночь – появляется в следственной камере, с обходами, Большой и Ройтман моментально «распаляются» и демонстрируют истерику усердия. Видимо, это класс «следственных действий» – входить от чрезмерного возбуждения трудом в раж. громко «хэкать» при ударе, сопеть, да-

же визжать-повизгивать, как хряки при случке, захлебываясь рыком... Когда двери за начальством закрываются, истерика мигом прекращается. Визг, крики, вообще показушная истошность действия «дознания» затихают. Даже сопение куда-то исчезает... Почему-то особенно стыдно за эти «межна-чальственные» метаморфозы поведения братьев моих... А братья, передохнув чуть, снова, но молча сучат сапогами по моим останкам... «Отдыхают» до нового обхода...

Ну, а мне-то, мне-то что прикажете делать в «ситуации», к которой – надо же такому быть! – начинаю привыкать? Отбиваться? Это от Большого-то?! Или даже от Ройтмана – ожиревшего борова полутяжелого веса? Тоже – как они – визжать? Сипеть, стискивая поредевшие от их сапог зубы? Или закрыть стараться позвонки, диски меж которых они мне выдавили? Или, наконец, реветь от отчаяния и беспомощности или от боли из-за сломанной руки и вывернутых пальцев на ней?

Это – не защита... Это – позорище в собственных глазах... Маета... Прав, прав Степаныч: против лома нет приема!.. Но... Что-то все же имеется. Что-то наработано поколениями...

И вот они метелят меня, а я матерюсь истово и стозевно, матерюсь! И ору! Ору похабные песни – весь детдомовско-разгуляевский репертуар!.. Володька-железнодорожник, Володька-часовщик, сам Петух, вся разгуляевская неавгустейшая шпана, все, в один голос, сговорясь будто, учили меня на бесчисленных примерах собственного своего немалого опыта: будут метелить – ори песни! Песняк – он си-ильно помогает! Особенно, когда по почкам или по яйцам... Они метелят – ты ори! Или, если лупят по рылу и орать несподручно, молчи тогда! Только не хлюзди – не реви и, избави Боже, не проси у них! Им это – когда ревут и просят – вроде как водка в пустыне, цимес, рахат-лукум! Не допускай! И базлай, и базлай со всех сил – зачтется обязательно! Еще думай сильно, как сам ты их – за кишки, за хуй с яйцами – живых – проловкой! Э-эх! Как они просются-то тогда! Как просятся! От проловки-то!

Я не прошусь. Ору песни. Мне рот «грушей» затыкают – вою... Салфеткой затыкивают – молчу тогда... Мычу... Начальство заглядывает, обходом. Советует: успокойте его! «Успокаивают» – сапогами же. И волокут в карцер следственного корпуса. Сколько времени валялся там, каков он из себя – представления не имею: всегда оказывался в нем в невменяемом состоянии. Но знал: хорошо в нем – вертухаи там простые, бьют редко и не допытываются иногда – сплю ли? Если сплю – будят. Но руками. Если я отхожу – после беспамятства, – тут они в покое оставляют. До подхода Большого с Ройтманом. Эти зорко следят, чтоб и минуты не спал!

Тогда интересно было: не Сам ли Создатель устраивает мне такие вот испытания на национальную, что ли, стойкость? На степень любви к народу своему? И насылает, и насылает на меня, время от времени, вот таких вот братьев моих по крови и дедовой вере? Все же, как считается, без воли Его волос с моей головы не упадет! Видимо, все же Сам...

Раз так, стараюсь экзамены сдавать – никогда не относить хотя бы вот этих вот лубянских подонков, «родимых» братьев своих, тем не менее, – к еврейству. И когда через двадцать лет нахожу и их фамилии и имена в списках расстрелянных чуть позже, в 1941 году, единственно, что скребнуло меня по сердцу – год расстрела: мог бы Создатель кончить их и десятью, и двадцатью годами прежде! А не сделал... Промашка вышла... Лучше, конечно, чтобы их вовсе – всех до одного – мамы их не родили. Возможно, чтобы и мамы их не родились – все как есть мамы, выродившие выроdkов...

...не вдруг сообразил: назови я, не дай Бог, братьям моим хоть какое «взрослое» имя – вот когда они воистину рассвирепеют! Ведь никакой необходимости у этих псов в чьих бы то ни было именах нет! Они уверены – я один. Алика, Муську, Ирочку они так и не засекли – Степанычевы профессионалисты. А вот если «найдется» взрослый? Вот тогда-то вся эпопея с «записками» и явится в неприглядном для Лубянки свете. Два-то года она потеряла в поисках того, кто забрасывал почтовые ящики списками адресов. Два года! Для Лубянки много. Очень много. Но! Пока взрослых в компании со мною не имеется, история с «записками» – это детская шалость. Не более того. Другое дело, срок за нее – по совокупности, я так и так огребу. А вот если рядом со мною окажется взрослый? Тогда – группа, организация – криминал! И «два года записок» превращаются в... обвинение против самой Лубянки! Вот фокус-то в чем, вот!

Однако задача операм уже была поставлена: «Даешь взрослых!». И Большой с Ройтманом метелили меня, добиваясь, вроде бы, ее решения...

Я быстро дошел. Есть не мог – «братья» повредили желудок. От воды рвало. Главное – спать не давали... Пытали бессонницей. Приволакивали под конец ночи в камеру. Я на койку валился. Меня поднимали. Сажали на ввинченный в пол табурет. Я сползал на пол. Если не засыпал сразу, меня в покое оставляли. Если засыпал – будили. Поднимали. Так – до тех пор, пока им это не надоедало. Тогда отволакивали в карцер тюремного блока, в подвал. Там закидывали в 80-сантиметровой высоты склеп-«ящик», залитый до приступки лаза водою. Глухой. Темный. Он не освещался, как все камеры, яркими лампами. В камерах опасались самоубийств. В «ящиках» ничего не опасались – они возводились с целью убийства. Летом в этом «ящике» можно спать – мысль-то всегда сверлила одна и та же: «Спа-ать»... «спа-ать»... Воды было сантиметров 10–12. Если свалиться и уснуть на спине – не захлебнешься. Но наступала холодная московская осень... Еще – глубокий, всегда изнуряющий холод подвала. Лежать я мог только на животе – его я старательно и по возможности уберегал от «братниных» сапог. А вот спину и бока – не получилось уберечь... Живого места на них не было. И не лечь мне на спину и на ребра... Уснуть можно, приткнувшись в угол. Мне можно. Я вешаюсь, сидя, в восьмидесяти сантиметрах, а взрослый – не влез бы: высота рассчитана учеными умельцами Болшевского НИИ НКВД для того, чтобы не влез человек, чтобы ему не сиделось, не стоялось, не

лежалось – из-за воды на полу, – чтобы жизни ему не было, даже скрюченному, в «широкой моей стране родной»...

В углу я тотчас засыпал. Тогда, тоже сразу, в «ящик» «входили». И, уже по-следовательно, – им ведь тоже неудобно – ногами отшибали меня на середину. Здесь никакие законы «не работали». Здесь работал беспредел внутренней тюрьмы, тут калечили законно и законно же убивали... «Мочили» в ящике – отсюда слово это и произошло. Из времени, что держали меня на Лубянке, месяца полтора пришлось на «ящик» – с побоями, которые и при «ящике» не прекращались ни на один ночной час. То ли добить они хотели меня, то ли тренировались на мне, как на «кукле»?.. Возможно, что тренировались. И это меня вводило в стыд за моих «братьев»: тренируются-то на вовсе дошедшем пацане... Некрасиво... А они все приходят. И из «ящика» подобием длинной кочерги достают меня. Отволакивают в камеру рядом. И они бьют, ничего не спрашивая. Молча. Сосредоточенно. Спят только. И молча уходят, бросая меня на вертухаев...

Много это или мало – полтора месяца склепа с водою? Я тогда не задумывался об этом: мозг работал только на попытку уснуть... И на запоминание невозможности сна...

Итак, имя «взрослого» я не назвал. И не назвал бы, существуй оно на самом деле, – со злобою на них справиться им со мною не получилось бы... Все же – через бессонницу и побои – допер я, что получили-таки они «по рогам» за меня – за два года моих «записок». И получили здорово! Отсюда мельтешливая активность Ройтмана и Большого. Отсюда приговор: без сна! Отсюда очная ставка с Беляевым и его ведущим, абсолютно следствию не нужная в обстоятельствах, когда все выявилось моим письмом Сталину. Содержание письма и было настоящим советским криминалом: я вторгся в область «закрытую», секретную, недозволенную.



Михаила Иосифовича Короля я запомнил с 1929 года. Потом встретил в 1934-м, когда со Степанычем впервые решил зайти на пепелище, во двор своего дома. Что он палач, понял, когда однажды я столкнулся с ним, выходящим из проходной дома 7 по Варсонофьевскому. Промелькнуло лицо преуспевающего сутенера, наглые, навываке, жизнерадостные, кругового обзора еврейские глаза, прижатый к толстым губам нос стрелой, поэтическая – в кудерках – шевелюра. Помесь хорька и актеришки на ролях героя-любовника, какие непременно наличествуют на периферии яроновских гротесков...

И это он ограбил нас! Это ему досталось родительское наше гнездо! Надо было загнать на Колыму маму и отца, спасших десятки тысяч россиян, чтобы угнездить нахрапом на их место подонка, двадцать лет «с метра» кроившего российские же черепа!

От родителей своих, от Бабушки, от Владимира Павловича Эфраимсо-

на, от Степаныча – но от него полунамеком только, потому как был он весьма осторожен в «национальных ориентациях», – и даже не из давнишней статьи аж самого Уинстона Черчилля (1920 год, «Иллюстрейтед санди геральд») знал я, что «невозможно преувеличить ту роль, которую сыграли евреи в становлении большевизма...»

...Но я – не о том сейчас. Не о высоких материях. Я – о порядочности нашей, декларируемой истерически, когда в очередной раз ловят нас за руку и даже еще не бьют. О нашем подвиге порядочности.

Вот, «козлобой» Михаил Иосифович с подачи брата-интеллигента, человека, безусловно, порядочного, ворвался в нашу квартиру и забрал ее себе. Как такие же порядочные люди сотнями тысяч врывались в квартиры враспloh схваченных ими россиян и забирали их – наполненных старинной мебелью, бесценными раритетами, веками собираемыми семьей, именными сервизами, да просто накопленным работою достоянием, – грабя нагло и открыто, как это принято у порядочных победителей. Например, у брата Михаила Иосифовича – Мирона – потрошителя из потрошителей, хапнувшего в Москве аж четыре квартиры расстрелянных заводчиков Кузнецовых в Замоскворечье и в достославном Скатертном, где мой Степаныч отказался войти «в теплую еще» комнату.

Но этому положено было.

Ко времени свосй пули в загривок – 22 февраля 1940 года, в доме 7 по Варсонофьевскому (а не в Лефортово, как почему-то указывают семейные «историографы») – добрался Мирон Иосифович Король до поста заместителя наркома иностранных дел, успев отстрелять добрую половину советского дипкорпуса.

...Все же есть что-то такое эдакое в наших генах-хромосомах, что вызывает-роднит нас всех. Не так уж и много времени прошло с захвата нашей квартиры по Доброслободскому переулку (не говоря о десятках тысяч других квартир по всей России), а эстафету его приняли на самом верху пирамиды нашей порядочности – на Олимпе, куда кооптировались сбитые сливки нашей интеллигенции, народ без которой – «стадо без пастухов».

Со стадом понятно. А что же пастухи, плеяда Великих? А вот что. Не кто-нибудь, «известный еврейский поэт» – так и только так представляется он «широкой общественности», что канонизировано еще и членством в Еврейском антифашистском комитете, – Перец Маркиш выступил с идеей «организации еврейского очага» на территории «бывшей республики немцев Поволжья»! По выражению моего опекуна Ивана Степановича Панкратова, «еще тепленькой от тех, кого они оттуда вытащили!». «Распявши Его поделить одежды Его...»...

Не верящим мне – а поверить в эдакую подлянку человеку непорядочному, да еще неинтеллигенту, невозможно – рекомендую взглянуть на материалы ф. 17, оп. 134, дело 693, л. 212–219 РЦХИДНИ (до 1991 г. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма ЦК КПСС) и книжку Э. Маркиш «Столь долгое возвращение» (Тель-Авив, 1989).

Ничего удивительного потому не было и в поведении пасомого этим интеллигентно-порядочным пастухом порядочно-интеллигентного же стада. И идею грабежа ухватила еврейская общественность, на встрече в аудитории Политехнического музея – 17 июля 1946 года – атаковавшая лектора по Ближнему Востоку некоего В. Луцкого вопросами: «Каково отношение официальных органов СССР к национальной проблеме еврейского народа в смысле территориальной национально-политической консолидации, подобно другим народам СССР? И почему бы не устроить в противовес Палестине автономное еврейское образование в СССР?.. Что, у нас земли мало? Например, Крымский полуостров, который два года тому назад был совершенно свободным ("Братцы-ы, шуба!" – "Ташиши ее сюды!" – "Да в ей человек!"), или бывшая республика немцев Поволжья» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 128, д. 1057, л. 18)...

Но еще за два года до того – 15 февраля 1944-го – наши Михозлс, Феллер и Эпштейн, от имени Еврейского антифашистского комитета, просили Сталина «создать Еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма...» Здесь не квартира наша была. Здесь требовалось разрешение Лучшего Друга Всех Евреев! Просьба от имени всех евреев! Значит, и от моего тоже, от «пасомого из стада» этими пастухами? Да кто право им дал подлянку эту испрашивать от моего имени! Кто им на это давал мандат?!

...Аферы с Крымом и немецкой квартирой у Волги им мало показалось, хотя и этого достаточно было, чтобы всех нас, «от имени которых...», с головою накрыл вал всеобщей ненависти, когда мародеров остается только «отловить, задавить, зарыть и забыть».

И вот, в тот же самый день, когда подписана была просьба отдать и Крым – 15 февраля 1944 года, – та же троица из ЕАК родила, подписала и тоже отправила Молотову еще одно – слезное совершенно – послание с мольбою «...разместить (видимо, до окончательного решения вопроса? – В. Д.) Еврейскую советскую социалистическую республику... на землях, высвобождающихся в результате проводящейся депортации на Восток врагов народа – чеченцев и ингушей...»

Вот как можно-то, оказывается, порядочным и интеллигентным!

В этом беспримерном по цинизму и поразительном по нахрапистой наглости документе, раздевающем всех нас – их «стадо» – догола, рожденном нелюдями, четыре абзаца из пяти посвящены... нефти!

Есть свидетельства, что Сталин письмо это топтал; серый от непредсказуемости совершенно не свойственной хозяину кабинета реакции, «Молотов судорожно хватался за штору окна...». А Ян Саулович Левитин, до депортации чеченцев и ингушей первый секретарь Чечено-Ингушской АССР (или АО), через 13 лет признался мне: «А я обоссался!... Не смейся, дур-рак!»

Письмо это ЕАКовское, в копии, оказалось на сталинском столе в самый пик депортационной горячки, когда «на Восток» перегонялись 448 479 чеченцев и 387 229 ингушей. Верховный вызвал Левитина вместе с Молото-

вым, уже заведенный. В начале 1957-го, высланный с семьей из-за Бакинского этапа, я заступил Левитина директором Акташского горно-металлургического комбината в Горном Алтае – в глуши 620-го километра Чуйского тракта. От безысходности мы сошлись. Совершенно затравленный, с неизбежной виной за сломанную карьеру жены, блистательной вокалистки, принужденной скрываться с ним по медвежьим углам, он, доверясь мне, показал письмо. И сознался: руководители «акции» должны теперь прятаться, меня «вот такие вот "схроны"». Подросшие в ссылке мальчишки из чеченцев уже нашли почти всех – Лейзеровича Моисея Яновича, Гильмана Льва Ароновича, Евзеришина Павла Петровича, Друскина Илью Ильича, кого-то еще... «И... излिनчевали, мерзавцы – только подумай! – циркульными пилами! Циркульными пилами!!!»

Действительно, «подумать только!» Но ведь и за меньшие грехи урки на зонах линчуют грешников ручными пилами – технологией, не менее болезненной, чем пила электрическая.

Но не в технологии дело. Как, впрочем, не в кончине этой публики. Всю ее уничтожает тоталитарный режим – это мы выучили накрепко! Но ведь все они – не просто плоть от плоти и кровь от крови этого режима. Они его измыслили, они его создали, они его лелеяли, они его олицетворяли упомянутыми акциями. И даже пытались учить недоумку-власть и несмышленища-народ, как сподручнее всех их казнить – в смысле «совета» Маркиша: «...На бойни вас, с веревками на шеях!», что прочел мне как-то в миллионнотиражных «Известиях» мой опекун.

Не овцы они. Волки.



...Что-то изменилось и в следственном корпусе. Ожидаемо изменилось.

В первый день после выписки из больнички со мною, как в приличной московской юридической консультации, знакомится молодой, лет 25–28, следователь:

– Капитан Фатов Евгений Григорьевич. Можете обращаться ко мне просто по имени и отчеству.

А морда, как у «братьев» – чугуная...

– Ого-го! «Просто», – подумалось. Тем не менее через пару дней мы если не на «ты» между собой, то по фамилиям. Без «гражданина начальника». В самый первый день нашего знакомства Фатов предупредил:

– Мы должны по-быстрому просмотреть следственные материалы. Осмыслить: что остается, что изымается. Поглядеть, что получилось. Сложить дело. И подписать 206-ю – «окончание следствия». А там – определение тебе – по суду ли, по Особому ли совещанию. Это – как решит начальство... Судить тебя следует! И судить строго! Ведь надо же было написать товарищу Сталину такое письмо? Главное – так его отправить?!

– Что вы все – «письмо, письмо!» Разве я, гражданин СССР, не имел

права написать главе государства... Нашего, советского, государства о деле страшном, недопустимом в нашем обществе?! Или я должен был молчать?

– Молчать не должен был. Должен был сообщить... ну... пусть товарищу Сталину... Только ты не изображай невинность! Написав совершенно конфиденциальное по смыслу и содержанию письмо, ты... ты как отправил его?! Ты так отправил письмо, чтобы вся цепочка, по которой оно по твоей милости запущено было, непременно прочла его! И оно прочтено было до товарища Сталина сотней совершенно посторонних людей. Так вот, засра-нец! Ну, как ты его запустил? Без конверта, без грифа, без предупреждения, что посторонним читать его не следует...

– Но откуда я знал, что письмо, отправленное главе государства, кинутся читать эти самые посторонние? И откуда они возьмутся – посторонние в самом ВЦСПС? Во Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов?.. Это же такое учреждение!.. Школа коммунизма!

– Ты не хулигань! «Школа!»... Ведь это догадаться надо было – отдать такое письмо в экспедицию ВЦСПС!..

– Они у меня в уведомлении о вручении расписались! И конверт дали.

– Ну и что? Расписались. И кинулись читать такое письмо, да еще товарищу Сталину! Ты хоть можешь сообразить, сколько шалопаев его прочло, пока оно поднималось в секретариат заместителя председателя ВЦСПС? Сотни! И пошло-поехало – по всей Москве и по провинциям...

– А куда еще мог я отдать письмо? Просто почтой отправить – страшно: потеряется и попадет не в те руки, кто решает. В ВЛКСМ – не комсомолец я. Так же и в парторганы – беспартийный. Только в ВЦСПС. Тем более, я член профсоюза... булочников. В пекарне же работал. А в экспедицию почему сдал? Да потому, что ни в один подъезд меня не пустили. Вот. Я и сдал в экспедицию. Куда еще-то?

– Ну, к нам бы принес...

– К кому – «к нам»? Где вас искать? Где написано, что такие письма нужно к вам нести? Да у вас охрана кругом! Часовые с винтовками! И кто поручится, что, принеся к вам, не окажется письмо, и я с ним вместе, у таких «козлобоев», как Большой с Ройтманом?!

– У кого, у кого? У «козлобоев»? Откуда это у тебя?

– Так. Ниоткуда.

– Брось. От Степаныча словечко, – Фатов усмехнулся. – Ты бы хоть с ним посоветовался, со Степанычем, когда соображал, как письмо отправить...

– И это известно... О Степаныче.

– А иначе как? Он же опекун твой. Родственник, значит. Самый близкий... Ведь ты подвести его мог. Не подумал? Такого человека... Ладно. Будем думать, как дело кончить. Перво-наперво, подобьем бабки по твоим хужествам с листовками. Разгребатель мировой скорби...

Бабки с «листовками» мы подбили быстро. Тем более что все «бабки» налицо («давая мне прикурить», Ройтман и Большой вместе с тем старательно гребли на меня «компромат»). Имелись в деле доносы адресатов –

из тех, в чьи почтовые ящики опускались лагерные списки. Не так много их было – «свидетельств», – но были. Имелись и вещественные доказательства моей «преступной деятельности»: те же списки, принесенные доносителями, а также осколки «командирской линейки» и огрызок карандаша – орудия преступления, доставленные Юрочкою Поляковым и, конечно, прошедшие «криминалистическую экспертизу».

...Конечно же, главным блюдом следственного пиршества было мое письмо Сталину. Но – фотокопия. Подлинник, видать, зажали в ЦК. Тоже с экспертными – честь по чести – заключениями криминалистов-графологов и дактилоскопистов, что мое оно, написанное собственноручно! Так ведь я и не отказывался от письма! Я подписал его! И я же его практически сам отдал в их руки: что ВЦСПС, что НКВД – одна система. Да еще и адрес обратный, свой, выписал на титуле...

Набралось у них... Все – не в мою, не в нашу пользу. А что ж в нашу? А то, что не засветились ни Алик, ни Муська, ни Ирочка! Вот главное! Значит, все, что мы делали вместе, как вели себя в ситуациях сложных, экстремальных – все мы делали и вели себя правильно. Это раз. Второе. «Сведения» по художествам Ш. и компании тоже прошли чисто! А ведь провернули такой серьезный материал! И быстро! А времени на осмысливание его и на методы его освещения было у нас в обрез. По спешности действий могли и наследить. Но не наследили. И оперативке в голову не пришло, что это наших рук дело. Главное: «запиской» и письмом Сталину мы вдребезги раскололи тишину вокруг гибели детдомовцев! Вот где виктория!.. Что ж, с таким салдо можно и в суд, и на Особое совещание, и к черту на рога – дело-то сделано. К тому, что подняли доктора мои Семен Миронович Вовси и Георгий Несторович Сперанский, мамин учитель и сподвижник по «Маньчжурскому братству» Бурденко Николай Нилович, великий хирург Юдин Сергей Сергеевич и милейший Яков Львович Рапопорт – компания-то какая могучая, – к тому, что они сделали в разоблачение изуверства, и мы добавили! Да, немало! Распространенные нами сведения и письмо Сталину, «пущенное» через аппарат ВЦСПС, завершили важный этап собственной нашей войны за достоинство и жизни моих детдомовских товарищей. Наши документы раскрыли источник «материала» для страшных, каннибальских экспериментов. И этим как бы замкнули цепь неопровержимых доказательств вины академ-ка Ш., ее сановных клиентов, ее «августейших» покровителей.

Может быть, самое важное, что нам удалось, – мы не позволили устроить себя режиму, который держится только на страхе перед ним и который побеждает убоявшихся его. Он – режим этот – и возникает на страхе и запугивании людей, которые в ужасе перед ним умолкают...

За день до окончания следствия очень серьезно настроенный Фатов ознакомил меня с содержимым фотокопий документов, конверт с которыми был вложен за обложку моего тощего дела. То были копии писем Степаныча народным комиссарам внутренних дел, здравоохранения и народного образования, президентам Академий наук и Академий медицинских

наук СССР и Прибалтийских республик. И копия письма-рапорта Сталину. Характерные и привычные ровность строк и четкость букв его письма здесь сокрушены были тяжким недугом старика. Да тем еще, наверно, что писал он свои послания, скорее всего, поверх одеяла – встать с постели и сесть за стол он уже не мог...

Мельком пробежав глазами письма, точно передававшие не только саму суть гневного беспокойства Ивана Степановича, но – для меня – состояние его, я остановился на рапорте другу советских чекистов.

Без привычно-обязательного перечня чинов адресата и славословий в его адрес, языком воинского донесения он, коммунист, член коллегии НКВД, полковник внутренней службы Панкратов Иван Степанович, исполняя свой последний долг, докладывает главе своей партии о совершаемом руководством ВКП(б), наркоматов и академических учреждений «тяжком уголовном преступлении – людоедстве». Он перечисляет все известные ему и его коллегам события «по настоящему беспримерному делу» – «факты бесчеловечности лиц, ответственных за детские судьбы и жизни, им доверенные». Одного за другим называет он фамилии, имена и детдомовские клички воспитанников – латышей, эстонцев, русских, литовцев, немцев, – «тайно вывезенных из воспитательных учреждений, временно содержавшихся затем для подготовки преступления над ними в Центральной больнице пограничных войск и насовсем увезенных отсюда для невиданного злодейства над ними, на смерть».

Панкратов перечисляет полные имена известных ему «мучителей над детьми», среди которых нынешний нарком просвещения и бывший нарком Бубнов, нынешние директора детдомов и бывшая директор Яковлева, а также «теперешний исполняющий обязанности больницы коменданта майор Верстов П. Е.». И других, которых «обязательно надо помянуть». Но самым главным преступником называет он профессора Ш., которая «лично много лет кряду подбирает свои жертвы среди не осознающих всей опасности общения с нею беззащитных детей – детдомовцев». И далее, что «при преступной поддержке ее высоких покровителей в руководстве ВКП(б) она не допускает его [Панкратова] и других к тому, чтобы защитить воспитанников детских домов от ее бесчеловечности...»

Заканчивая рапорт Сталину, Степаныч пишет о том, что «не имея обыкновения действовать из-за угла, он дважды добивался личных бесед с Ш. Последний раз – в мае 1940 года». Он предупредил ее, что «будет настаивать на судебном разбирательстве и на наказании ее и ее клиентов за их совместные преступления»... Он с этой целью обратился в коллегию наркомата (по-видимому, НКВД)... «Она, – продолжает Панкратов, – ответила мне грубостью и угрожала карами со стороны товарищей Калинина М. И., Андреева А. А. и других перечисляемых товарищей, которые пользуются ее преступными услугами...»

Именно угрозы Ш., по словам Степаныча, заставили его обратиться к генеральному секретарю партии.

– Чего лыбишься? – возвратил меня на землю Фатов.

– Горжусь, потому что есть у меня такой воспитатель, который ничего не боится!

– Нет его у тебя, Додин. Больше нет... И в «Таймс» Панкратов никогда не обращался... И... тебя бы не замели никогда, был бы он...

– Как так «был бы»?!

– «Просто», как он любил говорить. Умер Панкратов Иван Степанович утром 28-го августа. Приказал долго жить, лихом его не поминать... Любил тебя, умника. Переживал за твои художества. Между прочим, познакомить тебя с этими письмами – его идея. И покровитель панкратовский не возражал... Панкратова ученик.

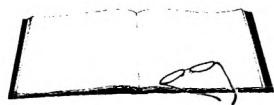
– Это кто ж такой – «ученик»?

– Забыл, Додин: здесь вопросы задаю только я! А насчет Степанычева «ученика» я даже себе самому не задам. Жизнь, понимаешь, всего одна. Да и та, как видишь, самоукорачивается часто. Но еще один вопрос задам – другого плана. И без протокола. Так и так завтра «206-ю» подпишем... Скажи-ка теперь, после всего, после писем твоего опекуна – ты или не ты рассылал бумаги по детдомовской теме? Голову даю на отсечение – ты! Все сошлось. Понимаешь? Скажи правду. Вот ведь и Панкратов твой, будто вслед тебе, выступил – не стесняясь, не боясь – с тем же практически. И – не без того – гордый своим выступлением посмертным. Если, конечно, он во всем прав. И эта его идея – поместить обязательно копии его обращений в твое дело – неспроста. Он тебе знак подал – теперь уже понятно, что с того света, – что во всем, даже в таком серьезном последствиями деле – тебя поддержал. И тем как бы оказался достойным... опекуном, что ж. Поразмысли, Додин: ведь не каждый родной отец на такое способен. Гордись!..

– «И колись!» – хотите вы сказать. – За ласку вашу?

– Ничего я не хочу! Понатворил дел и Сталину зачем-то написал!..

– Затем написал, чтобы все, кто письмо по дороге кверху прочтет, знали: все раскрывается! И что если не молчу я – а теперь вот и Степаныч заговорил, – то и другим надо бы рот раскрыть. Ведь и их дети могут попасть к Ш. Ну, потому еще, чтобы Степаныч узнал, что я тоже им горжусь. И что так же, как и он, имею смелость действовать не только из-за угла... Опоздал, получается...



историк, автор и соавтор 8 монографий и десятков статей по истории России, СССР и Германии. Живет в Германии.

БЫЛО И ТАКОЕ...

«Пособничество евреям» в национал-социалистической Германии

Русскоязычному читателю о них ничего или почти ничего неизвестно. В лучшем случае вспомнится одно имя – Шиндлер, и то по известному фильму Спилберга. Кто же они такие? Что делали? И почему?

На нацистском юридическом жаргоне их именовали «пособниками евреев», в сегодняшней Германии уважительно называют «спасателями» (Retter) или «помощниками» (Helfer). Их деятельность рассматривается как одна из разновидностей Сопротивления. Да, она не была направлена непосредственно на свержение нацистского режима, но эти люди, принадлежавшие к разным слоям общества, саботировали идеологию и политику нацизма в ее ключевом и самом чувствительном пункте – расовой теории и практике.

Формы и мотивы помощи

Начиналось все с простых, будничных проявлений сочувствия, солидарности – вопреки нацистским призывам, а затем и запретам, люди продолжали покупать у евреев, лечиться у них, давать заказы еврейским ремесленникам, помогать соседям делать покупки (товары отпускались евреям лишь в определенные часы). И, конечно, поддерживать родственные, дружеские, деловые, коллегиальные связи.

По мере ужесточения антиеврейских мер помощь становилась более опасной. Рано или поздно вставал вопрос: продолжать или остановиться? Готовые идти на риск предоставляли евреям убежище во время все-

германского погрома 9 ноября 1938 г. (среди них оказывались подчас и члены НСДАП). Кое-где полицейские предупреждали знакомых о грозящем аресте, что давало им возможность своевременно скрыться, или советовали не оставаться 9 ноября дома и не показываться на работе. В ряде случаев заступничество прислуги, соседей или просто знакомых помогало предотвратить физическую расправу над людьми и разгром их жилищ.

Нарастание дискриминации и преследований, исключение евреев из общественно-политической, культурной, а затем и хозяйственной жизни, угроза личной безопасности толкали все большее число людей к эмиграции. До осени 1941 г. легальная эмиграция была еще возможна, хотя и сопряжена с большими трудностями. Сочувствующие в меру сил и возможностей помогали их преодолевать. Наряду с легальной финансировалась и поддерживалась эмиграция нелегальная (тех, кто не имел средств или не мог выправить необходимые документы).

В августе 1941 г. был запрещен выезд из Германии евреев призывного возраста (от 18 до 45 лет), а в октябре того же года – эмиграция вообще. Теперь вырваться из рейха можно было только нелегально. Чаше других способствовали этому жители приграничных местностей.

Однако далеко не все евреи могли или хотели уехать. Оставшиеся в стране болезненно переживали свою изоляцию от немецкого общества. Измена или равнодушие прежних друзей, знакомых, подчас даже родственников, школьных и университетских товарищей, коллег по работе, соседей, деловых партнеров, клиентов, пациентов и пр. – все это порождало у преследуемых ощущения одиночества и отверженности.

Тем ценнее были любые, даже самые малые проявления сочувствия, симпатии, солидарности. Например, с сентября 1941 г., когда для всех евреев старше шести лет стало обязательным ношение специального опознавательного знака – шестиконечной звезды, нередко бывало, что кто-то демонстративно вставал со своего места в трамвае, метро или поезде, предлагая его носителю клейма.

С октября 1941 г. для всех евреев Германии была официально введена принудительная трудовая повинность (фактически существовавшая с 1940 г.). Их направляли, как правило, на самые тяжелые, грязные или опасные работы – прокладку и ремонт дорог и железнодорожных путей, мошение и уборку улиц, производство боеприпасов и военного снаряжения. Рабочий день длился по десять и более часов, а рацион состоял из гнилого картофеля, брюквы и малых количеств снятого молока, смальца и сахара. Хлеба выдавалось по 500 граммов в неделю против 2500 для «арийцев». В этих условиях важным проявлением солидарности стала помощь продовольствием.

В октябре 1941 г. начались систематические депортации немецких евреев «на Восток» – в гетто Польши, Белоруссии, Прибалтики. Сотрудники полиции и других учреждений, особенно же частных фирм, осведомлен-

ные о предстоящих акциях, подчас предупреждали о них знакомых, что давало тем возможность своевременно «лечь на дно».

Официально депортация именовалась «переселением на Восток» с целью «трудового использования», поэтому временно нетрудоспособные получали отсрочку до выздоровления. Используя это, врачи ставили знакомым ложные диагнозы, производили без особой необходимости операции (или просто имитировали их) и старались как можно дольше удержать такого пациента в больнице. Кому-то, действительно, смогли таким образом спасти, в конечном счете, жизнь.

Иногда удавалось предотвратить депортацию при помощи связей с высшим или местным начальством.

С началом массовых депортаций уход в подполье стал единственным, пусть зыбким и ненадежным, шансом на выживание. Из 164 тысяч евреев, оставшихся к тому времени в Германии¹, на такой шаг решилось от 10 до 15 тысяч человек².

Жизнь в подполье была исключительно трудна по многим причинам – для нее нужны были физическая и психическая устойчивость, денежные средства и в первую очередь связи с евреями, готовыми помочь.

Основным видом помощи становится теперь предоставление убежища. Где только ни прятали евреев – у себя дома, у родных и друзей, в роскошных виллах и скромных сельских домиках, в гостиничных номерах и обычных квартирах, на чердаках и в подвалах, в гаражах, на складах, в амбарах, хлевах, овинах, производственных и офисных помещениях, в церквях и монастырях, в больницах и кладбищенских склепах, в сиротских приютах и домах престарелых, в садовых домиках и на лодочных станциях, в борделях и бродячих цирках! Кто-то укрыл на день-другой, кто-то – на несколько лет, большинство – одного или двух-трех человек, а некоторые – десятки.

Как правило, укрываемые не имели ни надежных документов, ни продуктовых и промтоварных карточек. Их прокорм ложился зачастую на плечи хозяев, подчас вынуждая тех до предела сокращать собственный рацион. В других случаях продукты прикупали на черном рынке, тратя на это многолетние сбережения.

Укрывателям нередко помогали друзья или родственники, которые сами не могли или не решались предоставить убежище евреям. Кто-то доставал продукты, кто-то – продуктовые или промтоварные карточки.

В отношении документов было несколько вариантов. Случалось, люди отдавали собственные, заявляя в полиции, что потеряли их или что они похищены. Иногда документы приобретались у лиц, которые, нуждаясь в

¹ Kaplan M. Der Mut zu Überleben. Jüdische Frauen und ihre Familien in Nazideutschland. Berlin. 2003. S. 207.

² Ibid. S. 218; Kosmala B. Zwischen Ahnen und Wissen. Flucht vor der Deportation (1941–1943) // Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne–Praxis–Reaktionen 1938–1945. Göttingen, 2004. S. 138.

средствах, продавали удостоверения свои или умерших родственников. В других случаях использовались чистые бланки, похищенные в соответствующих учреждениях (подчас при помощи их сотрудников). Порой документы изготовлялись за плату или в силу сочувствия умельцами-граверами. А иногда этим успешно занимались и непрофессионалы.

В 1944–1945 гг. спасателям все чаще удавалось легализовать своих подопечных, ходатайствуя перед соответствующими учреждениями о выдаче им новых документов на вымышленные «арийские» имена взамен якобы погибших в разрушенных бомбежкой домах.

Укрыватели жили в постоянном страхе и напряжении. Опасаться приходилось всего и всех – прислуги, малолетних детей (те могли проболтаться) и, прежде всего, конечно, соседей. Многим из тех, кто под влиянием спонтанного порыва предложил преследуемым убежище, лишь со временем стало ясно, каким опасностям они подвергают себя и своих близких. Реакция была разной, и подчас преследуемым приходилось срочно искать новое убежище.

На свой манер старались помочь оставшимся в Германии евреям некоторые предприниматели. Используя острую нехватку рабочей силы, вызванную призывом миллионов работоспособных мужчин в армию, они устраивали евреев на работу, спасая этим от тяжелых и опасных принудительных работ, а на какое-то время и от депортации.

Одним из таких был Отто Вайдт, владевший в Берлине мастерской, где делались метлы и щетки. У него работали почти исключительно слепые и глухонемые (сам Вайдт различал лишь смутные очертания предметов). Поскольку продукция поставлялась и вермахту, предприятие считалось «оборонно важным». Под этим флагом и благодаря подкупу Вайдт получал от «биржи труда для евреев» столько людей, сколько хотел. «Свой человек» был у него и в «еврейском отделе» берлинского гестапо – Франц-Вильгельм Прюфер, ведавший предприятиями, где работали евреи.

Ряд предпринимателей и менеджеров, действовавших на оккупированных территориях Польши и Советского Союза, привлекали на работу узников гетто и концлагерей, спасая этим от гибели (большей частью – на время, а в счастливых случаях – и вообще). Всемирную известность приобрел арендатор фабрики эмалированной посуды в Кракове Оскар Шиндлер. Широко известен в Германии Бертольд Байц, в годы войны – коммерческий директор нефтяного общества «Бескиды» в Дрогобыче, а затем и фирмы «Карпатен Оль» в Бориславе. В литературе о спасателях имеются сведения о деятельности владельца фабрики лакокрасочных изделий и антикварного магазина в Белостоке Отто Буссе; управляющего фабрики по производству обувного крема в Сосновце близ Черновиц Иоганна Пшейдта и др.

Аналогичные попытки с разной степенью успешности предпринимали и некоторые военнослужащие и гражданские лица, управлявшие предприятиями вермахта, организации «Тодт» или оккупационной администрации. В Вильнюсе, например, действовали фельдфебель Антон Шмид, начальник

сборного пункта для отставших от частей солдат, который одновременно руководил мастерской по восстановлению вагонных и автомобильных сидений, а также мастерской по изготовлению и починке обмундирования; майор Карл Плагге – начальник военного авторемонтного парка. Иозеф Майер заведовал отделом хозяйства и снабжения оккупационной администрации округа Злочов (Галиция), майор Эберхард Гельмрих управлял имением Хиравка близ Дрогобыча, поставлявшим продукты местному начальству. Все они, ссылаясь на «производственную необходимость», включали в персонал своих предприятий и лиц, не имевших к ним никакого отношения. Если им становилось известно о предстоявших «селекциях» и «акциях», они предупреждали о них знакомых, что давало тем возможность спрятаться, а некоторых прятали сами в производственных помещениях или даже дома. Другие нелегально перевозили евреев в населенные пункты, казавшиеся на тот момент более безопасными.

В ряде случаев офицеры-спасатели препятствовали депортации «евреев вермахта», угрожая применить против СС и полиции оружие. Так, в июле 1942 г. военный комендант польского городка Пржемысл майор Макс Лидтке и его заместитель обер-лейтенант Альберт Баттель приказали солдатам блокировать мост через реку Сан, чтобы помешать СС вывезти евреев Пржемысла в лагерь уничтожения Бельзек. Представителю СС Лидтке заявил: «Если вы вступите на мост, я прикажу открыть огонь», а Баттель – он был душой операции – распорядился ночью свезти сотни еврейских рабочих с семьями во двор комендатуры. Таким путем удалось спасти 2500 человек.

3 декабря 1941 г. военный комендант местечка Городенка Черновицкой области капитан Фриц Фидлер послал подчиненного ему фельдфебеля в гетто с приказом вывести оттуда еврейские семьи Кауфман и Шнайдер и на время предстоящей «акции» укрыть их в погребе своего дома. Всех еврейских рабочих комендатуры Фидлер собрал на ее территории, наказав своим людям в случае необходимости преградить эсэсовцам доступ туда с помощью оружия.

Майор Плагге посылал в тюрьмы и лагеря солдат с требованием освободить арестованных работников автопарка, давая им карт-бланш на применение силы.

Разумеется, такие действия подавались отнюдь не как направленные против режима или его политики, а как конфликты компетенции, вызванные чувством ответственности за выполнение своих служебных задач.

Когда возможности спасателей оказывались исчерпанными, они старались предупредить подопечных об этом. Так, перед отступлением немцев из Вильнюса Плагге собрал рабочих авторемпарка и в присутствии обершарфюрера СС Рихтера объявил, что в связи с эвакуацией города они поступают в распоряжение СС – «организации, которая, как вы знаете, имеет задачей охранять заключенных» (по другой версии, «умеет заботиться об еврейских заключенных»). После этой речи из тысячи с лишним рабочих

около четырехсот спрятались в различных убежищах или бежали из Вильнюса. Примерно половине из них удалось, в конечном счете, спастись.

Некоторые предприниматели в Германии сознательно принимали на работу евреев без документов или с фальшивыми «арийскими» документами, другие устраивали их подчас даже в госучреждения.

Супруги Гельмрих разработали и провели в жизнь дерзкий план: Эберхард отправлял из Дрогобыча в Берлин, на квартиру к Донате, молодых евреев, снабженных документами на украинские и польские имена, а та, в свою очередь, устраивала их домработницами в немецкие семьи, обычно ничего не подозревавшие. Гельмрихи использовали острую нехватку рабочей силы в Германии и то, что в стране уже находились миллионы иностранных рабочих. Расчет оказался правильным – все привезенные девушки выжили.

Даже тем, кто уже попал в колеса депортационной машины, благодаря отчаянно смелым спасателям удавалось подчас выскочить, что называется, на ходу. Так, восемнадцатилетняя Катарина Оверат вывела из сборного лагеря Мюнгерсдорф близ Кёльна содержащуюся там супружескую чету Бернауэр, выдав их охранникам за своих родителей, якобы работающих на лагерной кухне.

Бывало, что возможность бежать давали и охранники, тюремные надзиратели, полицейские, жандармы и даже эсэсовцы.

Кто-то из сочувствующих посылал в лагеря и гетто – от вымышленного, а подчас и собственного имени – продуктовые и вещевые посылки, пока это не было запрещено в июне 1942 г. Или, в другом варианте, передавали продукты через солдат вермахта. Бывало, что последние делали то же по собственной инициативе. В некоторых случаях вольнонаемные работники лагерных предприятий помогали евреям продовольствием и одеждой, пересылали на родину их почту.

Заключенные немцы-антифашисты умудрялись и в лагере спасать человеческие жизни.

Трое немцев сумели передать представителям стран антигитлеровской коалиции информацию о планировании и осуществлении геноцида в надежде, что это поможет остановить его. Их имена: юрист и предприниматель Эдуард Шульте, генеральный директор фирмы «Наследники Георга фон Гиша»; гауптштурмфюрер СС Курт Герштайн, руководитель отдела технической дезинфекции в санитарной службе войск СС, ставший в августе 1942 г. очевидцем умерщвления газом «циклон В» в лагерях Треblinka и Бельзек; руководитель мюнхенского отделения абвера полковник граф Рудольф Маронья-Редвиц.

Наконец, некоторые даже оказывали помощь еврейскому движению Сопротивления, подвергая себя смертельному риску. Так, Иоганн Пшейдт предоставил на своей фабрике убежище беглецам из гетто и помогал им перебираться в окрестные леса, где базировались еврейские партизаны. В канцелярии Пшейдта изготавливались фальшивые документы, печати и пр.

Отто Буссе оборудовал для еврейских партизан тайную явочную квартиру во Львове, служившую также складом оружия; использовал свои связи в немецких учреждениях, чтобы добывать для них разведывательную информацию, удостоверения и т. п.; на собственной машине перевозил в лес оружие, медикаменты, карты и пр. Антон Шмид транспортировал десятки вооруженных сопротивленцев из одного гетто в другое, снабжал их нужными бумагами; его квартира была местом встреч еврейских подпольщиков, где курьеры из других гетто отдыхали и получали новые задания. Начальник воинской канцелярии на железнодорожной станции Барановичи фельдфебель Хуго Арман передал евреям, работавшим в ремонтных мастерских, несколько единиц оружия и боеприпасы. А для капитана Вилли Шульца, который в оккупированном Минске надзирал за работой узников гетто, помощь последним завершилась уходом вместе с 24 евреями и евреями в лес, к советским партизанам.

Мотивы спасателей и помощников были очень разными. Многие руководствовались религиозными убеждениями. Другие – политическими (сознанием преступности режима и готовностью противодействовать ему доступными средствами, среди которых помощь евреям была все же менее опасна, чем публичная критика или подпольная борьба). Третьи – простыми принципами буржуазной порядочности. Четвертые – симпатией к евреям, подчас религиозно мотивированной. Еще кто-то – личными чувствами к тому или иному еврею – супружескими, романтическими, родственными, дружескими или благодарностью за оказанные в прошлом услуги, или, напротив, резко негативным отношением к тому или иному представителю режима. Такие качества, как любовь к приключениям или природная строптивость, тоже играли порой определенную роль. Во многих, если не в большинстве случаев люди руководствовались не одним, а несколькими мотивами, что усиливало их совокупное действие. Но самое большое число бескорыстных помощников и спасателей было движимо, по-видимому, просто состраданием, человечностью, гуманностью. Людей такого типа отличала способность к идентификации с преследуемыми, утрата которой миллионами других немцев стала, по мнению Т. Адорно, одной из психологических предпосылок Холокоста³.

Было бы, однако, ошибочно сводить мотивы оказания помощи к бескорыстным. Работы немецких историков показывают, что во многих случаях мотивом (или, по меньшей мере, одним из мотивов) было стремление к выгоде. Так, жители приграничных местностей, следуя старым контрабандистским традициям, доставляли людей в соседние страны за плату деньгами или ценностями. Подкупленные охранники иногда выпускали людей со сборных пунктов для депортируемых. Убежище во многих случаях тоже предоставлялось небескорыстно – за деньги, ценности, трудовые, а то

³ Adorno T. W. Erziehung nach Auschwitz // Idem. «Ob nach Auschwitz noch leben lasse». Hrsg. von R. Tiedemann. Frankfurt a/M, 1997. S. 60.

и сексуальные услуги. Подчас идейно-нравственные побуждения (оппозиционность, сочувствие преследуемым и пр.) сочетались с материальным интересом.

Кого было больше – помогавших бескорыстно или из выгоды, сказать невозможно. Некоторые очевидцы и участники событий (например, Инга Дойчкрон) и исследователи (проф. Эрика Вайнцирль) склоняются к тому, что корыстных было, пожалуй, больше. Гюнтер Б. Гинцель (руководитель регионального исследовательского проекта «Невоспетые герои») полагает, что и людей они спасли больше, чем «праведники»⁴.

При всей неприглядности некоторых описанных случаев не следует забывать, что оказание помощи евреям было связано с огромным риском. И по каким бы мотивам она ни оказывалась, такая помощь противоречила одной из главных целей режима, расценивалась как вызов, как прямое противодействие ему и влекла за собой нешуточную кару.

Санкции и «рецидивы»

Что грозило немцам за помощь евреям?

С самого начала существования нацистского режима «пособники евреев» подвергались, прежде всего, морально-психологическому и административному давлению – травле в печати, бойкоту, увольнению и исключениям, запретам на профессию и т. д. Периодически повторявшиеся нападки на «друзей евреев», «прислужников евреев», «предателей, вступающих в сговор с евреями» призваны были запугать потенциальных помощников, создать вокруг них атмосферу враждебности.

Что касается уголовного преследования, то в своде законов рейха деликт «пособничество евреям» не значился. Внесение его потребовало бы публичного обоснования, а это могло представить в нежелательном свете намечаемые пути «решения еврейского вопроса».

Судебное преследование спасателей и помощников осуществлялось по другим статьям УК – «осквернение расы», подделка документов, валютные и хозяйственные преступления, содействие нелегальному переходу границы, содействие бегству из мест заключения и пр. Основную роль при этом играли «особые трибуналы», созданные распоряжением имперского правительства от 21 марта 1933 г. именно с целью подавления оппозиционных действий.

Однако в большинстве случаев помощь евреям преследовалась не судебным, а полицейским путем. «Правовую» базу составлял закрытый внутриведомственный указ Имперского главного управления безопасности (РХСА) от 24 октября 1941 г. Им предусматривалось, что «лица немецкой

⁴ Mut zur Menschlichkeit. Hilfe für Verfolgte während der NS-Zeit. Hrsg. von G. B. Ginzel. Köln. 1993. S. XI, 19, 107.

крови», которые «публично поддерживают дружеские отношения с евреями», подлежат «в воспитательных целях» «превентивному» заключению. «В более тяжких случаях» их могли отправлять в концлагерь на срок до трех месяцев. Под этот указ подводилось большинство видов помощи, которая рассматривалась как саботаж «мероприятий имперского правительства по исключению евреев из народной общности».

По отношению к военнослужащим действовал ряд специальных приказов и директив. Так, в «Директивах и памятной записке по использованию еврейской рабочей силы» от апреля 1942 г. говорилось: «Тот, кто поддерживает с евреями приватное общение, должен рассматриваться как еврей». Приказ управления кадров главнокомандования сухопутных сил (октябрь 1942 г.) подчеркивал: «Не должно иметь места ни малейшей связи между офицером и каким-либо представителем еврейской расы». Приказ штаб-квартиры фюрера от того же месяца гласил: «Каждый офицер, несогласный с мерами против евреев, подлежит преданию военному суду». Указание рейхсфюрера СС Гимmlера от 9 октября предписывало «без всякого снисхождения действовать против тех, кто считает, что, исходя якобы из интересов вооруженных сил, должен в данном случае противиться [обращению с евреями]. На деле такого рода люди хотят лишь поддержать евреев и их гешефты».

Как все эти положения применялись на практике? Беате Космала, ведущая участница проекта «Спасение евреев в национал-социалистической Германии», инициированного Центром по изучению антисемитизма при Техническом университете Берлина, проанализировав на материалах 150 случаев практику нацистских репрессивных органов, пришла к следующим выводам. В отличие от жителей оккупированных стран, которых за помощь евреям карали, как правило, смертной казнью, к немцам – «рейхс- и фольксдойче» – смертная казнь за тот же деликт, взятый сам по себе, не применялась. В делах казненных немцев-спасателей «пособничество евреям» фигурирует как дополнительное, отягчающее вину обстоятельство наряду с другими, главными преступлениями против режима⁵.

Правда, военнослужащим грозила опасность предстать перед военным судом. Однако даже расстрельные приговоры заменялись, как правило, различными сроками тюремного заключения. Так, смертный приговор, вынесенный в 1943 г. унтершарфюреру СС Альфонсу Цюндлеру, охраннику сборных пунктов для депортируемых в Амстердаме, который способствовал бегству оттуда нескольких сотен детей и взрослых, был заменен сначала десятью годами заключения, а затем отправкой в эссовский штрафбат (суду, по-видимому, остались неизвестны масштабы деятельности Цюндлера, а также его связь с Сопротивлением). Нам известны лишь три случая приведения смертных приговоров в исполнение: расстрел Антона Шмида

⁵ Kosmala B. Missglückte Hilfe und ihre Folgen // Überleben im Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 1941–1945. Berlin, 2002. S. 217–221.

за нелегальный вывоз из Вильнюса трехсот с лишним евреев (13 апреля 1942 г.), расстрел фельдфебеля полевой полиции Освальда Боско за содействие бегству сотен евреев, укрывшихся на территории краковского гетто после его ликвидации (18 сентября 1944 г.), и расстрел слесаря Курта Фукса за укрытие трех сбежавших во время «марша смерти» заключенных евреев (12 мая 1945 г.).

Особо следует подчеркнуть, что ни один военнослужащий, полицейский, жандарм или эсэсовец не был казнен за отказ участвовать в убийствах евреев. Послевоенные утверждения о том, что подобный отказ повлек бы за собой расстрел на месте, были, как подчеркивают немецкие историки, не более чем попытками оправдать свое поведение.

Причину описанной «мягкости» Космала усматривает в нежелании властей признать, что из рядов «немецкой народной общности» может исходить сознательное, целенаправленное сопротивление политике геноцида, и в стремлении представить проявления солидарности с евреями как аномальное поведение отдельных «оторванных от жизни чудачков», чья «сентиментальная чувствительность» эксплуатируется евреями.

Что же происходило с разоблаченными «пособниками евреев»? В большинстве случаев их отправляли в концлагерь или так называемый «воспитательно-трудовой» лагерь с указанием срока или без него. В остальных – суд с приговорами в диапазоне от полугода до десяти лет заключения. Иногда накладывались и денежные штрафы. Были случаи, когда виновных без суда и медицинской экспертизы помещали в психиатрические больницы. В отдельных (считанных) случаях наказание было необъяснимо мягким. Так, Маргарет Х., в течение полутора лет укрывавшая еврейского подростка Давида Френкеля (она встретила его на берлинском кладбище Вайсензее, где тот прятался давно), была приговорена ... к штрафу в 20 марок за то, что не сообщила в полицию, как положено, о появлении нового жильца. В другом случае пожилая женщина, осужденная на три месяца тюрьмы за «умышленное распространение лживого, вредного для государства высказывания» и «дружеские сношения с евреями», была освобождена от наказания, поскольку на ее попечении находилось пятеро детей погибшего на фронте сына. Вообще, как отмечает Космала, женщины, обремененные семьей, наказывались менее жестко, нежели одиночки или мужчины.

Иногда деньги или связи помогали избежать наказания. Так, некий строительный подрядчик в Берлине, арестованный в сентябре 1942 г. за укрывательство евреев в своей квартире и управляемых им домах, после допроса в полиции был отпущен – случайно при нем оказалась большая сумма денег, которую он и вручил следователю.

Отто Вайдт был арестован гестапо в том же 1942 г. – по доносу предателя-еврея нашли укрытия, оборудованные Вайдтом в мастерской и на складе готовой продукции. Однако через пару часов он был отпущен: заместитель начальника «еврейского отдела» берлинского гестапо Прюфер получил от него столько взяток, что теперь опасался шума – отправленный в

тюрьму, Вайдт мог и заговорить... Поэтому Прюфер сделал вид, что поверил его объяснениям: укрытия сделаны без ведома хозяина...

Когда владельца берлинской типографии Теодора Гёрнера арестовали за «пренебрежение расовыми законами», «дружественное евреям поведение» и пр., его дочь нашла ход к одному из самых одиозных сотрудников «еврейского отдела» оберкриминал-ассистенту Эрнсту Зассе. Тот порекомендовал ей обратиться в гестапо с письмом, подчеркивающим значение типографии Гёрнера для военных операций (там печатались водостойкие удостоверения личности военных моряков). Положив в карман щедрую мзду, Зассе распорядился освободить Гёрнера под надзор полиции. Самой болезненной оказалась для Гёрнера обязанность пожертвовать 5000 марок на ненавистную ему нацистскую «зимнюю помощь».

Оскара Шиндлера арестовывали трижды – за «братание» с евреями и поляками и подкуп должностных лиц, и его жена Эмилия каждый раз – при помощи влиятельных друзей – вытаскивала его из гестапо.

У Бертольда Байца дело, к счастью, не дошло до ареста. Несколько фольксдойче, работавших в «Карпатен Оль», послав в СД в Бреслау донос о том, что Байц «благожелательно» относится к евреям и полякам, просили снять его с должности и арестовать. По счастливой случайности руководителем службы СД был земляк и школьный товарищ Байца. Просматривая, как обычно, книгу регистрации «входящих-исходящих» документов, он натолкнулся на запись с изложением сути доноса и пометкой, что письмо передано для принятия мер гестапо. Ему удалось убедить знакомого гестаповца вернуть документ в СД. Срочно вызвав Байца из Борислава, он показал ему донос и, предупредив о необходимости быть предельно осторожным, сжег в камине опасную бумагу.

На Герду Ф. из Годесберга тоже поступил донос, что она с мужем укрывает евреев. Но начальник местной полиции Отто Кессель – ученик отца Герды, который служил в полиции города 35 лет, «спрятал донос в самый дальний ящик стола и там забыл».

Иногда скандал оказывался невыгоден начальству – например, в случае Лизелотты Флеминг, служившей в немецком штабе в Риге. Случайно столкнувшись там с землячкой и сверстницей из Нюрнберга Бертой Зайферфельд, которую из гетто гоняли на работы для вермахта, и проникшись сочувствием к ней, Лизелотта стала делиться с Бертой пайком, а затем приносить еду из штабной столовой и для других голодающих работников-евреев. Кто-то, очевидно, заметил это и донес. Но штабные покровители отправили виновницу в командировку и за время ее отсутствия замали дело.

Некоторые «спасатели в мундирах» за «дружественное отношение к евреям» подверглись дисциплинарным санкциям – переводу на другое место службы, поближе к фронту или в глубь оккупированной территории (капитан Фриц Фидлер, обер-лейтенант Альберт Баттель, майор Макс Лидтке). Баттеля лишили также воинской награды. Однако сохранилось письмо

Гиммлера шефу партийной канцелярии Мартину Борману, где говорилось о необходимости по окончании войны провести партийное расследование «казуса Баттеля» с целью исключить его из НСДАП и привлечь к судебной ответственности. Руководство СС держало камень за пазухой и против управляющего известной фирмы «Бош» Ганса Вальца, помогавшего многим евреям, но ввиду значения фирмы для военного производства откладывало сведение счетов до окончания войны.

Подытоживая, можно сказать: да, пространство выбора, возможность «активно проявить порядочность», альтернатива слепому повиновению, безусловно, существовали. Но рамки этого пространства не были отчетливыми, вычислить степень риска в каждом отдельном случае было практически невозможно. Ясно одно – в условиях тотально мобилизованной «немецкой народной общности» и свирепого репрессивного режима риск для спасателей был очень велик. Любой провал мог кончиться смертью – если не по судебному приговору к расстрелу, то в результате пребывания в тюрьме или концлагере. Именно это произошло в 20 из 150 изученных Космалой случаев.

Как правило, помогавшие евреям понимали, на что идут. Так, на совещании в комендатуре Пржемысла, заявив присутствующим офицерам о своей решимости не допустить депортацию «евреев вермахта», майор Лидтке предупредил: «Господа, мы рискуем головой, ибо то, что мы делаем, противоречит прямому указанию фюрера. Но самое страшное, что нам грозит, это расстрел».

Особо следует подчеркнуть – многие шли на этот риск снова и снова, несмотря на то, что были уже на заметке или подвергались репрессиям именно за помощь евреям или в том числе и за нее.

Так, гейдельбергского пастора Германа Мааса за помощь преследуемым многократно допрашивали и задерживали. Известность за рубежом и популярность в городе – на его проповеди стекалось множество людей – удерживали гестапо от следующего шага. Однако в 1944 г., когда при очередном обыске у Мааса нашли письма, где говорилось о том, что он питает отвращение к нацистскому режиму и особенно к преследованию евреев, 67-летнего священника отправили рыть окопы во Франции.

Пастора Генриха Грюбера за девять месяцев до ареста пригласили в гестапо в связи с протестом против выселения евреев из Штеттина, который он направил в правительственные и партийные инстанции. Ему недвусмысленно дали понять, что при повторении подобных действий последуют строгие санкции. Грюбер ответил, что, пока у него есть возможность, он будет протестовать против преследования евреев.

Служка за жительницей Ильзой Тошке началась в 1936 г., в 1939 и 1941 гг. ее допрашивали и предупредили, что если она не прекратит контакты с евреями, то будет отправлена в концлагерь. Это не удержало Тошке от попытки переправить еврейку Рут Базински в Швейцарию, за что она и попала в 1942 г. в Равенсбрюк (где, к счастью, не погибла).

Юристу из Франкфурта д-ру Ирене Блок после предупреждения местного руководства НСДАП, которое она проигнорировала, за помощь евреям запретили юридическую практику. Это было летом 1942 г. А с осени того же года она в течение 900 дней укрывала еврейку Марию Иоганну Фульда – сначала в своей квартире, а затем, когда та была разрушена, в деревне Цигенхайм близ Франкфурта (как «пострадавшая от бомбежки» Фульда получила там документы на арийское имя).

Элизабет Шмиц, преподавательница истории, религии и немецкого языка, еще в 1937 г. подверглась травле со стороны партийного и гимназического начальства за то, что приютила у себя оставшуюся без работы и средств подружку-еврейку. Годом позже Шмиц досрочно вышла на пенсию. А в 1943 г. дала убежище едва знакомой ей Лизелотте Перелес, а затем помогала ей деньгами и карточками. По свидетельству Перелес, то же делала Шмиц и для других нелегалов.

Иозеф Майер в январе 1943 г. был арестован – донесли, что он распорядился выделить евреям города Радома больше продовольствия, нежели «положено». Через три дня Мейера освободили – из-за отсутствия доказательств. Вернувшись в Злочов, он сказал еврейскому другу д-ру Теодору Альтману: «Не беспокойтесь, я буду и впредь помогать. Мы должны только быть осторожнее». И действительно, он помог оборудовать под одним из городских домов бункер на тридцать человек и создал там запас продовольствия. Для этого пришлось оформить подложные заказы от различных военных организаций. Обитателям бункера удалось пережить уничтожение злочовского гетто в апреле того же года.

Берлинская проститутка Шарлотта Эрксleben укрывала евреев, выдавая их за своих клиентов. Одна из товарок донесла на нее, гестаповцы явились с обыском. Ее жилец Франц Вальтер без звезды на одежде спускался по лестнице, когда те поднимались; он бросил им «Хайль Гитлер!» и вышел на улицу. В квартире Шарлотты был найден, однако, чемодан с мужской одеждой. Ее многократно вызывали в гестапо, избивали, угрожали концлагерем. Но Шарлотта твердо стояла на своем: никаких евреев она не принимала – «уж я бы сразу узнала, еврей это или нет». (Намек на профессию, довольно опасный, ибо «неорганизованная» проституция в рейхе была уголовно наказуема.) Эрксleben продолжала заботиться о Вальтере, который нашел другой приют (снабжала его продуктами, стирала белье и пр.). А «салон» ее продолжал служить прибежищем для евреев. Только на случай обыска на антресолях водрузили ящик, куда жилец мог нырнуть, поднявшись по приставной лесенке. Когда квартиру разбомбили, Шарлотта сняла меблированные комнаты и по-прежнему прятала евреев.

Возглавляемый юристом Гансом Кальмайером «отдел сомнительных расовых случаев» в немецкой оккупационной администрации Нидерландов путем юридического крючкотворства, осуществляемого под флагом скрупулезного соблюдения «нюрнбергских законов», и с широким использованием поддельных и фальсифицированных документов превращал

«полных» евреев в «половинок» или даже «четвертушек», спасая их таким образом от депортации. Деятельность Кальмайера вызывала подозрение СД и зипо (полиции безопасности). Несколько раз они требовали перепроверить его списки; начальник СС и полиции Нидерландов Раутер, напрямую сносившийся с Гиммлером, без околичностей именовал Кальмайера «защитником евреев» и «саботажником». Опасность грозила и с другой стороны – фанатичный голландский фашист Лудо Тенкате, возглавлявший «Центральную генеалогическую службу» при МВД, не устал указывать на «ошибки» отдела Кальмайера.

Однако рейхскомиссар Нидерландов Зейсс-Инкварт, не желавший усиления власти Раутера, отверг предложения о генеральной ревизии деятельности Кальмайера и передаче его полномочий СД. Он ограничился тем, что с 1 декабря 1942 г. запретил Кальмайеру принимать к рассмотрению новые ходатайства. Кальмайер, однако, продолжал их принимать... «Список отсрочек» от «переселения на Восток» пополнялся, и каждое новое имя означало отмену или, по меньшей мере, отсрочку исполнения смертного приговора.

У некоторых спасателей были столкновения с режимом по иным поводам. Так, книги писателя Герхарда Поля были занесены в черные списки, Герта Церна находилась под надзором в связи с ее прежней деятельностью социал-демократического публициста и редактора. Несмотря на это, первый в 1936–1938 гг. помогал евреям переходить границу с Чехословакией; вторая, служившая в годы войны на радио, устроила туда машинисткой еврейку Маргот Мозес, которую укрывала, превратив ее во «фрау Хеддер». Теолог д-р Макс Иозеф Мецгер и католический священник д-р Фридрих Эрксleben, тоже укрывавшие евреев, ранее арестовывались за критику национал-социализма. Пастору д-ру Отто Мёрике, одному из руководителей «Братского круга» – сети спасателей, действовавшей в Баден-Вюртемберге, – еще в 1936 г. запретили преподавательскую деятельность; в 1938 г. сняли с должности и дважды арестовывали; в 1939 г. приговорили к десятимесячному заключению, замененному по амнистии трехлетним условным сроком (на плебисците 10 апреля 1938 г. супруги Мёрике отказались одобрить внутреннюю политику Гитлера). Солдат-отпускник Стефан Пфюртнер, способствовавший бегству трех евреек, направленных из концлагеря Штуттоф на сельхозработы, ранее был осужден на полгода тюрьмы за «враждебные высказывания» в адрес войск СС (он входил в кружок духовных лиц и мирян, где наряду с религиозными темами обсуждались также методы ведения войны, оккупационная политика, программа эвтаназии и пр.).

Инструментальщик Вильгельм Дене в 30-х годах дважды подвергался аресту как социал-демократ. Но, несмотря на это, делал все, чтобы облегчить жизнь подначальных ему работниц-евреек. Нескольких Дене спас от депортации прямым обращением в гестапо со ссылкой на их «незаменимость». Когда в 1944 г. после покушения на Гитлера Вильгельма Дене

снова арестовали, заботу о его подопечных взяла на себя его жена Маргарет. Она снабжала их продуктами, подыскивала убежища, некоторых прятала у себя.

Вернер Келлер, заместитель начальника службы информации и пропаганды в министерстве вооружений, входил в подпольную организацию, которая вела антивоенную пропаганду и готовила покушение на Гитлера и других нацистских главарей. Наряду с этим супруги Келлер укрывали в своей берлинской квартире евреев. Используя служебное положение, Келлер снабжал их фальшивыми документами, продовольственными карточками и пр. Однако с 1943 г. квартира Келлеров стала опасной. Из-за доносов об их «антипатриотичных», «пораженческих», «разлагающих» высказываниях, «пренебрежительных отзывах о политическом и военном руководстве» (писала их экономка Келлеров) гестапо и военная полиция зачастили к ним с обысками. Жена Келлера с тремя детьми жила теперь большей частью на даче. И, несмотря на слежку, продолжала укрывать там преследуемых.

Эта решимость, эта готовность ставить на карту жизнь, благополучие свое и семьи подчас поражали спасаемых. Марта Шпигель, которую вместе с шестилетней дочерью укрывало в 1943–1945 гг. несколько крестьянских семей близ Мюнстера (ее муж, торговец лошадьми Зигмунд Шпигель прятался в тех же местах), писала впоследствии: «Откуда брали они эту почти неземную силу? Я ведь сама не знаю, нашла ли бы я в себе силы, чтобы выдержать такое нечеловеческое испытание – во время жесточайшего террора, когда все шпионили за всеми и малейшее подозрение могло привести к разоблачению»⁶. Тем же вопросом задавалась Сузи Альтман, одна из девушек, вывезенных супругами Гельмрих из Дрогобыча: «Как могла госпожа Гельмрих быть уверенной в том, что я или какая-нибудь другая девушка из тех, кого она приняла в свой дом, не выдаст себя чем-то... и этим не поставит под удар ее и ее детей. Когда я думаю об этом, то спрашиваю себя, как она вообще могла жить с этой постоянной тревогой все эти годы до конца войны»⁷.

Как? Эберхард Гельмрих вспоминал позднее, что оценивал свои шансы выжить как 5 против 95. Девизом Гельмрихов было: «Если мы спасем хотя бы двух человек и будем за это схвачены, мы с Гитлером уже квиты. А каждый спасенный сверх этого – наш чистый выигрыш». Что касается детей, позиция супругов была столь же четкой: «Лучше, чтобы родители детей погибли, нежели оказались трусами». Гертруд Мёрике, вместе со своим мужем пастором Отто Мёрике укрывавшая евреев, писала старшей дочери: «Если где-то на полях сражений люди массами гибнут сейчас за столь ужа-

⁶ Spiegel M. Retter in der Nacht. Wie eine jüdische Familie in Münsterland überlebte. Münster, 1999. S. 132.

⁷ Schmalz-Jacobsen C. Donata und Eberhard Helmrich, zwei Helfer ohne Eigennutz // Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer. Hrsg. von W. Benz. München, 2003. S. 79.

сающую вещь, как Третий рейх, то нам тем более имеет смысл рискнуть жизнью ради чего-то правильного и доброго»⁸.

При этом сами спасатели отнюдь не считали, что делают нечто из ряда вон выходящее. По словам Донаты Гельмрих, она и ее муж Эберхард хотели просто «оставаться нормальными» в эпоху, когда «нормальность рухнула». Карл Плагге определял свои действия как «само собой разумеющуюся помощь и поддержку» людям, оказавшимся в беде.

Масштабы и значение помощи

Увы, громадное большинство немцев ощущало нормальность совсем иначе. Им и в голову не приходило плыть против течения, даже если они знали о геноциде, напрямую соприкасались с ним. Спасателям не удалось пробить окружающую их стену враждебности, равнодушия и трусости, «фронт молчавших и уклонявшихся». Как подчеркивают немецкие авторы, помогавшие евреям были исключением, лишь подтверждающим правило. Такого рода поведение в столь бесчеловечных политических условиях, возможно, всегда будет исключением, замечают в связи с этим историки Вольфганг Альтгельд и Михаэль Кисенер⁹.

Сколько было помощников и спасателей? Точно ответить на этот вопрос невозможно. Ведь многие их подопечные попали впоследствии в лапы гестапо и погибли, другие умерли после войны, не оставив свидетельств, третьи и сами не знали имен тех, кто им помогал. А некоторые не хотели вспоминать об этом страшном времени. С другой стороны, немалое число помогавших по разным причинам не стремилось обнародовать свои деяния. «Ставшие известными помощники и спасатели, – отмечает Гейнц Давид Лойнер, – это лишь малая частица тех, кто проявил тогда солидарность; они представляют перед лицом потомков тех, кто остался неизвестным»¹⁰.

Речь может идти, таким образом, лишь о сугубо приблизительных оценочных цифрах – «значительно больше 10 тысяч», «пару десятков тысяч»¹¹. Если взять, скажем, цифру 20 тысяч, то по отношению к численности совершеннолетних «фольксгеноссен» (54 миллиона на 1939 г.¹²) она даст нам 0,04% – «величину исчезающе малую»¹³.

⁸ Scherribel J. «...Du sollst Dich nicht vorenthalten». Das Leben und der Widerstand von Gertrud und Otto Mörike in der Zeit der Nationalsozialismus. Esslingen, 1995. S. 51.

⁹ Altgeld W., Kisenner M. Judenverfolgung und Widerstand // Widerstand gegen die Judenverfolgung. Konstanz, 1996. S. 39.

¹⁰ Leuner H. D. Versagen und Bewährung der Christen in der Solidarität // Stärker als die Angst. Berlin, 1968. S. 41.

¹¹ Benz W. Juden im Untergrund und ihre Helfer // Überleben im Dritten Reich. S. 48.

¹² Подсчитано по: Statistik des Deutschen Reichs. Band 552. Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17 Mai 1939. Heft 2. S. 112; Heft 4. S. 6; Heft 5. S. 6.

¹³ Mut zur Menschlichkeit. S. 212.

Но, как известно, «чем гуще тьма, тем ярче свет, даже если это всего лишь свеча» (Г. Д. Лойнер)¹⁴. Эти люди – «светляки в кромешной тьме» (Густав Трампе)¹⁵, «островки солидарности и гражданского мужества среди моря бесчеловечности» (Вольфрам Ветте)¹⁶, «золотые зерна в гигантской гряде исторического мусора» (Кристоф Хаман)¹⁷ – заслуживают высокого признания. «Если мы сегодня дивимся тому, – пишет Лойнер, – что миллионы подчинялись гитлеровскому режиму, то тем более нужно дивиться тысячам, которые ему сопротивлялись... Эти люди спасли не только тысячи евреев, они спасли саму идею человечности»¹⁸.

По мнению В. Ветте, деятельность спасателей заслуживает высокой оценки и потому, что исторически гражданское мужество не принадлежит к числу традиционных немецких добродетелей¹⁹. (Под гражданским мужеством понимается способность самостоятельно принимать ответственные решения и противостоять давлению среды, особенно вышестоящих.) Недаром, видимо, это понятие обозначается в немецком языке иностранным по происхождению словом «Zivilcourage».

Немецкие авторы – ученые, публицисты, политики – как правило, считают нужным оговорить: деятельность спасателей не может «отмыть» историю, перевесить, смягчить, «релятивизировать» Холокост. Тем более – стать чем-то вроде индульгенции для остальных. Такого рода попыткам, подчеркивают они, следует решительно противостоять.

Сколько жизней удалось сохранить немецким спасателям? Точно никто не скажет. Для доказательного ответа потребовалось бы учесть результативность всей помощи евреям, оказанной как в самой Германии, так и на оккупированных территориях. Если же ограничиться «Старым рейхом» (территорией Германии в границах 1937 г.) и периодом с октября 1941 г., когда начались систематические депортации, следует, прежде всего, назвать 14 тысяч человек, спасенных их арийскими супругами²⁰. Из 10–15 тысяч, ушедших в подполье, выжило около 5 тысяч²¹. Осталь-

¹⁴ Leuner H. D. Als Mitleid ein Verbrechen war. Deutschlands stille Helden 1939–1945. Wiesbaden, 1967. S. 17.

¹⁵ Menschlichkeit in unmenschlicher Zeit. Hrsg. von G. Trampe. Berlin–Frankfurt a/M, 1995. S. 21.

¹⁶ Wette W. Einleitung – Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS. Frankfurt a/M, 2004. S. 17.

¹⁷ Hamann C. «Uropa war ein Guter». Retten und Überleben im Nationalsozialismus als Thema des Geschichtsunterrichts // Überleben im Untergrund. S. 392.

¹⁸ Leuner H. D. Als Mitleid ein Verbrechen war. S. 31, 198.

¹⁹ Wette W. Einleitung – Zivilcourage. S. 19. Это засвидетельствовал, кстати, не кто иной, как Бисмарк: «Мужество на поле боя у нас вещь обычная, однако нередко весьма достойным людям не хватает мужества гражданского» (Ibid).

²⁰ Büttner U. Not nach der Befreiung. Die Situation der deutschen Juden in der britischen Besatzungszone 1945 bis 1948. Hamburg, 1986. S. 8, 32.

²¹ Kosmala B. Verbotene Hilfe. Rettung für Juden in Deutschland 1941–1945. Bonn, 2004. S. 8–9.

ных выдали соседи, схватили при проверках документов на улицах или в общественном транспорте; многие стали жертвами еврейских шпигов гестапо; некоторые погибли при бомбежках или умерли от отсутствия медицинской помощи.

Однако наиболее масштабные акции спасения имели место в оккупированных странах. К ним относится переправка в Швецию более 7000 датских евреев в сентябре 1943 г., ставшая возможной благодаря предупреждению их о предстоявшей депортации, которое передал датчанам сотрудник германского посольства в Копенгагене Георг Фердинанд Дуквиц. Кальмайер и его сотрудники Вандер и Миссен с помощью описанных выше юридических трюков спасли не менее 3,5 тысячи человек, а общее число тех, спасению которых Кальмайер способствовал, по-видимому, значительно больше.

Шиндлеру, по последним данным, удалось спасти 1098 человек, Байцу – более тысячи. Альфонсу Цюндлеру обязаны жизнью около 600 детей и большое количество взрослых. В отношении супругов Гельмрихов называют разные цифры – от 70 до 300 спасенных.

Однако подвиг тех, кто, рискуя жизнью, спас хотя бы одного человека, от сравнения не становится меньше. «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир» – это изречение Талмуда немецкие авторы часто цитируют.



ДАЙДЖЕСТ

американский писатель, один из классиков современной прозы США.



ОРТОДОКС*

В мае сорок пятого, через считанные недели после окончания боев в Европе, я был возвращен в Штаты, где и провел остаток войны – в учебной роте лагеря Кэмп Кроудер, Миссури. Последнюю зиму и весну мы так стремительно со всей девятой армией двигались в глубь Германии, что, уже сидя в самолете, я с трудом мог поверить в то, что он летит на запад. Мозг это понимал, а душа, словно по инерции, чувала, что мы лишь перелетаем на другой фронт, где снова продолжим наш натиск – все дальше и дальше на восток, пока не обогнем земной шар, и толпы вражеского населения будут стоять вдоль узких булыжных улочек деревень, глядя, как мы захватываем все то, что они считали своим. Я сильно изменился за эти два года и перестал уже принимать близко к сердцу старческую немощь и детский плач, выражение страха в глазах, недавно еще столь высокомерных. У меня уже, к счастью, появилось то, что называют «сердцем пехотинца»: как и ноги его, оно сначала пухнет и болит, а потом словно покрывается мозолью и позволяет переносить все, не ощущая почти ничего.

Моим командиром в Кэмп Кроудер был капитан Пол Барретт. Когда я доложил о прибытии, он вышел из-за стола, чтобы пожать мне руку. Капитан был невысок ростом, грубоват, вспыльчив, с вечно надвинутым на маленькие глазки козырьком фуражки. В Европе он получил тяжелое ранение в грудь, был произведен в офицеры и возвращен домой за несколько месяцев до меня. На вечерней поверке он представил меня солдатам.

– Джентльмены, – сказал капитан, – вы знаете, что сержант Тэрстон уже

* Нева. 2005. № 7.

не с нами. Это ваш новый старший сержант – Натан Маркс. Он ветеран войны в Европе и поэтому ожидает увидеть здесь роту солдат, а не пацанов.

Этим вечером я допоздна засиделся в дежурке, пытаюсь разобраться в графиках нарядов, личных делах солдат и ежедневных донесениях. Дежурный по казарме спал в углу с открытым ртом. Какой-то новобранец стоял за стеклянной дверью, читая список нарядов на завтра, вывешенный на ней. Был теплый вечер, радио в казармах играло музыку. Солдат за дверью, исподтишка поглядывавший в мою сторону, наконец решился войти.

– Хэлло, сержант, – начал он, – завтра вечером будет у нас «солдатская вечеринка»?

Так назывались еженедельные уборки казарм.

– У вас они бывают в пятницу вечером? – в ответ спросил я.

– Да, – ответил солдат и прибавил многозначительно: «В том-то все и дело».

– Значит, будет и на этот раз.

Он отвернулся, что-то пробормотав. Плечи его вздрогнули, мне показалось даже, не заплакал ли он.

– Как ваше имя, солдат? – спросил я.

Он повернулся – отнюдь не заплаканный. Напротив, его зеленоватые прищуренные глазки весело поблескивали, словно рыба чешуя. Он подошел поближе и присел на край стола.

– Шелдон, – сказал он, протягивая руку.

– Встать, Шелдон!

Выпрямившись, он повторил: «Шелдон Гроссбарт», ухмыльнувшись навязанной мне фамильярности.

– Так вы против уборки казарм по пятницам, Гроссбарт? Может, стоит отменить «солдатские вечеринки» и нанять вам уборщицу? – Мой тон удивил меня самого. Мне показалось, это был тон всех сержантов, которых я когда-либо знал.

– Нет, сержант. – Он вдруг посерьезнел, но за этим скрывалась подавленная усмешка. – Но только – в пятницу вечером, именно в это время, ни дать ни взять!

Он вновь соскользнул на краешек стола – уже не сидя, однако и не вполне стоя. Взглянув на меня хитроватыми глазами, Гроссбарт внезапно сделал легкий жест, почти неуловимое движение, легкое покачивание руки вперед-назад. Но этот жест словно отгораживал нас двоих от всего остального мира, словно делал нас центром вселенной.

– Одно дело – сержант Тэрстон, – прошептал он, взглянув на спящего дневального, – но мы-то думали, что с вашим появлением все немного изменится.

– Кто это – «мы»?

– Солдаты-евреи.

– С чего бы? – резко спросил я. Был ли я еще сердит за его трюк с «Шелдоном» или по другой какой причине, но я действительно разозлился.

– Мы думали, что раз вас зовут Маркс... Ну, как Карла Маркса или братьев Маркс...* У всех этих ребят одна фамилия. Ваша пишется так же, сержант?

– Эм-а-эр-ка-эс.

– Фишбейн говорил... – Он внезапно замолчал. – Я хочу сказать...

Его лицо и шея покраснели, губы беззвучно шевелились. Он внезапно стал по стойке «смирно», внимательно глядя на меня. Гроссбарт, казалось, подумал, что не может ждать от меня большей симпатии, чем от Тэрстона, по той причине, что я был одной веры с Тэрстоном, а не с ним. Относительно моей веры парень заблуждался, но у меня не было охоты прояснять ситуацию. Короче, он мне не нравился.

Прервав молчание, Гроссбарт вдруг заговорил изменившимся тоном:

– Вы знаете, сержант, – это он мне объяснял, – в пятницу вечером евреи должны посещать религиозную службу.

– Разве сержант Тэрстон запрещал вам это?

– Нет.

– Он говорил, что вы должны оставаться и скрести полы?

– Нет, сержант.

– Капитан приказал заниматься уборкой?

– Да не в этом дело, сержант! В казарме ведь есть и другие солдаты. – Он наклонился ко мне. – Они подумают, что мы просто сачкуем. Но это не так. В пятницу вечером евреи ходят молиться. Мы тоже должны идти.

– Ну так идите.

– Но другие ребята будут недовольны. Им-то не положено.

– Гроссбарт, армии нет дела до этого. Это личная проблема, которую вы должны решать сами.

– Но это же несправедливо!

– Ничем не могу помочь. – Я поднялся из-за стола.

Гроссбарт словно застыл передо мной.

– Но это вопрос религии, сэр!

– Сержант, – поправил я его.

– Я это и имел в виду, – почти огрызнулся он.

– Поговорите с капелланом. Или с капитаном Барреттом – я могу это устроить.

– Нет-нет, сержант! Я не собираюсь заваривать кашу! Этот вопрос они снова повесят на вас. Я просто хочу, чтобы соблюдались мои права.

– Довольно хныкать, Гроссбарт! У вас достаточно прав. Отправляйтесь в «шуль»** или оставайтесь в казарме драить полы!

Улыбка вновь расплылась по его лицу, даже слюна блеснула в уголках рта.

– Вы имеете в виду храм, сержант?

– Я имею в виду синагогу, Гроссбарт!

* Чико, Зепп, Гучо и Харпо Маркс – известные в 40-е годы актеры-эксцентрики.

** Синагога (*идиш*).

Обогнув его, я вышел наружу. Неподалеку скрипели по гравию ботинки часового. За освещенными окнами казарм парни в футболках защитного цвета, сидя на койках, чистили винтовки. Услышав легкий шум, я обернулся и увидел стремительно удалявшийся силуэт Гроссбарта. Он спешил сообщить братьям-евреям, что они были правы, что вместе с Карлом и Харпо Марксами я – один из них.

На следующее утро, разговаривая с капитаном Барреттом, я поведал ему о вчерашнем. Вышло так, что по тону моего рассказа капитану показалось, что я не столько излагаю позицию Гроссбарта, сколько защищаю ее.

– Маркс, – сказал он, глядя в окно. – Я бы дрался бок о бок с ниггером, если бы парень доказал мне, что он – настоящий мужик. Я горжусь тем, что гляжу на мир непредвзято. Поэтому, сержант, в моей роте ни к кому нет особого отношения – ни в хорошем, ни в плохом. Все, что требуется, – это проявить себя. Если парень хорошо стреляет, он получает увольнение на выходной. Отличился в физподготовке – получи увольнение. Он это заработал!

Капитан повернулся спиной к окну и ткнул в меня пальцем.

– Вы еврей, не так ли, Маркс?

– Да, сэр.

– И я вами восхищаюсь – вот из-за этих ленточек у вас на груди. Я сужу о человеке по тому, как он проявил себя на войне. Главное, что у него тут. – Я был уверен, что капитан покажет на сердце, но он ткнул себя большим пальцем в пуговицу на животе. – В потрохах.

– О'кей, сэр. Я только хотел сообщить вам о настроении этого парня.

– Мистер Маркс, вы состаритесь раньше времени, если будете беспокоиться о чужом настроении. Оставьте такие вещи капеллану – это его бизнес. Давайте научим наших парней стрелять как следует. Если ребята-евреи считают, что другие солдаты держат их за сачков, я ничего об этом не знаю. Чертовски забавно, что Всевышний вдруг так громко воззвал в уши рядового Гроссмана, что ему приспичило бежать в церковь.

– В синагогу, сэр, – поправил я.

– Точно, сержант! Синагога. Я запишу это на память. Спасибо, что зашли.

Этим вечером, за несколько минут до того, как рота собралась возле дежурки, чтобы строем идти в столовую, я вызвал к себе капрала Роберта Лахилла. Это был солидного сложения брюнет, с волосами, курчавившимися из одежды, где только можно. Его взгляд наводил на мысли о пещерах и динозаврах.

– Лахилл, – сказал я ему, – во время построения напомните ребятам, что они имеют право посещать церковные службы в любое время – при условии, что доложатся дежурному перед тем, как покинуть расположение части.

Лахилл поскреб себе запястье, впрочем, без явных признаков того, что он понял или слышал мои слова.

– Лахилл, – повторил я, – церковь! Понятно? Церковь, священник, месса, конфессия!

Губы Лахилла скривились в подобие улыбки. Я воспринял это как милостливый знак его причастности к человечеству.

– Солдаты еврейской национальности, которые хотят посетить службу этим вечером, должны собраться у дежурной комнаты в 19.00. По приказу капитана Барретта, – после секундной паузы добавил я.

Немного позже, когда лучи заката – самого красивого из всех, что мне довелось видеть в этом году, – опускались на Кэмп Кроудер, я услышал за окном густой и бесстрастный голос Лахилла:

– Слушайте сюда, вояки. Старший велел передать, что в 19.00 все евреи должны собраться здесь, если они хотят посетить еврейскую мессу.

В семь я выглянул из окна дежурки и увидел на пыльном плацу троих парней в отутюженной форме. Они беспокойно переговаривались и посматривали на часы. Темнело, их фигурки на пустынном плацу казались маленькими. Открыв дверь, я услышал из окружающих казарм звуки начавшейся «солдатской вечеринки» – скрип передвигаемых коек, звон ведер, наполняемых водой, стук швабр по деревянным полам, убирающих грязь перед субботней инспекцией. Тряпки порхали по оконным стеклам. Я шагнул наружу, и в тот момент, как мой ботинок коснулся земли, я услышал, как Гроссбарт что-то скомандовал остальным. Возможно, это мне только послышалось, но все трое стали по стойке «смирно».

Гроссбарт шагнул вперед.

– Благодарим вас, сэр!

– Сержант, – напомнил я ему. – К офицерам обращаются – «сэр». Я не офицер. Вы уже три недели в армии, пора это знать.

Он сделал жест – локти прижаты к туловищу, руки ладонями наружу – словно говоря, что эти условности не для нас двоих.

– Все равно мы вам благодарны.

– Да, – подтвердил высокий парень, стоявший рядом, – большое вам спасибо!

Тут и третий из них, стоя навытяжку, прошелестел: «Спасибо», едва шевеля губами.

– За что? – спросил я.

Гроссбарт даже всхрипнул от удовольствия.

– За объявление! Объявление, что сделал капрал. Это сработало! Все стало выглядеть...

– Солидней, – закончил высокий парень.

Гроссбарт ухмыльнулся.

– Он имеет в виду формальную сторону дела, сэр. Для публики. Теперь это не будет выглядеть так, будто мы сваливаем из-за того, что надо работать.

– Приказ отдал капитан Барретт, – сказал я.

– Ну, вы тоже к этому руку приложили. Поэтому спасибо вам. – Он повернулся к своим товарищам.

– Сержант Маркс, я хочу представить вам Ларри Фишбеяна.

Высокий парень шагнул вперед и протянул мне руку. Я пожал ее.

– Вы из Нью-Йорка? – спросил он.

– Да.

– Я тоже.

У него было мертвенно-бледное лицо с запавшими щеками. Улыбка радости от того, что мы были земляками, обнажила испорченные зубы. Он усиленно мигал, словно пытаюсь унять слезы. Я повернулся к Гроссбарту.

– Сейчас пять минут восьмого. Когда начинается служба?

– Через десять минут. Я хочу познакомить вас и с Микки Хальперном. Микки, это Натан Маркс, наш сержант.

Третий парень дернулся вперед.

– Рядовой Майкл Хальперн!

Он отдал честь.

– Салютуют офицерам, Хальперн, – сказал я.

Рука парня нервно поползла вниз, проверив заодно, застегнуты ли карманы рубашки.

– Мы можем отправляться, сэр? – спросил Гроссбарт. – Или вы идете с нами?

Из-за спины Гроссбарта вдруг загундосил Фишбейн:

– А потом они устраивают угощение. Женская вспомогательная часть из Сент-Луиса. Так нам рабби сказал.

– Капеллан, – шепнул ему Хальперн.

– Будем рады, если вы присоединитесь, – настаивал Гроссбарт.

Я оглянулся и увидел, что окна казарм облеплены глазевшими на нас четверых.

– Поторапливайтесь, Гроссбарт!

– О'кей! – И он повернулся к остальным: «Шагом марш!»

Они зашагали, но вдруг, пройдя с десятков шагов, Гроссбарт резко обернулся и, подбежав ко мне, шепнул: «Доброго шабеса, сэр!» И вся троица канула в чуждые им миссурийские сумерки.

Стемнело. Плац опустел, и зеленая трава на нем казалась темно-синей, но вдали все еще слышался голос Гроссбарта, задававшего темп.

От этих далеких голосов вдруг словно узкий луч света коснулся глубин моей памяти. Мне припомнились крики на баскетбольной площадке в Бронксе, возле Гранд Конкорс, где целую вечность тому назад я проводил долгие весенние вечера, похожие на этот вечер. Приятное воспоминание для парня, занесенного так далеко от дома и мирной жизни, оно влекло за собой множество других – я даже почувствовал вдруг что-то вроде нежности к самому себе. Словно теплая рука далекого прошлого дотронулась до меня. Ей, этой руке, пришлось так далеко тянуться – сквозь те дни в бельгийских лесах, через неоплаканных мною мертвых, сквозь ночи в немецких деревнях, когда мы жгли книги, чтобы согреться. Сквозь бесконечные марши, когда я должен был забывать о всякой жалости к своим же солдатам. Страшная усталость лишала меня чувства гордости победителя, гор-

дости, которую я, еврей, мог вполне законно испытывать: ведь это же мои ботинки клацали по булыжникам Везеля, Мюнстера, Брауншвейга!

И вот теперь – голоса в сумерках, мимолетное напоминание о доме, о прошлом – память нырнула вдруг сквозь все, что я старательно в себе усыплял, и добралась до меня настоящего. Поэтому было не так уж странно, что я вдруг обнаружил себя идущим по стопам Гроссбарта в молельню № 3, где проводились еврейские богослужения.

Я сел в пустом заднем ряду. Впереди сидели Гроссбарт, Фишбейн и Хальперн, держа в руках алюминиевые стаканчики. Ряды сидений располагались друг над другом, и я хорошо все видел. Фишбейн выливал содержимое своего стаканчика Гроссбарту, тот с довольным видом наблюдал, как жидкость текла пурпурной дугой. В слепящем электрическом свете впереди, на возвышении, стоял военный раввин, произнося начальные слова молитвы. Гроссбарт слегка взбалтывал стаканчик, закрытый молитвенник лежал у него на коленях. Только Хальперн повторял вслух слова молитвы. Его пальцы любовно поглаживали раскрытую книгу, пилотка была надвинута на уши, что делало ее круглой, похожей на ермолку. Гроссбарт время от времени прикладывался к стаканчику. Тоший Фишбейн, желтым лицом похожий на угасающую лампочку, блуждал глазами по рядам сидящих, наклонялся вперед, поворачивался, оглядывался. Внезапно, увидев меня, он беспокойно замигал, толкнул Гроссбарта локтем и что-то шепнул ему на ухо. Тут голос Гроссбарта вдруг прорезался в хоре молящихся, повторявших слова раввина. Фишбейн молча уткнулся в свою книгу.

Наконец пришло время испить вино. Раввин улыбнулся, взглянув на Гроссбарта, опорожнившего стаканчик одним глотком. Хальперн глубоко-мысленно пригубил, а Фишбейн со своим пустым стаканчиком лишь симулировал обряд.

– Сегодня, глядя на вас, молящихся, – начал раввин, слегка улыбнувшись на последнем слове, – я вижу много новых лиц. Добро пожаловать на субботнее богослужение в Кэмп Кроудер! Меня зовут майор Лео Бен-Эзра, я ваш военный раввин. – Он говорил без малейшего акцента, при этом старательно выговаривая все слова, словно для глухих, читающих по губам. – Хочу сказать лишь несколько слов перед тем, как мы проследуем в трапезную, где добрые женщины из синагоги Синай в Сент-Луисе организовали прекрасное угощение.

Радостный свист и аплодисменты. Вновь улыбнувшись, раввин успокаивающе поднял руки и взглянул наверх, словно напоминая солдатам, где они находятся и Кто взирает на них. В наступившей тишине мне показалось, что я услышал хихиканье Гроссбарта: «Пусть гои дряют полы!» Точно ли он это сказал? Я не был вполне уверен, но Фишбейн, ухмыльнувшись, толкнул в бок Хальперна. Тот рассеянно взглянул и снова опустил глаза в молитвенник, от которого не отрывался весь вечер. Пальцы его скручивали прядь черных волос, выбившуюся из-под пилотки, губы шевелились.

Рабби продолжал свою речь:

– А сейчас я хотел бы поговорить с вами о пище. Я знаю, знаю, – повторил он устало, – что для большинства из вас есть трепное все равно что есть золу. Я знаю, что вас – многих из вас – тошнит. Знаю, как страдают ваши родители при мысли, что их чада едят нечистое и отвратительное на вкус. Что еще могу я сказать вам? Закройте ваши глаза и глотайте с закрытыми глазами. Ешьте ровно столько, сколько необходимо вам для жизни, и выбрасывайте остальное. Я хотел бы вам помочь чем-то большим. Тех, кому особенно тяжело, я прошу: попробуйте еще раз, а затем придите ко мне побеседовать наедине. Если ваше отвращение слишком велико, мы постараемся найти помощь в высших инстанциях.

Гул голосов пронесся по рядам. Затем все запели «Эйн Кээлохейну»*, и я с удивлением обнаружил после стольких лет, что все еще помню слова. Служба закончилась, и неожиданно передо мной вырос Гроссбарт.

– Высшие инстанции? Он имел в виду генерала?

– Шелли, – вмешался Фишбейн, – он имел в виду Всевышнего. – Фишбейн слегка хлопнул себя по щеке и взглянул на Хальперна. – Куда уж выше!

– Ш-ш-ш, – прервал его Гроссбарт. – А вы что думаете, сержант?

– Не знаю, – ответил я, – спросите лучше самого раввина.

– Что я и собираюсь сделать. Я должен поговорить с ним один на один.

Микки тоже.

Хальперн отрицательно покачал головой.

– Нет-нет, Шелдон.

– Но у тебя есть твои права, Микки! Они не могут заставлять нас!

– Да ладно тебе, – ответил Хальперн, – это больше волнует мою маму, чем меня.

Гроссбарт взглянул на меня.

– Вчера Микки стошнило после обеда. Гуляш – свинина и еще черт знает что!

– Это потому, что у меня была температура, – возразил Хальперн. Ермолка на его голове снова превратилась в пилотку.

– Ну, а вы как, Фишбейн? – спросил я. – Вы тоже кошерный?

Он покраснел.

– Немножко. Но я вытерплю. У меня крепкий желудок, и вообще я мало ем. Я пристально смотрел на него, и, как бы в подтверждение своих слов, он показал запястье – ремешок часов был затянут до последней дырочки.

– Но религия важна для вас? – продолжал выпытывать я.

Он бросил взгляд на Гроссбарта:

– Конечно, сэр!

– Сержант, – поправил я.

– И даже не столько дома, – влез в разговор Гроссбарт, – сколько вдали от него. Это дает нам чувство принадлежности к еврейству.

– Мы должны держаться все вместе, – подтвердил Фишбейн.

* «Никто, как Бог наш...» – начальные слова молитвы.

Я направился к выходу. Хальперн уступил мне дорогу.

– Так было в Германии, – сказал Гроссбарт достаточно громко, чтобы я мог слышать. – Они не помогали друг другу и позволили себя раздавить. Я обернулся.

– Полегче, Гроссбарт. Это армия, а не летний лагерь.

Он ухмыльнулся.

– Ну и что?

Хальперн пытался улизнуть, но Гроссбарт придержал его за руку.

– Сколько вам лет, Гроссбарт? – спросил я.

– Девятнадцать.

– А вам? – я взглянул на Фишбейна.

– Тоже. Мы даже с одного месяца.

– А ему? – я кивнул на Хальперна, двигавшегося к выходу.

– Восемнадцать, – тихо сказал Гроссбарт. – Но он едва умеет завязать шнурки или почистить зубы. Мне его жалко.

– Гроссбарт, – сказал я, – мне всех нас жалко. Но ведите себя как мужчина. Не перегибайте палку.

– Насчет чего, сэр?

– Во-первых, насчет «сэр». Не зарывайтесь.

Я закончил фразу и отошел. Я прошел мимо Хальперна, он не взглянул на меня. Уже снаружи я услышал, как Гроссбарт воскликнул:

– Эй, Микки, майн лебен*, давай сюда! Будет угощение!

«Майн лебен!» – так звала меня моя бабушка...

Примерно через неделю, утром, когда я занимался писаниной, капитан Барретт окликнул меня из своей комнаты. Я зашел к нему. Он говорил по телефону в фуражке, надвинутой ниже обычного, так, что не видно было глаз. Прикрыв трубку рукой, капитан обратился ко мне:

– Черт побери, кто такой этот Гроссбарт?

– Из третьего взвода, новобранец, – ответил я.

– Что значит вся эта хреновина насчет еды?! Его мать обратилась к чертову конгрессмену.

Он убрал руку с трубки и слегка сдвинул фуражку назад.

– Да, сэр... Да... Слушаю, сэр! Я спрашиваю Маркса, он здесь стоит.

Капитан снова прикрыл трубку и обратился ко мне:

– Это Шустрый Гарри, – шепнул он. – Конгрессмен позвонил генералу Лаймэну. Тот позвонил полковнику Суса, полковник – майору, майор звонит мне. Им не терпится повесить это дело на меня. Что за ерунда?! – Он потряс телефонной трубкой. – Я не кормлю своих солдат? Какого черта все это значит?

– Сэр, Гроссбарт – странный парень...

Барретт скорчил сочувственную гримасу. Я зашел с другого боку:

– Капитан, он очень ортодоксальный еврей, ему разрешено есть лишь определенную пищу.

* Жизнь моя (идиш).

– Конгрессмен сказал, что он блюет! Его мать утверждает, что как только он что-нибудь съест, его тут же рвет!

– Он привык соблюдать определенную диету, капитан.

– И поэтому его мамаша должна звонить в Белый дом?

– Сэр, еврейские родители иногда чересчур заботливы. Я имею в виду, что у евреев очень тесные семейные связи. Матери сильно переживают, когда их сыновья покидают дом. Наверно, парень написал что-то, а мать неправильно поняла...

– Я б ему дал по зубам! Идет проклятая война, а он хочет, чтобы его кормили, как в ресторане!

– Я не уверен, что парень виноват. Надо поговорить с ним и все выяснить. Еврейские родители беспокоятся...

– Все родители беспокоятся, черт побери! Но они не лезут в высокие сферы, не пытаются дергать за ниточки!

Тут я снова вмешался, мой голос выдавал волнение:

– Капитан, связь с домом очень важна. Но вы правы, нельзя, чтобы это выходило за рамки... Именно потому, что это очень личная материя...

Капитан уже не слушал мои объяснения. Он снова говорил по телефону:

– Сэр, тут Маркс мне объясняет, что у евреев есть привычка капризничать. Он считает, что все это можно уладить у нас в роте... Да, сэр... Я обязательно перезвоню вам, сэр, как только все выясню.

Он повесил трубку.

– Где солдаты, сержант?

– На стрельбище.

Ударом ладони надвинув фуражку на глаза, капитан резко встал.

– Прокатимся, сержант!

Он вел машину, я сидел рядом. Был жаркий день, под новеньким кителем пот тек у меня из подмышек. Дороги высохли, и, когда мы прибыли на стрельбище, пыль хрустела на зубах, хоть я и ехал с закрытым ртом. Резко затормозив, капитан приказал – кровь из носа – немедленно найти Гроссбарта.

Я нашел его на огневой позиции – Гроссбарт лежал на животе, яростно паля в мишень с расстояния в пятьсот футов. Хальперн и Фишбейн, стоя за ним, ждали своей очереди. Фишбейн, в солдатских очках с металлической оправой, которых я раньше на нем не видел, был похож на пожилого лоточника, который с радостью продал бы вам висевшие на нем винтовку и подсумки с патронами. Я остановился у ящиков с боеприпасами, дожидаясь, когда Гроссбарт кончит пулять по мишеням. Фишбейн подошел, волоча ноги.

– Хэлло, сержант Маркс!

– Как дела? – пробормотал я.

– Спасибо, хорошо. Шелдон отлично стреляет.

– Не обратил внимания.

– У меня получается хуже, но, кажется, и я начинаю схватывать это дело. Сержант, – продолжал он, – я не собираюсь задавать вопросы, которые

не положено задавать, но... – Парень замаялся. Он пытался говорить в доверительной манере, но грохот выстрелов заставлял его кричать.

– В чем дело? – спросил я. В отдалении был виден капитан Барретт, стоящий в джипе и выискивающий глазами меня и Гроссбарта.

– Мои родители донимают меня вопросами: куда нас пошлют? Все говорят, что на Тихий океан. Мне-то все равно, но мои старики... Если б я мог их успокоить, мне кажется, я даже стал бы лучше тренироваться.

– Не знаю, куда вас пошлют, Фишбейн. В любом случае – старайтесь.

– Шелдон говорит, вы могли бы узнать...

– Я не знаю абсолютно ничего, Фишбейн. Не забивайте себе голову и не позволяйте Шелдону...

– Я и не забиваю, сержант. Но там, дома...

Гроссбарт закончил наконец стрелять и отряхивал пыль с формы. Я окликнул его: «Гроссбарт, капитан хочет вас видеть».

Он подошел к нам, глаза его сверкали.

– Хай!

– Убери от меня свою чертову винтовку! – сказал я.

– Я и не собирался стрелять в вас, сержант, – он оскалился до ушей и перекинул винтовку за спину.

– Какие, к черту, шутки, Гроссбарт! Следуйте за мной!

Я шел впереди, сильно подозревая, что Гроссбарт за моей спиной идет, маршируя с винтовкой на плече, словно отправляясь на особое задание. Приблизившись к джипу, он отсалютовал капитану: «Рядовой Шелдон Гроссбарт, сэр!»

– Вольно, Гроссман, – капитан опустился на сиденье и пальцем поманил Гроссбарта к себе.

– Барт, сэр. Шелдон Гроссбарт. Это частая ошибка. – Гроссбарт кивнул мне: мол, я понимаю такие вещи. Я отвернулся, глядя, как кухонный грузовик подъезжает к стрельбищу и из него выскакивают дежурные по кухне. Командовавший ими сержант покрикивал, пока они доставали все необходимое.

– Гроссбарт, ваша мама написала какому-то конгрессмену, что мы вас плохо кормим. Вы в курсе? – спросил капитан.

– Это мой отец, сэр. Он написал члену конгресса Франкони, что моя религия запрещает мне есть определенную пищу.

– Что за религия, Гроссбарт?

– Еврейская.

– Еврейская, сэр, – поправил я Гроссбарта.

– Извините, сэр. Еврейская, сэр.

– Как же вы кормились до сих пор? – спросил капитан. – Вы уже месяц в армии, и мне не кажется, что вы помираете с голоду.

– Я ем потому, что я должен есть, сэр. Но сержант Маркс может подтвердить, что я не ем ни одной ложки сверх необходимого для выживания.

– Маркс, это так? – спросил Барретт.

– Никогда не видел, сэр, как Гроссбарт ест.

– Но вы же слышали, что сказал рабби. Он объяснил нам, как поступать, я тоже это слышал.

Капитан взглянул на меня.

– Итак, Маркс?

– Я все-таки не знаю, что он ест и что не ест, сэр.

Гроссбарт умоляюще протянул руки – на мгновение показалось, что он хочет дать мне поддержать свою винтовку.

– Но, сержант...

– Послушайте, Гроссбарт, отвечайте только на вопросы капитана, – отрезал я.

Барретт ухмыльнулся, и я почувствовал неловкость.

– Окей, Гроссбарт, – сказал капитан. – Так чего же вы хотите? Маленький листок бумаги – и домой к мамочке?

– О нет, сэр! Только пусть мне позволят жить, как положено еврею. И другим тоже.

– Кому это – другим?

– Фишбейну, сэр. И Хальперну.

– Им тоже не нравится наша еда?

– Хальперна рвет, сэр. Я сам видел.

– Я думал, это вас рвет.

– Только один раз, сэр. Не знаю, что это была за колбаса.

– Мы будем печатать меню, Гроссбарт. Будем показывать учебные фильмы о питании, чтобы вы четко знали, когда вас пытаются отравить.

Гроссбарт молчал. Солдаты на стрельбище построились в две длинные очереди за едой. В хвосте одной из них я заметил Фишбейна, вернее, его очки, отражавшие свет, засекли меня. Хальперн стоял рядом, вытирая шею носовым платком цвета хаки. Они медленно двигались вместе с очередью. Сержант, начальник столовой, по-прежнему орал на дневальных. Я вздрогнул при мысли о том, что этот сержант будет заниматься историей с Гроссбартом.

– Маркс, – сказал капитан, – вы ведь тоже еврейский парень, не так ли?

– Да, сэр, – я играл роль честного служаки.

– Сколько времени вы в армии? Скажите ему.

– Три года и два месяца.

– Включая год на фронте, Гроссбарт. Двенадцать чертовых месяцев в боях по всей Европе! Я горжусь этим парнем! – Капитан хлопнул меня по плечу. – Кто-нибудь слышал, чтобы он скулил из-за еды? Вы слышали, Гроссбарт? Я требую ответа: слышали или нет?

– Нет, сэр, не слышал.

– Нет! А почему? Ведь он тоже еврей.

– Одни вещи важнее для одних евреев, другие – для других.

Тут Барретт взорвался.

– Слушай сюда, Гроссбарт! Вот он, Маркс, хороший парень, настоящий герой. Когда ты ходил в школу, сержант Маркс уже убивал немцев. Так кто делает больше для евреев: ты, когда блюешь куском колбасы, куском от-

личного мяса, или Маркс, убивавший нацистских подонков?! Гроссбарт, если б я был евреем, я бы ноги целовал этому парню. Он герой, черт побери, и он ест то, что мы ему даем! Почему именно вы подняли шум – вот что я хочу знать! Чего вы добиваетесь – увольнения из армии?

– Нет, сэр.

– Я говорю со стеной! Сержант, уберите его с дороги! – Барретт откинулся на спинку сиденья. – Я должен поговорить с капелланом.

Мотор взревел, джип развернулся, поднимая клубы пыли, и капитан помахал обратно в лагерь.

Мы с Гроссбартом смотрели вслед удалявшейся машине. Вдруг он взглянул на меня и сказал: «Я не хотел заваривать кашу. Они всегда нас в этом обвиняют».

Когда он говорил, я обратил внимание на его зубы. Они были белые, ровные, и, глядя на них, я вдруг осознал, что у Гроссбарта действительно были родители, что кто-то когда-то водил маленького Шелдона к дантисту. Он и вправду был чьим-то сыном. Раньше, несмотря на все разговоры о родителях, мне было трудно представить Гроссбарта ребенком, чьим-то отпрыском, вообще родным по крови кому-нибудь – отцу, матери или, менее всего, мне. Эта мысль тянула за собой другую.

– Гроссбарт, чем занимается ваш отец? – спросил я, когда мы вместе шли к полевой кухне.

– Портной.

– У него американское гражданство?

– Теперь – да. Сын в армии. – Гроссбарт усмехнулся.

– А ваша мать?

– Балабустэ*, – ответил он, подмигнув. – Можно сказать, засыпает с тряпкой в руке.

– Она тоже иммигрантка?

– Все еще говорит только на идише.

– Отец тоже?

– Чуть-чуть по-английски: «чистить», «гладить», «наденьте брюки» – в пределах этого. Но они меня любят.

– Пойдите, Гроссбарт... – я взял его за рукав. Он повернулся, взглянул на меня и отвел глаза.

– Гроссбарт, значит, это вы написали письмо?

Он замялся на секунду, глаза его лукаво блеснули.

– Точно! – Гроссбарт продолжал идти, и я старался не отставать. – Мой отец написал бы то же самое, если б умел. Там стоит его подпись. Он сам подписался. Он и отправил письмо – я послал его домой, чтобы на нем был нью-йоркский штампель.

Я не скрывал своего изумления. Тут Гроссбарт на полном серьезе вытянул руку и показал голубые вены на запястье.

* Домохозяйка (*идиш*).

– Кровь, сержант, – великая вещь!

– Черт вас побери, Гроссбарт, что вы затеяли?! Я же видел вас за едой. Я сказал капитану, что не знаю, как вы едите, но на самом-то деле я видел, что вы уплетаете, как голодный пес.

– Сержант, сержант, мы ведь пашем, мы тренируемся! Чтобы печка грела, надо подбрасывать в нее уголь.

– Почему же вы пишете, что вас рвет без конца?

– Ну, на самом-то деле я имел в виду Микки. Я говорил как бы за него. Сержант, сам он никогда бы не написал, хоть я и просил его об этом. Если я не помогу, он умрет от истощения. Сержант, я написал письмо, или мой отец его написал, но я беспокоюсь о ребятах – о Микки и о Фишбейне тоже.

– Ну вы прямо мессия, Гроссбарт!

– Хорошая мысль, сержант! – засмеялся он. – Впрочем, кто знает, кто может это знать? Может быть, вы тоже чуть-чуть мессия. Микки говорит, что мессия – это коллективная идея. Он немного учился в ешиве, Микки. Так он говорит, что мессия – это все мы вместе. Я немножко, вы немножко. Послушали бы вы эти детские разговоры, когда он разойдется!

– «Я немножко, вы немножко»... Приятно в это поверить, а, Гроссбарт? Кажешься себе таким чистюлей!

– Ну, сержант, не так уж плохо в это верить. Мы должны помогать друг другу, вот и все.

Я отправился обедать вместе с остальными сержантами.

Через пару дней на моем столе очутилось письмо, адресованное капитану Барретту. Оно проделало длинный путь по цепочке: из офиса конгрессмена Франкони, которому было послано, – к генералу Лаймэну, оттуда – к полковнику Суса, через майора Ламонта – к капитану Барретту. Я перечитал его дважды. Письмо было датировано 14 июня, днем, когда Барретт разговаривал с Гроссбартом на стрельбище.

«Уважаемый член конгресса!

Во-первых, позвольте выразить Вам благодарность за интерес, проявленный Вами к моему сыну, рядовому Шелдону Гроссбарту. На днях мне удалось поговорить с Шелдоном по телефону, и, как мне кажется, мы нашли выход из создавшегося положения. Он, как я уже писал Вам, очень религиозный мальчик. Поэтому мне с величайшим трудом удалось убедить его в том, что наиболее правильно с точки зрения религии – чего сам Всевышний мог бы потребовать – претерпеть моральные муки ради блага нашей страны и всего человечества. Повторяю, мне было очень трудно убедить его, но, в конце концов, мальчику стало легче. Вот что он мне сказал, и я записал его слова, чтобы никогда их не забывать: "Наверное, ты прав, папа. Миллионы наших братьев евреев погибли от рук нацистов. И наименьшая жертва, которую я могу принести – это поступиться на какое-то время частью своего духовного наследия, чтобы помочь завершить эту войну и вернуть всем сынам Божиим человеческое достоинство". Любой отец, сэр, мог бы гордиться таким сыном.

Кстати, Шелдон хотел, чтобы я узнал и сообщил Вам имя солдата, который помог ему принять правильное решение: сержант Натан Маркс. Сержант Маркс – фронтовик, под началом которого служит Шелдон. Он помог сыну преодолеть некоторые трудности, с которыми сталкивается каждый новобранец. В частности, именно он помог Шелдону примириться с нарушением диетических предписаний. Шелдон был бы рад любому поощрению, которого мог бы удостоиться сержант Маркс.

Благодарю Вас, конгрессмен, и желаю Вам успехов. Буду рад увидеть Ваше имя в бюллетене на ближайших выборах.

С уважением – Самуэль Э. Гроссбарт».

К посланию Гроссбарта было приложено письмо, адресованное генералу Маршаллу Лаймэну, командиру базы, и подписанное членом палаты представителей Чарльзом Э. Франкони. Письмо информировало генерала о том, что сержант Натан Маркс является гордостью еврейского народа и армии США.

Каковы были мотивы отступления Гроссбарта? Чувствовал ли он, что зашел слишком далеко, или письмо было лишь стратегическим отходом и умелой попыткой закрепить то, что он считал нашим альянсом? Либо он действительно изменил свое мнение в результате воображаемого диалога Гроссбарт-пере* – Гроссбарт-филс?**

Я был озадачен, но через несколько дней почувствовал, что, каковы бы ни были его мотивы, он действительно исчез из моей жизни – стал таким же новобранцем, как и все. Я видел его в строю и в столовой, но ни разу он не подал вида, что узнал меня, ни разу не подмигнул. По воскресеньям вместе с остальными он сидел у спортплощадки, наблюдая за игрой сержантской команды, в которой я был нападающим, но не обмолвился ни словом. Фишбейн и Хальперн тоже стушевались – разумеется, по команде Гроссбарта. Наверное, здравый смысл подсказал ему, что разумней отступить, не ставя себя в сомнительное положение привилегированной особы. Я мысленно простил ему наши предыдущие стычки и отдал должное его такту.

Избавившись наконец от Гроссбарта, я погрузился в свои прямые обязанности. В один прекрасный день, встав на весы, я убедился в том, что стал настоящим сверхсрочником, прибавив в весе семь фунтов. У меня даже хватило терпения прочитать первые три страницы какой-то книжки. Все чаще я задумывался о своем будущем и начал писать письма девушкам, с которыми был знаком до войны, – я даже получил от них несколько ответов. Я попросил юрфак Колумбийского университета прислать мне программу обучения. За войной на Тихом океане я продолжал следить, но это уже была не моя война. Я надеялся, что скоро увижу ее конец, и по ночам представлял, что вновь иду по улицам Манхэттена – по Бродвею, Третьей авеню, по 116-й улице, где жил три года, когда учился в Коламбия. Настроившись на эти мысли, я начинал чувствовать себя счастливым.

* Отец (фр.).

** Сын (фр.).

И вдруг в одну из суббот, когда все были в увольнении, а я сидел один в дежурке, читая «Спортинг ньюс» месячной давности, вновь появился Гроссбарт.

– Интересуетесь бейсболом, сержант?

Я поднял глаза.

– Как дела?

– Отлично! Из меня делают солдата.

– Как поживают Фишбейн и Хальперн?

– Тоже неплохо. Отправились в кино, сегодня нет занятий.

– А что это вы не с ними?

– Хотел зайти, поздороваться, – он улыбнулся застенчивой улыбкой простого парня, словно мы были с ним добрыми соседями, чья дружба выросла из мимолетных визитов друг к другу, дней рождения, одолженных друг у друга газонокосилок. Меня это раздражало: вся база смотрела кино, а я тут беседовал по душам с Гроссбартом. Я свернул газету.

– Сержант, – начал Гроссбарт, – хочу попросить вас об одолжении, это действительно одолжение, буду говорить прямо... – Он остановился, словно давая мне возможность прервать его. Разумеется, это вынудило меня быть более вежливым, чем хотелось.

– Продолжайте.

– Ну, в общем, это целых два одолжения...

Я молчал.

– Первое – насчет этих слухов. Все говорят, что нас отправят на Тихий океан...

– Я уже сказал вашему другу Фишбейну, что не в курсе. Наберитесь терпения и узнаете, как и все остальные.

– А может, у кого-то из нас есть шанс отправиться на восток?

– В Германию? – не понял я. – Может быть.

– Я имел в виду Нью-Йорк.

– Не думаю, Гроссбарт. И хватит об этом.

– Спасибо за информацию, сержант.

– Это не информация, Гроссбарт, просто мое предположение.

– Было бы здорово оказаться поближе к дому. Мои родители – ну, вы знаете... – Он шагнул к двери, но вдруг повернулся. – О, еще кое-что. Могу я попросить?

– О чем?

– Понимаете, у меня есть родственники в Сент-Луисе. Они сказали, что устроят настоящий пасхальный ужин, если я смогу к ним выбраться. Бог ты мой, что это значит для меня, сержант!

Я встал.

– Никаких увольнений во время начальной подготовки, Гроссбарт!

– Но до понедельника нет никаких занятий, сержант! Я мог бы уйти с базы, и никто бы об этом не узнал.

– Я бы знал. Вы бы знали.

– Вот и все – вы и я. Вчера я позвонил своей тете – слышали б вы ее! – «Давай приезжай, у меня есть фаршированная рыба с хреном – пальчики оближешь!» Сержант, только один денек! Вся ответственность на мне, если что.

– Капитана нет, некому подписать пропуск.

– Вы могли бы.

– Слушайте, Гроссбарт...

– Сержант, я жру трепное почти два месяца, мне до смерти это надоело!

– Я думал, вы уже примирились с этим. Согласились поступиться частью духовного наследия.

– Вы! – воскликнул Гроссбарт, ткнув в мою сторону указательным пальцем. – Вы прочитали это!

– Прочитал, ну и что?

– Письмо было адресовано конгрессмену.

– Гроссбарт, не морочьте мне голову. Вы хотели, чтобы я прочел письмо.

– Скажите, сержант, почему вы меня преследуете?

– Вы в своем уме, Гроссбарт?

– Со мной такое и раньше бывало, но чтобы свой!

– Вон отсюда, Гроссбарт! Вон отсюда к чертовой матери!

Он не двинулся с места.

– Вы стыдитесь своего еврейства и вымещаете это на нас. Говорят, Гитлер тоже наполовину еврей. Глядя на вас, я могу в это поверить.

– Чего вы от меня хотите, Гроссбарт? Чего вы добиваетесь? Вы требуете, чтобы я вам давал особые привилегии: особую еду, информацию о том, куда вас пошлют, увольнение в город...

– Он даже разговаривает, как гой! – Гроссбарт взмахнул руками. – Разве я прошу обычного увольнения? Разве седер не святое дело?

«Седер!» Внезапно я вспомнил, что Песах праздновали несколько недель назад. Я сказал ему об этом.

– Правильно! Кто говорит – нет? Месяц назад! Я был в это время на полигоне и ел поганый гуляш! А теперь я прошу лишь небольшое одолжение. Я думал, еврей поймет еврея. Моя тетя тоже хотела сделать исключение из правил: устроить седер месяц спустя...

Он отошел, бормоча что-то.

– Подойдите сюда! – Он повернулся и взглянул на меня. – Гроссбарт, почему вы не можете быть как все? Почему вы все время, как шило в заднице?

– Потому что я еврей! Я на самом деле другой. Может, лучше, может, нет, но – другой.

– Идет война, Гроссбарт. На это время надо быть как все.

– Я не могу.

– Что?

– Я не могу быть как все! Я не могу перестать быть самим собой – в этом все дело! – В его глазах блеснули слезы. – Быть евреем – трудная штука. Но теперь я понимаю Микки – еще трудней оставаться евреем. – С то-

скливым выражением он протянул руку в мою сторону. – Взгляните на себя, сержант!

– Гроссбарт, хватит ныть!

– Хватит то, хватит это... Это вам хватит, сержант! Хватит закрывать сердце от своих братьев! – И, вытирая лицо рукавом, он побрел к двери. – Самую малость, что мы можем друг для друга сделать...

Часом позже, выглянув в окно, я увидел Гроссбарта, шагающего через плац. На нем были выглаженная форма и небольшая сумка через плечо. Я вышел из казармы. Было жарко и тихо, вокруг ни души. Только возле столовой четверо полуголых дневальных, сидя у котла, чистили картошку, болтали и смеялись.

– Гроссбарт!

Он оглянулся и продолжал идти.

– Гроссбарт, ко мне!

Он подошел.

– Куда вы?

– В Сент-Луис. Мне все равно, что будет.

– Вас поймают без пропуска.

– Пусть поймают.

– Пойдете в тюрьму.

– Я уже в тюрьме! – Он круто повернулся и зашагал прочь.

Я позволил ему отойти лишь на пару шагов.

– Идите за мной!

И он проследовал за мной в дежурку, где я напечатал на машинке пропуск, поставил на нем фамилию капитана и свою собственную подпись. Он спрятал пропуск и вдруг схватил мою руку.

– Сержант, вы не представляете, как много это значит для меня!

– О'кей. Не вляпайтесь в какую-нибудь историю.

– Я хотел бы выразить вам свою благодарность.

– Не надо никаких благодарностей. И не расхваливайте меня больше перед конгрессменами.

Он улыбнулся.

– Ладно, больше не буду. Но все равно хочется сделать для вас что-нибудь.

– Принесите мне кусок фаршированной рыбы. И валите отсюда, наконец!

– Обязательно принесу! С морковкой и с хреном. Обязательно!

– Ладно, ладно. Покажете пропуск на проходной. И не проболтайтесь никому.

– Что вы! И с праздником вас, хоть он и был месяц назад.

– С праздником, Гроссбарт.

– Сержант, вы – настоящий еврей. Вы привыкли быть суровым, но у вас золотое сердце. Я на самом деле так думаю.

Эти последние слова тронули меня больше, чем все остальные.

– Ладно, Гроссбарт. Можете снова назвать меня «сэр» и валите отсюда ко всем чертям!

Он исчез за дверью. Я был доволен собой и чувствовал облегчение от того, что перестал наконец воевать с Гроссбартом, да это мне и не стоило, в сущности, ничего. Барретт не узнает, а если и узнает, я мог бы придумать какое-нибудь объяснение. Я сидел, довольный своим решением. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Гроссбарт.

– Сержант! – воскликнул он. За его спиной показались Фишбейн и Хальперн, оба в новенькой форме и с сумками, как у Гроссбарта.

– Сержант, я встретил Микки и Ларри, выходящих из кино. Я про них забыл.

– Гроссбарт, я же велел не говорить никому.

– Но моя тетя сказала, что я могу привести друзей. Даже обязан.

– Гроссбарт, тут я сержант, а не ваша тетя!

Он посмотрел на меня в недоумении и дернул Хальперна за рукав.

– Микки, скажи сержанту, как это много для тебя значит.

Тот взглянул на меня и, пожав плечами, сказал: «Очень много».

Фишбейн, не дожидаясь подсказки, рванулся вперед: «Сержант Маркс, это очень важно для меня и моих родителей!»

– Нет! – заорал я.

Гроссбарт осуждающе покачал головой.

– Сержант, можно отказать мне, но отказать Микки – студенту ешивы – этого я не могу понять!

– Я ничего не отнимаю у Микки. Но вы перегнули палку, Гроссбарт! Это вы лишили его увольнения!

– Раз так, я отдам ему свой пропуск! – воскликнул Гроссбарт. – Дам ему адрес моей тети и записку. Пусть он идет! – И он сунул пропуск Хальперну в карман.

Хальперн и Фишбейн уставились на меня. Гроссбарт был уже у двери.

– Микки, принеси мне, по крайней мере, кусок фаршированной рыбы, – сказал он и вышел.

Мы взглянули друг на друга.

– Хальперн, дайте сюда пропуск!

Он достал его из кармана и протянул мне. Фишбейн с полуоткрытым ртом торчал у двери. Ткнув себя пальцем, он спросил: «А мне что делать?»

Вид его был настолько нелеп, что я не выдержал.

– Фишбейн! – воскликнул я. – Вы-то хоть понимаете, что я ничего не пытаюсь у вас отнять? Если б это была моя армия, фаршированной рыбой я бы кормил вас в столовой. Видит Бог, я бы продавал кутель* в военторге!

Хальперн улыбнулся.

– Хальперн, вы это понимаете?

– Да, сержант.

– А вы, Фишбейн? Зачем мне неприятности? Я такой же, как вы, хочу дослужить свой срок и вернуться домой. Мне не хватает того же, что и вам.

* Род запеканки – субботнее блюдо (*идиш*).

– Сержант! – воскликнул Фишбейн. – А почему бы и вам не отправиться с нами?

– Куда?

– В Сент-Луис, к тетке Шелли. Мы б устроили отличный седер, кушали бы мацу.

Он одарил меня широкой чернозубой улыбкой.

За стеклянной дверью появился Гроссбарт. Он помахал бумажкой.

– Пст! Микки, это адрес. Скажи ей, что я не смог уйти.

Хальперн не двигался с места, глядя на меня. Он растерянно поднял плечи, при этом руки его словно стали короче. Я сдернул чехол с машинки и впечатал еще два пропуска.

– Отправляйтесь! Все трое!

Мне показалось, что Хальперн готов был поцеловать мне руку.

Вечером, сидя в баре соседнего городка, я пил пиво и слушал вполуха трансляцию игры «Кардиналов». Я пытался трезво оценить ситуацию, в которой очутился. Может, в этой войне с Гроссбартом я был виноват не меньше его? Почему я был должен демонстрировать великодушие? И с какой стати упрекать себя в черствости – я что, Господь Бог? С другой стороны, что я имел против Хальперна или против Фишбейна, этого гнилозубого тихони?

Среди воспоминаний детства, нахлынувших в последние дни, мне припомнился голос бабушки: «Ты что, из него цимес готовишь?» Так она говорила моей матери, когда я, бывало, порежусь, делая то, что делать не полагалось, и ее дочь орала на меня. Вместо того чтобы обнять и поцеловать, мать устраивала мне взбучку. Но бабушка знала: милосердие важнее справедливости. Мне бы тоже не мешало это знать. Кто ты такой, Натан Маркс, чтобы выцеживать из тебя добро по капле? Да сам Мессия, когда придет – если придет когда-нибудь, – он не будет подсчитывать наши медяки. По воле Всевышнего он обнимет нас и поцелует.

На следующий день, играя в бейсбол с Бобом Райтом – старшиной, ведавшим распределением новобранцев, я решил спросить, куда пошлют наших ребят через две недели, когда закончится учебный курс. Я спросил его словно невзначай, между двумя подачами, и он ответил: «Всех пошлют на Тихий океан. Шульман позавчера оформил приказ и на вашу роту». Новость поразила меня, словно это я был отцом Хальперна, Фишбейна и Гроссбарта.

Ночью, когда я уже засыпал, в дверь постучали.

– Кто там? – окликнул я.

– Шелдон.

Он открыл дверь и вошел, невидимый в темноте.

– Ну, как погуляли? – спросил я его.

Очертания Гроссбарта слегка прорезались.

– Отлично, сержант! – Он присел на край кровати. Я тоже сел. – Ну, а вы тут как? Хорошо отдохнули?

– Нормально.

– Все уже спят, – он солидно вздохнул.

Мы помолчали. Почти домашняя атмосфера возникла в моей убогой комнате: двери закрыты, кот на улице, дети отправились спать.

– Сержант, могу я вам кое-что сказать? Сугубо личное?

Я не ответил, и, кажется, он понял почему.

– Да я не о себе. Я насчет Микки. Сержант, мне жаль его, как никого другого. Прошлой ночью я слышал, как он плачет – рыдал так, что сердце разрывалось.

– Мне очень жаль.

– Я заговорил с ним. Он схватил меня за руку и не отпускал, чуть ли не истерика. Говорит: если бы только он знал, куда нас пошлют! Пусть хоть на Тихий океан, это все-таки лучше, чем неизвестность.

Кто-то когда-то научил Гроссбарта невеселому правилу, что только с помощью лжи можно узнать правду. Не то чтоб я не мог поверить в плачущего Хальперна – у него глаза всегда были красные. Так это или нет, но в устах Гроссбарта все казалось ложью. Все чистой воды стратегия. Но, в сущности, эта мысль поразила меня: а чем же я лучше? Есть стратегия нападения и стратегия отхода. Осознав и себя не лишенным коварства, я сказал ему правду: «Тихий океан».

Гроссбарт судорожно вздохнул, и вот это уже не было ложью.

– Я передам ему. Жаль, что это правда.

– Мне тоже жаль.

Он уцепился за мои слова.

– Вы хотите сказать, что могли бы что-то сделать? Что-то изменить?

– Абсолютно ничего.

– Вы никого не знаете в кадрах?

– Повторяю, Гроссбарт: я ничего не могу сделать. Если вас пошлют на Тихий океан, значит, так тому и быть.

– Но Микки...

– Микки, вы, я – кто угодно. Тут ничего не поделаешь. Может, война кончится раньше, чем вы туда попадете. Молитесь об этом.

– Но...

– Спокойной ночи, Гроссбарт! – я откинулся на подушку и с облегчением услышал, как звякнули пружины кровати, – Гроссбарт поднялся. Сейчас я уже мог разглядеть его: нижняя челюсть отвисла, и весь он был похож на боксера в нокдауне. Тут я заметил в руке у него бумажный пакетик.

Я улыбнулся: «Это мой подарок?»

– Да, сержант, это от нас, – он протянул мне пакетик. – Яичный рулет.

Я взял пакет и почувствовал, что бумага снизу пропиталась жиром. Я открыл его, все еще надеясь, что Гроссбарт пошутил.

– Мы думали: вам понравится. Знаете, китайский яичный рулет, может, это в вашем вкусе.

– Ваша тетка готовит яичный рулет?

– Ее не было дома.

– Как же так, Гроссбарт, ведь она вас приглашала? Вы мне сказали, что она вас пригласила.

– Конечно! Но я ошибся – пригласила на следующую неделю.

Я вскочил с постели и подошел к окну.

– Гроссбарт... – сказал я словно про себя.

– Да, сэр?

– Что вы из себя представляете, Гроссбарт? Ради всего святого, что вы такое?

Наверное, впервые я задал ему вопрос, на который у него не было готового ответа.

– Как вы можете делать подобные вещи?

– Сержант, мы были просто счастливы в этот выходной. Видели бы вы Фишбейна – он балдеет от китайской еды!

– А как же насчет пасхального седера?

– Мы нашли ему замену.

Ярость охватила меня. Я уже не сдерживался.

– Ты лжец, Гроссбарт! – заорал я. – Ты прохвост, не уважающий никого! Ты в грош не ставишь никого и ничего: ни меня, ни правду, ни даже несчастного Хальперна! Ты всех хочешь использовать!

– Сержант, сержант, мне жалко Микки. Ей-богу, это так! Мне нравится Микки, и я пытался...

– Жалко! Пытался! – Я подскочил к нему, схватил его за рубашку и яростно встряхнул. – Гроссбарт, убирайся отсюда! Убирайся и держись от меня подальше – иначе я устрою тебе веселую жизнь. Понял?!

– Да.

Я отпустил Гроссбарта, и, когда он вышел, мне хотелось плюнуть на то место, где он стоял. Злость душила меня. Казалось, избавиться от нее можно было лишь каким-нибудь яростным жестом или, наоборот, слезами. Я схватил бумажный пакетик и изо всех сил швырнул его в открытое окно.

Наутро, когда солдаты убирали территорию, я вдруг услышал радостный вопль одного из них. Парень явно не ожидал найти этим утром ничего, кроме окурков и конфетных оберток.

– Яичный рулет! – орал он. – Бог ты мой, чертов китайский яичный рулет!

Неделю спустя, снова и снова перечитывая приказ, присланный из управления кадров, я не верил собственным глазам. Все новобранцы отправлялись в Кэмп Стоунмэн, Калифорния, а оттуда – напрямик на Тихоокеанский фронт. Все, кроме одного. Кроме рядового Шелдона Гроссбарта. Его посылали в форт Монмут, Нью-Джерси. Я перечитал этот листок бумаги несколько раз. Ди, Фаррелл, Фишбейн, Фузелли, Филипович, Глиницки, Громке, Гучва, Хальперн, Харди, Хелебрандт, и так до Зыгадло Антона – все отправлялись на запад. Все, кроме Гроссбарта. Он потянул за какую-то ниточку, но этой ниточкой был не я.

Подняв трубку, я позвонил в управление кадров. Голос, ответивший мне, был вежлив: «Капрал Шульман, сэр».

- Мне нужен сержант Райт.
- Кто его спрашивает, сэр?
- Сержант Маркс.

К моему удивлению, голос в трубке воскликнул: «О!» – затем: «Минуточку, сержант».

Это «о!» сидело у меня в голове, пока я ожидал Райта. Почему вдруг – «о!»? И кто такой этот Шульман? И тут вдруг до меня дошло, за какую такую ниточку потянул Гроссбарт. Это же было так просто! Мне казалось, я слышу голос Гроссбарта в тот день, когда он повстречал Шульмана где-нибудь в военторге, или в кегельбане, или даже на службе.

- Рад тебя встретить! Откуда?
- Из Бронкса!

– И я тоже! Знаешь такого и такого? А этого? И я его знаю! Служишь в управлении кадров? Серьезно? Слушай, может, есть шанс отправиться на восток? Можно что-то сделать? Что-то поменять? Смошенничать, словчить, смухлевать? Мы ведь должны помогать друг другу, ты же меня понимаешь... Вот если бы евреи в Германии...

Боб Райт наконец подошел к телефону.

- Нат, как дела? Рука не болит?
- Нормально, Боб. Слушай, ты не мог бы оказать мне услугу?

Эти слова вдруг напомнили мне интонацию Гроссбарта, что сильно облегчило мою задачу.

– Не прими его за идиота, Боб, но тут есть один паренек, которого отправляют в Монмут, а он хочет, чтобы изменили приказ. Брат его погиб на войне, и он горит желанием бить японцев. Говорит, что будет чувствовать себя трусом, если останется в Штатах. Не знаю, Боб, ты мог бы что-нибудь сделать? Отправь кого-нибудь другого в Монмут.

– Кого? – голос Райта напрягся.

– Да любого. Первого попавшегося из списка. Меня это не волнует. Просто захотелось помочь парню.

- Как его зовут?
- Гроссбарт, Шелдон.

Райт молчал.

– Такие дела, – продолжал я. – Он тоже еврей и поэтому думал, что я смогу ему помочь. Ты ж понимаешь.

– Думаю, я смогу что-то сделать, – ответил он наконец. – Майор не появляется тут целыми неделями. Важные дела на гольфовом поле. Нат, я попробую – это все, что могу обещать.

– Огромное спасибо, Боб! Увидимся в воскресенье.

Я повесил трубку, обливаясь потом.

На следующий день появился исправленный приказ: Фишбейн, Фузелли, Филипович, Глиници, Громке, Гроссбарт, Гучва, Хальперн, Харди... Рядовой Харли Олтон, везунчик, отправлялся в форт Монмут, Нью-Джерси, где по какой-то причине им нужен был парень с пехотной подготовкой.

Этим вечером после ужина я зашел в дежурку внести изменения в график дневальных. Гроссбарт уже поджидал меня.

– Сержант, вы настоящий сукин сын!

Я уселся за стол и, пока он таращился на меня, занялся графиком.

– Что вы имеете против меня? – ныл Гроссбарт. – Против моей семьи? Вас что, убьет, если я буду рядом с моим стариком? Одному Богу известно, сколько месяцев ему осталось жить!

– Это почему?

– Сердце плохое! Видно, мало у него было в жизни несчастий, так вам надо еще добавить! Маркс, проклят тот день, когда я вас встретил! Шульман мне все рассказал. Ваш антисемитизм не знает пределов. Мало вам вреда, что вы мне причинили, так нужно еще специально звонить! Моя смерть вам нужна!

Я сделал последние исправления в графике и встал из-за стола.

– Спокойной ночи, Гроссбарт!

– Вы должны мне дать объяснение, – он загородил проход.

– Шелдон, это вы должны объясниться.

– Перед вами? – скривился он.

– Передо мной тоже – определенно! Но главное – перед Фишбейном и Хальперном.

– Давайте, давайте, переверните все с ног на голову! Я никому из них ничего не должен, я сделал для них все, что мог. Теперь я имею право позаботиться и о себе.

– Но вы же говорили, Шелдон, что мы должны помогать друг другу.

– Так это вы обо мне позаботились?

– Обо всех нас.

Я отодвинул его в сторону и направился к двери. Позади я слышал яростное дыхание Гроссбарта, как шум мощного паровика. Повернувшись у двери, я сказал ему: «Уж с вами-то все будет в порядке, Гроссбарт!»

А также, подумал я, все будет в порядке с Фишбейном и Хальперном, даже на войне, если только он и дальше будет находить в раболепии одного и в тихой религиозности другого некоторую выгоду для себя.

Я стоял у двери дежурки, слушая всхлипывания Гроссбарта за моей спиной. Сквозь освещенные окна казарм я видел ребят, сидящих в майках, толкуя о полученном приказе, как и все эти два дня. Стараясь сохранять спокойствие, они чистили ботинки, драили пряжки ремней, приводили в порядок форму, готовясь по мере сил встретить предназначенное им. За моей спиной Гроссбарт мучительно проглатывал свою горькую участь. И в этот момент, борясь с желанием обернуться к нему и попросить прощения за овладевшее мной мстительное чувство, в этот момент и я, наконец, примирился со своею судьбой.

Перевод с английского Льва Шорохова



выпускник Ленинградской консерватории, скрипач, прозаик – автор романов «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999, шорт-лист Букеровской премии), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живет в Германии.

ОБ УЛИЧНОМ МУЗИЦИРОВАНИИ КАК СЛЕДСТВИИ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МУЗЫКЕ*

Этим летом в Ганновере, где я обретаюсь уже – страшно вымолвить – полжизни, побывала московская съемочная группа. Снимали фильм о русских уличных музыкантах. Мне предложили выступить в роли чичероне. Я о чем-то рассказывал перед камерой, попутно вступая в разговоры с разными баянистами и прочими бременскими музыкантами, которые, обыкновенно, представлялись студентами консерватории, собирающими деньги на новый инструмент. Я не мастер разговорного жанра и незаметно подглядывал в шпаргалку, а чтоб не выходило слишком гладко, уснащал свою речь фиоритурами косноязычия: междометиями, вводными. Шпаргалка эта сохранилась. Быть может, она заинтересует читателя.

Полагаю, что отношение среднеарифметического интеллигента к классической музыке сродни моему отношению к классическим языкам. А именно: О!.. И все же можно считать себя культурным человеком и без знания латыни – это не стыдно, ее никто не знает. Но с «гемольной» симфонией Моцарта быть в таких же отношениях, как с какой-нибудь эклогой (кто их там писал, Овидий или Вергилий?), это уже позор.

Касательно моцартовской симфонии, подскажу: симфония Моцарта g-moll, или соль-минор, это сороковая – в России чаще различают музыкальные опусы по номерам, а не по тональностям.

Итак, позор на всю Европу тому, кто не знает соль-минорной симфонии Моцарта, а сам при этом шелкает как орешки интеллектуальные романы Павича, к пятнадцати годам прочитал всего Бальзака и клянется именем

* Иностранная литература. 2005. № 2.

Пастернака. А как стыдно при слове «Элизе» лихорадочно теряться в гадах: а что это?.. Если угодно, это «Полонез Огинского» для немцев. Только написал его не Огинский, а Бетховен.

Во искупление своего музыкального невежества интеллигентные родители начинают учить своих детей музыке. То есть учить играть на фортепиано – или, как еще говорят, «на пианино», поскольку так называется купленный ими инструмент. Некоторые начинают учить ребенка на скрипке, вероятно, потому, что купить пианино им не по карману, да и занимает много места. Но тогда уж лучше на виолончели, это куда культурней – а места занимает чуть больше скрипки. Учить ребенка на флейте – это, конечно, самый большой изыск. Сказать: «Мой Никита играет на флейте». То же самое, что заявить: он припал к истокам мировой культуры... флейта Пана...

Между прочим, когда я учился, флейтистов у нас в консерватории называли «мозгодуями». Вообще существовали стереотипные характеристики музыкантов по инструментальному признаку. Они носили шуточный характер, но, знаете, в каждом апельсине есть долька правды. Например, совершенной притчей во языцех являлся альтист. О нем говорили: «скрипач с темным прошлым», поскольку на альт, обычно, переводят скрипачей с диагнозом «профнепригоден». Про альтистов сложено множество анекдотов, по-немецки издан даже целый сборник. Например: «Оркестр на гастролях в Израиле, все довольны, только альтист одиноко сидит на берегу Геннисаретского озера: "Господи, сделай так, чтобы надо мной перестали смеяться, чтобы я свершил что-то необыкновенное..." И, о чудо! Он пошел по водам. А все смотрят и говорят: "Вон альтист, даже плавать не умеет"».

Но в первую очередь учиться музыке все же значит учиться на пианино. Когда-то Антон Рубинштейн сказал, что играть на рояле просто: в нужное время следует нажимать нужные клавиши. Собственно, этому детей и учат, когда говорят, что их учат музыке. Большинство бросает это запредельно скучное занятие в период полового созревания. Пользы от него – как от военного дела или уроков рисования, разве что воспоминания останутся куда более тягостные.

Тем не менее какое-то количество детей, которых волевые родители возьмут в оборот по-крупному, с дальним прицелом, смогут преодолеть барьер лени, скуки, отвращения. Им передастся амбициозность взрослых, они будут охвачены азартом соревнования, тем, что греки называли словом «агон» и что, по мнению многих, является движущей силой всякой деятельности. Они – потенциальные конкурсанты. У них перед глазами пример тех, кто преуспел, кто, стоя на эстраде, грудью встречает шквал оваций, кто удостоился международного признания. Они уже профессионалы. Сперва будущие, но будущее имеет обыкновение превращаться в настоящее. И вот они незаметно для себя никакие к черту не «будущие» – они просто профессионалы.

Наступает момент истины. Их профессия, исполнение на музыкальных инструментах классической музыки, на что они положили уйму сил, детст-

во и юность, вывихнув соответствующим образом себе мозги, – их профессия не пользуется спросом. Вернее, пользуется спросом отнюдь не в тех количествах, в каких себя предлагает. Эти молодые люди: флейтисты, скрипачи, пианисты, кларнетисты, виолончелисты – все эти «альтисты Даниловы», которых ежегодно сотнями выплескивают на биржу труда музыкальные вузы, все они оказались жертвой иллюзии, внушенной им старшим поколением. Иллюзии того, что культурные ценности *непреходящи*.

Еще царь Соломон носил кольцо с надписью «А коль овер» – «Все проходит». Это относится и к культурным ценностям: одни сменяются другими, какие-то видоизменяются до немыслимого – до глумления над собою. Практически сороковую соль-минорную симфонию Моцарта сегодня знает каждый подросток, потому что на ее мотив звонит треть всех мобильных телефонов. И неважно, хорошо это или плохо, это – нормально. Жаль, что в современном концертном зале нельзя провести спиритический сеанс: чтобы не стилизованный под барокко оркестр исполнял кантату Баха, а оркестрик, который играл ее на хорах церкви Святого Фомы в пору, когда Бах служил там регентом. Мы бы такое услышали... Равно как свой скрипичный концерт в исполнении Спивакова Моцарт вряд ли признал бы своим: эффект был бы таким же, как если б Элвис Пресли исполнил романс Чайковского – Чайковскому.

Музыка, которую мы называем классической, явление довольно новое и ограничено эстетикой романтизма. Хронологически романтизм наложился на XIX век, значительно расширив его с обеих сторон. Музыкальный XIX век длился дольше ста лет. Бетховен, связывающийся в нашем представлении именно с этим веком, большую часть жизни прожил в XVIII. Так же и музыка XX века есть не что иное, как путь в несколько десятилетий, который, под скрежет тормозов, когда пассажиры валятся друг на друга, проделала романтическая музыка, прежде чем окончательно остановиться. Ее полная и окончательная остановка совпала с остановкой сердца Дмитрия Шостаковича.

Чтобы это не выглядело совсем голословным, предлагаю поставить эксперимент. Мысленно переносимся на сто лет назад. Рубеж веков. И просим какого-нибудь завсегдатая концертов Русского музыкального общества перечислить имена известных современных композиторов. Этих имен будет очень много, большинство памятно нам и сегодня, из них несколько по праву считаются величайшими. При этом наш меломан, человек консервативных вкусов, найдет их музыку несколько вычурной, сложной, Рихарду Штраусу поставит в пример Пуччини или Чайковского. Дебюсси и вовсе отругает. А вот кого назовет меломан наших дней? Загадка природы.

Будучи профессионалом, я назову, конечно, нескольких старцев, входящих в современную композиторскую номенклатуру. Они никому неведомы, кроме своих собратьев по ремеслу, которое уже давным-давно является вещью в себе. Живая музыка, одушевляющая миллионы, сотни миллионов, орущая на каждом углу, не требует исполнителей в консерваторском понимании этого слова. Она и есть современная музыка, другой современ-

ной музыки нет. А то, что мне с всякими группами, хитами, хеви-металлом и прочим отбиванием ритма решительно нечего делать, это, как говорится, моя проблема. Однако машина, штампующая кадры для воспроизведения несуществующей более музыки, продолжает работать на полную катушку, тиражируя подобных мне исполнителей музыки двухсотлетней давности. При этом машина совершенствует свои изделия: сегодня играют лучше, чем вчера. Со всей ответственностью могу сказать: за последние двадцать лет профессиональный уровень молодых скрипачей в Германии неизмеримо вырос. Они вполне могут составить конкуренцию своим русским сверстникам, о чем недавно еще и помыслить было трудно.

Характерно, что Баха откопал XIX век – как за несколько столетий до этого откапывали шедевры античного искусства. Разница заключалась лишь в том, что, в отличие от Фидия или Праксителя, Бах и у современников великой славой не пользовался. Ценился как органист, импровизатор. Так что не будем удивляться, если новый академик Фоменко заявит, что никакого Баха не было, а все это выдумка Шумана с Мендельсоном, якобы открывших его. Тот Бах, которого мы знаем, действительно, до известной степени продукт романтической эпохи. Романтизм, окружив музыку ореолом святости, уверовал в бессмертие созданной им музыкальной формы. Прежде, в век барокко, музыка писалась «по случаю». Этим случаем могло быть любое событие: рождение, смерть, свадьба, званый обед, предстоящие Рождество или Пасха. Исполненное самим же композитором или под его управлением, музыкальное произведение переставало быть актуальным. По нынешним меркам его ожидала участь прочитанной газеты. Когда еще Леонардо да Винчи назвал музыку «жалкой», оттого что «она умирает при своем рождении».

Романтизм вознес музыку на такой пьедестал, когда сама мысль, что творение гения может устареть, казалась кощунственной. Именно тогда в европейской музыке возникает что-то вроде разделения труда, роль исполнителя приобретает все большую самостоятельность. Первоначально он, подобно Паганини, играет по преимуществу собственные сочинения, в которых, как на спортивной арене, проявляется его феноменальная виртуозность. Но вскоре виртуоз превращается в интерпретатора не им созданных произведений и настолько утверждается в этом новом для себя качестве, что интерпретация музыкального произведения, то есть его истолкование исполнителем, делается важнейшей составной частью европейской музыкальной культуры. Отныне гениальная музыка как бы не существует вне гениальной интерпретации, она нуждается в великом исполнителе едва ли не больше, чем он в ней.

В начале XX века культ исполнителя, которому рукоплещет поверженное к его ногам человечество, достигает своего апогея. Но именно тогда же, в 1913 году, который Ахматова считала последним годом XIX века, живущий в Вене Арнольд Шёнберг разрабатывает новую теорию музыки, отрицающую, если так можно выразиться, музыкальную гравитацию. Музыка освобождается от тяготеющего над ней гнета тональностей, господству

до-мажора или соль-минора положен конец. «Сегодня я предопределил приоритет немецкой музыки на следующие сто лет!» – воскликнул Шёнберг. В этот день он подписал акт о полной и безоговорочной капитуляции не только немецкой, но и вообще европейской музыки.

Музыка XX века знает немало звездных имен – имен тех, кто уже опускал занавес. Особенно ярко среди них горят русские имена: Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Да, по сути говоря, и Рахманинов. Россия поздно вступила в клуб великих музыкальных наций – их на самом деле наперечет: Италия, Франция, Германия, – но зато последней покинула капитанский мостик. Какое-то время прибежищем классической музыки оставалось кино, где она тихо мутировала в попсу.

Но школа классического исполнительства этого словно не замечает, ее бесчисленные питомцы продолжают тешить себя несбыточными мечтами. В чем сегодня смысл их существования? Новых произведений для них не пишется. Временная пропасть между исполняемым ими и современностью растет. Еще одна интерпретация, еще одно истолкование – того, что давно уже обрело свое второе рождение в телевизионной рекламе пиццы или в звонке мобильного телефона. Нет такого сочинения, мало-мальски значительного, которое не было бы записано – каждое! – десятки, а то и сотни раз. И эти звукозаписи, неотличимые одна от другой, продолжают наполнять рынок. Они стоят сущие копейки и прокормить тех, кто на них записан, никак не могут. Сколько уличных музыкантов предлагают вам помимо своей игры также и свои диски. А все же обаяние великой культуры XIX века не позволяет нам открыто признать, что изжит один из ее любимых мифов – миф о гениальном исполнителе. Язык не поворачивается.

Профессионалы – в Германии, в частности, – об этом говорят, но знаменитый совет Козьмы Пруtkова: «зри в корень!» – по вполне понятным причинам игнорируется: зачем же рубить сук, на котором сидишь. «Да, нелегкие времена для нашей профессии... да, введение евро... да, экономика переживает кризис... да, это бьет в первую очередь по культуре: урезают бюджеты оперных театров, распускают оркестры... а еще Восточная Европа рвется к нам в гости... ах, что вы говорите – Восточная Европа... Юго-Восточная Азия, где проживает половина всего человечества, прослышала о триумфах юных дарований на Западе и теперь охвачена пианистической лихорадкой. Пятимиллионная армия китайских пианистов, один другого лучше, угрожает нам своим вторжением... и это когда своих-то не знаешь, как трудоустроить». Такие разговоры ведутся, перемежаясь вздохами.

За четверть века, что я работаю в Ганноверской опере, две вещи в ней переменялись кардинально: на девяносто процентов сократилось число курильщиков среди оркестрантов и на сто процентов сократилось число тех, кто профессионально обучает своих детей музыке.



публицист, прозаик, автор философского романа «Бесконечный тупик», книги статей «Пропаганда», сборника «Утко-речь: Антология советской поэзии» и множества рассказов. Живет в России.

ТРИ СЛОЯ ЛЖИ. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА*

Современный человек родился и вырос в централизованном государстве. Он прекрасно знает, что в его стране живут миллионы людей, что его страна разделена на области, губернии, штаты, графства, коммуны, районы, что во главе каждой территориальной единицы находится город, а иерархия национальных городов увенчивается столицей – средоточием экономической и политической жизни нации. Некоторые отклонения от схемы есть: столица Австралии – небольшой город, в мире есть реликты карликовых государств, но, в общем, картина стандартная. Так было, так будет...

Было, однако, далеко не так. Современные государства возникли удивительно поздно, неожиданно поздно. Современная система управления (кабинет министров, парламент) сформировалась только в XVIII–XIX веках. Система государственного районирования – в XVIII веке. Столичные города в современном понимании этого слова появились в XVII веке. А само государство как территориальное иерархическое образование возникло, дай бог, в XVI веке. До этого люди жили в полисах, земледельческих деспотиях, а в значительной степени – «на деревьях». Иными словами, государственная фаза человеческого общежития есть некоторый *эпизод* человеческой истории, и очень наивно полагать, что этот эпизод продлится вечность. Весьма вероятно, что нашему современному человеку придется заканчивать свои дни не в государстве, а под обломками государства.

Символом новой эпохи явилось «праздничное» начало XXI века, когда весь мир стал свидетелем удивительного зрелища – бессмысленной ано-

* Главная тема. 2005. № 6.

нимной атаки на главное государство планеты. По привычке «удивительное зрелище» называли терактом, но речь шла лишь о симптоме более общего явления. За прошедшие несколько лет подобные шоу стали привычной частью политического ландшафта самых цивилизованных государств.

Последнее по времени событие – взрывы в лондонском метро 7 июля 2005 года. Уже через неделю после взрывов «77» были обнаружены конкретные исполнители акции – ими оказались четверо молодых граждан Великобритании мусульманского происхождения (три пакистанца и один уроженец Ямайки). Публику поразило, что террористы-смертники внешне были добропорядочными англичанами из провинциальной глубинки: один увлекался крикетом, другой был молодым школьным учителем. Таким образом, в восприятии обывателей изуверы-инопланетяне, поднявшие руку на лондонское метро, внезапно оказались людьми из толпы. По этому поводу можно было бы завести пропагандистскую волюнку (уже завели) о мусульманской змее, пригретой на груди доверчивыми англичанами, да припомнить со злобным хохотком – в стиле «за что боролись, на то и напоролись» – многочисленные обиды и несправедливости лицемерной британской дипломатии и еще более лицемерной пропаганды.

Однако человек, отдающий себе отчет в методах и масштабах работы тайной полиции Соединенного Королевства, поймет, что ситуация гораздо сложнее. Начиная с XVII века Англия, находившаяся под постоянным прессингом континентальных держав, была поставлена перед необходимостью гипертрофированного развития разведки и контрразведки. Нельзя сказать, что англичане отличались какими-то необыкновенными талантами в области шпионажа. Разгадка успеха «Интеллидженс сервис» в «тайне» заваривания чая лавочником из еврейского анекдота: «Кладите больше заварки». Англичане и клали. Да так, что у всего мира свело скулы.

В конечном счете, упор на разведку, как и исключительное развитие флота, был обусловлен островным положением государства. У Англии практически не было сухопутной армии – все расходы на военное дело шли по ведомству адмиралтейства. Неудивительно, что в области морских вооружений англичане шли с отрывом вплоть до Первой мировой войны. Также неудивительно, что, как только германцы стали выделять сопоставимые суммы на развитие ВМФ, чаша весов стала склоняться в их пользу.

То же касается тайной полиции. Англичане тратили на содержание этого ведомства в 20, 50, а в иные периоды и в 100 (!) раз больше, чем континентальные державы. Для разжиревшей и обнаглевшей английской разведки была характерна неимоверная затратность усилий в стиле «бешеному кобелю 40 верст не помеха». Например, французские гувернеры и гувернантки, наводнившие одно время страны Европы, разрабатывались полицией Наполеона где-то в пропорции 1/10. А «Интеллидженс сервис» требовала от 100% (!) английских девушек, служивших в иностранных семьях, подробного отчета о своей работе. Другой особенностью «Интеллидженс сервис», руководимой чиновниками, главной заботой которых было

«освоение» выдаваемых государством несусветных сумм, являлась «активная разработка», то есть провокаторство. Весь XVII, XVIII и начало XIX века Англию сотрясали процессы над политическими заговорщиками и террористами. Все они были априори спровоцированы тайной полицией. Основные фигуранты многочисленных показательных процессов даже не могли толком понять, как они оказались на эшафоте. Невинная политическая болтовня в мгновение ока превращалась в правильно артикулированный государственный заговор, за который единственная расплата – смерть.

Много крокодиловых слез пролито по поводу подавления русским императором Николаем I путча декабристов. Притом что налицо был явный антигосударственный заговор и конкретные антигосударственные действия. К тому же, несмотря на сверхтенденциозную направленность либеральной, а затем советской историографии, никому не удалось обвинить следствие в применении недозволённых приемов дознания: пыток, шантажа, провокаций. В связи с чем стоит вспомнить хотя бы «заговор улицы Катона», раскрытый в Англии в это же время (1820). За что осудили и казнили заговорщиков, до сих пор известно очень мало. Ничего предосудительного они не совершили и, скорее всего, не могли совершить. Речь шла об обычном трепе интеллигентной молодежи и старых ворчунов, который аккуратно записали, подшили в папки и на основании которого несчастных жертв провокации казнили. Они во главе с Артуром Тислвудом якобы собирались убить весь кабинет министров. Причина? «Министры не проводят умеренные либеральные реформы». Обвинение явно нелепое. Подследственных страшно пытали (вплоть до сломанного позвоночника), пятерых из них повесили публично. По ходу казни палач отрубал головы у трупов и показывал зрителям. Одна голова из скользких от крови пальцев выскользнула, в толпе кто-то взвизгнул: «Раззява!». Вот и вся английская демократия*. Считать, что в стране с такой историей, в стране, лишь декорированной под конституционную монархию (где эта конституция?), а фактически являющейся феодальным полицейским государством, считать, что в такой стране способны безнаказанно оперировать какие-то эмигранты-подпольщики, могут только люди совсем наивные. Несколько десятков мусульманских организаций, существующих на территории Великобритании и стран Содружества, образуют хорошо продуманную и специально запутанную для непосвященных сеть. Они управляются из единого центра, на шпигованы осведомителями, во главе каждой из них, *как правило*, стоят кадровые офицеры «Интеллидженс сервис». Естественно, начальниками секьюрити мусульманских организаций с радикальным уклоном тоже являются английские провокаторы, часто потомственные. Не надо забывать,

* Исторiku, сопоставляющему приемы «Интеллидженс сервис» и ЧК–ГБ, понятно, что показательные процессы Сталина и общие методы работы чекистов есть скрупулезное подражание традициям английских костоломов. Причин тут две. Первая – немомверная гипертрофия органов госбезопасности при социализме. О второй причине в рамках этой статьи я говорить не буду.

что сеть осведомителей, коллаборационистов и провокаторов насаждалась Англией в странах Содружества *столетиями*.

Как работает «Интеллидженс сервис», можно судить на примере ИРА. В позапрошлом году по политическим соображениям Лондон специально раскрыл несколько своих осведомителей среди ирландских националистов. Как вы догадываетесь, английским агентом, например, оказался глава контрразведки ИРА Альфредо Скапатиччи. Мафиози Скапатиччи на протяжении двух десятилетий зверски пытал соратников по партии, заподозренных в связях с англичанами (в их числе были и реальные осведомители): жег зажигалкой ноздри, топил в бочке с водой, прислонял к гениталиям электрошокер, используемый для загона крупного скота. После пыток жертву убивали выстрелом под основание черепа. К слову сказать, разоблачение Скапатиччи, имевшего трудно переводимую на русский, но красноречивую кличку, что-то вроде Мясник или Тесак, было обставлено с типичным английским юмором. По легенде, Мясника заложил другой высокопоставленный «крот» в ИРА по кличке Кэвин Фултон. Он был раздосадован тем, что 57-летний Скапатиччи получает слишком большую пенсию от «Интеллидженс сервис».

Смысл подобной «азефовщины» в рядах ИРА понятен. Национально-освободительное движение ирландцев, традиционно инспирируемое врагами Англии, в том числе могущественной Америкой, неуничтожимо в принципе. Задача английской агентуры в этих условиях заключается в локализации и предотвращении массовых акций, а также в пресечении покушений на политическую верхушку. В целом и поведение ИРА, и поведение Великобритании вполне осмысленно.

А вот в чем смысл на редкость слаженной деятельности «пакистанцев-77» – объяснить трудно. Есть общие разглагольствования об угнетении и несправедливости, но никакой мусульманской Северной Ирландии у Великобритании нет. В чем же *конкретные* претензии, вызвавшие сложнейшие и тщательно спланированные действия, которые под силу только крупному централизованному государству? (Уж конечно, не Пакистан является таким государством.) Конкретных претензий ни у кого нет. Нет и явных лидеров. Либо это мифологические фигуры, вроде неуловимого Бин-Ладена и сидящего под замком Хусейна (найдите десять отличий), либо какие-то незапоминающиеся молодые студенты, стертые, как средневековые арабские монеты. Все эти люди не могут связать двух слов. Слова могут связать курды, мусульмане Палестины и Филиппин, чеченцы – здесь есть конкретные претензии и очевидная линия обороны. Но никакой артикуляции политических требований к США во время акции 11 сентября 2001-го или к Испании во время акции 11 марта 2004-го, а теперь и к Великобритании нет. Есть только нечленораздельный полуанонимный лепет про «империю зла», «крестоносцев» и «бездуховность».

Это дает повод многочисленным конспирологам высказывать версии о саморезе «911» или «77». Основания для этого имеются. Например, что ка-

сается Лондона, указывают на то, что непосредственно перед взрывами была понижена степень террористической угрозы (и это в период встречи «восьмерки» на территории Великобритании). С другой стороны, в самый момент терактов в лондонском метро проходили загадочные учения с участием тысячи человек, отрабатывавшие сценарий одновременного взрыва нескольких бомб. По странному стечению обстоятельств учения проходили именно на тех станциях, где раздался взрывы. Отмечается также, что для такой масштабной террористической акции (мощные взрывы в час пик), количество жертв неожиданно небольшое.

Однако и этот взгляд – взгляд под слишком низким углом зрения. Суть проблемы в другом – в том, что террористическая деятельность на современном этапе является наиболее эффективным и фактически безнаказанным видом боевого воздействия на противника. Если Германии в начале прошлого века надо было строить армаду бронированных пыхтелок, которые под звуки марша с гордо развевающимся имперским флагом должны были честно выиграть генеральное сражение в открытом море, то теперь ничего этого не надо. *Вообще ничего не надо.* Достаточно взорвать переносную атомную бомбу в лондонском метро и свалить это на пакистанских–индийских–корейских фанатиков. То есть для ведения войны не нужно даже ее объявления. Детские солдатики в разноцветных мундиричках после 500-летних игр убраны государством в коробку. Игры закончились. Сначала убрали петушинные перья, эполеты, аксельбанты и малиновые портки с колокольчиками. Потом убрали мышинные маскхалаты и маски-противогазы. Все стали решать люди на кнопках, сидящие в бункерах за тысячи километров от театра военных действий. Теперь убрали самих людей. Не нужно ничего. Многомиллионные армии эпохи мировых войн превратились в малочисленные отряды «быстрого развертывания» и «спасательных операций», то есть в нечто вроде пожарных или полицейских.

Как известно, в начале Второй мировой войны немцы добились удивительных результатов, потому что в 20–30-е годы готовились к будущей войне, а их противники – к войне прошлой. Ситуация во многом повторилась в 60–70-е годы. Военные аналитики ФРГ готовились не к продолжению Хиросимы и Нагасаки, а к ударам в нервные узлы в эпоху постиндустриального информационного общества. В 70-е годы обкатывались основные приемы ведения «принудительных» (слово «военных» уже не годится) действий против иностранных государств. Подобные программы были у нескольких наиболее развитых стран мира, в том числе, конечно, у США. Однако основная масса активных разработок велась немцами. Пробовались приемы идеологического прикрытия, изучались формы взаимодействия со средствами массовой информации. Накапливался опыт проведения конкретных акций, вербовки, промывки мозгов, использования групп и отдельных террористов опосредованно или вслепую.

Во второй половине XX века произошел естественный всплеск террористических технологий, являющихся иной формой давно известного на-

ционалистического экстремизма. Однако историку хорошо видно, что на этот всплеск постепенно наложился явно искусственный идеологический терроризм, не имеющий ни социальной, ни какой-либо другой базы. При этом, в отличие от анархизма второй половины XIX века, бессмысленность была не прикрытием вполне понятных политических акций, а коренилась в самой сути «новых левых».

Характерным примером идеотерроризма является деятельность доктора Губера. Будучи врачом психоневрологического отделения Гейдельбергского университета, он в 1970 году создал из 28 своих пациентов «Коллектив социалистических больных». Программа «излечения» по системе Губера состояла из двух разделов: а) философско-религиозный промыв мозгов, групповой секс; б) дзюдо, карате, изготовление фальшивых документов, взрывы. «Коллектив социалистических больных» в 1975 году захватил посольство ФРГ в Стокгольме, убил военного и экономического атташе, а затем поджег здание. Во время этой и тому подобных акций большинство членов КСП погибли.

Крайне показательно, что западные СМИ не любят проводить параллели между ненационалистическим террором коренных европейцев 70-х и современным мусульманским терроризмом. Например, замалчивается тот факт, что западногерманская группа «Баадер–Майнхоф» собиралась рассылать по почте споры сибирской язвы. В целом картина коренного европейского терроризма нарочито запутана, смазана и доведена до абсурда. Из-за интерференции американского и англо-советского влияния в схеме событий действительно есть аберрации, однако общая картина достаточно понятна. В 60-е годы на волне увеличения националистического террора государства стали активно внедряться в экстремистские организации в целях инспирации и выявления сочувствующих. Это был период правого подполья – явно искусственных групп, призванных ритуально пинать ногами и так поверженного в 1945 году противника. Но инспирация получилась настолько успешной, а ситуация в области ядерного противостояния была настолько тупиковой, что военные штабы быстро оценили всю перспективность нового направления межгосударственной борьбы. Так период провокационного правого терроризма 60-х сменила эпоха экспериментального левого терроризма 70-х, начавшегося с искусственных студенческих «революций» 1968 года.

Период создания ноу-хау «небоевых взаимодействий» закончился к началу 80-х. Своеобразным итогом явилась книга американца Ричарда Кларка «Технологический терроризм», выпущенная как раз в 1980 году. В книге достаточно подробно, с большим упреждением описываются все направления терроризма начала XXI века. Большое внимание уделяется диверсиям на атомных электростанциях, взрывам в местах большого скопления людей, всеоружному выключению энергосетей, разрыву ниток газо- и нефтепроводов, отравлению источников воды и даже атакам на ЭВМ. Напомню, что это писалось еще до начала эры персональных компьютеров,

когда не существовало самого понятия вирусов. По иронии судьбы работы Кларка сыграли большую роль в рассредоточении накопителей информации и создании интернета, что как раз породило идеальную среду для вирусных атак. Надо сказать, что ряд гипотетических примеров терроризма будущего из книги Кларка до сих пор не осуществлен. Например, там говорится о крайней эффективности подрыва танкеров, наполненных сжиженным газом, в районах портовых городов. По энергетической мощи взрыв будет эквивалентен небольшой атомной бомбе.

Основной постулат «Технологического терроризма» однозначен: наступает эпоха, когда военные действия будут вестись не путем вторжения армий через национальные границы, а с помощью групп террористов. В результате изменится сам ландшафт государства: чтобы выжить, оно должно будет состоять из большого числа автономных экономических и энергетических ячеек.

Однако американцы не совсем правильно оценили масштаб и смысл изменений, происходящих в постиндустриальную эру. Видимо, здесь сказалась военная самоуспокоенность США (полностью аналогичная версальской эйфории Англии и Франции). Немцы в этой области продвинулись гораздо дальше. Ведь переключение на новаторские методы воздействия на противника стимулировались полной невозможностью для немцев ведения реальных боевых действий.

Американцы не поняли, что, во-первых, макротеррористические акции будут совершаться абсолютно анонимно, то есть в значительной степени безнаказанно. В отличие от индивидуального террора, масштабная акция имеет самоценное значение и не нуждается в какой-либо персонификации. Если в зоне оккупации убит вражеский солдат, пропагандистски важно обозначить, что его убил диверсант или член местного движения сопротивления. Однако когда речь идет об уничтожении столицы соседнего государства в результате термоядерного взрыва, да еще в мирное время, то здесь установление авторства как минимум ничего не добавит к потрясающему эффекту, а в большинстве случаев будет даже вредно.

Во-вторых, в контексте гиперинформационности современного общества, при террористических технологиях речь идет о нанесении не столько военных и экономических, сколько психологических и эмоциональных ударов. Если можно так выразиться, современный террор – это скорее игровые ходы, а не боксерские оплеухи. Огромное значение имеют косвенные последствия акции либо даже двойные-тройные комбинации разнонаправленных действий.

Если брать боевой смысл «акции 911», то ее следствием стала элементарная эскалация американского присутствия в третьих странах. Это действие вполне аналогично провоцированию Пёрл-Харбора или взрыву броненосца «Мейн» перед началом испано-американской войны. Однако если рассмотреть испанскую «акцию 311», то мы увидим весьма *опосредованный* (хотя, учитывая сравнительно малый масштаб теракта, более эффек-

тивный) результат. Взрыв электрички каким-то немислимым, но тем не менее весьма логичным и предсказуемым образом привел к отстранению проамериканского правительства и к превращению Испании в убежденного апологета европейской интеграции. Как известно, испанцам даже доверили открыть конституционный марафон.

В свою очередь, еще менее масштабный и еще более опосредованный характер носил теракт в Лондоне. Он никак не повлиял на позицию Великобритании. Однако каким-то кривым, но дьявольски рассчитанным следствием этого «удара третьим шаром» явилось общее выправление ситуации с, казалось бы, окончательно лопнувшим «конституционным марафоном». После срыва голосования во Франции и Голландии на фоне больших сомнений в дальнейшей целесообразности голосования вообще следующая страна европейской змеи внезапно проголосовала «за». Напомню, что голосование в Люксембурге произошло через три дня после теракта.

Впрочем, на тему «кому выгодно?» можно спекулировать сколько угодно. Если посмотреть на заголовок этой статьи («Три слоя...»), то можно увидеть, что я вовсе не собираюсь настаивать на предложенной интерпретации событий «911–311–77». Повторяю, на эту тему можно говорить бесконечно и с неизбежно неопределенным результатом. Речь идет о другом: *современное общество использует неправильный, устаревший язык для описываемых событий.*

Война вытеснена за пределы цивилизованного мира. *Интерес* есть, а *возможностей* вести войну Америки против Англии, Японии против Америки, Германии против Польши нет. *Войны и не будет.* Будет феерический калейдоскоп внешне бессмысленных, но удивительно хорошо спланированных терактов, бьющих по нервным сплетениям ведущих стран мира. Точно, крайне эффективно, со сравнительно небольшим количеством жертв. Авторами акций будут объявляться расы и страны, находящиеся за пределами «зоны вечного мира». Обыватель даже не будет понимать, что происходит. Он уже не понимает: то его делают участником голливудского шоу «911», то гонят по Манхэттену после веерного отключения электричества, которое вроде как и не отключение, а учение, потом ноу-хау отключения–учения в умелых руках лондонских полицейских плавно переходит в серию хорошо спланированных взрывов.

Это еще один сюрприз постнуклеарной войны. Узкоспециализированные действия штабов не воспринимаются населением как нечто осмысленное. Пазл не складывается, обыватель видит только телевизионную картинку тут и сям происходящих «катастроф», учиняемых анонимными или полуанонимными злодеями. Боевые действия идут перпендикулярно потоку жизни. и вне их эпицентра населением не замечаются. Ведь даже в зоне тектонических разломов землетрясения – это серия разрозненных эпизодов, складывающихся в единую картину геологического процесса только в головах специалистов-сейсмологов.

Выживут ли люди в мире сейсмотеррора? Скорее всего, да. Живут же

они в постоянно сейсмоактивной Японии или Новой Зеландии. Людишки-тараканы – существа живучие, верткие, ни один белый порошок не возьмет. Как говорил Достоевский, «человек, подлец, ко всему привыкает». А вот как быть неуклюжим динозаврам-государствам, медлительным тугодумам с уже обгрызенным хвостом, это большой вопрос.

После первого подрыва 40-тысячного стадиона люди будут смотреть футбол дома. После ада в миллионном метро начнется бегство жителей из крупных городов. Что самое интересное, и тот, и другой процесс уже идет. Современные технологии превращают загородный дом в лучшее место работы и отдыха. Осталось только заглубить индивидуальное жилище метров на 100 под землю да поставить автономный генератор. Согласитесь, говорить в таком обществе про президента, парламент или кабинет министров как-то несерьезно. Одно дело господин Башмачкин, трусящий на службу в рваной шинелишке, и совсем другое – программист, сидящий перед монитором в тепле и холе. На глубине 100 метров.

Возможно, такое общество будет высокоорганизованным. Но это организация не государства, а компьютерной сети или, на худой конец, транснациональной корпорации. Государство остается на безлюдной поверхности, в виде постепенно разрушающихся декораций.

Правда, штабы, похоже, считают, что додумались до гуманного оружия. В самом деле, вести четыре года мировую войну за передел рынков и потерять в общей сложности менее 10 тыс. жителей – это гуманизм неслыханный. Только необъявленная война делает невозможной ее легальное завершение, и никаких барьеров для эскалации такой войны нет. Эскалации не будет, пока обмен ударами идет на равных. Как только одна из сторон начнет проигрывать, ей захочется хлопнуть дверью. А поскольку легально завершить процесс, у которого нет легального начала, невозможно, хлопанье дверями в «вороньей слободке» мировой деревни станет перманентным и пойдет крешендо. Со всеми мыслимыми и немыслимыми последствиями.



директор Центра стратегических исследований. Живет в России.

РУССКИЙ ПАЦИЕНТ*

Явно затянувшийся спор о принадлежности России к Европе и Западу в целом продолжается с прежней остротой. Вопросы внутренней и внешней политики в нем неразделимы. Обсуждается ли судьба демократических институтов внутри страны или отношения России с внешним миром, и прежде всего с Западом, речь идет в обоих случаях об одном и том же – о фундаментальных ценностях российского общества. «Обернувшись своей азиатской рожей» к Западу, власть неизбежно делает то же самое и по отношению к своему собственному народу, вызывая, впрочем, у значительной его части сладострастную мазохистскую реакцию. Вековая борьба «западников» и «евразийцев», отягощенная на этот раз болезненным комплексом поражения в глобальной холодной войне с Западом, не прекращается внутри русской культуры. За время правления Владимира Путина маятник прошел полный цикл, и наша внешняя политика, как и в первый год его президентства, приобрела ярко выраженный антиамериканский характер. Вновь в моду вошли идеи «евразийства» и Священного Стратегического Союза с Великим Китаем.

Китай – это кошка, которая гуляет сама по себе вот уже несколько тысячелетий, самодостаточная держава, никакими комплексами, в отличие от российской политической элиты, не страдающая и ни в каком стратегическом партнерстве с Россией, тем более на антиамериканской основе, не нуждающаяся.

Если эти бледнолицые северные варвары, в свое время навязавшие Срединной Империи несправедливые договоры, почему-то придают та-

* Грани.ру.

кое значение бумажонкам о стратегическом партнерстве и многополярности, то ради бесперебойных поставок самого современного оружия можно эти бумажки и подписать, а тем более и военные маневры с применением этого оружия провести. Но отношения с США – основным экономическим партнером и политическим соперником – для Китая, этой сверхдержавы XXI века, гораздо важнее, чем отношения с Россией, и, выстраивая их, китайское правительство будет руководствоваться чем угодно, но только не комплексами российских политиков. Впрочем, и для России отношения с США и Западом вообще тоже гораздо важнее, чем с Китаем. Вообще все российское евразийство исторически вторично, является функцией обиды на Запад и выполняет для российской «элиты» роль не более чем психологической гигиенической прокладки в критические дни ее отношений с Западом.

Все эти мотивы великолепно артикулированы в знаменитой блоковской поэме. Страстное объяснение в любви к Европе при малейшем сомнении во взаимности сменяется угрожающим: «А если нет – нам нечего терять, // И нам доступно вероломство!» При чем тут Китай, Индия, уже давно забытые «сербские братушки», иранские муллы или северокорейский говнюк? Все это не более чем сиюминутные поводы, необходимые страдающей маниакально-депрессивным психозом российской «элите» для выяснения ее отношений с вечно ненавидимым и вечно любимым Западом. Не к случайному собутыльнику, а к небесам Запада обращен экзистенциальный русский вопрос «А ты меня уважаешь?» Кто-то оттуда должен заглянуть нашей политической «элите» в душу и подивиться ее самобытному богатству.

Китайцы, кстати, все это прекрасно понимают и поэтому относятся к российским спорадическим заигрываниям скептически и с неизбежной долей снисходительного высокомерия.

Никогда еще прежде клиника маниакально-депрессивного психоза российской власти и российской «элиты» не была столь учебно-методически продемонстрирована, как в последние месяцы десятилетия.

Где-то с ноября, после Беслана и украинских выборов – ярко выраженная острейшая депрессивная стадия. Кремлевские людишки дружно застесались в своих статьях и интервью: «Враги, пятая колонна, линия фронта проходит через каждую улицу, каждый дом, каждый сортир, мы будем отстреливаться, отбиваться граблями, объединяйтесь вокруг нас, иначе Россия неминуемо развалится» – судорожно начали создавать штурмовые отряды нацистов для отражения непонятно чего.

В полном соответствии с описанной в специальной медицинской литературе клиникой заболевания где-то к августу депрессивная фаза сошла на нет, и пациент, не приходя в ясное сознание, перешел в маниакальное состояние. Ему вновь показалось, что он «встает с колен», и те же самые людишки начали радостно скандировать: «Америка – параша. Победа будет наша!»

Респектабельные гуру – мыслитель мирового масштаба Сергей Караганов и его молодой коллега Федор Лукьянов – попытались в своих аналитических статьях дать рациональное объяснение столь внезапной смене настроения и самоощущения российской политической «элиты». Они справедливо и не без определенного удовлетворения отметили, что за последнее время у наших европейского, украинского и у особенно противного американского соседей сдохло несколько коров, что всегда приносило нам некоторое облегчение, а корова так полюбившегося нам китайского соседа на глазах тучнеет.

Но почему эти привходящие и не зависевшие от воли и собственных свершений русского пациента обстоятельства должны свидетельствовать о его внезапно прорезавшемся величии? И почему его параноидальное сознание продолжает воспринимать мир и свою роль в нем исключительно как виртуальное противостояние своей вечной сопернице-параше?

Нет, уважаемые коллеги, д-р Караганов и д-р Лукьянов, не согласен я с вашим диагнозом. Рано еще говорить о выздоровлении. Наблюдается классическая циклическая картина болезни. Пациент по-прежнему вязнет в липкой наркотической навозной жиже коррумпированной нефтегазовой автократии, закрывающей ему путь к выздоровлению.

Самые последние симптомы особенно тревожны. Страна, в которой некие Путин и Абрамович могут на глазах у всех бесстыдно и безнаказанно распилить тринадцать миллиардов долларов, просто не имеет будущего. Не может быть у нее стратегических партнеров. Ее будут одинаково презирать и на Западе, и на Востоке. Во всяком случае, пока в строю остаются майор Владимир Путин и рядовой Роман Абрамович.



историк, директор Центра международной политики Института США и Канады РАН. Живет в России.

АНОНИМ. ИМПЕРСКАЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ. ПОЧЕМУ ЗАПАД ПРОИГРЫВАЕТ ВОЙНУ С ТЕРРОРОМ. ВАШИНГТОН: БРАССИ ИНК., 2005*

Уже несколько месяцев первую строчку в списке бестселлеров в США занимает книга анонимного автора. О нем известно доподлинно только то, что он много лет работает в Центральном разведывательном управлении и непосредственно из Лэнгли наблюдает за Усамой Бин-Ладеном, анализируя его действия, слова, тактику и стратегию.

По мнению экспертов, аноним – один из наиболее сведущих специалистов по современному исламскому миру и его боевым организациям, а выход его книги пришелся на дни ухода в отставку директора ЦРУ Джорджа Тенета, когда спор об эффективности американских разведслужб и интерпретация борьбы с исламским фундаментализмом достигли своего пика.

В отличие от тех, кто выступил с обоснованием вторжения в две ближневосточные страны (в Афганистан и Ирак) и твердо верит во всемирную приложимость западных идеологических догматов, аноним предупреждает: «Неумение США заручиться поддержкой (или уничтожить) лидеров и силы старшего поколения афганских муджахетдинов делает определенным процесс формирования страшного противника... Запад потерял время в Афганистане; решающей стала позиция Хекматъяра, Хаккани, Хали и других в пользу "Талибана" и "Аль-Каиды", что практически гарантирует падение прозападного президента Карзая» (с. 45). Автор считает, что примером демократии на Ближнем Востоке ни Кабул, ни Багдад *не будут*. На их стороне огромной силы цивилизационный код, который противится ко-

* Главная тема. 2005. № 3.

сметическим переменам. В Кабуле независимые от внешней помощи афганцы прямо говорят американцам: «Вы плохо изучили нашу историю».

У Бин-Ладена есть ясная, четкая, сфокусированная, ограниченная и чрезвычайно популярная в мусульманском мире внешняя политика: прекратить американскую помощь Израилю и в конечном счете уничтожить это государство; вывести американские войска с Аравийского полуострова; закрыть американские базы в Ираке, Афганистане и других мусульманских странах; ликвидировать прозападный режим в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании и других; законсервировать энергетические богатства мусульманского мира и продавать их только по самым высоким ценам. Ради достижения этих целей, а не ради некой «зависти» боевые мусульманские организации будут наносить удары по США.

Аноним доказывает, что Америка «сражается не с преступностью или терроризмом, а с мусульманским восстанием мирового масштаба» (с. 10). Расположение вооруженных сил США близ мусульманских святынь Мекки и Медины является очевидной ошибкой: оно вызывает гнев мусульман. С точки зрения мусульман, отделение церкви от государства – сугубо негативное явление и западный призыв к такому отделению не мог не вызвать соответствующей реакции. Соединенные Штаты, руководствуясь сугубо геополитическими соображениями, не видят уязвимости курса опоры только на проамериканские, прозападные режимы своих сикофантов – президента Мушаррафа в Пакистане, Мубарака в Египте, на феодальную династию в Саудовской Аравии, при котором на задний план отодвигаются коренные проблемы материального развития мусульманского мира, равно как и соответствие этих режимов демократическим ценностям.

Режим Карзая ненадолго переживет уход американских войск. «Мы преуспели только в одурачивании самих себя» (с. 16). Всеми миру видно, что США прежде всего заинтересованы в контроле над главной нефтяной кладовой мира, гарантирующем поток арабской нефти в самые важные регионы мира, что позволяет американцам в определенной степени контролировать и экономику регионов-конкурентов – Западной Европы, Японии, Китая. «Ради дешевой и легко добываемой нефти Вашингтон и поддерживает те тирании, которые Бин-Ладен стремится сокрушить» (с. 11).

Постепенно американцы стали приходить к выводу, что «Аль-Каида» является нерегулярной армией глобального масштаба, ведущей в неконвенциональной войне бои низкой интенсивности (с. 67). В невидимых деревушках идет подготовка будущих бойцов ислама. Америка, по мнению анонима, ошибается в определении *центральных* звеньев «Аль-Каиды» – они не на плоскогорьях Афганистана, а в песках Саудовской Аравии, где растет сопротивление компрадорскому феодальному строю (с. 72).

Аноним полагает, что если бы Соединенными Штатами внезапно овладела идея помощи «Аль-Каиде», то они не смогли бы сделать ничего более эффективного, чем вторжение в Ирак, то есть удар по светскому элементу в модернизации исламских государств, фактическое стимулирова-

ние массовой школы подготовки исламских террористов в масштабах 25-миллионного государства. США невольно стали наиболее ценным союзником Бин-Ладена, радикализируя исламский мир. Сказались наивная уверенность во всемирной приложимости западных ценностей и вера в способность военными методами решить цивилизационные проблемы. Теперь террористам не нужны специальные лагеря, они могут завершать подготовку и дома, черпая всю необходимую информацию из Всемирной сети. Особенно активна в этом отношении суннитская секта Салафи. Типичный пример перехвата: «Сообщите нам сведения относительно важных экономических и военных целей американских крестоносцев» (с. 83). Речь идет в интернете о нефтепроводах, расположении оккупационных офисов, воздушных коридорах.

Аноним скептически относится к безудержным оптимистам типа министра обороны США Рамсфелда, которые считают любую проблему сводимой к простому набору действий. Аноним отказывается считать, что все решают «большие батальоны» и время. Более того, он предсказывает впереди даже не *пат*, а поражение Америки, неспособной пока понять стратегию и тактику своего противника.

Автор выступил с тревожным предупреждением.

«Постоянный рост антиамериканского влияния Усамы Бин-Ладена в широком суннитском экстремистском движении и широкое распространение деструктивных навыков "Аль-Каиды" свидетельствуют о серьезной угрозе для нас в обозримом будущем» (с. 261). Аноним резко выступает против американской интерпретации людей и событий за пределами Северной Америки, которая «густо окрашена высокомерием и самососредоточенностью, доходящими до некоего имперского наваждения» (с. 165). Если Запад не будет учитывать различие в цивилизационном восприятии, противостояние мусульманского и западного миров может длиться неограниченное время.

Р. S. Выйдя в отставку, Джордж Тенет будет иметь время поразмыслить над безапелляционностью своих оценок, введших в заблуждение одних и попросту обманувших других. 1 октября 2002 года Тенет возглавил объединенный совет всех американских разведок – Национальный совет по внешней разведке, родивший высокосекретный 92-страничный документ, осявая идея которого заключается в коротком предложении: «Багдад имеет химическое и биологическое оружие... Багдад возобновил производство горчичного газа, зарина, циклозарина... Создание вируса оспы является частью наступательной программы Ирака».

Апогеем следует считать, видимо, беседу президента Дж. Буша-мл. с Джорджем Тенетом и его заместителем Джоном Маклафлином ранним утром в субботу 21 декабря 2002 года, происходившую в Овальном кабинете Белого дома. В беседе кроме президента участвовали вице-президент Ричард Чейни, советник по национальной безопасности Кондолиза Райс и ее заместитель Энди Кард. Автоматический проектор показывал «занима-

тельные» картинки. Всеобщее внимание привлекли снимки из космоса, на которых была изображена стартовая площадка ракет с необычно большими боеголовками. Их радиус, объясняли разведчики, явно превышает допустимые (барьер, оговоренный ООН) 150 километров. Другой снимок глава американской разведки интерпретировал как завод по производству химического оружия. Руководители американской разведки утверждали, что ракета такого класса может поразить цель на расстоянии 500 км, что достаточно для нанесения удара по соседнему государству. Тенет и его заместитель уверенно указывали на наличие системы автоматического наведения ракет. Маклафлин цитировал показания перебежчиков, якобы видевших мобильные трейлерные площадки запуска. Руководители американского государства как замороженные слушали запись разговора двух иракских республиканских гвардейцев.

«Передвинуть нервно-паралитические вещества». Если у Ирака нет нервно-паралитических газов, то что обсуждают эти офицеры?

Что касается ядерного оружия, то в Ираке работает «ядерная мафия» – группа специалистов-атомщиков. Была представлена запись их разговоров, они обсуждали, что *нечто* следует спрятать на «заводах Аль-Кинди». Президент Буш повернулся к главе ЦРУ Тенету: «Это наиболее убедительное из всего, чем вы владеете?» Тенет встал с кожаного дивана и простер свои руки в жесте баскетбольного нападающего, снайперски поражающего корзину противника.

Буш не хотел завершать заседание на этой ноте и вновь спросил Тенета: «Джордж, насколько вы уверены?» Тенет, фанатик баскетбола, прогнулся и снова выбросил руки вперед: «Не беспокойтесь, это удар в баскетбольную корзину сверху вниз наверняка!» Такая уверенность главы ЦРУ произвела на присутствующих впечатление.

Президент Буш приказал зафиксировать «баскетбольный удар» в конкретном документе. 40-страничный текст был прислан Тенетом 22 января 2003 года. Помощники Буша Хэдли и Либби пришли к Тенету, чтобы задать уточняющие вопросы. Их удивил доступ к самым секретным оценкам Тенета иракца по имени Челаби, считавшегося одним из главных источников достоверной информации.

Но они тоже исходили из того, что Саддам имеет средства массового поражения; его связь с «Аль-Каидой» многочисленны и неоспоримы.

В свете уверенности американской разведки едва ли стоит удивляться тому, что в конгрессе число сторонников силовых акций против Ирака превысило осторожных в соотношении 3:1. Заместителю министра обороны Полу Вулфовицу пришлось сложнее, когда он в том же стал убеждать союзных послов при НАТО и замминистра.

В конечном счете ничего не осталось, как прибегнуть к «умозрительным аргументам»: «Это как судить о порнографии. Ее нельзя определить, но я точно знаю, когда вижу ее». В стране юристов это весьма зыбкий аргумент.

Но президент Буш уже считал сомнения проявлением слабости характера. В послании «О положении страны» 27 января 2003 года треть текста посвящена 25 тыс. литров сибирской язвы и 38 тыс. литров токсина ботулизма, которыми якобы вооружен Саддам, – «достаточные для убийства миллионов людей». 16 слов были посвящены тому, что «британское правительство обладает сведениями о значительных объемах урана, добытых Саддамом Хусейном в Африке».

Собственно, тогда – между декабрем 2002 и мартом 2003 года – администрация Буша поставила с ног на голову основу американского правосудия: не внешние силы обязаны были теперь доказывать вину Саддама Хусейна, а сам Саддам Хусейн поставлен был в положение человека, доказывающего, что он не верблюд. «Ну-ка, показывай нам оружие, которого у тебя не может не быть!» Президент Ирака «обязан» был изыскать оружие массового поражения, объяснить, где он его достал, отдать его международным контрольным органам и доказать всему миру, что он *все* отдал.

«Как вы думаете, – спрашивает президент Буш Кондолизе Райс, – должны ли мы начать боевые действия?» – «Да. Потому что речь идет не о доверии к Америке, а о доверии всех к этому гангстеру, который снова может надругаться над международными законами». Но более всего убеждал президента глава его разведки. Именно вследствие представленных данных ЦРУ президент Буш-мл. заявляет 26 августа 2002 года: «Нет сомнения в том, что Саддам Хусейн ныне *обладает* средствами массового поражения».

Месяцем позже: «Иракский режим обладает биологическим и химическим оружием». В январе 2003 года он просто уже не слушал критические мнения, это был триумф Тенета.

Много дал бы президент Буш, чтобы *стереть* из памяти соотечественников подобные безапелляционные соображения. Позже, размышляя над сутью того, что Дж. Буш-мл. никак не осмелится назвать своим промахом, он все же заметит в несколько извиняющемся тоне: «Суждения Тенета не могли быть легко отвергнуты». И из-за этих баскетбольных жестов погибло столько людей.



КЛАЙД ПРЕСТОВИЦ. СТРАНА-ИЗГОЙ. ОДНОСТОРОННЯЯ ПОЛНОТА АМЕРИКИ И КРАХ БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ. СПБ.: АМФОРА, 2005*

С 60-х годов прошлого века в интеллектуальной элите США господствуют левацкие настроения. Однако если раньше это означало влияние марксистского научного подхода и стремление ученых к системному анализу, то сейчас, в эпоху всевластия факта, это лишь определяет идеологическую окраску того или иного события и вызывает бескомпромиссное критическое отношение к политике республиканской администрации. Таким образом, левые утратили свое основное преимущество, и исследователи, придерживающиеся консервативных взглядов, которые всегда считались изгоями в американском научном сообществе, постепенно завоевывают позиции. Часто их трактовка фактов выглядит любопытнее, а критика представляется более взвешенной. И книга Клайда Престовица, влиятельного американского политика и дипломата, не является в данном случае исключением.

Биография Престовица – типичная биография консерватора, придерживающегося реалистических взглядов на внешнюю политику. В начале своей карьеры он отвечал в американском посольстве в Гааге за пропаганду вьетнамской политики США. Престовиц оставался приверженцем войны даже после того, как большинство других консерваторов перешли в лагерь ее противников. В 1981 году он вошел в администрацию Рейгана, где занял пост советника министра торговли. Пребывая на этом посту, Престовиц возглавлял переговоры с Японией, направленные на заключение ряда торговых соглашений, а также участвовал в различных международных

* Главная тема. 2005. № 3.

торговых форумах, на которых приобрел репутацию «торгового ястреба».

В своей книге «Страна-изгой» Престовиц критикует имперские настрояния неоконсерваторов. «Нынешняя администрация, – говорит он, – не готова признать, что Соединенные Штаты превращаются в империю. Империи – это якобы то, что бывает у европейцев, китайцев или японцев, но никак не у американцев. Между тем, если нечто выглядит, ходит и крикает, как утка, то, скорее всего, это утка и есть». Престовиц принимает цели внешней политики Буша, но осуждает методы их достижения. «Я не французский социалист и не вечно юное дитя цветов из поколения шестидесятых, – пишет он, – северокорейский лидер и иракский диктатор мне отвратительны, пожалуй, не менее, чем президенту Бушу, но это не значит, что я разделяю представления неоконсерваторов о существовании оси зла».

Престовиц убежден, что Америка, ослепленная собственной силой и доминированием своей культуры, часто не замечает, сколь вызывающе ее поведение. «Верх цинизма и лицемерия, – заявляет он, – проповедовать добродетели свободной торговли, одновременно вкушая запретный плод протекционизма». По мнению автора, Соединенные Штаты могут уподобиться «дурной волне», гигантской зыби, которую течение гонит против обычных волн и которая, заставляя моряков врасплох, приносит с собой неожиданную беду. Он отмечает, что через свою военную мощь, неравноправные договоры, интеллектуальное превосходство, систему вознаграждений за предприимчивость и дружеское убеждение Америка сумела создать невиданный всемирный кооператив. Сейчас она движется к полному господству, а подстегивают ее силы инерции и привычки, интересы многочисленной прослойки профессиональных военных, «возрождение сладкоголосого вильсонианского мотива американской исключительности».

В 1910 году Норман Энджелл написал свою «Великую иллюзию» – книгу, которая провозглашала, что войны канули в прошлое, поскольку мировая экономика становится все более интегрированной. Свыше 60 лет потребовалось миру после окончания Первой мировой войны, чтобы вернуться к уровню глобализации, достигнутому в 1911 году. «Для того чтобы на сей раз глобализация сработала, – пишет Престовиц, – она должна перейти на путь практического и неидеологизированного решения проблем».

Престовиц настаивает на том, что не существует единой модели модернизации. Восточно-азиатские страны, например, воспользовались формулой успеха, изобретенной Японией и мало чем созвучной традиционным догмам глобализации. Она предполагает принудительно высокий уровень сбережений, сдерживание внутреннего потребления, передачу технологий как обязательное условие прямых иностранных инвестиций, вмешательство государства в процесс распределения капитала, защиту большинства внутренних рынков и ставку на экспорт. Две основные проблемы для современного глобализированного мира – это, по мнению автора, доступ к источникам энергии и экологическая безопасность. Престовиц отмечает, что с самого рождения американская нация имела доступ к дешевой энергии, и последующие

поколения пришли к убеждению, что в этом заключается их неотъемлемое право. Именно богатейшие запасы дешевой энергии обусловили мировое лидерство Америки, непрерывный поток американской нефти обеспечил победу союзникам во Второй мировой войне. Однако уже в 1943 году министр внутренних дел Гарольд Айкс опубликовал статью под заголовком «У нас заканчивается нефть!». С тех пор Америка оказалась в зависимости от ближневосточных источников сырья. Престовиц утверждает, что такое положение грозит «всевозможными новыми джихадами, конфронтацией с исламом и перспективой основательно увязнуть в дворцовых интригах саудовской королевской семьи». С другой стороны, автор убежден, что без всяких драконовских мер Америка способна добиться значительного снижения энергопотребления, равно как и роли нефти не только в американской, но и в глобальной экономике. Среди альтернативных источников энергии он называет энергию ветра, генетически модифицированные биокатализаторы, термическую деполимеризацию, водородное топливо. Еще в 1973 году Никсон провозгласил Проект независимости, который должен был сделать Америку энергетически независимой к 1980 году. Престовиц считает, что это был очень неплохой шанс для Соединенных Штатов, и приводит в пример Канаду, которая продолжала работать над подобным проектом, и сегодня 20% всего объема производимой ею нефти приходится на синтетическую нефть.

«Решение по Киото, – пишет Престовиц, – стало отражением того глубоко антиэкологичного духа, которым прониклась администрация, метафорой американской расточительности, безразличия и высокомерия». Именно Америка придумала энвайроментализм, благодаря ее усилиям была успешно решена такая критически важная проблема, как «озоновая дыра», но нынешняя администрация добилась того, что весь мир воспринимает Соединенные Штаты как основного противника глобальной «зеленой» политики. Престовиц приводит характерные высказывания конгрессменореспубликанцев. «Я люблю окружающую среду, но я скуп в своей любви к ней», – заявляет Ньют Гингрич. Председатель комитета палаты представителей по ресурсам Дон Янг еще более откровенен: «Когда я вижу дерево, мне кажется, что передо мной бумажный носовой платок, в который можно высморкаться». «Буши воспринимают энвайроментализм как нечто, куда после развала Советского Союза подались все коммунисты», – отмечает Престовиц. Такое негативное отношение американской элиты привело к тому, что энвайроментализм и политика в отношении изменения климата стали проявлением европейского национализма и декларацией европейской независимости. Престовиц призывает администрацию США изменить свою позицию по Киотскому протоколу. «Стремясь завлечь под свой зонтик всех остальных, ЕС, по сути, уже согласился на все американские требования на переговорах в Киото», – утверждает он.

Престовиц отмечает, что все существующие между Америкой и остальным миром разногласия можно выразить с помощью четырех слов: Израиль, Тайвань, религия и лоббизм. В своем исследовании израильской и тайвань-

ской проблемам он посвящает отдельную главу. Автор критикует стремление неоконсерваторов поставить «иракскую телегу впереди лошади палестино-израильского урегулирования». Он подчеркивает, что главная ближневосточная проблема – это этнический и религиозный конфликт между арабами и евреями. «Шарон, похоже, хотел бы начать настоящую схватку за существование, – пишет Престовиц, – дабы объединить Израиль под флагом войны, вытеснить палестинцев в Иорданию и в конечном счете восстановить израильское государство в его библейских границах. Соединенные Штаты не осознают всей меры ответственности, которая ложится на них как на главного оружейника Израиля». Конечно, Престовиц признает, что образ воюющего, осажденного Израиля, миф о просвещенной оккупации во многом формируют особые отношения. Однако главным фактором, препятствующим урегулированию палестино-израильского конфликта, он считает еврейское лобби в американской политической жизни. «Прохождение любого важного для Израиля законодательного акта, – пишет Престовиц, – обеспечивается надежной базой – его сторонниками, среди которых набирается около 200 сочувствующих в палате представителей и до 50 сенаторов». Тайваньская проблема также остается серьезным вызовом для американской дипломатии. Для китайцев статус Тайваня – это фундаментальный вопрос, связанный с национальным суверенитетом и преодолением последних пережитков колониального правления. Престовиц убежден, что американская позиция по Тайваню попросту лишена здравого смысла. «Представим себе, – пишет он, – что на Гаваях провозглашается независимое государство, и для его защиты от возможных посягательств Америки Китай отправляет туда свой флот: трудно даже вообразить негодование американцев».

«События 11 сентября, – пишет Престовиц, – вызвали изменения в мировых отношениях, в результате которых старые друзья Америки теперь больше ходят на ее противников, а бывшие противники – на друзей». В этом смысле наиболее показателен пример Европы. Конечно, для европейских левых Соединенные Штаты всегда были изгоем, однако сейчас к тому же мнению начинают склоняться и те, кто придерживается центристской позиции. Из верных союзников европейцы превращаются в основных конкурентов Америки. Престовиц проводит аналогию с Римом и Византией, которые после распада Римской империи выработали совершенно разные типы общественного устройства, так же как Европа и США после окончания холодной войны, представляют различные социоэкономические модели. Автор утверждает, что глобализация в скором времени уже не будет исключительно американской игрой, поскольку Европа может предложить свою модель, основанную на опыте всесторонней интеграции в рамках Европейского союза. Престовиц выделяет основные противоречия, существующие между трансатлантическими партнерами. Европейцев беспокоит, что религиозность привносит в американскую внешнюю политику дух крестовых походов и манихейства. Они уверены, что культивируемые в Америке индивидуализм и недоверие к правительству привели к созданию

жестокое, криминализированное общества. По мнению американцев, Европа вовсе не демократия, а средоточие бюрократических режимов, управляемых квазиаристократическими элитами, обуреваемыми идеей сдерживания более динамично развивающейся Америки и чувством зависти и ностальгии по навсегда утраченному мировому господству.

Достаточно любопытна идея Престовица о том, что создание противовеса в лице единой Европы может стать самосбывающимся пророчеством. Именно поэтому так противоречива американская политика по отношению к Старому Свету. Она колеблется между стремлением заставить Европу взять на себя большее бремя оборонных расходов и попытками блокировать развитие независимых европейских вооруженных сил. Америка использует НАТО как козырную карту в игре против ЕС. Необходимость расширения альянса, по мнению Престовица, диктовалась прежде всего стремлением напрямую связать восточно-европейские страны с Соединенными Штатами. «Вторая холодная война с Европой маловероятна, – пишет автор, – но без дальнейших трений не обойтись, особенно учитывая стремление США вызвать раскол Европы на "старую" и "новую"».

Престовиц считает, что односторонняя политика Соединенных Штатов приводит к тому, что они постепенно превращаются в «государство-изгой». Америка предпочитает держать Европу и Японию в состоянии «затянувшегося взросления», считая их инфантильность залогом собственного господства. Американские усилия по ниспровержению северокорейского режима противоречат «лучезарной политике» Юга, который никогда «не сможет переварить Север таким же образом, как ФРГ переварила ГДР». «По иронии судьбы, – пишет Престовиц, – американский унитаризм размывает саму основу гегемонии, которую его апостолы пытаются расширить». И действительно, в Европе заговорили о необходимости прекратить или ограничить использование США военных баз и воздушного пространства. В ближайшем будущем вывести американские базы со своей территории попросит Саудовская Аравия, а затем Южная Корея и Япония. Автор утверждает, что с окончанием холодной войны можно было глобализировать всю оборонную индустрию, но из-за опасений, что США могут утратить свое превосходство в вооружениях и лишиться рычагов имперского влияния, этого не произошло. «В игре под названием международный покер, – пишет он, – Соединенные Штаты все поставили на одну карту – военную». При этом нынешняя администрация фактически игнорирует международные институты. «Мы – самый нерадивый плательщик взносов в международные организации, и стоит ли после этого удивляться, что союзникам надоели разглагольствования о лежащем на нас особом бремени?»

Для любого человека, чья жизнь проникнута современным, светским, материалистическим духом, совершенно очевидно, что порядок и экономическое развитие под американским управлением все же предпочтительнее хаоса. Поэтому Престовиц уверен, что существует возможность сохранить американское влияние на международную политику. Для этого Соединен-

ным Штатам следует вернуться к «истинному консерватизму». «Имперский проект так называемых неоконсерваторов, – заявляет Престовиц, – не консервативен, а радикален, он отдает эгоизмом и тягой к авантюрам, приправленным возбуждающей риторикой традиционного патриотизма». Рекомендации Престовица по американской внешней политике нельзя назвать особенно оригинальными. Он призывает администрацию Буша прислушиваться к мнению союзников, предлагает реформировать основные международные институты: включить в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН Индию, Бразилию, Японию и Саудовскую Аравию, рассмотреть вопрос о переориентации НАТО на решение задач более глобального характера, например патрулирование нефтяных маршрутов и всей зоны Персидского залива, преобразовать «большую восьмерку» в «десятку», включив в нее Китай и Индию. Однако самое важное для Соединенных Штатов, по мнению Престовица, переосмыслить идею американской исключительности, признать, что такие авантюры, как военная операция в Ираке, являются ошибками нынешней администрации. Когда-то Оливер Кромвель заклинал в своем письме шотландскую церковь: «Ради мук Христовых поверьте, что и вы можете ошибаться».



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$28
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) **02-5325931**
или по электронной почте: **omegag@bezeqint.net**



ЗАРИСОВКИ*

МИТРА

...как Бог даст! – и я вижу ее перед собой... Маленькую... седую... сорок килограммов сербского упрямства...

...как Бог даст! – отвечает она на все мои слова, призывающие покинуть уже опустевшую Приштину, воняющую «на страх, пот и испорченное мясо».

...Она пережила бомбежки Сараево... пережила бомбежки Приштины...

Она – Митра Релич. Босанская сербка, у которой отняли ее право жить там, где родились ее деды... Теперь эта страна принадлежит новому народу – бошнякам.

Косовская сербка, у которой отняли право жить и в Косово, где нашла она убежище после босанского пекла. И Косово отдали – косоварам.

...нет, Ира... я сербка... пусть убивают здесь. Не все ли равно... сербов все имеют право убивать безнаказанно... Никуда я не поеду... На Косово умру...

В здании, построенном на сто семей, остались трое – Митра, Дара Еврич – поэтесса – и сербский пес с детскими глазами – Чеда. Думаете, у собак нет национальности? Нет, Чеда был именно сербский пес... Албанцы мелкую живность, называемую братьями нашими меньшими, не любят... Маленькие албанчата развлекаются так, что режут кошкам глотки или разбивают шенкам черепа камнями (тренируются?..) Чеда потерялся во время сербского исхода и... нашел Митру. Или – она его нашла... Истерически захлебывается Чеда в лае, как только зачует албанца или иностранца... сербам же радуется... и русских причисляет к сербам... не трогает даже русских солдат...

* Топос.

хоть тоже они в сапогах и с автоматами. Умный Чеда... бедный Чеда...

Декабрь 1999... Холод... Нет света... Я приехала в Приштину... Они, все трое, давно забыли вкус молока и хлеба... нет мяса, овощей, фруктов... Вон он, магазин, на углу, но туда идти – риск... более серьезный, чем выход космонавта в безвоздушное пространство.

...сигареты... *Ира, ты привезла сигареты?.. и батарейки?..* Тяжелее всего без курева и информации. Вставляю батарейки в радио.

– На Косово ситуация стабильная, – раздается уверенный голос Бернара Кушнера.

– Шкия... сука... открой! – стук в железную дверь подъезда... свист камня... вульгарный гогот.

...не бойся, *Ира... это они так... развлекаются... у меня сигнальная ракета есть... ирландцы дали... они здесь недалеко... Если что... – они спасут...*

...Эй, мужчины... военные, профессионалы-специалисты, а что лучше, чем мешки с песком, защищает от пули?.. Не знаете?! Книги... штабеля книг... Отдает литературщиной, но... в томе Толстого «Война и мир» символически застряла пуля на сцене убийства Пети Ростова...

Потом сидим, пьем ракию, закутавшись в одеяла... Холодно...

...*Посмотри, Ира...* Показывают мне портрет... Пожимаю плечами, не понимая улыбок. Канонический, знакомый каждому сербу лик святого Саввы. ...*Переверни, переверни* – слышу. Переворачиваю... Канонический, знакомый каждому сербу лик маршала Тито. Предприимчивый партийный бонза, университетский начальник, покидая Приштину, выбросил портрет на свалку... Смеемся... Боже, как нам смешно... Дара, Митра, я... Улыбаются и Чеда... понимающе... Большая сука, ваш начальник...

...18 марта 2004 года британцы, «сохраняя безопасность» сербов, вывели Митру и Дару силой из квартиры, запретив взять с собой даже зубную щетку... Чеда получил сапогом по ребрам... и о дальнейшей судьбе его – неизвестно. Митра верит, что есть сербский собачий рай... Потом они, с еще горсткой оставшихся сербов из Приштины, три дня сидели в палатке, куда их загнали британцы... не позволяя им даже в туалет выйти... Священника Мирослава, требующего воды для двух женщин с грудными детьми, избили... разбили мобильный телефон... Старая добрая демократическая Англия... Сейчас Митра в Митровице... Косовской Митровице... городетезке... последнем городе в Косово, где еще пока живут сербы...

...пока живут... пока надеются...

Пока...



ВЕНДЕТТА ПО-АЛБАНСКИ

Приштина. Лето. 1998 год. Жара... (нет, не так... жа-а-ра).

Лениво передвигая руки-ноги, иду по каким-то своим делам, в Инсти-

тут защиты памятников культуры. Тихая пыльная улица в албанском районе города. Разнокалиберные заборы (нет, не так... калибр у них одинаковый, все – метра по два с хвостиком, а вот материал разный – глинобитные, кирпичные, каменные, мраморные... Удивительно, насколько исламская культура стремится к закрытому пространству... ну... да ладно).

На улочках ни души... Три часа дня. Жа-а-ра... (какого черта я поперла по такой жаре – не помню... но до сих пор недоумеваю...). Мозг не работает. Бреду...

Скамеечка. Возле скамеечки – подушка. Хорошая такая подушка. Большая. Пуховая. Даже на вид мягкая. В пестренькой такой – лапки-глазки – наволочке. На подушке – ребенок... Месяца полтора-два. Лежит. ЛИЦОМ В ПОДУШКУ. Думаю... (а... ни хрена не думаю... че врать-то?..) Просто ноги сами подходят к подушке, а руки берут ребенка и переворачивают, а потом и поднимают тельце с уже посиневшим, конкретно так, личиком. Младенец булькает некоторое время и... орет...

И вдруг... (ага... вот оно – вдруг!) улица наполняется народом, гортанными криками, угрожающими лицами... (Че?... че было?... просыпается мозг...) Лихорадочно соображаю. Стараюсь объяснить... Мол, мамаша дитенка вашего, видать, в туалет отлучилась или там... бельишко постирнуть, огород прополоть... ну, мало ли дел... Орут! И они, и ребенок... Наконец-то из криков вычлениется следующее...

У одной албанской семьи (назовем ее А) погиб брат ли, сват ли... не помню уже... Его на машине сбил член другой албанской семьи (назовем ее Б). Так вот, чтобы семья А на семью Б не была в претензии (не несла на себе крови...), то!!!... семейство Б (вот уж б...!) принесло своего грудного ребенка и положило у порога семейства А лицом в подушку. Если А «прощает» смерть своего члена, то они выходят и переворачивают ребенка... если нет... то... ну... правда торжествует... да?... типа 1:1... Никто не виноват (мозг блюет прямоком в подсознание, которое в полном ахуе...). Посоветовавшись, А, Б отбирают ребенка и изгоняют И, как случайный фактор, повлиявший на чистоту процесса.

...уже не жарко...



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер...

«Мы пришли купить машинное масло... Открой... открой, гад... Мать твою сербскую... Открой, хуже будет...»... Лето... день... городок Гнилане в Косово... Центр города. Городская площадь. Дом семьи Момчилович на углу. По периметру (на крышах девятиэтажек) расположились американские снайперы. Спокойно... Ничего не происходит... Ну, а то, что в дом какого-то серба стреляют, бросают бутылки с зажигательной смесью... Так это их

не касается... Приказа нет вмешиваться в местные разборки... Стрелять можно, если стреляют в твою сторону. Зевнул американец... Скорее бы отпущ... Хорошо здесь, и деньги неплохие... и албанцы любят... ну, а сербы... да их и нет совсем... Вон... сейчас и этих уволокут с собой, хрен знает куда... дом займут... хороший дом, трехэтажный, крепкий... И опять тишина... спи-отдыхай... Нет, стабилизируется все-таки ситуация в Косово... Не то что раньше...

«Выйди... поговорим... мать твою... покупатели мы... свечи купить нужно»... Очередь из «калашникова»... Ответная – из охотничьего ружья. «Ах, ты... мать твою сербскую... У тебя и оружие есть?!»... Насторожился снайпер... У сербов оружие – непорядок. Доложить бы нужно. Еще выстрел. В воздух. Крики «Help!»... Это мне, что ли?! Вот еще... Еще и еще выстрелы... Дай-ка выстрелю в воздух... Предупреждение сделаю... А то расшумелись... И вдруг... да эти албанцы офигели?! В меня, в американского гражданина, стреляют... Ловко прицелился... Выстрел и... нет Африма Гагицы... лежит куклой командир албанских боевиков... А тут и полиция подоспела... И повели в тюрьму отца и двух сыновей за... убийство албанского гражданина, желавшего купить свечи... И плевали они на реконструкцию событий, на доказательства экспертизы, показывающей, что покойный «покупатель» был убит не из ружья, на видеоснимки (камера на воротах дома), доказывающие, что «мирные покупатели» имели в руках оружие... Рассказывать ли дальше?... О тюрьме в Бондстиле... об отце, сказавшем адвокату: «Делай что хочешь... пусть меня расстреляют, а Бобана освободи». О том, как пытали семнадцатилетнего Бобана (думаете, это лишь НКВД развлекалось так: пускало овчарку и заставляло тебя часами стоять неподвижно... если движение – бросается... загрызет). Рассказывать ли о суде? Об албанском суде, приговорившем их, защищавших свой дом, к 15 годам лишения свободы... Не... я лучше скажу об адвокате Йокановиче, который сумел... уговорил... привез... американского снайпера... мальчишку из Техаса, который и подтвердил, что «Да... я дал несколько выстрелов в воздух, и, поскольку мне ответили пальбой из автоматического оружия, повернув его в мою сторону, убил стрелявшего... После дежурства я написал рапорт... Вот он в книге дежурств по городу... Так и написано, что...».

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер...

נקדיטת עליה בחיבה
פרץ 20 חופה 33041
ספרות 8472

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצוב עורך ראשי

רפאל נודלמן סגן העורך

לנה וינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חצובים, ירושלים, 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: 02-5325931

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€ 9
В США	\$12



номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:

■ **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6;
Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ **Бат-Ям:** ● Книжный
мир, ул. Бальфур, 49 ■ **Безр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37
● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:**
● «Спутник», ул. Соколов, 58 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий»,
Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая
какета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10
● «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20
(или ул. Элиаш, 6) ● «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник»,
ул. Яффо, 91 ■ **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-
Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:**
● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско
● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим
Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Буковина», ул. Орлов, 84 ■ **Реховот:**
● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161
■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:**
● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая тахана мерказит
● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж,
напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот»,
ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука»,
ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка»,
ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива»,
ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40
■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13
■ Книжный интернет-магазин:
www.neshima.com